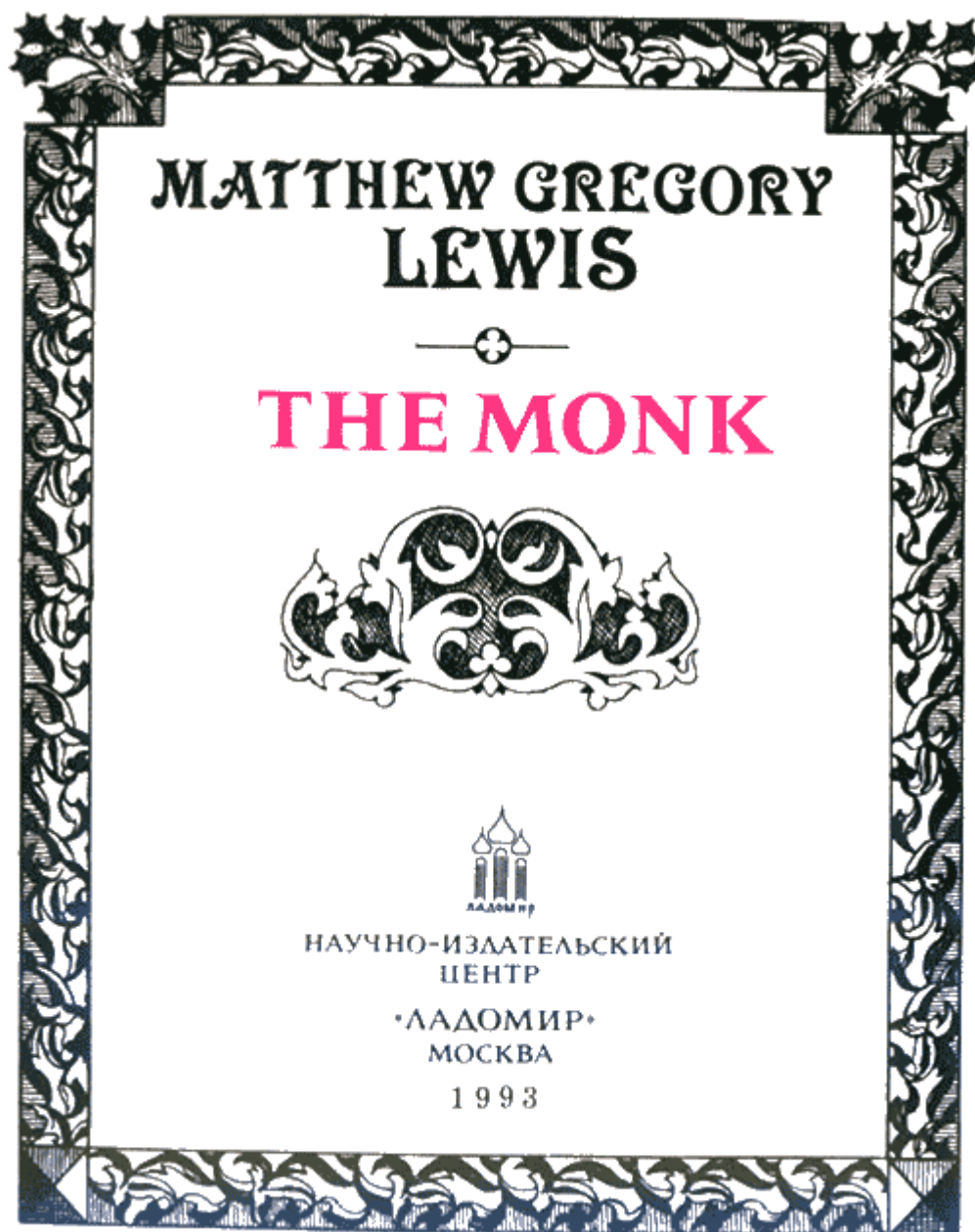


Мэтью Льюис
Монах



Мэтью Грегори Льюис
Монах



МОНАХ ЛЬЮИС И ЕГО РОМАН

Мэтью Грегори Льюис (Matthew Gregory Lewis, 1775–1818) вошел, точнее ворвался в литературу, со скандалом; в обстоятельствах неординарных; в переходную и смутную литературную, как, впрочем, и историческую эпоху. Он прожил сравнительно недолгую, видимо, не очень счастливую, но необычную жизнь. И наследием его время распорядилось

парадоксально, однако же благосклонно.

Он родился за четырнадцать лет до начала и за девятнадцать – до конца Великой французской революции 1789–1794 годов. Его юность совпала не с календарным, а с истинным рубежом веков – и времен. На его глазах XVIII век, Век Разума, Век Просвещения, подготовивший почву для низвержения одной из старейших европейских монархий, уступил место XIX, веку революций, потрясений, брожения умов, великих надежд и разочарований. В области изящной словесности просветительство сменилось романтизмом, оформившимся как ответ европейского духа – принятие либо отрицание – на Великую французскую революцию, ее идеологию, то, что она с собой принесла и к чему привела. Но между двумя литературными эпохами не было четкой границы; их разделял промежуток эстетической неопределенности, образно говоря, участок литературной «ничейной земли». И М. Г. Льюису выпала нелегкая честь, многожды оспоренная современниками, – возделывать этот участок, связать «век нынешний и век минувший».

Отец будущего писателя, тоже Мэтью, состоятельный владелец плантаций на Ямайке, родился на этом карибском острове, что не помешало ему окончить Оксфордский университет, обосноваться в Англии и двадцать восемь лет занимать должности в Военном министерстве Великобритании. Мать, Фрэнсис Сьюелл, тоже родом из старой англо-ямайской семьи, родила мужу четверых детей и ушла от него в 1781 году, когда Мэтью Грегори было шесть лет, а двум его сестрам и брату и того меньше. Впоследствии он поддерживал с обоими родителями добрые отношения – переписывался с матерью и посылал ей «на отзыв» свои первые литературные опыты (например, фарс «Интрига в письмах», который написал шестнадцати лет); отцу был послушным сыном, хотя и не оправдал надежд Льюиса-старшего, мечтавшего видеть отпрыска чиновником или дипломатом.

В 1790 году молодой человек, следуя по стопам отца, поступил в Крайст-Черч, один из самых старых и аристократических колледжей Оксфорда. Лето 1791 года он провел в Париже, а следующего – в Веймаре; там он изучал немецкий язык и жил в доме, где – сообщал он матери – водится привидение. Получив в девятнадцать лет степень бакалавра, он отправился служить в британское посольство при королевском дворе Нидерландов. О его успехах на дипломатической стезе свидетельств нет, зато известно, что именно в Гааге он написал большую часть прославленного «Монаха» («The Monk»); завершив и отредактировав рукопись по возвращении в Англию, он опубликовал роман без указания имени автора в конце 1796 года. В том же году он стал членом Палаты общин парламента. На один срок.

Карьеру в политике ему не дано было сделать, но сама попытка сыграла решающую роль в его судьбе. Первое издание «Монаха» раскупалось неплохо, однако не привлекало внимания критики. Но второе, в октябре 1796 года, выпущенное уже не анонимно, да еще с добавлением знаменательной аббревиатуры Ч. П. (член парламента), заставило критиков очнуться, прочесть книгу, взяться за перо и обрушить на литератора-парламентария шквал нападок вплоть до обвинений в аморализме и даже святотатстве.¹ Вышел знатный скандал.

Критическая кампания, с одной стороны, несколько обескуражила и напугала Льюиса, так что в четвертом издании (1798) он убрал некоторые описания и пресловутый «библейский» эпизод и даже изменил название романа: «Амбросио, или Монах». С другой стороны, нападки, как всякая лицеприятная и остервенелая критика, привели к результатам прямо противоположным тем, какие преследовали хулители: успех книги стал сенсационным, романом зачитывались, он был у всех на устах, вызвал волну подражаний, породил множество инсценировок, переводов и пересказов на иностранные языки (на русском он появился в 1802 году). Скандалная известность автора, тем паче члена

¹ В связи с эпизодом, повествующим о матери, которая, заботясь о целомудрии дочери, переписывает для нее Ветхий завет, выбрасывая при этом пассажи, способные пробудить у девицы интерес к интимной стороне жизни.

парламента, сделала его «львом» как литературных, так и великосветских гостиных, что, можно полагать, льстило молодому, а потом и не очень молодому литератору. Тут уместно привести свидетельство его современника и поклонника Вальтера Скотта, отметившего, что Льюис «льнул к сильным мира сего так, как это не пристало талантливому человеку и лицу светскому. Герцоги и герцогини не сходили у него с языка, он жалко увивался вокруг всякой титулованной особы. Можно было поклясться, что он вчерашний *parvenu*,² а между тем он всю жизнь вращался в приличном обществе».³

В защиту Льюиса нужно сказать, что слава, признание и благосклонный интерес со стороны света значили для него, вероятно, больше, чем даже для увечных его современников Скотта и Байрона, хромых на одну ногу: тем по крайней мере симпатизировал прекрасный пол. Льюис же, по единодушному заключению всех, кто с ним встречался, был на редкость безобразен. По этой причине он трудно сходил с людьми, был неуживчив, нетерпим, болезненно обидчив и легко терял друзей. Он сам сказал об этом в стихотворном «Подражании Горацию», предпосланном роману в качестве авторского предисловия:

Страстей игрушка, тороплив,
Мал ростом, очень некрасив.
Немногим нравлюсь я вполне,
Немногие по сердцу мне.

Ушел он из жизни, не создав семьи и не оставив потомства. Весь смысл своего существования он свел к литературной деятельности, и в этом «Монах» имел первостепенное значение: огромный успех романа окончательно укрепил его автора в решении заняться писательством.

Льюис обратился к тому жанру, с которого начинал, – пьесы в стихах, и к поэзии, ибо прежде всего и в первую голову считал себя поэтом, с чем поэты-современники не соглашались, рассматривая его как всего лишь даровитого рифмоплета. Свои стихотворения он сам перелагал на музыку. Он писал, отдавал в театры и публиковал пьесы – зловещие трагедии и легкие комедии и фарсы. Первый, по следам «Монаха», спектакль по его пьесе «Призрак замка» в «Друри Лейн» (1797), выдержал сорок семь постановок: феноменальный успех, который впоследствии повторили всего две или три его драмы.

Издавая сборники собственных и переведенных баллад и стихотворений, Льюис убеждался, что поэзия не приносит денег. Конечно, оставался «Монах», но Льюиса прельщали поэтические лавры. Он перевел и опубликовал два романа, они пошли плохо, и Льюис, вероятно, так бы и не вернулся к прозе, когда б не смерть батюшки, который завещал ему недвижимость, в том числе две плантации на Ямайке (вместе с трудившимися на них чернокожими рабами).

Отец скончался в 1812 году. В 1815 – 1816-м Льюис предпринял первое путешествие на Ямайку для инспекции плантаций, в 1817 – 1818-м – второе, из которого не вернулся: умер на обратном пути от подхваченной на Ямайке желтой лихорадки и был погребен в океане по морскому обычаю. Вояжи в Новый Свет побудили Льюиса вновь обратиться к «презренной прозе» и вести дневники, которые были изданы посмертно в 1834 году под названием «Дневник вест-индского плантатора, каковой есть подневные записи о пребывании на острове Ямайке, оставленные покойным Мэтью Грегори Льюисом, эсквайром, Ч. П.».

«Дневник» включает не только соображения автора в связи с посещением унаследованных плантаций, но также его наблюдения и мысли во время плавания, заметки о природе и этнографии острова и пересказ отдельных легенд и сказок негров Карибских

² Выскочка, нувориш (*фр.*).

³ Цит. по кн.: Пирсон Х. Вальтер Скотт. М., 1992, с. 51–52.

островов. Главное же – он содержит глубокие, в духе просветительских традиций рассуждения об институте рабства, целесообразности скорейшей его ликвидации и реальных, применительно ко времени, способах облегчить положение черных рабов, сделать их жизнь похожей на человеческую. Отметим, что писатель не ограничивался благими пожеланиями, но пытался воплотить их на практике: улучшил условия быта и труда рабов на своих плантациях, составил и ввел в действие кодекс, призванный регулировать отношения между рабами, хозяином и управляющими, обратился к правительству с ходатайством об отмене рабства и несколько раз переписывал завещание, с тем чтобы заставить будущих наследников заботиться о благополучии черных тружеников.

Проза «Дневника», местами сухая и лапидарная, местами описательная, местами расцвеченная фольклорными вставками, местами исполненная горькой публицистической патетики, делает его незаурядным литературно-историческим документом. Недаром даже С. Т. Колридж, выдающийся поэт английского романтизма и непримиримый критик «Монаха», нашел в «Дневнике» не только немалые литературные, но и нравственные достоинства, ибо автор впервые прорвался на его страницах из мира вымысла к реальной действительности, к гуманистическим ценностям. «Дневник» не просто документ времени, но документ, оставленный писателем, и в этом смысле, если вспомнить о нашем недавнем издательском прошлом, его место в серии «Литературные памятники», рядом с «Дневником для Стеллы» Свифта и пронзительными «Письмами из Ламбарене» Альберта Швейцера.

К Льюису-прозаику, автору «Монаха», «Дневник» имеет и еще одно, косвенное, отношение. Между двумя плаваниями писатель предпринял поездку в Европу, где останавливался в 1816 году у Байрона в Швейцарии – тот жил тогда на вилле Деодати, где принимал гостей – поэта П. Б. Шелли с женой и Джона Полидори, врача и литератора. Легенда гласит, что эти четверо, пережидая шторм на Женевском озере, занялись ради времяпрепровождения сочинением страшных историй. По другим источникам, Льюис тоже принимал в этом участие.⁴ Однако, если даже в ту ночь его там и не было, на вилле он, безусловно, побывал и со всеми ними встречался. Он был отменным рассказчиком, да и сама его фигура будила вполне определенные жуткие ассоциации с его романом. В 1818-м Мэри Шелли опубликовала знаменитого «Франкенштейна» – замысел якобы пришел к ней именно в ту бурную ночь; а еще через год Полидори напечатал «Вампира», открыв им «вампирическую» тему в английской беллетристике. Поэтому отнюдь не исключено, что визит Льюиса на Деодати, возможно, способствовал тому, что «готические» устремления обитателей виллы в конечном счете отлились в форму законченного литературного произведения.

Итак, произнесено ключевое слово – «готический».

Этим термином принято обозначать роман определенного типа, возникший на изломе эпохи просвещения и противоречащий канону просветительской прозы – ироничной, рациональной, отчасти чудаковатой (Лоренс Стерн), земной, крепко стоящей на почве посюстороннего существования и готовой дать этому существованию вполне здравое и, что особенно важно, исчерпывающее истолкование и объяснение. Увы! Претензии на исчерпывающее объяснение, то есть на установление истины в последней инстанции, всегда вызывали – и вызывают – сомнения у тех, кто справедливо считает, что абсолютная истина не дана человеку, по крайней мере в рамках его конкретного жизненного опыта, а сам человек отнюдь не предсказуем и не разложим на «юмóры» – так еще во времена Шекспира его современник, драматург Бен Джонсон назвал основные страсти и особенности личности, определяющие характер и линию поведения человека. Утверждение «Все понятно и объяснимо» закономерно вызывало Гамлетово – «Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось».⁵

⁴ Irwin J. J. M. G. «Monk» Lewis. Boston, 1976, p. 31.

⁵ Перевод Б. Пастернака.

Так оно, кстати, и произошло в последней четверти XIX века, когда викторианская эпоха с ее культом позитивного знания, то есть неоспоримого, ибо поверяется фактом и опытом, породила таких художников, как Р. Л. Стивенсон, Дж. Конрад, Р. Киплинг, А. Конан Доил, Г. Р. Хаггард и другие. Они убедительно раскрыли в своих книгах, что глубины души человеческой и поступки людские невозможно ни предугадать, ни исчислить, а объяснять течение жизни и ход истории законами материалистического естествознания просто нелепо. Критика окрестила этих писателей неоромантиками, но лет за сто до них, когда эпоха романтизма была еще впереди, литература отвечала на подобные претензии сходным образом. Правда, просветители мерилom всего делали не научно доказанный факт, а разум, здравый смысл, но и их претензии наталкивались все на то же – «что вашей философии не снилось».

Так возник «готический» роман, или роман «тайн и ужасов», возник в недрах просветительской литературы; первое значительное произведение в этом жанре, «Замок Отранто» Горация Уолпола, увидело свет в 1764 году, второе, «Ватек» Уильяма Бекфорда, – в 1782-м. Потом пришла Анна Радклиф с ее хрестоматийными романами «Удольфские тайны» (1794) и «Итальянец» (1797). В промежутке между ними и явился «Монах» Льюиса, который, между прочим, увлекался книгами старшей своей современницы. Последним явлением жанра, в известном смысле запоздалым, но зато итоговым, подводящим черту, стал «Мельмот Скиталец» (1820) Чарльза Метьюрина.

«Готический» роман, как и творчество некоторых поздних просветителей, например Грея или Голдсмита, критика нарекла «предромантизмом», исходя из того, что в английской литературе романтизм как направление заявил о себе предисловием С. Т. Колриджа и У. Вордсворта к «Лирическим балладам» (1798), носившим характер манифеста. Но если отвлечься от хронологии и признать, что романтизм все же был реакцией не на саму Великую французскую революцию, которая его, безусловно, активизировала и повела к размежеванию между романтиками на политической почве, но в первую очередь на философское обоснование Революции – просветительскую мысль и картину мира, – то логично увидеть в «готическом» романе стихийный романтизм, запустивший свои щупальца в XVIII столетие. Сказал же поэт: «Как в прошедшем грядущее зреет...» (Анна Ахматова. «Поэма без героя»). Недаром «Мельмот» вышел в годы наибольшего расцвета романтизма.

Но романтизм «готического» романа, понятно, имел свои особенности. Грандиозные страсти, исключительные герои, загадки судеб, роковой выбор между личной волей и спасением в жизни вечной, многое другое, разумеется, – от романтизма. Но рациональный взгляд на вещи, достоверные демократические персонажи второго-третьего плана, подчеркнутое внимание к мотивировкам поведения главных героев – это еще Век Просвещения, и он довлел мыслям и установкам авторов «готического» романа вплоть до того, что они снимали шляпу перед Его Величеством Разумом. У Радклиф, скажем, все потусторонние манифестации получают в конце романов вполне материалистическое объяснение, о чем остается жалеть: страшная сказка все-таки обязана быть *сказкой*, а не умелой инсценировкой. На эту двойственность «готического» романа обратил внимание еще Вальтер Скотт, отметивший в заслугу Уолполу, автору «Замка Отранто», что у того «все реальное в повести... служит как бы аккомпанементом к сверхъестественному». ⁶ Проницательное это замечание можно по праву отнести и к «Монаху».

В сущности, тут не один, а три самостоятельных романа, три сюжета, умело скомпонованные и взаимопроникающие в рамках одной книги: история совращения и нравственного падения Амбросио, настоятеля капуцинского монастыря; история трагической, однако торжествующей над непреодолимыми, казалось бы, обстоятельствами любви Раймонда де лас Систернасы и Агнесы де Медина; история любви Лоренцо де Медина

⁶ Цит. по кн.: Уолпол Г. Замок Отранто; Казот Ж. Влюбленный дьявол; Бекфорд У. Ватек. Л. 1967, с. 237.

к воплощенной добродетели Антонии. И только последняя история решена последовательно в романтическом ключе, и правит здесь злой и жестокий рок.

А история Амбросио – это просветительская притча на хорошо известную тему: «Коготок увяз – всей птичке конец». История же Раймонда и Агнесы – знакомое повествование о воспитании чувств, осложненном ошибками и грехопадением, однако приходящем к благополучному финалу. За обеими историями проглядывает просветительская фигура резонера, каковой не только оценивает и судит, но выступает по ходу дела с максимами, достойными великих французских моралистов Ларошфуко или Лабрюйера. Например – «Порок еще опаснее для незнакомого с ним сердца, когда прячется под личиной Добродетели». Или: «Обладание, которое пресыщает мужчину, только усиливает любовь женщины». Или вот еще, на литературную тему: «Плохое сочинение несет кару в себе самом, вызывая пренебрежение и насмешки». Трагедия Амбросио с самого начала задана как неизбежная и предсказуемая; еще в первой главе Лоренцо, наблюдая за Амбросио в церкви, говорит Антонии: «Слава его святости делает его желанной добычей искушения. Новизна придает особую заманчивость наслаждениям, и даже достоинства, которыми его наделила Природа, могут способствовать его гибели...»

Читатель отметит просветительский характер ряда второстепенных персонажей, вочеловечивших каждый свой «юмор» и представленных с несомненным юмором. Это тетушка Леонелла, девица далеко не первой свежести, обеспокоенная не сохранением целомудрия, а тем, как бы с ним поскорее расстаться и обрести вожделенного спутника жизни. Это мать Антонии Эльвира, бесконечно поучающая и наставляющая дочь в добродетели (она-то и производит упоминавшуюся операцию над Библией). Это и домовладелица дама Хасинта, неизменно демонстрирующая исконный, хотя и непередаваемо комичный здравый смысл – даже узнав о визите к ней в дом привидения покойной жилицы: «Так как же, по-вашему, госпожа покойница меня отблагодарила за мою-то доброту? Взяла да отказалась тихо спать в своем удобеньком сосновом гробу, а вместо того явилась меня допекать, хоть я-то ее видеть никак не желаю. Куда как ей пристало врываться в мой дом за полночь, проникать сквозь замочную скважину...» Все эти типы подтверждают несомненный талант Льюиса-комедиографа; недаром ведь он кроме «готических» драм писал веселые комедии и фарсы.

Для романа, где в избытке встречаются, как обещано в эпитафии из Горация,

Магические страхи, чары, сны,
Ночные призраки и колдуны,

где выведены бесы и даже Князь Тьмы собственной персоной, призывы к логике и высмеивание суеверий вроде бы не очень к месту. Но для юноши, воспитанного в просветительских традициях, это вполне естественно. Поэтому один из героев, обращаясь к испуганным монахиням в монастырском склепе, где незадолго до того свершались колдовские деяния и являлся Люцифер, пеняет им: «...не могу не удивиться, что вы, когда вам угрожает подлинная опасность, способны трепетать перед воображаемым. Страхи эти детские и безосновательные». Да и не разумна ли критика института монашества и монастырских порядков, звучащая в романе? Все так, и тем не менее...

«Монах» вообще очень странная книга, поражающая логикой невероятного и фантастического. В ней все продуманно, концы сведены с концами, следствия с неизбежностью проистекают из причин, хотя последние до поры до времени могут оставаться сокрытыми. Разброда чувств, романтического хаоса страстей тут нет и в помине, притом что страсти есть, и безумные, роковые. Но читатель наверняка обратит внимание на то, что их не смиряет, напротив, развязывает и поощряет, как ни парадоксально на первый взгляд, именно логика. По сути, история пагубы Амбросио – история его последовательных уступок в долгих спорах с прекрасной Матильдой, и ей никак не откажешь в строгой доказательности софистических построений, всякий раз опирающихся на реальное

положение дел и учитывающих внутреннюю, психологическую готовность монаха совершить очередной шаг по пути порока и гибели.

Диалоги Амбросио и Матильды по форме напоминают драматизованные средневековые словопрения между Господом и Дьяволом за душу человеческую. Что еще существенней – сознание Амбросио обнаруживает в этих страстных диспутах поистине средневековый дуализм, четко делящий мир на черное и белое, сатанинское и божественное, гибельное для души – и допустимое, если есть вера в неисчерпаемость милосердия Божьего. Эта двойственность окрашивает даже его споры с самим собой, блудливую игру схоластического сознания, которое тщится примирить непримиримое: «Строго выполняя все остальные требования устава, кроме соблюдения целомудрия, он, конечно, сохранит уважение людей и даже защиту Небес. Он полагал без труда получить прощение за столь небольшое и естественное отклонение от обетов». И уж насквозь средневековой по духу воспринимается главная нравственная дилемма Амбросио, сформулированная в конце романа: «Разум вынуждал его признать бытие Бога, но совесть внушала сомнения в безграничности Его милосердия».

Заметим: для просветителей разум исключает существование в мире божественного начала, а для героя Льюиса, напротив, выступает гарантом такового. Стало быть, Амбросио воспринимает мир глазами человека эпохи средневековья, а не Просвещения и рационализм его есть средневековый, а не просветительский. В этом от него не отличаются и прочие действующие лица: отрицая суеверия и даже высмеивая их, они в то же время приемлют сверхъестественное как само собой разумеющееся (тут очень важны эпизоды явления Раймонду призрака Окровавленной Монахини и встречи с Вечным жидом) и мыслят наш мир как поле боя Творца с врагом рода человеческого.

Такая логика, такой рационализм далеки от просветительского.

Зато близки романтическому мировосприятию, которое искало и находило в средневековье своего рода идеал раскованных страстей и чистоты духовных устремлений. А также, видимо, обнаруживало те самые исключительные жизненные обстоятельства, ту самую, отмеченную печатью необыденности атрибутику – «различные реликвии, черепа, кости и тому подобное», – в обрамлении которых романтический герой, загадочный и страстный рыцарь или злодей, смотрелся если и не всегда привлекательно, то уж по меньшей мере впечатляюще. Ибо с самого начала он, герой, был призван поразить читателя напечатленной на его облике неизъяснимой тайной, двойственностью – как Амбросио: с одной стороны – «безмятежность одевала его гладкое, без единой морщины чело», черты дышат душевным покоем; с другой – «...в его глазах и манерах чудилась суровость, внушавшая всем благоговейный страх, и мало кто мог выдержать его взор – огненный и пронзительный».

Амбросио – великий злодей, потерпевший сокрушительный крах из-за того, что поддался непомерным страстям; фигура мрачная, окруженная тайной, которая раскрывается лишь на последних страницах книги, – типично романтический герой, личность по-своему байроническая, явившая себя публике, когда лорду Байрону было восемь лет от роду. При этом настоящий многомерней и, стало быть, интересней байроновских Конрада («Корсар») или Гяура. В его душе трагические борения уживаются с лицемерием, возвышенная любовь – с гнусной похотью, вера – с идолопоклонством,⁷ отвага – с трусостью. Однако ведущий «нерв» его характера, снедающий его порок – сластолюбие, в живописании которого Льюис выказал недюжинную изобретательность, художественную пластичность и даже смелость.

«Мысли пресыщенного сластолюбца, стремящегося возбудить себя. Не могу себе представить, как можно написать такое в двадцать лет», – отметил Байрон в «Дневнике», перечитав «Монаха». Он ошибался, не заметив, что сам себя опровергает: действительно, о

⁷ Амбросио поклоняется сладостному изображению Богородицы и как небесному символу, и как воплощению – зримому – женской земной красоты.

каком пресыщении можно говорить в отношении двадцатилетнего юноши, да еще не просто некрасивого, но отталкивающей внешности? Логично заключить, что ловеласом Льюис никогда не был, а его победы по амурной части – если таковые вообще имели место – едва ли могли быть многочисленны. В воспоминаниях современников тема «Льюис и женщины» отсутствует, если не считать упоминаний о любезных приемах, оказанных ему хозяйками великосветских салонов. Писатель скончался холостяком. Так что болезненное любопытство Льюиса к анатомии соблазна, его завороченность целомудренными и отнюдь не целомудренными прелестями прекрасных женщин и постоянное возвращение на страницах романа к картинам вожделеющей похоти объясняются уж никак не пресыщенностью, скорее отчаянным, не находящим выхода томлением юношеской плоти. В этом смысле в «Монахе», вероятно, много от личности автора. Но личность Льюиса отразилась в романе и другими своими сторонами.

Явно испытывая то, что З. Фрейд назвал «комплексом неполноценности», Льюис стремился утвердить себя на иных поприщах: поэта, драматурга, знатока средневековья, ценителя макабра, светского человека и гуманного плантатора. Все эти ипостаси, за исключением двух последних, ярко и непосредственно воплотились на страницах романа, так что современники не без резона присвоили Льюису прозвище Монах, и писатель с гордостью его носил, отдавая ему предпочтение перед своими христианскими именами: *Монах* Льюис.

Неудовлетворенность настоящей жизнью, вероятно, и толкала писателя в объятия потусторонней. Судя по тому, что выходило из-под его пера, он воспринимал жизнь в ее гротескных крайностях: либо ужас, жуть – либо комедия, фарс; либо мерзость греха – либо высокое визионерство. Антиномичность, кстати, присущая романтизму как методу. Но вкус к ужасному принял у Льюиса специфическую форму: Безглазая словно гипнотизировала его взором пустых орбит; его неодолимо притягивали «гроба тайны роковые». Убийства, привидения, кровь, смерть мнимая и подлинная, усыпальницы, разложение брэнной плоти – не эпизоды, но суть, художественная ткань «Монаха».

Фантазии Льюиса не давали покоя картины гниения, распада, кишения трупных червей. Возможно, этому феномену нетрудно было бы подыскать истолкование по Фрейду, но мы, не имея доступа к подсознанию автора, ограничимся указанием на этот документально зафиксированный факт и отметим, что тут рисунок Льюиса отличался особой наглядностью и выразительностью. Пример. Агнеса пробуждается от летаргического сна и обнаруживает, что покоится в склепе: «Я держала в руках разложившуюся, кишашую червями мертвую голову! И узнала истлевшие черты монахини, скончавшейся несколько месяцев назад... Отовсюду на меня смотрели эмблемы Смерти – черепа, берцовые кости, лопатки и другие останки смертных тел валялись на покрытом сыростью полу».

Уж на что немецкие (любимые Льюисом Бюргер и Уланд) и английские (Колридж, Саути) романтики поднаторели в изображении кладбищенской и демонической жути, тут Льюис оставил их позади, особенно в живописании тлена. Одной из наиболее леденящих в романтической поэзии считается сцена явления замогильного возлюбленного в канонической балладе Бюргера «Ленора». Сравним ее в двойном варианте – по вольному переложению и сравнительно точному переводу В. А. Жуковского – с аналогичным эпизодом баллады Льюиса «Алонсо Отважный и Краса Имоген», вставленной в текст романа.

Видит труп оцепенелый:
Прям, недвижим, посинелый,
Длинным саваном обвит.
Страшен милый прежде вид;
Впалы мертвые ланиты;
Мутен взор полуоткрытый;
Руки сложены крестом.

(«Людмила»)

Кусок одежды за куском
Слетел с него, как тленье;
И нет уж кожи на костях;
Безглазый череп на плечах;
Нет каски, нет колета;
Она в руках скелета.

(«Ленора»)

Взглянула Краса Имоген на него
И черепа встретила взгляд.
Узрела она – обитатель гробниц,
Змей лоб костяной обвивал,
И черви клубились в провалах глазниц.

(«Алонсо Отважный и Краса Имоген»)

Льюис, похоже, обгоняет здесь не только свое время, но и эпоху романтизма, приближаясь к поэтике символистов с их эстетизацией отталкивающего (как в «Цветах зла» у Бодлера). И пример такого рода не единственный в наследии Льюиса.

Одержимость Льюиса поэзией нашла в романе самое прямое подтверждение – проза изрядно разбавлена длинными поэтическими вставками, большей частью уместными, но иной раз выбивающимися из контекста и даже, как в случае с растянутым на пятнадцать строф «Полуночным песнопением» кроткой девы, оставляющими комичное впечатление. Один из персонажей книги вдается в обстоятельные и сочувственные рассуждения о бедах начинающих поэтов, что, строго говоря, тоже не имеет прямого отношения к тексту. В основном приводятся оригинальные сочинения Льюиса и лишь в двух случаях – переложения с других языков. За это Льюиса упрекали в плагиате, что, впрочем, так же вздорно, как именовать плагиатом, допустим, свободные переводы Жуковским на русский язык произведений Гете, Грея, Бюргера, Шиллера или Саути, ставшие достоянием русской поэзии. Щедро вставлял Льюис стихи и в свои пьесы (если последние были написаны прозой) и сам же сочинял на них музыку.

Льюиса принято считать второстепенным поэтом, уступающим таким звездам английского романтизма, как Колридж, Вордсворт, Байрон, Китс, Шелли, хотя трудно сказать, чем он ниже Саути, тоже включаемого в этот традиционный перечень. Байрон находил поэтическое видение Льюиса ограниченным, но и он, и Вальтер Скотт высоко ставили мастерство Льюиса-стихотворца и признавали, что обязаны ему кое-чем в области версификации.

Как автор пьес Льюис пользовался у современников куда большей известностью. Помимо «Призрака замка», он оставил свыше полутора десятков трагедий, «готических» драм, комедий и даже комическую оперу «Богатый и бедный» (1812). В основном все это оригинальные сочинения, но порой он перелицовывал для английской сцены чужие произведения; пример – пьеса французского драматурга де Монвеля «Жертвы монастыря», которую Льюис видел в Париже еще юношей. Его переделка под названием «Винони, или Послушник монастыря св. Марка» шла на подмостках «Друри Лейн» в 1808 году. Мы упоминаем об этом еще и потому, что «Жертвы» подсказали Льюису сюжетную линию Амбросио в «Монахе».

Льюис обладал ярким драматургическим даром, который в полной мере проявился уже в «Монахе». По сути, роман представляет собой последовательность профессионально сопряженных друг с другом панорамных драматических сцен, дающих персонажей «крупным планом» и построенных на живых диалогах и косвенных внутренних монологах,

которые легко преобразуются в сценические. Долгие эпизоды перемежаются краткими сообщениями о переменах в положении и обстоятельствах действующих лиц и о событиях, происходящих как бы за сценой. Испания как место действия по-сценически условна, и столь же условны описания жилых интерьеров, кельи, внутренности храма, подземелья, склепа, разбойничьего логова, замка или узилища инквизиции: продуманные декорации, отвечающие атмосфере действия и в немалой степени ее создающие. Время действия, и то условно: судя по вскользь оброненной фразе, что инквизиция уже не внушает толпе былого ужаса (том III, глава II), предположительно – вторая половина XVII столетия, но с равным успехом может быть первая, а то и XVI век.

Роман буквально просится на подмостки, настолько в нем все драматично, настолько заботливо учтена любая мелочь – известный принцип ружья, висящего на стене в первом акте. Если магическое зеркало забыто (или нарочно оставлено) Матильдой в келье настоятеля, то оно всплывет на допросах монаха в застенках инквизиции. Вещие сны персонажей и предсказания непременно сбываются. Детали приобретают характер знамения, провидческая их аура пропитывает ткань романа, а в одном случае поистине роковым образом выходит за пределы текста и распространяется на самого автора: М. Г. Льюис умер, возвращаясь с Ямайки, от той самой тропической лихорадки, которая в романе сгубила на Кубе дона Гонсальво, отца Антонии.

Судьба литературного наследия Монаха Льюиса оказалась не менее неожиданной. Отошло в прошлое то, что он ценил более всего и считал смыслом жизни, – пьесы и поэзия, которая если и сохранилась для читателя, так только в виде стихотворных вставок в прозу. Уцелели же проза, его первая книга и последняя, посмертная, – великий «готический» роман, славе которого он дивился при жизни, и «Дневник», писавшийся в основном для себя, хотя, вероятно, и не без надежды, втайне лелеемой всяким литератором, на то, что написанное «для себя» вдруг да и увидит впоследствии свет.

Английскому «готическому» роману в России XX века не везло. Сперва он как-то выпал из поля зрения переводчиков и издателей, впоследствии же, в связи с печально известным большевистским постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград», которое мое поколение «проходило» еще в школе, был практически отменен, как и творчество многих поэтов английского романтизма, объявленного тогда «реакционным» – в противоположность наследию Байрона и Шелли, декретированному как «революционное». Лишь после 1960 года мы смогли прочитать два канонических образца этой прозы в достойных их переводах – «Замок Отранто» (перевод В. Шора) и «Мельмот Скиталец» (перевод А. Шадрина). обстоятельные и глубокие сопроводительные статьи к этим изданиям написали В. М. Жирмунский, Н. А. Сигал и М. П. Алексеев. К этим статьям, как и к текстам романов, с удовольствием отсылаю тех, кто хотел бы расширить свое знакомство с английским «готическим» романом и его авторами.⁸ Получили мы также возможность прочесть и изящные пародийные вариации на «готическую» тему, принадлежащие мастерам английской прозы XIX века – Джейн Остен и Томасу Лаву Пикоку.⁹ Но выдающиеся памятники «готического» романа – книги Анны Радклиф и «Монах» М. Г. Льюиса – продолжали оставаться «белыми пятнами» на карте нашего чтения.

Теперь одно из них закрыто. Перевод И. Г. Гуровой, не сомневаюсь, еще будет оценен в должной мере в контексте крупнейших наших удач последних десятилетий, связанных с переводом на русский английский классики. Но уже сейчас ясно, что мы получили книгу, со страниц которой, разворачивая удивительную фантастическую сказку, полную немыслимых

⁸ Байрон. Дневники. Письма. М., 1963, с. 73.

⁹ Остен Дж. Нортенгерское аббатство. Пер. с англ. И. Маршака. – В кн.: Остен Дж. Собр. соч. В 3-х т., т. 2. М., 1988; Пикок Т.-Л. Аббатство кошмаров. Пер. с англ. Е. Суриц. – В кн.: Пикок Т.-Л. Аббатство кошмаров. Усадьба Грилла. М., 1988.

приключений, к нам обращается на русском языке наполовину мальчик, наполовину мужчина, блудное дитя своего рационалистического века, принадлежащее уже другой эпохе, – первый состоявшийся романтик великой английской литературы. Обращается на языке внятном и чистом, свободном и от новомодной развязности, и от натужной для современного уха архаики додержавинских времен. Говорит же он о вещах странных, страшных и непривычных, но увлекающих нас и сегодня благодаря труду переводчика.

Повторим вслед за Вальтером Скоттом, воздавшим в свое время должное предшественнику «Монаха» Льюиса – Горацию Уолполу: «В общем, мы не можем не принести дани нашей признательности тому, кто умеет вызывать в нас столь сильные чувства, как страх и сострадание...»¹⁰

Или – понимание, сочувствие, интерес, что тоже не мало.

В. СКОРОДЕНКО

ПРЕДИСЛОВИЕ



*Somnia, terrores magicos, miracula, fagas,
Nocturnos lemurs, portentaque.*

HORATIUS ¹¹

ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ

(Послание 20, кн. I)

Никак, тщеславия полна,
Глядишь ты, Книга, из окна
На Патерностер знаменитый.
Известность мнишь там обрести ты,
Где авторы за славу бьются,
Но чаще с носом остаются.
Мечтаешь ты, как в позолоте
И самом лучшем переплете
В витрине выставит на свет
Тебя Стокдейл или Дебретт.

¹⁰ Цит. по книге.: Уолпол Г. Замок Отранто и др., с. 243.

¹¹

Магические страхи, чары, сны,
Ночные призраки и колдуны.

ГОРАЦИЙ

Иди ж, гордынею объята,
Туда, откуда нет возврата
Для дерзких неразумных книг!
Тебя там отругают вмиг,
Коль все-таки окажут честь
Не сразу бросить, а прочесть.
Суровым критиком избита,
На пыльной полке позабыта,
Припомнишь, мучаясь тоской,
Меня, свой ящик и покой!

Гадателя возьму я роль,
Свою судьбу узнать изволь!
Запомни же мои слова:
Чуть перестанешь быть нова,
То в темном и сыром углу
Валяться будешь на полу.
И будет червь тебя точить.
А то и в лавку, может быть,
Твои страницы попадут,
В них свечи ловко завернут.

Но коль замечена ты будешь,
Коль интерес к себе пробудишь,
Глядишь, читатель благосклонный
Займется и моей персоной.
Ответь ему, раз слушать рад,
Что я не беден, не богат,
Страстей игрушка, тороплив,
Мал ростом, очень некрасив.
Немногим нравлюсь я вполне,
Немногие по сердцу мне.
Когда люблю иль ненавижу,
Пределов никаких не вижу.

Мне неприятных не терплю,
Тех, кто понравится, люблю.

В суждениях чересчур поспешен,
Ошибками нередко грешен.
Не предаю друзей моих,
Но сам измены жду от них.
Считать научен нашей эрой
Я дружбу чистою химерой.
Безмерно пылок, горд, упрям,
И не прощаю я врагам.
А вот за тех, кем я любим,
Пройду сквозь пламя и сквозь дым,

Коль спросят вдруг без лишних слов:
«Но возраст автора каков?»
Ты прямо говори в ответ,
Что мне сравнялось двадцать лет,
Когда у рубежа столетий
Георг сидел на троне Третий.

Что ж, Книга милая, прости!
Иди! Счастливого пути.

М. Г. Л.

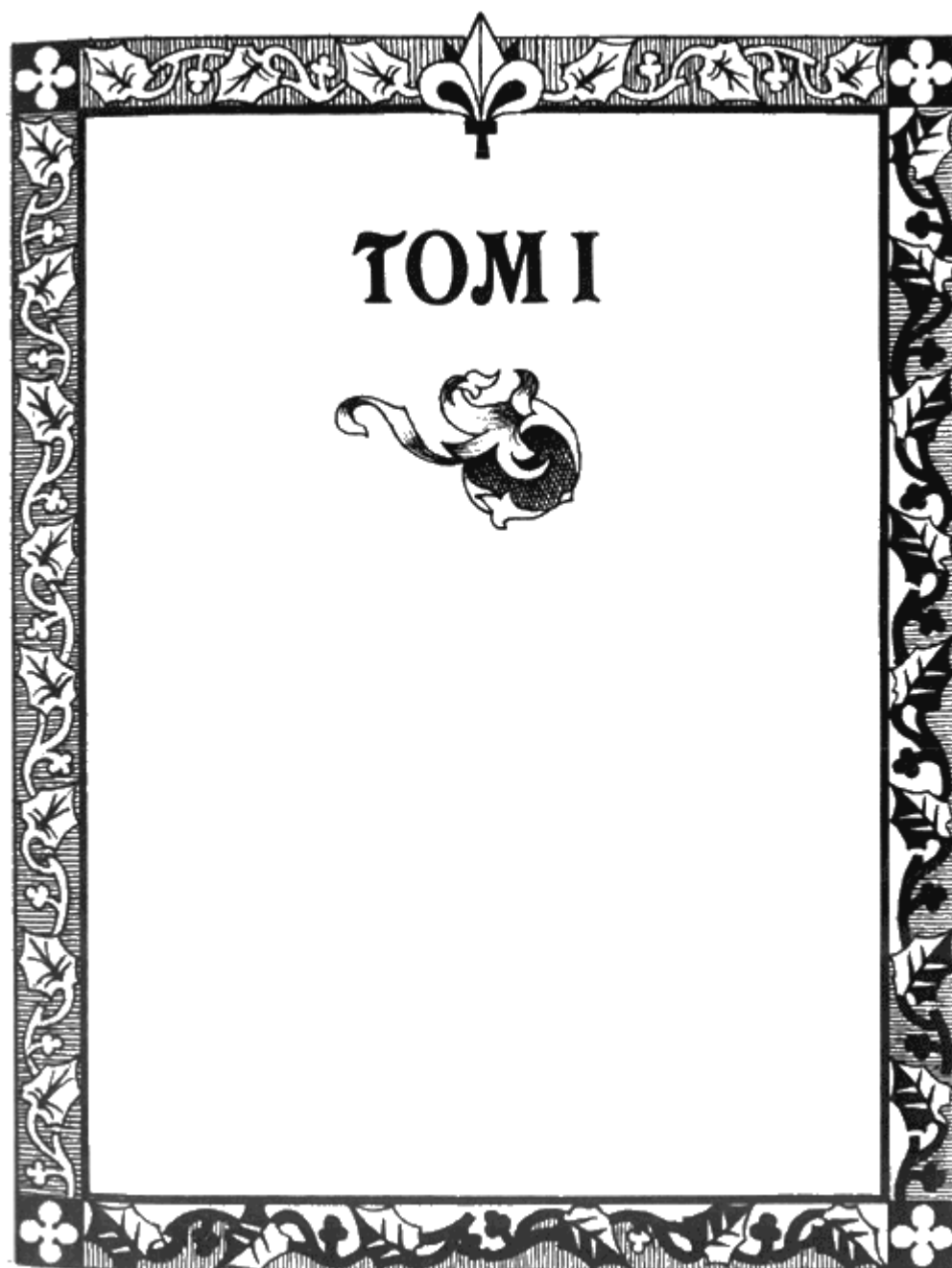
Гаага, 28 октября: 1794 года

ПРЕДВАРЕНИЕ



Идею этого романа подсказала история Сантона Барсиса, изложенная в «Гардиан». Легенда об Окровавленной Монахине по-прежнему пользуется верой во многих частях Германии, и мне говорили, что на границе Тюрингии еще можно видеть развалины замка Лауенштейн, ее обиталища. Строфы «Водяного царя» с третьей по двенадцатую – это отрывок из подлинной датской баллады. А «Белерма и Дурандарте» – перевод, оригинал которого можно найти в сборнике старинной испанской поэзии, содержащем также народную песню о Гайферосе и Мелесиндре, упомянутую в «Дон Кихоте».

Итак, я признался во всех случаях плагиата в книге, известных мне самому. Но, полагаю, возможно, еще сыщется много таких, которые сам я пока не заметил.



ТОМ I



ГЛАВА I

*Граф Анжело и строг и безупречен,
Почти не признается он, что в жилах*

*Кровь у него течет и что ему
От голода приятней все же хлеб,
Чем камень.*

«МЕРА ЗА МЕРУ»¹²

Колокол не звонил еще и пяти минут, а церковь при капуцинском монастыре уже наполнялась прихожанами. Не обольщайтесь мыслью, будто стекались они туда, влекомые благочестием или жаждой просвещения. Лишь очень немногими руководили эти чувства, ибо в городе, где суеверие столь всевластно, как в Мадриде, тщетно искать искреннюю набожность. И богомольцев в церкви Капуцинов собрали разные причины, но только не та, которая якобы привела их в храм. Женщины явились показать себя, мужчины – поглазеть на них; некоторые любопытствовали послушать прославленного проповедника, другие не нашли иного способа скоротать время перед театральным представлением; иные поторопились, потому что их заверили, будто в церковь невозможно будет войти, а половина Мадрида поспешила туда в чаянии встретить другую половину. Искренне желали послушать проповедника лишь горстка дряхлых благочестивцев и благочестивиц да десятков его соперников на поприще духовного красноречия, заранее вознамерившихся разбранить и высмеять его поучения. Что до остальных прихожан, то, останься проповедь произнесенной, они ничуть не огорчились бы, а, весьма вероятно, даже не заметили бы, что лишились ее.

Но как бы то ни было, церковь Капуцинов еще никогда не видела в своих стенах столь многочисленного собрания. Ни единого свободного уголка, ни единого незанятого сиденья – пощады не было дано даже статуям, украшавшим длинные проходы. На крыльях херувимов повисли мальчишки, святой Франциск и святой Марк оба несли на плечах по зрителю, а святая Агата терпела двойную тяжесть. Вот почему две наши новоприбывшие, как ни торопились, войдя в церковь, тщетно искали взглядом свободное местечко.

Однако старшая, ничтоже сумняшеся, продолжала пробираться вперед. Напрасны были раздававшиеся со всех сторон негодующие возгласы, напрасно к ней зывали: «Уверяю вас, сеньора, тут все занято», «Прошу, сеньора, не толкайте меня так сильно!», «Сеньора, здесь невозможно пройти! И как это люди позволяют себе подобное!» – пожилая богомолка упрямо двигалась дальше. Упорство и два могучих локтя помогли ей проложить путь сквозь толпу почти к самой кафедре. Ее спутница в полном молчании робко следовала за ней, пожиная плоды усилий своей проводницы.

– Пресвятая Дева! – разочарованным тоном воскликнула та, оглядываясь по сторонам. – Пресвятая Дева! Какая духота! Какая толпа! Что бы это значило, хотела бы я знать! Пожалуй, нам придется уйти. Ни одного свободного сиденья, и никто как будто не желает уступить нам свое.

Этот прозрачный намек привлек внимание двух кавалеров, которые, занимая два табурета по правую руку от прохода, прислонялись спиной к седьмой колонне от кафедры. Оба были молоды и одеты пышно. Услышав женский голос, зывавший к их учтивости, они прервали беседу и посмотрели на говорившую. Она откинула покрывало, чтобы яснее рассмотреть внутренность храма. Волосы у нее были рыжие, она косила. Кавалеры отвернулись и возобновили разговор.

– О, конечно! – ответила ее спутница. – О, конечно, Леонелла, вернемся сейчас же домой. Здесь так жарко и душно! А многолюдие меня пугает.

Слова эти были сказаны удивительно мелодичным голосом. Кавалеры вновь прервали беседу, но на этот раз не удовлетворились одним только взглядом, а невольно встали и повернулись к той, что их произнесла.

¹² Здесь и далее произведения Шекспира цитируются по Полному собранию сочинений. М., Искусство, 1960. (Примеч. переводчика.)

Стройная изящная фигура вызвала у юношей живейшее желание увидеть лицо говорившей. Но в этом им было отказано: черты ее были скрыты под покрывалом. Однако, пока их владелица пробиралась через толпу, покрывало несколько сбилось в сторону, открыв шею, которая красотой и симметричностью могла бы поспорить с шеей Венеры Медицейской. Она поражала ослепительной белизной и вдвойне пленяла, потому что ее оттеняли золотистые локоны, ниспадавшие до талии. Неизвестная была скорее ниже, чем выше среднего роста, но легкостью и воздушностью сложения напоминала дриаду. Грудь ее была тщательно укрыта покрывалом. Белое платье, стянутое кушаком, позволяло увидеть кончик прелестнейшей ножки. С запястья свисали крупные четки, лицо же пряталось за завесой из плотного черного газа. Такова была та, кому младший из юношей уже предлагал свой табурет, а его товарищ счел необходимым оказать ту же услугу ее пожилой спутнице, которая, рассыпаясь в изъявлениях благодарности, не замедлила воспользоваться его любезностью и села.

Младшая последовала ее примеру, но в знак признательности только сделала простой и грациозный реверанс. Дон Лоренцо (так звали кавалера, уступившего ей место) встал подле нее. Но прежде он шепнул несколько слов на ухо своему другу, который тотчас попытался отвлечь внимание своей дамы от обворожительного создания, которое она опекала.

– Без сомнения, вы в Мадриде совсем недавно, – сказал дон Лоренцо прекрасной соседке. – Ведь невозможно, чтобы такие чары оставались не замеченными долго. Будь это не первый ваш выход в свет, зависть женщин и преклонение мужчин уже прославили бы вас.

Он умолк в ожидании, но, так как его речь не требовала непременно ответа, красавица не разомкнула уст, и через несколько мгновений он продолжал:

– Я ошибся, предположив, что вы лишь недавно в Мадриде?

Она заколебалась, но наконец голосом столь тихим, что его трудно было расслышать, произнесла:

– Нет, сеньор.

– Вы намереваетесь остаться в столице долгое время?

– Да, сеньор.

– Я почел бы себя счастливым, будь в моей власти сделать ваше пребывание здесь приятнее. Меня в Мадриде знают, и моя семья пользуется некоторым влиянием при дворе. Если в моих силах чем-либо услужить вам, вы не могли бы сделать мне большей чести и большего одолжения, дозволив быть вам полезным. («Уж конечно, – сказал он себе, – ответить на это она одним словом не сумеет и вынуждена будет заговорить со мной!»)

Однако Лоренцо ошибся: она ответила ему лишь легким поклоном.

Теперь он окончательно убедился, что его соседка не слишком словоохотлива, но что было причиной ее молчаливости – гордость, благоразумие, робость или глупость, решить не мог.

Спустя минуту-другую он сказал:

– Несомненно, вы остаетесь под покрывалом потому, что еще не успели узнать наши обычаи. Позвольте, я помогу вам снять его.

И он протянул руку к черному газу, но красавица подняла ладонь, чтобы помешать ему.

– Я никогда не открываю лица на людях, сеньор.

– Но что тут плохого, хотела бы я знать? – перебила ее спутница резким тоном. – Ты ведь видишь, что все дамы и девицы сняли покрывала, без сомнения, из почтения к святому месту, где мы находимся? И я сняла свое, а уж ежели я открываю лицо всем взглядам, у тебя не может быть причин для такой робости! Пресвятая Дева Мария! Сколько жеманства из-за личика. Дитя! Открой его. Поверь мне, никто его у тебя не похитит...

– Милая тетенька, в Мурсии это не в обычае.

– В Мурсии, скажите на милость! Святая Варвара, до каких же пор! Вечно ты мне напоминаешь об этой мерзкой глуши. Если таков мадридский обычай, ничего другого нам знать не надо, а потому я желаю, чтобы ты сейчас же сняла покрывало. Повинуйся мне немедленно, ты знаешь, я не терплю возражений...

Племянница промолчала, но не воспротивилась, когда дон Лоренцо, вооружившись разрешением тетушки, поспешил снять с нее покрывало. Какая ангельская головка предстала его восхищенному взору! И все же она была не столько красивой, сколько обворожительной, пленяя не правильностью черт, а нежностью и прелестью выражения. Взятые по отдельности черты ее не были лишены изъянов, но сочетание их восхищало. Ее кожа, хотя и белоснежная, кое-где была тронута веснушками, глаза не отличались величиной, а ресницы – длиной. Но губы у нее были свежими и алыми, золотистые волосы, перехваченные простой лентой, ниспадали до пояса волнами пышных локонов. Изумительно красивая шея, руки и пальцы отличала безупречная гармоничность, кроткие голубые глаза таили безмятежность небес и искрящийся блеск алмазов. Ей нельзя было дать более пятнадцати лет. Игравшая на ее губах лукавая улыбка свидетельствовала о живости нрава, которую в эту минуту умеряла застенчивость. Она бросала вокруг робкие взоры и едва встречала взгляд Лоренцо, как тотчас потупляла глаза на четки и, залившись румянцем, начинала их перебирать, но, судя по ее движениям, не замечала того, что делает.

Лоренцо смотрел на нее с восхищенным изумлением, но тетушка сочла нужным извиниться за *mauvaise honte*¹³ Антонии:

– Она еще совсем дитя и не знакома со светом и его обычаями. Росла она в Мурсии в старом замке под надзором только своей матушки, а у той, Господи помилуй ее, ума хватает, разве чтобы ложку с супом мимо рта не пронести. А ведь добрая душа мне сестра и по отцу и по матери.

– И столь неразумна? – спросил дон Кристоаль с притворным изумлением. – Как странно!

– Правда ваша, сеньор. Не удивительно ли? Однако так оно и есть. Но подумайте, как счастье улыбается некоторым. Молодой, весьма знатный юноша вообразил, будто Эльвира может считать себя красавицей... Ну, считать-то она считала, но вот была ли!.. Да если бы я хоть вполтину так прихорашивалась, как она... Хотя это просто к слову. А сказать я хотела, что молодой вельможа влюбился и женился на ней без ведома своего отца. Союз их сохранялся в тайне три года, но затем о нем прознал старый маркиз и, как можете догадаться, доволен не остался, но поспешил в Кордову, намереваясь схватить Эльвиру и запрятать куда-нибудь, чтобы она и вести о себе подать не могла. Святой Павел! Как он гневался, узнав, что она спаслась от него, воссоединилась с мужем и они отплыли в Индии. Он осыпал нас проклятиями, словно в него вселился Злой Дух. И бросил в темницу нашего отца, такого честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало, а когда уехал, то имел жестокость увезти от нас малютку сына моей сестры, которого та, вынужденная к поспешному бегству, взять с собой не могла. Полагаю, бедный крошка терпел от него самое дурное обращение, потому что не прошло и нескольких месяцев, как мы получили известие о его смерти.

– Что за ужасный старик, сеньора!

– О, самый гнусный! И к тому же совершенно лишенный вкуса! Поверите ли, сеньор, когда я пыталась успокоить его, он с проклятием назвал меня ведьмой и пожелал, чтобы моя сестра в наказание графу стала такой же безобразной, как я. Безобразной, подумать только! Я ему очень признательна.

– Какая нелепость! – вскричал дон Кристоаль. – Без сомнения, граф почел бы себя счастливым, если бы ему было дозволено обменять одну сестру на другую.

– Господи помилуй! Сеньор, вы весьма учтивы. Однако я сердечно рада, что граф был иного мнения. Много радости все это принесло Эльвире! Тринадцать долгих лет жарясь и парясь в Индиях, ее супруг умирает, и она возвращается в Испанию, не имея ни дома, чтобы преклонить там главу, ни денег, чтобы купить его. Антония, вот она, была тогда еще крошкой, единственным ее ребенком, оставшимся в живых. Эльвира узнала, что ее свекор снова женился, что графа он не простил и что его вторая жена подарила ему сына, теперь, по

¹³ Здесь: неловкость (*фр.*).

слухам, выросшего в весьма достойного юношу. Старый маркиз не пожелал увидеть мою сестру и ее дочь, однако, поставив условие, что больше ему о ней слышать не придется, он назначил ей небольшое содержание и разрешил жить в принадлежащем ему в Мурсии старом замке. Замок этот особенно любил его старший сын, и после бегства того из Испании старый маркиз возненавидел его и оставил ветшать и разрушаться. Моя сестра согласилась, уехала в Мурсию и прожила там до прошлого месяца.

— И что же привело ее теперь в Мадрид? — осведомился дон Лоренцо, который, восхищаясь юной Антонией, с интересом слушал рассказ ее болтливой тетки.

— Увы, сеньор! Ее свекор недавно скончался, и управляющий его мурсийским имением отказался выплачивать ей содержание. И вот в надежде упротить его сына и наследника дать распоряжение, чтобы она продолжала получать эту скудную сумму, моя сестра отправилась в Мадрид. Но, полагаю, она могла бы избавить себя от хлопот. Ведь у вас, знатных молодых людей, всегда находится применение вашим деньгам, и тратить их на старух вы не очень-то склонны. Я посоветовала сестрице послать с прошением Антонию, но она и слышать об этом не желает. Такая упрямая! Ну, пренебрегая моими советами, она себе же хуже делает, — у девочки такое миленькое личико, и, надобно полагать, она многого достигла бы!

— Ах, сеньора, — перебил дон Кристоаль, напуская на себя страстный вид, — если тут достаточно миленького личика, почему же ваша сестрица не обратилась к вам?

— Святый Боже! Любезный сеньор, вы, право, смущаете меня своей галантностью. Но признаюсь, мне слишком хорошо известны опасности, сопряженные с такими поручениями, и я не позволю себе оказаться во власти знатного юноши! Нет-нет, я до сих пор храню безупречной мою добрую славу и всегда умела держать мужчин на почтительном расстоянии.

— В этом, сеньора, у меня нет ни малейших сомнений. Но разрешите спросить, питаете ли вы отвращение к супружеству?

— Ну, это простой вопрос. Не могу не признаться, что достойный кавалер, явись он...

Тут престарелая кокетка хотела бросить на дона Кристоаля нежный и выразительный взгляд, но так как, к несчастью, страдала ужасным косоглазием, взгляд этот упал на его друга, и Лоренцо, приняв комплимент на свой счет, ответил глубоким поклоном.

— Не могу ли я, — сказал он, — осведомиться об имени маркиза?

— Маркиз де лас Систернас.

— Я близко с ним знаком. Сейчас он не в Мадриде, но его ожидают со дня на день, и если прелестная Антония разрешит мне быть ходатаем за нее, не сомневаюсь, я сумею представить ее просьбу самым убедительным образом.

Антония подняла на него голубые глаза и безмолвно поблагодарила его улыбкой неизъяснимой прелести. Леонелла выразила свою радость куда более бурно и громко. Так как в ее обществе племянница обычно молчала, она считала обязательным говорить за двоих, что не слишком ее затрудняло, ибо запас слов у нее был неисчерпаемый.

— Ах, сеньор! — вскричала она. — Вся наша семья будет вам чрезвычайно обязана! Я принимаю ваше предложение со всей возможной признательностью и приношу вам тысячу благодарностей за ваше великодушное предложение. Антония, дитя, почему ты молчишь? Кавалер говорит тебе тысячи лестных вещей, а ты сидишь, будто статуя, и даже словечка благодарности не проронишь!

— Милая тетушка, я всем сердцем чувствую...

— Фи! Племянница, сколько раз я тебе твердила, что перебивать — верх неучтивости?! Ты когда-нибудь видела, чтобы я позволяла себе подобное? Это в Мурсии себя так ведут! Бог мой! Мне, видно, не удастся научить эту девочку приличным манерам! Но объясните, сеньор, — обратилась она к дону Кристоалю, — почему нынче в церкви такая теснота?

— Неужто вы не знаете, что каждый четверг Амбросио, настоятель монастыря Капуцинов, проповедует в этой церкви? Весь Мадрид гремит похвалами ему. Проповедовал он до сих пор всего трижды, но те, кто его слышал, пришли в такой восторг, что теперь найти свободное место в этой церкви в четверг не легче, чем в театре, когда дают новую

комедию. Слава его не могла не достигнуть ваших ушей...

– Увы, сеньор! Впервые увидеть Мадрид я имела счастье лишь вчера, а в Кордове мы так мало знаем о том, что происходит в мире, что имя Амбросио там не упоминалось ни разу.

– В Мадриде же оно у всех на устах. Он словно заморозил здешних жителей, и сам я, не побывав еще на его проповедях, дивлюсь восторгам, которые он вызывает. Поклонение, каким его равно окружают молодые и старые, мужчины и женщины, поистине беспримерно. Гранды осыпают его подарками, их супруги желают исповедоваться только у него, и в городе его называют не иначе как «святой».

– Без сомнения, сеньор, он благородного происхождения...

– Это до сих пор остается неизвестным. Покойный аббат капуцинского монастыря нашел его у дверей несмышленным младенцем. Все усилия узнать, кто он, остались бесплодными, а ребенок, разумеется, не мог ничего рассказать о своих родителях. Его вырастили и воспитали в монастыре, стен которого он с тех пор не покидал ни разу. С ранних лет в нем проявилась сильнейшая склонность к ученым занятиям и уединению, и, едва достигнув совершеннолетия, он принял монашество. Никто так и не явился назвать его своим или раскрыть тайну его рождения, монахи же, видя, какой почет приносит обители такое объяснение, не устают повторять, что его им даровала Пресвятая Дева. И правду сказать, необычайная строгость его жизни придает правдоподобие их словам. Он достиг тридцати лет, и каждый их час прошел в благочестивых занятиях, полной удаленности от мира и умерщвлении плоти. До последних трех недель, когда его избрали настоятелем обители, он не покидал ее стен, но и теперь он выходит из монастыря лишь по четвергам и не далее этой церкви, куда послушать его стекается весь Мадрид. Знания его, говорят, чрезвычайно глубоки, красноречие на редкость убедительно. За всю свою жизнь он, насколько известно, ни в чем не нарушил устава своего ордена, ни единое пятнышко не грязнит белоснежных его риз, и, по слухам, он так строго блюдет завет целомудрия, что не знает, в чем заключено отличие мужчины от женщины. Поэтому простонародие и почитает его святым.

– Неужто этого достаточно для святости? – спросила Антония. – Но ведь тогда святой должна слыть и я!

– Святая Варвара! – вскричала Леонелла. – Что за вопрос! Фи, дитя, фи! О таких вещах молодым девицам говорить не пристало. Ты даже думать не должна, что на свете существуют мужчины, но полагать всех людей одного пола с тобой. Посмотрела бы я, как ты вдруг призналась бы в неведении того, что у мужчины нет груди, нет бедер, нет...

К счастью для неосведомленности Антонии, которую нотация тетюшки вот-вот могла просветить, пронесшийся по церкви ропот возвестил о приходе проповедника. Донья Леонелла встала, чтобы получше его рассмотреть, и Антония последовала ее примеру.

Облик монаха был благороден и исполнен властного достоинства. Его отличал высокий рост, а лицо было необыкновенно красивым – орлиный нос, большие темные сверкающие глаза, черные, почти сходящиеся у переносья брови. Лицо было смуглым, но кожа очень чистой. Ученые занятия и долгие бдения придавали его щекам мертвенную бледность. Безмятежность одевала его гладкое, без единой морщины чело, а душевное спокойствие, которым дышали его черты, казалось, свидетельствовало, что человеку этому неведомы ни суетные заботы, ни соблазны. Он смиренно поклонился пастве, однако в его глазах и манерах чудилась суровость, внушавшая всем благоговейный страх, и мало кто мог выдержать его взор – огненный и пронзительный. Таков был Амбросио, настоятель капуцинского аббатства, прозванный святым.

Антония глядела на него как зачарованная и, внезапно ощутив в груди доселе ей неведомый приятный трепет, тщетно искала ему объяснения. С нетерпением она ждала начала проповеди, и, когда наконец монах нарушил молчание, звук его голоса словно проник ей в самую душу. Хотя никто другой в церкви не испытывал столь сильного чувства, как юная Антония, тем не менее все слушали его внимательно и растроганно. Даже те, кому религиозный жар был чужд, не оставались равнодушны к красноречию Амбросио. Говоря,

он полностью подчинял их себе, и в переполненной церкви царила глубокая тишина. Даже Лоренцо не устоял перед этим обаянием и, забыв про сидящую рядом Антонию, сосредоточился на словах проповедника.

Жарким, простым и ясным языком монах превозносил блага веры. Некоторые сложные места Святого Писания он толковал с неотразимой убедительностью. Когда он обличал пороки человеческие и обрисовывал кары, ожидающие за них в мире ином, голос его, низкий и звучный, внушал ужас, как грозные раскаты бури. Всяк вспоминал свои прегрешения и содрогался, ожидая удара грома, который сокрушит его и разверзнет у его ног бездну вечной гибели. Но когда Амбросио, оставив эту тему, заговорил о сладости чистой совести, о вечном блаженстве, уделе душ, не запятнанных грехом, о награде, ожидающей такую душу в непроходящей благодати и блеске, его слушатели ощущали, как к ним возвращаются их упования. Они с надеждой поручали себя милосердию своего Судии, с восторгом впивали утешительные слова проповедника и с гармоничными звуками его голоса переносились в те счастливые сферы, которые он живописал их воображению столь яркими и сверкающими красками.

Длилась проповедь довольно долго, но слушателям, когда она кончилась, показалось, что произошло это слишком скоро. Хотя монах умолк, в церкви продолжала царить благоговейная тишина. Но мало-помалу очарование рассеялось, и со всех сторон послышались восторженные восклицания. Едва Амбросио спустился с кафедры, как слушатели окружили его, осыпая благословениями, бросаясь к его ногам и целуя край его одеяния. Медленным шагом, благочестиво скрестив руки на груди, он направился к двери, ведущей в часовню аббатства, где его ожидала монастырская братия. Он поднялся по ступеням, а затем обернулся к своей пастве и произнес несколько слов благодарности и назидания. В этот миг большие янтарные четки выскользнули из его пальцев и упали в окружающую толпу. Их тотчас схватили и разделили между собой по шарику. И те, кому достались янтарные бусины, клялись хранить их, как святую реликвию. Принадлежи четки самому трижды блаженному святому Франциску, спор из-за них не мог бы стать более жарким. Аббат, улыбнувшись их рвению, еще благословил мирян и покинул церковь с лицом, исполненным смирения. Но было ли исполнено смирением его сердце?

Глаза Антонии провожали его с печалью, и, едва дверь за ним затворилась, ей почудилось, что она утратила нечто, без чего счастье невозможно. По ее щеке скатилась безмолвная слеза.

«Он чужд миру! – сказала она себе. – Наверно, я никогда больше его не увижу!»

Она смахнула слезы с глаз, и Лоренцо заметил это.

– Вам понравился наш проповедник? – спросил он. – Или вам кажется, что Мадрид преувеличивает его достоинства?

Сердце Антонии переполняло такой восторг перед монахом, что она с живостью воспользовалась возможностью поговорить о нем. К тому же Лоренцо более не казался ей совсем незнакомым человеком, и сильная природная застенчивость уже не так ее смущала.

– Ах! Он далеко превзошел все мои ожидания, – ответила она. – До этой минуты я ничего не знала о власти красноречия. Но едва он заговорил, как его голос преисполнил меня таким интересом, таким благоговением и даже могу сказать – такой любовью к нему, что я сама удивляюсь силе моих чувств.

Лоренцо улыбнулся бурности ее выражений.

– Вы молоды и лишь вступаете в жизнь, – сказал он. – Мир еще внове вашему сердцу, оно полно жара и чувствительности, а потому жадно воспринимает новые впечатления. Вы бесхитростны, не способны подозревать в обмане других и, взирая на мир правдивыми и невинными глазами, воображаете, будто все вокруг вас заслуживает вашего доверия и уважения. Как жаль, что эти радостные грезы скоро рассеются! Как жаль, что скоро вы неизбежно убедитесь в низости людской и будете беречься ближних, будто злейших врагов!

– Увы, сеньор! – отвечала Антония. – Злосчастья моих родителей уже открыли мне много печальных примеров людского вероломства! Однако же сейчас мои чувства не могли

меня обмануть.

– Признаю, что на этот раз так оно и есть. Амбросио заслуженно называют безупречным, а к тому же человеку, всю жизнь проводящему в стенах монастыря, не выпадает случая запятнать себя грехом, даже если у него и были бы такие наклонности. Но теперь, когда новые обязанности вынуждают его соприкасаться с миром сует и подвергаться соблазнам, именно теперь ему и надлежит явить весь блеск своих добродетелей. Испытание очень опасное: ведь он как раз достиг возраста, когда страсти обретают особенную силу, необузданность и власть. Слава его святости делает его желанной добычей искушения. Новизна придает особую заманчивость наслаждениям, и даже достоинства, которыми его наделила Природа, могут способствовать его гибели, открывая легкие пути достижения цели. Мало кто выходит победителем из подобной схватки.

– О! Но, несомненно, Амбросио будет одним из немногих!

– В этом я и сам не сомневаюсь. По общим отзывам, он исключение из рода человеческого, и Зависть тщетно пыталась бы найти в его натуре хоть малый изъян.

– Сеньор, ваше заверение очень меня радует. Оно подтверждает, что в моем расположении к нему нет ничего дурного, а вы и представить себе не можете, как больно мне было бы подавить в себе это чувство. О дражайшая тетушка, попросите матушку, чтобы она избрала его нашим духовником.

– Просить ее? – сказала Леонелла. – Вот уж нет! Мне этот Амбросио совсем не понравился. У него такой суровый вид, что он вверг меня в дрожь. Стань он моим духовником, я и в половине своих грешков побоялась бы ему признаться, и что тогда со мной случилось бы? Более строгого человека я в жизни не видывала и, надеюсь, больше никогда не увижу! Описывая Дьявола, – Господи спаси нас и помилуй! – он напугал меня до смерти, а когда упоминал про грешников, так и казалось, что он их загрызть готов!

– Вы правы, сеньора, – согласился дон Кристоаль. – Избыток строгости – вот единственное, что вменяют в вину Амбросио. Сам свободный от людских слабостей, он недостаточно снисходителен к ним в других, и, хотя решения его справедливы и беспристрастны, он, управляя монастырем совсем недавно, уже успел показать свою непреклонность. Однако церковь почти опустела, так не разрешите ли проводить вас домой?

– Боже мой, сеньор! – вскричала Леонелла с напускным смущением. – Ни за что на свете! Если я вернусь домой в сопровождении столь галантного кавалера, моя щепетильная сестрица будет час мне выговаривать, а потом поминать про это что ни день. К тому же я предпочла бы, чтобы вы так не торопились сделать предложение...

– Предложение, сеньора? Уверю вас...

– Ах, сеньор, я верю в искренность вашего нетерпения. Но право же, мне нужна небольшая отсрочка. Ведь было бы неделикатно, если бы я приняла вашу руку так вдруг...

– Мою руку? Клянусь жизнью...

– О дражайший сеньор, не настаивайте, если любите меня! Ваше послушание я почту за доказательство вашей страсти. Я дам вам знать завтра, а пока прощайте. Но не могу ли я, любезные кавалеры, узнать ваши имена?

– Мой друг, – ответил Лоренцо, – граф д'Оссорио, а я – Лоренцо де Медина.

– Достаточно. Ну, дон Лоренцо, я передам сестрице ваше любезное предложение и сообщу вам ее ответ со всей поспешностью. Куда я могу его послать?

– Меня всегда можно найти во дворце Медина.

– Не замедлю послать вам весточку. Прощайте, кавалеры. Сеньор граф, молю вас умерить излишний пыл вашей страсти. Но в доказательство, что вы не навлекли на себя мое неудовольствие, и не желая, чтобы вы впали в отчаяние, примите этот знак моей благосклонности и иногда вспоминайте о вашей отсутствующей Леонелле.

С этими словами она протянула тощую морщинистую руку, которую ее предполагаемый обожатель поцеловал с такой видимой неохотой и неловкостью, что Лоренцо с трудом сдержал смех. Затем Леонелла поспешила вон из церкви, прелестная Антония молча последовала за ней, но в дверях невольно обернулась и обратила взор на

Лоренцо. Он поклонился, прощаясь с ней, она ответила реверансом и торопливо удалилась.

– Итак, Лоренцо, – сказал дон Кристобаль, едва они остались одни, – ты поспособствовал мне завязать чудесную интрижку! Заметив твой интерес к Антонии, я услужливо отпустил несколько пустых комплиментов тетке, и не прошло и часа, а я уже попал в женихи! Как ты вознаградишь меня за столь тяжкие страдания ради тебя? Чем отплатишь за поцелуй, который я запечатлел на костлявой лапе старой ведьмы? О дьявол! Она оставила на моих губах такой смрад, что от меня месяц будет разить чесноком. На Прадо меня примут за сбежавший оmlет или перезрелую луковицу!

– Признаю, мой бедный граф, – ответил Лоренцо, – твоя услуга была сопряжена с опасностью. Однако я далек от мысли, что опасность эта так уж велика, и, вероятно, буду просить тебя продлить свое ухаживание.

– Из этой просьбы я заключаю, что малютка Антония произвела на тебя впечатление.

– Не могу выразить тебе, как я ею очарован. С тех пор как скончался отец, мой дядя герцог де Медина не раз изъявлял желание увидеть меня женатым. До сих пор я пропускал его намеки мимо ушей и делал вид, что не понимаю их. Но после того, что я увидел нынче вечером...

– Ну? Так что же ты увидел нынче вечером? Право, дон Лоренцо, не обезумел же ты настолько, чтобы возмечтать о браке с внучкой «такого честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало»?

– Ты забываешь, что она, кроме того, внучка покойного маркиза де лас Систернаса. Но, не вступая в спор о благородном рождении и титулах, уверяю тебя, что я никогда не видел девушки пленительнее Антонии.

– Вполне возможно. Но ведь жениться на ней ты не собираешься?

– А почему нет, милый граф? Богатства у меня хватит на нас обоих, и тебе известно, что мой дядя чужд подобных предрассудков. А насколько я знаю Раймонда де лас Систернаса, он охотно признает Антонию своей племянницей. Следовательно, ее происхождение не препятствует мне предложить ей свою руку. И я был бы злодеем, если бы помышлял о ней иначе, чем как о своей жене. Она же, мне кажется, поистине щедро наделена всеми качествами, необходимыми, чтобы составить мое счастье в супружестве. Юная, прелестная, кроткая, разумная...

– Разумная? Но ведь она не проронила ничего, кроме «да» и «нет».

– Не спорю, она, правда, сказала немногим больше... Зато «да» и «нет» она произносила всегда к месту.

– Неужели? О, я ваш покорнейший слуга! Довод истинно влюбленного, и я не смею продолжать диспут со столь искусным казуистом. А не отправиться ли нам на комедию?

– Это не в моей власти. Я приехал в Мадрид лишь вчера вечером, и у меня еще не было случая увидеться с сестрой. Ты знаешь, ее монастырь находится на этой улице, и я направлялся к ней, когда толпа у входа в эту церковь возбудила во мне любопытство и желание узнать, почему она тут собралась. Но теперь я продолжу путь и, вероятно, проведу вечер с сестрой у решетки в приемной.

– Твоя сестра в монастыре? Ах да! Я было запомнил. И как поживает донья Агнеса? Я поражен, дон Лоренцо, как ты мог даже подумать о том, чтобы замуровать столь очаровательную девицу в стенах святой обители!

– Я, дон Кристобаль? Как мог ты заподозрить меня в подобном варварстве? Тебе известно, что она постриглась по собственному желанию, ведомы тебе и причины, подвигшие ее уйти от мира. Я употреблял все средства, бывшие в моей власти, чтобы она отступила от своего решения, но тщетно! И я лишился сестры!

– Счастливчик! По-моему, Лоренцо, благодаря этой потере ты многое приобрел. Если я не ошибаюсь, донья Агнесе в приданое предназначались десять тысяч пистолей и половина их отошла вашей милости! Клянусь святым Яго! Будь у меня пятьдесят сестер в таком же положении, я без грусти согласился бы лишиться их всех таким манером...

– Как, граф! – гневно перебил Лоренцо. – Вы полагаете, что я был настолько низок и

содействовал пострижению моей сестры? Вы полагаете, что подлое желание завладеть ее деньгами могло...

– Превосходно! Смелее, дон Лоренцо! Как он пылает яростью! Дай Бог, чтобы Антония смягчила этот бешеный нрав, не то и месяца не пройдет, как мы перережем друг другу глотки! Однако, дабы избежать подобного бедствия сейчас, я удаляюсь и оставляю поле брани за вами. Прощайте, рыцарь вулкана Этны! Умерьте вашу вспыльчивость и помните, что всякий раз, когда понадобится строить куры известной вам старой ведьме, я к вашим услугам!

С этими словами он бросился вон из церкви.

– Вертопрах! – пробормотал Лоренцо. – Как жаль, что при столь превосходном сердце у него нет ни капли здравого смысла!

Уже наступал вечер, но светильники еще не были зажжены, а слабые лучи восходящей луны почти не проникали в готический сумрак церкви. Лоренцо не находил в себе силы уйти оттуда. Холод, наполнивший его грудь после ухода Антонии и при воспоминании о жребии сестры, который дон Кристоаль заставил его столь живо себе представить, породил у него в душе меланхолию, с избытком гармонизировавшую с окружающим его соборным мраком. Он все еще прислонился к колонне седьмой от кафедры. По опустевшим приделам веяла прохлада, лунные лучи лились в церковь сквозь цветные стекла, одевая своды и массивные колонны узорами, слагавшимися из тысячи различных красок и оттенков. Вокруг царила глубокая тишина, нарушаемая порой лишь отдаленным стуком дверей где-то в монастыре за стеной.

Безмолвие часа и уединенность места усугубили меланхолию Лоренцо. Он опустился на ближайшую скамью и предался игре воображения. Он думал о брачном союзе с Антонией, он думал о препятствиях, которые может встретить на пути осуществления своего желания, и тысяча видений представляла его мысленному взору, правда печальных, но и сладостных. Незаметно он погрузился в дремоту, и владевшая им тихая грусть продолжала оказывать влияние на сонные грезы.

Он и во сне мнил себя в церкви Капуцинов, но уже не темной и не пустой. Со сводов лили яркие лучи бесчисленные серебряные светильники. Согласное пение невидимого хора сливалось с мощными звуками органа. Аналой был словно украшен для торжественного пиршества, вокруг собралось блистательное общество, а совсем близко стояла Антония в белом наряде невесты, чаруя румянцем целомудренной стыдливости.

С надеждой и боязнью взирал Лоренцо на это зрелище. Внезапно дверь, ведущая внутрь аббатства, распахнулась, и он увидел, как оттуда во главе вереницы монахов выходит проповедник, которому он недавно внимал с таким восхищением.

– Где жених? – спросил воображаемый настоятель.

Антония словно обвела церковь тревожным взглядом. Лоренцо невольно вышел из своего укромого уголка. Она увидела его, и ее ланиты одела краска радости. Пленительным жестом она поманила его, и он не послушался, но поспешил к ней и бросился к ее ногам.

Она отступила, а потом посмотрела на него с неизъяснимым восторгом.

– Да! – вскричала она. – Мой жених! Мой суженый!

С этими словами она сделала движение, чтобы пасть в его объятия. Но прежде чем он успел прижать ее к груди, между ними возник Некто. Рост его был гигантским, лицо темным, глаза ужасали свирепостью, уста изрыгали пламя, а на челе у него было начертано: «Гордыня! Любострастье! Бесчеловечность!»

Антония испустила вопль. Чудовище схватило ее и, прыгнув с ней на аналой, принялось терзать ее гнусными ласками. Тщетно пыталась она вырваться из его рук. Лоренцо бросился к ней на помощь, но в тот же миг загрохотал гром. Храм начал разваливаться, монахи с криками ужаса обратились в бегство, светильники погасли, аналой провалился сквозь плиты пола, и в них разверзлась пламенеющая бездна. С пронзительным и жутким воем чудовище рухнуло в пропасть, стремясь увлечь с собой Антонию. Но тщетно. Со сверхъестественной силой она вырвалась из гнусных объятий, но ее белое одеяние

осталось у него в лапах. И тотчас два сверкающих крыла развернулись за ее плечами. Она устремилась ввысь, обратив к Лоренцо такие слова:

– Друг! Мы встретимся в горнем мире!

В тот же миг крыша церкви раскрылась, под сводами зазвучали дивные голоса и Антония вознеслась навстречу такому всеобъемлющему сиянию, что Лоренцо был ослеплен. Глаза его перестали видеть, и он упал ничком на пол.

Пробудившись, Лоренцо обнаружил, что лежит на каменном полу церкви. Теперь она была освещена, и до него донеслись отдаленные звуки духовных песнопений. Несколько минут он не мог поверить, что все случившееся ему только привиделось, такое сильное впечатление произвел на него этот сон. Затем к нему вернулась ясность мысли, и он понял свое возбуждение – светильники были зажжены, пока он спал, а слышал он музыку и пение монахов, служащих вечерню в монастырской часовне.

Лоренцо встал, намереваясь направиться в монастырь сестры, но все еще продолжал раздумывать над своим сном. Он уже приблизился к двери, как вдруг его внимание привлекла тень, скользящая по стене напротив. Он с любопытством оглянулся и вскоре различил закутанного в плащ мужчину, который оглядывался, словно опасаясь, не следят ли за ним. Любопытство свойственно почти всем людям. Незнакомец что-то скрывал, и потому Лоренцо загорелся желанием узнать, что привело его в церковь.

Наш герой понимал, что не имеет права подсматривать за неизвестным кавалером. «Ухожу!» – сказал себе Лоренцо. И остался стоять, где стоял.

Тень колонны надежно скрывала его от незнакомца, который продолжал осторожно приближаться. Затем он вынул из-под плаща письмо и торопливо поместил его под колоссальной статуей святого Франциска, после чего быстро отступил в отдаленный придел и спрятался там.

«Ах, так! – сказал Лоренцо мысленно. – Просто глупая любовная интрижка. Что же, пожалуй, я уйду, ведь помочь я тут ничем не могу!»

Правда сказать, до этого мига ему и в голову не приходило, что он может чем-то помочь, но ему хотелось оправдаться перед собой, придумав причину, объяснявшую, что заставило его задержаться. Тут он второй раз направился к двери и без помех вышел. Однако судьба судила ему вновь вернуться в церковь. Он спускался по ступеням, как вдруг его толкнул какой-то взбегавший по ним кавалер, и они оба еле удержались на ногах. Лоренцо схватился за шпагу.

– Сеньор! – вскричал он. – Что означает ваша грубость?

– Ха! Медина, это ты? – ответил тот, и Лоренцо тотчас узнал голос дона Кристобала. – Поистине ты самый счастливый смертный во вселенной, что не покинул церкви до моего возвращения. Внутрь, внутрь, мой милый! Они вот-вот будут здесь.

– Кто будет здесь?

– Старая наседка со всеми своими прелестными цыпочками! Внутрь, говорят же тебе, и тогда ты все узнаешь.

Лоренцо следом за ним вернулся в церковь, и они укрылись за статуей святого Франциска.

– Ну а теперь, – сказал наш герой, – могу ли я позволить себе смелость спросить, отчего такая спешка и восторги?

– О Лоренцо! Мы увидим такое бесподобное зрелище! Сюда грядут настоятельница обители святой Клары и все ее монашенки! Узнай, что благочестивый отец Амбросио (да воздаст ему за то Господь!) не покидает своего монастыря ни для кого и ни для чего, а так как всякая приличная обитель только его хочет видеть своим исповедником, монахиням остается лишь приходить к нему в аббатство. Ведь если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. А настоятельница монастыря святой Клары, дабы вернее избежать нечистых взглядов вроде твоих или твоего покорного слуги, водит своих овечек исповедоваться в вечернем сумраке. В часовню аббатства они войдут вон через ту дверь, закрытую для мирян. Привратница ее монастыря, весьма достойная старушка и моя добрая приятельница, только

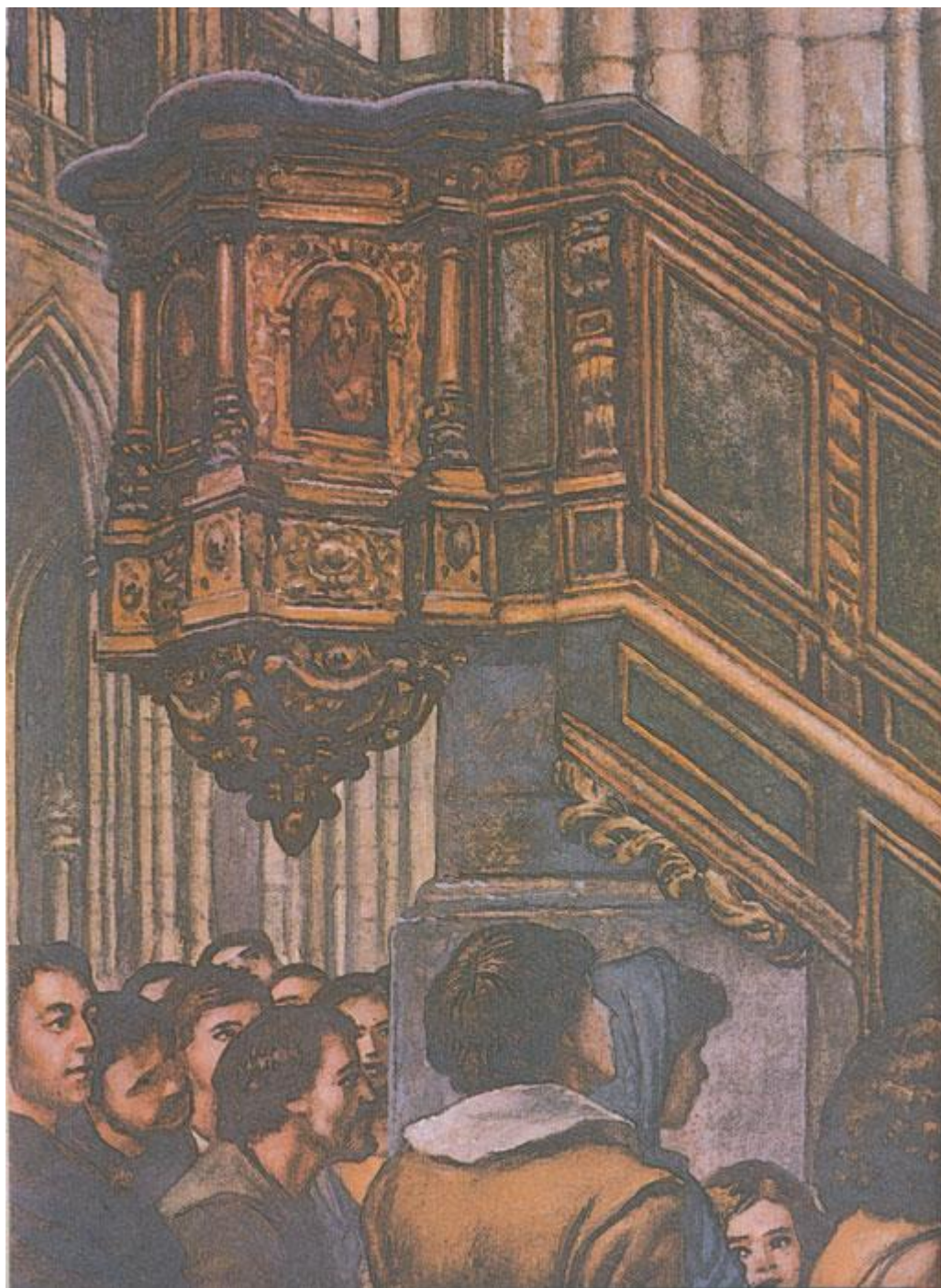
что заверила меня, что они будут тут через минуту-другую. Так вот, плутишка, мы сейчас увидим самые хорошенькие личики в Мадриде!

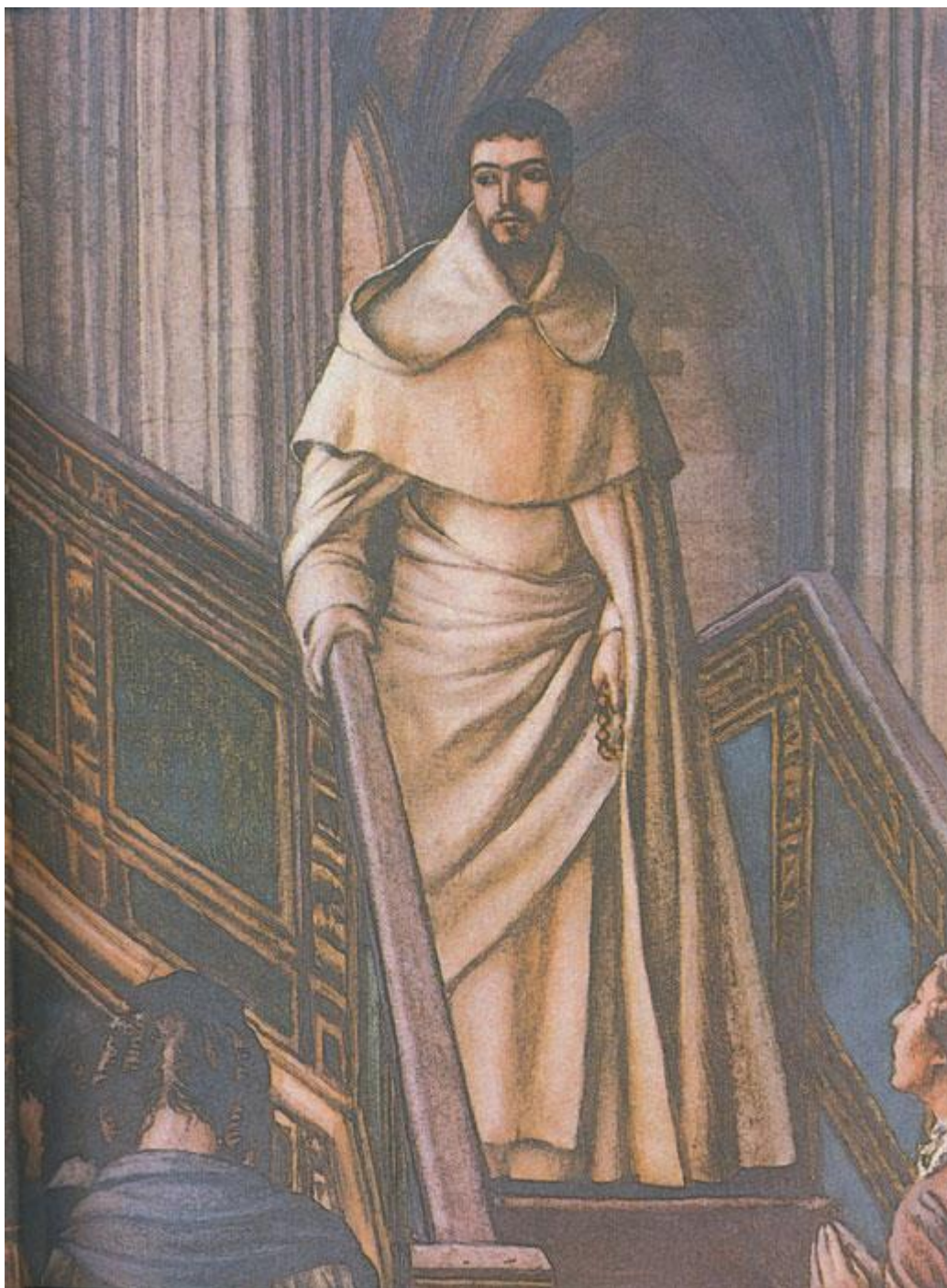
– Нет, Кристобаль! Мы их не увидим. Монахини всегда ходят под покрывалом.

– Ничего подобного! Ты ошибаешься: входя во храм, они снимают покрывала в знак уважения к его святому патрону. Но чу! Они приближаются. Молчи, молчи! Смотри и убедись!

«Отлично! – сказал себе Лоренцо. – Быть может, я открою, кому предназначил свои клятвы таинственный незнакомец в том приделе».









Едва дон Кристоаль умолк, как в дверь вошла настоятельница монастыря святой Клары во главе длинной вереницы монахинь. Каждая, переступив порог, снимала покрывало. Проходя мимо статуи святого Франциска, патрона этой церкви, настоятельница сложила руки на груди и низко перед ней склонилась. Монахини одна за другой повторяли ее поклон и шли дальше, а любопытство Лоренцо все еще оставалось неудовлетворенным. Он уже начинал отчаиваться, когда, склоняясь перед святым Франциском, одна из монахинь уронила четки и нагнулась их поднять. На ее лицо упал свет, и в тот же миг она ловко извлекла письмо из-под статуи, спрятала его на груди и поспешила вернуться на свое место в процессии.

– Ха! – тихим шепотом сказал Кристоаль. – Интрижка, не иначе!

– Агнеса, клянусь Небом! – воскликнул Лоренцо.

– Как! Твоя сестра? Дьявол! Полагаю, кому-то придется поплатиться за то, что мы подсмотрели тут.

– Да. И поплатиться немедленно! – ответил разгневанный брат.

Благочестивая процессия уже вошла в аббатство, и внутренняя дверь закрылась. Незвестный тотчас вышел из своего тайного убежища и поспешил к выходу. Но тут на пути у него встал Медина. Незвестный отступил и надвинул шляпу на глаза.

– Не пытайся укрыться от меня! – вскричал Лоренцо. – Я узнаю, кто ты такой и что было в этом письме!

– В каком письме? – повторил незвестный. – И по какому праву вы задаете этот вопрос?

– По законнейшему. Но не тебе задавать мне вопросы. Либо подробно объясни то, что я хочу узнать, либо пусть мне ответит твоя шпага.

– Второй ответ будет короче, – воскликнул незнакомец, обнажая шпагу. – Я готов, сеньор bravo! Начнем.

Пылая гневом, Лоренцо сделал выпад, и противники успели обменяться несколькими ударами, прежде чем Кристоаль, не в пример им сохранивший благоразумие, успел встать между ними.

– Остановитесь! Остановись, Медина! – вскричал он. – Вспомни кару за пролитие крови в освященном месте!

Незвестный тотчас опустил шпагу.

– Медина? – воскликнул он. – Великий Боже, возможно ли это? Лоренцо, неужели ты забыл Раймонда де лас Систернаса?

Изумление Лоренцо возрастало с каждой секундой. Раймонд шагнул к нему, но он с подозрением во взоре отнял руку, которую тот хотел взять.

– Вы здесь, маркиз? Что все это означает? Вы ведете тайную переписку с моей сестрой, чье сердце...

– Всегда было и остается моим. Но тут не место для объяснений. Проводи меня в мой дом, и узнаешь все. Кто тут с тобой?

– Тот, кого, сдается мне, вы видели и раньше, – ответил дон Кристоаль. – Хотя навряд ли в храме Божьем.

– Граф д'Оссорио?

– Он самый, маркиз.

– Я готов открыть мою тайну и вам, ибо не сомневаюсь, что могу положиться на вашу скромность.

– Значит, вы более высокого мнения обо мне, чем я сам, и потому не стану злоупотреблять вашим доверием. Сейчас вы пойдете своей дорогой, я своей, однако, маркиз, где вас можно найти?

– Как обычно, во дворце де лас Систернас. Но помните, я здесь инкогнито, и, пожелав увидеть меня, вам следует спросить Альфонсо д'Альварада.

– Отлично, отлично! Прощайте, кавалеры, – сказал дон Кристоаль и тотчас удалился.

– Вы, маркиз? – с удивлением произнес Лоренцо. – Вы – Альфонсо д'Альварада?

– Да, так, Лоренцо. Но раз твоя сестра еще не поведала тебе мою историю, ты услышишь много такого, что тебя поразит. А потому не мешкай, последуй со мной в мой дом.

В церковь тем временем вошел привратник, чтобы запереть ее на ночь, и молодые люди, торопливо ее покинув, поспешили во дворец де лас Систернас.

– Ну, что ты думаешь, Антония, о наших ухажерах? – осведомилась тетушка, едва они вышли из церкви. – Дон Лоренцо кажется весьма обязательным молодым человеком, и он так смотрел на тебя! Никто не знает, к чему это может привести. А что до дон Кристоаля, поверь мне, он истинный феникс галантности! Такой любезный, такой учтивый! Такой чувствительный и пылкий! Ну-ну! Если мужчине и удастся понудить меня к нарушению клятвы, то лишь этому дону Кристоалю. Видишь, племянница, все оборачивается точно, как я тебе предрекала. Я знала, что стоит мне показаться в Мадриде, и меня сразу толпой

окужат воздыхатели. Когда я сняла покрывало, Антония, ты видела, как поражен был граф? А когда я протянула ему руку, ты заметила, каким страстным был его поцелуй? Если мне когда-либо доводилось видеть истинную любовь, то это она просияла в чертах дона Кристобалья!

Антония, надо сказать, заметила, с каким выражением дон Кристобаль приложил губы к указанной руке, и впечатление у нее сложилось несколько иное, чем у тетушки, но ей достало благоразумия промолчать. Это единственный известный случай, когда женщина промолчала при таких обстоятельствах, а потому он и был удостоен упоминания здесь.

Старая дева продолжала разглагольствовать в том же духе, пока они не пришли на улицу, где сняли комнаты, но собравшаяся перед их домом толпа воспрепятствовала им войти в дверь. Перейдя на другую сторону улицы, они попытались выяснить причину сближения. Вскоре толпа образовала круг, и в середине его Антония узрела женщину необыкновенного роста, которая вертелась в странной пляске, необыкновенным образом размахивая руками. Платье ее было сшито из разноцветных шелковых и полотняных лоскутов чрезвычайно пестро, но не без вкуса. На голове у нее было намотано подобие тюрбана, украшенного виноградными листьями и полевыми цветами. Она выглядела необыкновенно загорелой, и цвет ее кожи был оливково-смуглым. Глаза пылали таинственным огнем, а в руке она держала длинный черный жезл, которым порой чертила на земле разнообразные непонятные фигуры, а затем опять принималась кружиться между ними, словно охваченная безумием. Внезапно она прервала пляску, трижды с неопишуемой быстротой повернулась на одной ноге, а затем после краткого молчания запела следующую балладу:

ПЕСНЬ ЦЫГАНКИ

Позолотите ручку мне вы,
Мудрей меня нет на земле.
Спешите суженого, девы,
Увидеть в колдовском стекле.

По Книге Судеб я читаю,
Что было и что будет впредь,
Небес предназначенья знаю,
Грядущее дано мне зреть.

Луну средь черных туч веду я
И ветры шлю вперед, назад.
Дракона усыпить могу я,
Что сторожит бесценный клад.

Могучие творю заклятья,
Чтоб зло и беды отворотить.
На шабаш ведьм могу слетать я
И на змею ногой ступить.

Купите зелья! Все в их власти!
Вот это мужа в дом вернет,
А это пламя пылкой страсти

В холодном юноше зажжет.

Заблудшей деве мазь поможет –
Вернет ее потерю ей,
А притиранье сделать может
Лицо румяней и белей.

Узнайте, много вам иль мало
Судьба сулит. Пройдут года.
«Цыганка правду нагадала!» –
Вот что вы скажете тогда.

– Милая тетушка, – спросила Антония, когда необыкновенная женщина умолкла, – это помешанная?

– Помешанная? Вот уж нет, дитя. Но злая и опасная. Это цыганка, бродяжка! Скитается по стране, городит небылицы и прикарманивает денежки тех, кто честно их заработал. Покончить бы с этими тварями! Будь я королем Испании, все они, кого через три недели нашли бы в моих владениях, все сгорели бы заживо.

Слова эти были произнесены столь громко, что достигли ушей цыганки, и она тотчас прошла сквозь толпу к тетке и племяннице. Трижды поклонившись им по восточному обычаю, она обратилась к Антонии:

ЦЫГАНКА

Ах, красавица девица,
Не тебе меня страшиться.
Без боязни руку дай
И судьбу свою узнай!

– Дражайшая тетушка! – сказала Антония. – Побалуйте меня, разрешите, пусть она мне погадает.

– Вздор, дитя! Она наплетет тебе множество небылиц.

– И пусть. Позвольте мне послушать, что она придумает сказать. Ну, пожалуйста, милая тетушка. Позвольте, умоляю вас!

– Что же, Антония, будь по-твоему, если уж тебе так этого хочется... Эй, добрая женщина, ты погадаешь нам обеим. Вот тебе деньги, а теперь предскажи мне мою судьбу.

С этими словами она сняла перчатку и протянула цыганке руку. Та некоторое время смотрела на ее ладонь, а потом сказала:

ЦЫГАНКА

Судьбу? Не стану, ваша милость!
Она давно уже свершилась.
Но ваши я взяла монеты,
Примите ж вы мои советы.
Тщеславьем детским, ей-же-ей,
Вы удручаете друзей.
Кокетничать в такие лета –
Безумья верная примета.
Когда красотке пятьдесят,

Когда глаза ее косят,
То трудно прелести такой
Зажечь пожар в груди мужской.
Белила и румяна прочь –
Пристойней нищему помочь,
Чем тратить деньги в заблужденье
На сладострастия ухищренья.
Не о поклонниках с утра –
О Боге думать вам пора.
И не гадать о женихах,
Но каяться в былых грехах.
Ведь Времени коса вот-вот
Волос остатки прочь смахнет.

Речь цыганки вызывала в толпе взрывы хохота. «Пятьдесят», «глаза косят», «остатки волос», «белила и румяна» и прочее передавалось из уст в уста. Леонелла чуть не задохнулась от бешенства и осыпала свою злокозненную советчицу жесточайшими упреками. Смуглая пророчица некоторое время слушала ее с презрительной улыбкой, затем резко ей ответила и повернулась к Антонии.

ЦЫГАНКА

Уймись, госпожа моя!
Лишь то, что есть, сказала я.
Теперь, красавица, тебе
Я о твоей скажу судьбе.

Как и Леонелла, Антония сняла перчатку и протянула цыганке лилейную ручку, а та долго вглядывалась в линии на ладони с изумлением и жалостью и произнесла затем следующее предсказание:

ЦЫГАНКА

Боже, линия ужасна!
Ты добра, чиста, прекрасна.
Счастьем стать могла б супруга,
И любили б вы друг друга.
Но увы! Не будет так:
Вот черта – зловещий знак!
Сластолюбец и с ним Ад
Гибелью тебе грозят,
Ты снести не сможешь горя
И с землей простишься вскоре.
Чтоб судьбу отсрочить злую,
Помни, что тебе скажу я.
Как увидишь добродетель,
Что сама себе свидетель,
Что соблазна не встречает,
Слабость ближних не прощает,
Тут гадалку вспомни ты.
Знай: нередко доброты,
Кротости, смиренья вид

Похоть с гордостью таит.
Я с тобой прощусь теперь
Со слезами, но поверь,
Что кручиниться не надо.
За страданья ждет награда,
И в блаженстве бесконечном
Пребывать ты будешь вечно.

Договорив, цыганка закружилась и, трижды повернувшись, с видом отчаяния убежала. Толпа последовала за ней, и Леонелла смогла войти в дом, досадуя на цыганку, на племянницу и на зевак – короче говоря, на всех, кроме себя и своего пленительного кавалера. Предсказание цыганки ввергло Антонию в трепет, однако мало-помалу впечатление это стерлось, и через несколько часов она забыла о случившемся, словно его никогда не было.

ГЛАВА II

*Fòrse sé tu gustassi una sòl volta
La millésima parte d'èlle giòje,
Ché gusta un còr amato riamando,
Diresti repentita sospirando,
Perduto é tutto il tempo
Ché in amar non si spénde.*

TASSO 14

Монахи проводили настоятеля до двери его кельи, где он отпустил их с видом превосходства, в котором нарочитое смирение вело борьбу с подлинной гордыней.

Едва он остался один, как дал волю тщеславию. Он вспоминал бурю восторгов, которую вызвала его проповедь, и его сердце преисполнилось радости, а воображение уже рисовало великолепные картины будущего возвеличения. Он посмотрел вокруг себя с ликованием, и гордыня сказала ему громовым голосом, что он – выше всех прочих смертных.

«Кто, – думал он, – кто кроме меня прошел через испытания юности и ничем не запятнал свою совесть? Кто еще смирил разгул бурных страстей и неистовство нрава, чтобы на светлой заре жизни добровольно затвориться от мира? Тщетно ищу я такого человека. Ни у кого, кроме себя, не вижу подобной решимости. Церковь не может похвастать другим Амбросио! Как поразила моя проповедь мирян! Как они толпились вокруг меня, вопия, что я – единственный Столп Церкви, не тронутый порчей? Что же еще остается мне сделать? Ничего – и только с тем же строгим тщанием следить за поведением монастырской братии, как я следил за своим собственным. Но погоди! Что, если соблазн сведет меня с путей, коим до сих пор я следовал неукоснительно? Или я не человек, чья природа слаба и склонна к заблуждениям? Ведь мне придется теперь покинуть свой уединенный приют. Красивейшие и благороднейшие дамы Мадрида что ни день приезжают в аббатство и желают исповедоваться только у меня. Я должен приучить свои взоры к соблазнам и подвергнуть

14

Едва вкусив блаженство то, что делят
Любимое и любящее сердце,
Ты вздохами раскаянья докажешь,
Что правду говоришь, когда ты скажешь:
«Потеряны вотще часы,
Что у любви я отнял».

TASSO

себя искушению роскошью и желанием. Что, если я встречу в миру, в который должен вступить, прекрасную женщину... прекрасную, как ты, Мадонна!..»

При этой мысли глаза его обратились к висевшему напротив него изображению Богоматери – уже два года образ сей был предметом его возрастающего восторга и поклонения. Несколько минут взирал он на святой лик с восхищением, а потом произнес:

– Какая несравненная красота! Как грациозен поворот головы! Какая нежность, но и какое величие в ее божественных глазах! Как изящно склоняется на руку ее щека! Способна ли роза соперничать с румянцем этой щеки? Может ли лилия сравняться белоснежностью с этой рукой? О, если бы такое создание существовало в этой юдоли и существовало лишь для меня одного! О, будь мне дано навивать на пальцы эти золотые локоны и приникать губами к сокровищам этой лилейной груди! Милостивый Боже, сумел бы я устоять перед искушением? Не променял бы за единое объятие награду за тридцатилетние муки? Не покинул бы я... Глупец! Куда позволил ты увлечь себя восхищению перед этой картиной? Прочь нечистые мысли! Я должен помнить, что эта женщина навеки потеряна для меня. Нет и не может быть смертной, столь совершенной, как этот образ. Но и явись такая, соблазн, перед которым не устоит простой смертный, окажется бессильным перед Амбросио. Соблазн, сказал я? Для меня тут не будет соблазна. Та, что чарует меня как идеал, как высшее существо, внушит мне отвращение, если окажется женщиной, запятнанной всеми недостатками, присущими смертным. Я восхищен искусством художника, я поклоняюсь Божественности. Или страсти не умерли в моей груди? Или я не освободился от человеческих слабостей? Не страшись, Амбросио! Черпай уверенность в силе твоей добродетельности. Смело вступи в суетный мир, ты выше его приманок! Вспомни, что теперь ты свободен от пороков рода людского, неуязвим для козней духов тьмы. Они узнают, кто ты таков!

Тут его раздумья прервали три тихих удара в дверь кельи. С трудом аббат очнулся от горячечных мыслей. Стук раздался снова.

– Кто там? – спросил наконец аббат.

– Всего лишь Росарио, – ответил кроткий голос.

– Войди! Войди, сын мой!

Дверь тотчас открылась и вошел Росарио с корзинкой в руке.

Росарио был юным монастырским послушником и через три месяца намеревался принять постриг. Некая тайна окружала этого юношу, и он вызывал у братии немалый интерес и любопытство. Его ненависть к обществу, его глубокая меланхолия, строжайшее соблюдение всех правил ордена и добровольный отказ от мира, столь необычные в его лета, привлекли к нему внимание всех обитателей монастыря. Казалось, он боится, что его могут узнать, и никто ни разу не видел его лица. Капюшон его всегда был низко опущен. Однако те его черты, которые позволяла увидеть случайность, поражали красотой и благородством. В монастыре его знали только как Росарио. Никто не ведал, откуда он прибыл туда, а на расспросы он отвечал глубоким молчанием. Неизвестный, чьи пышные одежды и великолепный экипаж указывали на богатство и знатность, попросил монахов принять нового послушника и внес положенный вклад. На следующий день он вернулся с Росарио, но больше в монастыре его не видели.

Юноша старательно избегал общества монахов, на их добрые слова отвечал с тихой кротостью, но ясно показывал, что его влечет уединение. Из этого правила единственным исключением был настоятель. На него Росарио взирал с благоговением, близким к обожанию. Его общества он искал с настойчивостью и усердно старался снискать его расположение. В обществе аббата меланхолия, казалось, покидала его сердце, веселость проникала в его речи и поведение. Амбросио со своей стороны также испытывал приязнь к юноше. Только с ним он смягчал свою обычную суровость. Обращаясь к нему, он, сам того не замечая, менял свой строгий тон на ласковый, и ничей голос не был ему так мил. Услуги юноши он вознаграждал, наставляя его в науках. Послушник был старательным учеником, и Амбросио с каждым днем все более пленялся живостью его гения, бесхитростностью манер

и чистотою сердца. Короче говоря, он полюбил его с отцовской нежностью. Иногда он невольно испытывал желание увидеть лицо своего ученика. Но запрет, наложенный им на суетные чувства, не допускал любопытства, а потому он не мог высказать юноше это желание.

– Простите, отче, что я потревожил ваш покой, – сказал Росарио, ставя корзинку на стол, – но я прихожу к вам просителем. Мне стало ведомо, что один мой друг опасно болен, и я смиренно прошу вас помолиться о его выздоровлении. Если Небеса могут внять мольбе и пока не призывать его, то, конечно, ваше ходатайство будет услышано.

– Ты знаешь, сын мой, что можешь просить меня обо всем, что в моих силах. Как зовут твоего друга?

– Винченцо делла Ронда.

– Достаточно. Я не забуду его в моих молитвах, и да услышит меня наш трижды благословенный святой Франциск! А что у тебя в корзинке, Росарио?

– Цветы, преподобный отец. Те, что, как я заметил, вам угодны. Вы позволите мне убрать ими вашу келью?

– Твоя заботливость чарует меня, сын мой.

Пока Росарио распределял содержимое корзинки по вазочкам, которые были расставлены по всей келье, аббат продолжил разговор:

– Нынче вечером я не видел тебя в церкви, Росарио.

– Но я был там, отче. Моя благодарность за ваши милости так велика, что я не мог не стать свидетелем вашего торжества.

– Увы, Росарио, для торжества у меня нет причин: моими устами говорил наш святой, и вся заслуга принадлежит ему. Но, значит, моя проповедь не оставила тебя недовольным?

– Недовольным? Отче, вы превзошли себя! Никогда я не слышал такого пламенного красноречия... кроме одного раза.

Тут послушник вздохнул.

– Какого же? – настойчиво спросил аббат.

– Когда вы проповедовали, заменив нашего покойного настоятеля, потому что его сразил внезапный недуг.

– Я помню тот случай. Было это более двух лет назад. И ты меня слышал? Но тогда я еще не знал тебя, Росарио.

– Правда, отче. И Богом клянусь, я предпочел бы не дожить до того дня. Каких мук, какой печали я избежал бы!

– Муки в твои лета, Росарио?

– Да, отче. Муки, которые, будь они вам ведомы, пробудили бы в вас равно и гнев и сострадание. Муки, которые стали терзанием и радостью моей жизни! Однако в этой обители моя грудь обрела бы покой, если бы не пытка опасениями! Боже! Боже! Как тяжка жизнь в вечном страхе! Отче! Я отринул все, навеки оставил свет и его радости. Не осталось ничего. И ничто не манит меня, кроме вашей дружбы, вашей приязни. Если я лишусь их, отче... Если я лишусь их, вы содрогнетесь перед силой моего отчаяния!

– Ты опасешься потерять мою дружбу? Чем твое поведение оправдывает подобный страх? Ты должен знать меня лучше, Росарио, и считать достойным твоего доверия. В чем твои муки? Открой мне и верь, если в моей власти облегчить их...

– О, это в вашей власти и только в вашей! Но открыть их вам я не могу. Вы отринете меня после моего признания! Вы прогоните меня с презрением и отвращением.

– Сын мой, я заклинаю тебя! Я молю тебя!

– Во имя милосердия не спрашивайте более! Я не должен... я не смею... О! Колокол звонит к вечерне! Отче, благословите, и я удалюсь!

С этими словами послушник упал на колени и получил благословение, о котором просил. Затем он прижал руку аббата к губам, поднялся и поспешно покинул келью. А вскоре и Амбросио спустился в часовню аббатства, где служили вечерню, все еще дивясь странному поведению юного послушника.

Вечерня кончилась, и монахи разошлись по своим кельям. Аббат остался в часовне один в ожидании монахинь монастыря святой Клары. Едва он опустился в кресло исповедника, как вошла настоятельница. Он выслушивал исповедь каждой монахини, пока остальные ждали под присмотром матери настоятельницы в сопредельной ризнице. Амбросио слушал со вниманием, не скупился на назидания, накладывал епитимьи, соразмерные проступкам, и все шло заведенным порядком, пока одна монахиня, отличавшаяся благородством облика и грациозностью фигуры, вдруг нечаянно не уронила скрытое на груди письмо. Она уже повернулась, чтобы выйти в ризницу, не подозревая о потере. Амбросио, полагая, что это письмо от какой-нибудь родственницы, поднял его, чтобы возвратить его ей.

– погоди, дочь моя! – сказал он. – Ты уронила...

Но тут его взор невзначай упал на первую строку уже развернутого письма, и он вздрогнул от изумления. Монахиня обернулась на его голос, увидела записку в его руке и, вскрикнув от ужаса, поспешила назад, чтобы взять ее.

– Остановись! – произнес монах суровым тоном. – Дочь моя, я должен прочесть, что здесь написано.

– Тогда я погибла! – вскричала она, в отчаянье заламывая руки. Краска внезапно сбежала с ее лица, она трепетала в смятении и вынуждена была обвить руками колонну, чтобы не рухнуть на пол. Аббат тем временем читал следующие строки:

«Все готово для твоего бегства, возлюбленная Агнеса. Завтра в полночь я буду ждать тебя у садовой калитки. Я раздобыл ключ, и через несколько часов ты будешь в безопасном убежище. Не отвергай из-за ошибочных угрызений верного средства спасения и своего и невинного создания, которое ты носишь под сердцем. Помни, что ты поклялась стать моей задолго до того, как обещала себя Церкви, что вскоре твое положение станет явным для шарящих взглядов тех, кто тебя окружает, и что бегство – единственное средство избежать их злобы. До свидания, Агнеса, моя возлюбленная, суженная мне жена! Будь у садовой калитки в полночь!»

Едва дочитав, Амбросио обратил суровый, исполненный гнева взгляд на неосторожную монахиню.

– Письмо это должна увидеть настоятельница, – сказал он и направился к двери.

Его слова поразили ее слух как удар грома, она очнулась от растерянности и поняла весь ужас того, что произошло. Кинувшись за ним, она удержала его за край одежды.

– Остановитесь, о, остановитесь! – вскричала она с отчаянием и, распростершись у ног монаха, оросила их слезами. – Святой отец, имейте сострадание к моей юности. Взгляните снисходительно на женскую слабость и снизойдите скрыть мой грех! Все оставшиеся мне дни я посвящу искуплению этого единственного моего проступка, и ваше милосердие вернет Небесам заблудшую душу!

– Поразительная дерзость! Как? Монастырь святой Клары станет прибежищем распутниц? И я допущу, чтобы Церковь Христова укрывала на груди своей разврат и мерзость? Недостойная тварь! Такое милосердие делает меня твоим сообщником. Снисходительность тут преступна. Ты предалась сластолюбию соблазнителя, в нечистоте своей ты загрязнила святое одеяние и смеешь думать, что ты достойна моего сострадания? Прочь, не дерзай долее меня задерживать! Где мать настоятельница? – добавил он, повышая голос.

– Постой, святой отец! Помедли и выслушай меня. Не упрекай меня в нечистоте и не думай, что я согрешила, поддавшись сладострастью. Задолго до того, как я постриглась, Раймонд владел моим сердцем, он внушил мне самую чистую, самую безупречную любовь и должен был стать моим мужем перед Богом и людьми. Страшный случай и гонения родственников разлучили нас. Я полагала, что разлучена с ним навеки, и горесть привела меня в стены монастыря. Судьба вновь свела нас, и я не могла отказать себе в печальной сладости смешать мои слезы с его слезами. Мы еженощно встречались в монастырском саду, и в миг забвения я нарушила обет целомудрия. И скоро должна стать матерью. Преподобный Амбросио, сжался над невинным созданием, чье существование пока слито с моим. Если ты

откроешь мою опрометчивость матери настоятельнице, мы оба обречены на гибель. Правила ордена святой Клары предписывают карать таких как я несчастных с величайшей суровостью и жестокостью. Достойнейший, достойнейший пастырь, да не сделает тебя твоя собственная незапятнанная совесть глухим к тем, у кого меньше сил противостоять соблазну! Да не станет милосердие единственной добродетелью, чуждой твоему сердцу! Сжался надо мной, святой отец! Отдай мне письмо, не обрекай меня на верную погибель.

– Твоя дерзость поражает меня! Неужто я сокрою твое преступление – я, кого ты обманула лживой исповедью? Нет, дочь, нет! Я окажу тебе подлинную услугу. Я спасу тебя от вечной гибели вопреки тебе самой. Покаяние и умерщвление плоти искупят твой грех, и строгость вернет тебя на пути святости. Э-эй! Мать Агата!

– Отче! Всем, что свято, всем, что вам дорого, я заклинаю, я молю...

– Прочь руки! Я не стану тебя слушать. Где настоятельница? Мать Агата, где ты?

Дверь ризницы отворилась, и в часовню вступила настоятельница с монахинями.

– Жестоко! Жестоко! – вскричала Агнеса, разжимая руки.

В иступлении отчаяния она, упав на пол, била себя в грудь и в беспомощности рвала покрывало. Монахини взирали на нее с боязливым изумлением. Аббат отдал письмо настоятельнице, объяснил, как оно попало к нему, и добавил, что решить, какой кары заслуживает виновная, должна она.

Настоятельница читала письмо, и ее лицо все больше багровело от гнева. Как! Такое преступление совершалось в ее обители и стало известно Амбросию, кумиру Мадрида, человеку, которого она особенно хотела уверить в строгости и благочестии своей обители! Слова не могли выразить ее ярость. Она молчала, бросая на распростертую монахиню злобные и угрожающие взгляды.

– Отведите ее в монастырь! – наконец приказала она своим приближенным.

Две пожилые монахини подошли к Агнесе, насильно подняли ее с пола и потащили к выходу из часовни.

– Как! – вдруг вскричала она и безумным усилием вырвалась из их рук. – Ужели нет более надежды? И вы влечете меня подвергнуть незамедлительной каре? Где ты, Раймонд? О, спаси меня, спаси! – Тут она бросила иступленный взгляд на аббата. – Слушай! – продолжала она. – Слушай, человек с каменным сердцем. Слушай, надменный, беспощадный и жестокий! Ты мог бы спасти меня, ты мог бы вернуть меня счастью и добродетели, но не пожелал! Ты погубитель моей души, ты мой убийца, и на тебя падет проклятие моей смерти и смерти моего нерожденного ребенка! Исполненный гордыни, ты в своей пока еще незапятнанной добродетели остался глух к мольбам кающейся. Но Господь явит милосердие, в котором ты мне отказал. А в чем достоинство твоей хваленой добродетели? Какие искушения ты преодолел? Трус! Ты бежал от соблазнов, а не противостоял им! Но день испытания наступит! О! И вот тогда, когда ты уступишь неодолимым страстям, когда ты почувствуешь, что человек слаб и рожден заблуждаться, когда, содрогаясь, ты оглянешься на свои преступления и в ужасе будешь просить Бога о милосердии, о, в ту грозную минуту вспомни обо мне! Вспомни о своей жестокости! Вспомни Агнесу и отчайся получить прощение!

При этих последних словах силы оставили ее и она в беспомощности упала на руки стоявшей рядом монахини. Ее тотчас унесли из часовни, и остальные последовали за ней.

Амбросию выслушал ее упреки не с полным равнодушием. Сердце у него сжалось, и он почувствовал, что обошелся с несчастной слишком уж сурово. Поэтому он задержал настоятельницу и попробовал вступить за виновную.

– Бурность ее отчаяния, – сказал он, – доказывает, что порок не стал для нее привычным. Быть может, обойдись с ней не столь строго, как положено, и несколько смягчив кару...

– Смягчив, отче? – перебила настоятельница. – Только не я, поверьте! Устав нашего ордена строг и суров, но долгое время некоторые правила оставались в небрежении, и преступление Агнесы показало мне, сколь необходимо неукоснительное их соблюдение. Я

возвращаюсь к себе в обитель объявить о своем намерении, и Агнеса первой почувствует, что значит нарушать эти установления, кои будут выполнены во всей полноте. Прощайте, отче.

С этими словами она поспешила вон из часовни.

«Я исполнил свой долг», – подумал Амбросио, но мысль эта не вернула ему покой души. Чтобы отвлечься от тягостного впечатления, которое все случившееся произвело на него, он вышел из часовни и повернул на дорожку, ведущую к саду аббатства. Во всем Мадриде не нашлось бы другого столь прекрасного и столь ухоженного сада. Разбит он был с изящнейшим вкусом. Великолепные цветы ласкали взор разнообразием красок, и, хотя сажались они по тщательно обдуманному плану, казалось, будто так их расположила рука природы. Из мраморных чаш били фонтаны, охлаждая воздух танцующими брызгами, а ограду густо увили жасмин, виноград и жимолость. Красоту эту удваивал прозрачный сумрак, окутывавший сад. В безоблачном небе плыла полная луна, одевая деревья трепетным сиянием, в серебряных лучах струи фонтанов рассыпались жемчужинами. Легкий зефир овеивал аллеи благоуханием цветущих померанцев, а над искусственной чащей лилась песня соловья. Туда и направил аббат свои стопы.

В глубине этой рощицы прятался незатейливый грот, подобие пещеры отшельника. Стены были оплетены древесными корнями, а просветы между ними закрывали мох и плющ. Справа и слева находились две сложенные из дерна скамьи, со скалы естественным каскадом ниспадал ручеек. Все в той же задумчивости монах приблизился к гроту. Разлитое вокруг безмятежное спокойствие утишило его волнение, а вечерняя нега проникла в самое его сердце.

Он уже собрался войти в грот и отдохнуть там, как вдруг заметил, что на одной из скамей распростерся человек в позе неизбежной меланхолии. Голову он подпирает рукой и был словно погружен в глубочайшие размышления. Монах сделал шаг к нему и узнал Росарио. Остановившись у порога, он молча смотрел на юношу. Несколько минут спустя тот поднял глаза и печально устремил их на стену напротив.

– Да! – сказал он с глубоким жалобным вздохом. – Я вижу, сколь счастлив твой жребий и сколь горестен мой! Мысли я подобно тебе, какое счастье было бы мне даровано! Когда б судьба сподобила меня глядеть на род людской с отвращением и скрыться в безлюдной глуши, забыв, что в мире есть те, кто достоин любви! О Боже! Сколь сладостным даром была бы для меня мизантропия!

– Какая странная мысль, Росарио! – сказал настоятель и вошел в грот.

– Вы здесь, святой отец? – вскричал послушник.

И, в смятении вскочив со скамьи, торопливо опустил капюшон на лицо. Амбросио расположился на дерновой скамье и усадил юношу подле себя.

– Негоже пестовать в сердце склонность к меланхолии, – сказал он. – Что могло представить тебе в столь благоприятном свете мизантропию, самое мерзкое из чувств?

– Чтение вот этих стихов, отче, коих до сих пор я не замечал. Яркость лунного света позволила мне разобрать строки, и – о! – как я завидую писавшему их!

И он указал на мраморную плиту, вделанную в противоположную стену. Насечены на ней были следующие строфы:

НАДПИСЬ В ПРИЮТЕ ОТШЕЛЬНИКА

Ты, что читаешь надпись эту,
Узнай, не совести мученья
Меня навек подвигли свету
«Прости» сказать.
И в пúстыни уединенья
В тоске искать.

Мир бросил я по доброй воле:
Гордыне, злобе, плотской страсти
И знать, и чернь все боле, боле
Там преданы.
Увидел торжество я власти
Сил Сатаны.

Червем сердца там зависть гложет,
Там люди все – рабы порока,
Там лишь безумец верить может
Любви и чести.
Ждать смертного не стал я срока
Там с ними вместе.

Мне меланхолия, веселье
И все соблазны жизни прежней
Равно чужды. В подземной келье
Дни провожу,
Молясь, трудясь – и безмятежней
На мир гляжу.

Не роскошь, а покой и вера,
Иного сердце и не хочет.
Мне тесная моя пещера
Милей дворца.
Лишь об одном я дни и ночи
Молю Творца:

«Дай в чистоте мне жить безгрешно,
Страстями душу не пятная,
Над искушеньями успешно
Брать верх в борьбе.
И дай сказать мне, умирая:
Иду к Тебе!»

Коль юн ты, путник, и сомненьем
Не удручен еще, прочтешь ты
С беспечным смехом и презреньем
Мою мольбу.
Но если в горести клянeshь ты
Свою судьбу,

Иль ты познал любви мученья,
Иль милости не чаешь в Небе,
Иль тяготят тебя гоненья

Судьбины злой,
О, как тебе завиден жребий
Быть должен мой!»

— Если бы человек и вправду мог быть настолько поглощен собой, — сказал монах, — что жил бы в полном уединении и все же испытывал безмятежное спокойствие, коим полны эти строки, я согласился бы, что такая жизнь предпочтительнее суеты мира; полного порока и всяческих безумств. Но, увы, подобное недостижимо. Надпись эту начертали здесь просто для украшения, и чувства, ее преисполняющие, столь же воображаемы, как и сам отшельник. Человек рожден для общества. Как ни далек он от мира, он не способен совсем его забыть, а быть забытым миром для него не менее невыносимо. Исполняя отвращения к греховности и глупости рода людского, мизантроп бежит его. Он решает стать отшельником и погребает себя в пещере на склоне какой-нибудь мрачной горы. Пока ненависть жжет ему грудь, возможно, он находит удовлетворение в своем одиночестве, но когда страсти охладятся, когда время смягчит его печали и исцелит старые раны, думаешь ли ты, что спутницей его станет безмятежная радость? Нет, Росарио, о нет! Более не укрепляемый силой своих страстей, он начинает сознавать однообразие своего существования, и сердце его преисполняется тягостной скукой. Он смотрит вокруг себя и убеждается, что остался совсем один во вселенной. Любовь к обществу воскресает в его груди, он тоскует по миру, который покинул. Природа утрачивает в его глазах все свое очарование. Ведь ему указать на ее красоты некому, никто не разделяет с ним восхищения перед ее прелестями и разнообразием. Опустившись на обломок скалы, он созерцает водопад рассеянным взором. Он равнодушно смотрит на великолепие заходящего солнца. Вечером он медлит с возвращением в свою келью, ибо никто не ожидает его там. Одинокая невкусная трапеза не доставляет ему удовольствия. Он бросается на постель из мха унылый и расстроенный, а просыпается для того лишь, чтобы провести день такой же безрадостный и однообразный, как предыдущий.

— Вы изумляете меня, отче! Предположим, обстоятельства обрекли бы вас на одиночество, так неужели религиозные обязанности и мысль о праведно прожитой жизни не преисполнили бы ваше сердце той безмятежностью, коей...

— Я обманывал бы себя, полагая, будто они послужили бы мне утешением. Я убежден в обратном, а также в том, что моя стойкость навряд ли уберегла бы меня от горького разочарования и меланхолии. Знал бы ты, какое удовольствие я, проводя день в занятиях, получаю, выходя вечером к братии! Я не в силах описать тебе радость, доставляемую мне видом человеческого лица! Вот в этом, мнится мне, и заключен главный смысл учреждения монастырей. Монастырь оберегает человека от соблазнов порока, дает ему досуг, необходимый для достойного служения Всевышнему, избавляет от тягостной необходимости наблюдать, как грешат поклонники суетности, и в то же время не мешает наслаждаться обществом себе подобных. А ты, Росарио, завидуешь ли ты жизни отшельника? Ужели ты слеп к преимуществам своего нынешнего положения? Поразмысли! Аббатство это стало твоим прибежищем; твое усердие, твоя кротость, твои таланты снискали тебе всеобщее уважение. Ты укрыт от мира, по твоим словам, тебе ненавистного, и тем не менее тебе доступны все блага, даримые обществом, да притом обществом, состоящим из достойнейших людей.

— Отче! Отче! В том-то и источник моих мук! Мне было бы счастьем, если бы моя жизнь влачилась среди порочных и нераскаянных! О, если бы я не знал даже слова «добродетель»! Ведь как раз мое безграничное благоговение перед религией, безмерная чувствительность моей души к красоте всего высокого и благого — как раз они преисполняют меня стыдом, влекут к гибели! О, если бы я никогда не видел этого монастыря!

— Как так, Росарио? В последнем нашем разговоре ты говорил иное. Или моя дружба утратила цену? Если бы ты никогда не видел этого монастыря, то и меня ты не увидел бы. Разве ты этого желаешь?

— Никогда не увидел бы вас? — повторил послушник, стремительно поднявшись со

скамьи и с видом отчаяния схватывая руку монаха. – Вас? Вас? Клянусь Богом, лучше бы молния выжгла мои глаза до того, как они увидели вас! Клянусь Богом, лучше бы мне больше никогда вас не видеть и забыть, что я вас видел!

С этими словами Росарио выбежал из грота. Амбросио же остался сидеть на скамье, дивясь странному поведению юноши. Он был склонен заподозрить умопомешательство, однако вся его манера держаться, связность мыслей и спокойствие до мгновения, когда он покинул грот, казалось, опровергали такое заключение. Несколько минут спустя Росарио вернулся. Он вновь опустился на скамью, подпер голову одной рукой, а другой утирал слезы, стекавшие по щекам.

Монах глядел на него с состраданием и не мешал его мыслям. Некоторое время оба хранили глубокое молчание. Соловей теперь перелетел на померанец, осенявший грот, и рассыпал над ним мелодичные трели, исполненные печали. Росарио поднял голову, внимая его песне.

– Вот так, – сказал он с глубоким вздохом, – вот так моя сестра в последний месяц своей злосчастной жизни сидела и слушала соловья. Бедная Матильда! Она спит в могиле, и ее разбитое сердце уже не бьется любовью!

– У тебя была сестра?

– Вы сказали верно: была! Увы, сестры у меня больше нет. В расцвете своей весны она не снесла гнета горестей.

– Каких же?

– В вас они жалости не пробудят. Вам неведома власть тех неотразимых, тех роковых чувств, жертвой которых было ее сердце. Отче, ее несчастьем стала любовь. Обожание человека, наделенного всеми добродетелями, доступными смертному, а вернее было бы сказать – божества, стало ее проклятием. Его благородный облик, его безупречная слава, его многочисленные достоинства, его мудрость, глубокая, дивная, несравненная, могли бы воспламенить самую бесчувственную душу! Моя сестра увидела его и осмелилась полюбить, хотя не дерзала питать даже тени надежды...

– Но если она отдала любовь столь оправданно, почему же ей нельзя было надеяться на взаимность?

– Отче, до знакомства с ней Юлиан уже поклялся в верности невесте, невыразимо прекрасной, истинно небесной! И все же моя сестра полюбила и во имя мужа возлюбила и его супругу. Она сумела ускользнуть из дома нашего отца и в скромной вдовьей одежде попросила места служанки у жены того, кому отдала сердце, и ее взяли. Теперь она постоянно видела его и старалась всячески угодить ему. Ее старания не остались бесплодными. Юлиан обратил на нее внимание. Добродетельные люди умеют быть благодарными, и он отличал Матильду среди прочей прислуги.

– Но разве ваши родители не пытались ее разыскивать? Ужели они безропотно смирились со своей потерей и не тщились вернуть пропавшую дочь?

– Прежде чем они преуспели в поисках, она возвратилась сама. Любовь ее достигла такой силы, что она уже не могла ее скрывать. Однако у нее и мысли не было назвать Юлиана своим, она жаждала лишь обрести место в его сердце, и в минуту неосторожности она призналась в своем чувстве. И каков же был результат? Обожая жену, веря, что взгляд жалости, обращенный на другую, это кража того, что принадлежит ей, он прогнал Матильду и запретил ей являться ему на глаза. Его суровость разбила ей сердце, она вернулась к отцу, и несколько месяцев спустя мы отнесли ее на кладбище!

– Несчастливая девушка! Судьба ее была непомерно тяжелой, а Юлиан чрезмерно жесток.

– Вы так думаете, отче? – с живостью воскликнул послушник. – Вы думаете, что он был жесток?

– Да, я так думаю и всем сердцем жалею ее.

– Вы жалеете ее? Вы жалеете ее? Ах, отче! Отче! Так сжальтесь и надо мной!

Монах недоуменно посмотрел на послушника, и тот, помолчав, запинаясь, продолжал:

– Ибо мои страдания даже сильнее, чем ее. У моей сестры была подруга, истинная

подруга, сострадавшая бурности ее чувств, не упрекавшая ее за неспособность сдержать их. А у меня... у меня нет друга. Во всем широком мире не найдется сердца, чтобы разделить мою печаль!

Произнеся эти слова, он зарыдал. Монах был тронут. Он взял руку Росарио и нежно ее пожал.

– Ты говоришь, что у тебя нет друга? Но в таком случае кто же я? Почему ты не доверишься мне, чего ты страшишься? Моей строгости? Но был ли я хоть раз строг с тобой? Моих одежд? Росарио, я не монах пока, но твой друг, твой отец. И я могу назваться так, ибо ни один родитель не оберегал свое дитя с большей нежностью, нежели я тебя. Едва тебя увидев, я ощутил в груди чувство дотоле мне незнакомое. В твоём обществе я находил приятность, какую ничье другое мне не доставляло, а когда я убеждался в силе твоего гения и обширности знаний, то радовался, как радуется отец успехам сына. Так отбрось же страхи, говори со мной откровенно, Росарио, и скажи, что доверишься мне. Если моя помощь или жалость может облегчить твою печаль...

– Твои могут! Только твои! Ах, отче, с какой охотой я открыл бы тебе свое сердце! С какой охотой признался бы в тайне, гнетущей меня. Но я страшусь! О, как я страшусь!

– Чего, сын мой?

– Что вы отринете меня за мою слабость, что наградой за мое доверие будет потеря ваших добрых чувств ко мне.

– Как мне тебя разуверить? Подумай о всем прошлом моем поведении с тобой, об отеческой привязанности, которую я тебе всегда оказывал. Отринуть тебя, Росарио? Это более не в моей власти. Лишиться твоего общества – значит утратить величайшее удовольствие в моей жизни. Так открой мне, что тебя гнетет, и поверь, когда я торжественно поклонюсь...

– Остановитесь! – прервал послушник его речь. – Дайте клятву, что, в чем бы ни заключалась моя тайна, вы не понудите меня оставить монастырь, пока не истечет срок моего послушничества.

– Обещаю. И сдержу клятву, данную тебе, как да исполнит Христос обещанное роду человеческому. Ну, а теперь открой эту тайну и положишься на мою снисходительность.

– Я повинуюсь. Так знайте же... О, как я трепещу произнести это слово! Выслушайте меня с жалостью, высокочтимый Амбросио! Отыщите в себе все еще тлеющие искорки человеческой слабости, чтобы они научили вас состраданию к моей! Отче! – продолжал он, бросаясь к ногам монаха и прижимая его руку к губам, не в силах от волнения совладать со своим голосом. – Отче, – повторил он, запинаясь, – я женщина!

Аббат вздрогнул от столь неожиданного признания. Ложный Росарио лежал распростертый на земле, точно ожидая в молчании приговора судьбы. Изумление одного, страх другой на несколько минут заставили их окаменеть, точно к ним прикоснулся жезл волшебника. Наконец, оправившись от замешательства, монах покинул грот и торопливым шагом направился к выходу из сада. Его движение не укрылось от молящей. Она вскочила и, поспешив за ним, обогнала и упала перед ним, обняв его колени. Амбросио тщетно пытался освободиться от ее рук.

– Не беги от меня! – вскричала она. – Не покидай меня на волю отчаяния! Выслушай оправдания моего неразумия, узнай, что история моей сестры – это моя история. Я Матильда, а ты – ее возлюбленный!

Как ни ошеломило Амбросио ее первое признание, второе поразило его даже еще больше. Потрясенный, смущенный, растерянный, он не мог выговорить ни слова и стоял, молча глядя на Матильду. Она воспользовалась этим, чтобы продолжить свои объяснения.

– Не думай, Амбросио, что я явилась отнять твою любовь у твоей невесты. Нет, поверь мне! Лишь Церковь достойна тебя, и Матильда даже помыслить не смеет о том, чтобы помешать тебе следовать путем добродетели. Чувство, которое я питаю к тебе, это любовь, а не сладострастие. Я вздыхаю о месте в твоём сердце, а не томлюсь от жажды разделить с тобой наслаждение. Снизойди выслушать мои оправдания. Несколько мгновений – и ты

убедишься, что мое присутствие не осквернило это святое место и что ты можешь подарить мне свое сострадание, не нарушив свои обеты... – Она села, и Амбросио, не замечая, что делает, последовал ее примеру. Она же сказала:

– Я происхожу из знатной семьи: мой отец принадлежал к благородному дому Вильянегас. Он скончался еще в дни моего младенчества и оставил меня единственной наследницей всех своих несметных богатств. Ко мне, молодой, богатой, сватались знатнейшие юноши Мадрида, но ни одному из них не удалось завоевать мое сердце. Я росла под опекой дяди, человека весьма мудрого и очень ученого. Ему доставляло удовольствие приобщать меня к своим познаниям. Его наставления помогли моему уму обрести способность к большей глубине и верности суждений, чем обычно свойственно моему полу. Умение моего наставника и моя природная любознательность помогли мне значительно продвинуться не только в науках, которые изучаются всеми, но и в тех, которые доступны лишь немногим, ибо слепое суеверие осуждает их. Но, расширяя сферу моих знаний, мой опекун тщательно прививал мне нравственные понятия. Он избавил меня от оков вульгарных предрассудков, открыл мне красоту Веры, научил преклоняться перед чистыми и добродетельными, а я – горе мне! – слишком хорошо усвоила его уроки.

Так суди сам, могла ли я взирать иначе как с отвращением на порочность, распущенность и невежество, кои пятнают нашу испанскую молодежь. Я отвергала все предложения с пренебрежением. Мое сердце оставалось без владыки, пока случайность не привела меня в церковь Капуцинов. О, конечно, в этот день мой ангел-хранитель дремал, забыв о своей овечке. В этот день я впервые увидела тебя. Ты замещал настоятеля, которому болезнь не позволила встать с одра. Ты не можешь не вспомнить, какой живой восторг вызвала твоя проповедь. О, как впивала я каждое твое слово! Как твое красноречие словно похищало меня у меня же самой! Я боялась дышать, чтобы не упустить хотя бы слога, и пока ты говорил, мне мнилось блеск дивных лучей вокруг твоей головы, а твое лицо сияло божественным величием. Я вышла из церкви в экстазе. С этой минуты ты стал кумиром моего сердца, неизменным средоточием все моих помыслов. Я расспрашивала о тебе, и все, что узнала о твоём образе жизни, учености, благочестии и строгости к себе, заклепало цепи, наложенные на меня твоим вдохновенным красноречием. Я обнаружила, что пустота в моем сердце заполнилась, что я нашла человека, которого так долго и тщетно искала. В надежде вновь тебя услышать я каждодневно посещала вашу церковь, но ты не покидал стен аббатства, и я удалялась в тоске и разочаровании. Ночь бывала добрее ко мне, ибо ты представлял предо мною в моих сновидениях. Ты клялся мне в вечной дружбе, ты вел меня по путям добродетели и помогал мне переносить жизненные невзгоды. Утро рассеивало эти сладостные видения, я просыпалась и вспоминала, что нас разделяет стена, непреодолимая стена! Но это лишь усугубляло силу моего чувства, мной все более овладевали меланхолия и уныние, я бежала общества и чахла день ото дня. Наконец, не в силах долее сносить эту пытку, я решила надеть личину, в которой ты меня узнал. Хитрость моя удалась, меня приняли в монастырь, и мне удалось завоевать твое расположение.

И я была бы счастлива вполне, если бы не постоянный страх разоблачения. Радость, приносимую мне твоим обществом, омрачала мысль, что, быть может, я скоро буду его лишена, и сердце мое так ликовало при малейшем свидетельстве твоей дружбы, что потерю ее, как я вскоре поняла, мне было не пережить. Поэтому я решила не ждать, когда случайность откроет мой пол, но признаться тебе во всем и воззвать к твоему милосердию и снисходительности. Ах, Амбросио, ужели я обманулась? Ужели ты не столь великодушен, чем я мнила тебя? О нет, я и помыслить не могу о таком. Ты не ввергнешь несчастную в пучину отчаяния, и мне по-прежнему будет дозволено видеть тебя, беседовать с тобой, нести тебе дань преклонения! Твои добродетели останутся примером мне до конца моих дней, а когда мы скончаемся, тела наши упокоятся в одной могиле!

Она умолкла. Пока длилась ее речь, в груди Амбросио боролась тысяча противоположных чувств. Изумление, рожденное неожиданностью, смущение при внезапном ее признании, негодование из-за дерзости, с какой она проникла в монастырь в

одеянии послушника, сознание, что ему надлежит дать ей суровейшую отповедь, – вот чувства, которые он сознавал. Но к ним примешивались другие, и в них он не отдавал себе отчета. Он не замечал, как льстили его тщеславию хвалы, расточавшиеся его красноречию и добродетельности; не замечал тайной радости, вызванной мыслью, что молодая и, видимо, красивая девица ради него покинула свет и все иные свои привязанности принесла в жертву страсти к нему. И уж вовсе он не заметил, что сердце его воспламенялось желанием, когда белоснежные пальцы Матильды нежно пожимали его руку.

Мало-помалу он оправился от первого смятения. Мысли его упорядочились, и он ни на миг не усомнился, что разрешить Матильде остаться в монастыре после ее признания было бы неслыханным непотребством. Он принял строгий вид и вырвал у нее свою руку.

– Как, девица, – сказал он, – ужели ты и вправду уповаешь получить мое разрешение остаться с нами? Но даже исполни я твою просьбу, какая тебе была бы от этого польза? Не думаешь же ты, что я когда-либо отвечу взаимностью на привязанность, которая...

– Нет, отче, нет! Я и в мыслях не держу пробудить в тебе любовь, подобную моей. Я ищу только дозволения быть подле тебя, проводить несколько часов с тобой, обрести твое сострадание, дружбу, уважение. Так ли уж неразумна моя просьба?

– Подумай сама, девица! Подумай, сколь непристойно было бы мне приютить в монастыре женщину, да к тому же женщину, признавшуюся в любви ко мне. Это невозможно. Слишком велика опасность, что ты будешь избалована, да и я не хочу подвергать себя такому грозному искушению.

– Искушению, сказал ты? Но забудь, что я женщина, и я перестану ею быть. Считаю меня только другом, злополучным существом, чье счастье, чья жизнь зависят от твоего покровительства. Не страшись, что я напомню тебе сама о том, как любовь самая властная, самая беспредельная понудила меня скрыть мой пол, не страшись, как бы я не поддавалась желаниям, несовместимым с твоими обетами и с моей честью, и не попробовала соблазном свести тебя с пути истинного. Нет, Амбросио, узнай меня лучше. Я люблю тебя за твои добродетели. Лишись их – и ты лишишься моей любви. Я вижу в тебе святого. Докажи мне, что ты лишь человек, и я с омерзением тебя оставлю. Меня ли ты считаешь искушительницей? Меня, в ком все мирские радости вызывали лишь пренебрежение? Меня, чья приязнь опирается на то, что ты свободен от человеческих слабостей? О, откинь оскорбительные опасения. Думай возвышенной обо мне, думай возвышеннее о себе. Я не способна соблазнить тебя, и уж конечно, твоя добродетельность устоит перед запретными желаниями. Амбросио, милый Амбросио, не гони меня от себя. Вспомни свое обещание и разреши мне остаться.

– Нельзя, Матильда. Но отказать тебе я должен и ради тебя самой, ибо трепещу за тебя, а не за себя. Победив пылкие желания младости, проведя тридцать лет в умерщвлении плоти и покаянии, я мог бы без опасений позволить тебе остаться, не страшась, что ты пробудишь во мне чувство более горячее, чем жалость. Но для тебя, если ты останешься в аббатстве, это может иметь лишь самые роковые последствия. Ты будешь превратно истолковывать каждое мое слово, каждый поступок. Будешь с жадностью высматривать любое обстоятельство, которое поддержит твою надежду на взаимность. Незаметно страсти возьмут верх над рассудком, и мое присутствие не только не будет их сдерживать, но, напротив, каждая минута, проводимая нами вместе, начнет возбуждать и распалять их. Поверь мне, злополучная девица, я искренне тебе сострадаю и убежден, что до сих пор тобой руководили самые чистые побуждения. Однако если ты слепа к неразумию своего поведения, то велика была бы моя вина, если бы я не открыл тебе глаза на него. Долг повелевает мне обойтись с тобой сурово. Мне надлежит отвергнуть твои мольбы и отнять даже тень надежды, которая вскармливает чувства, столь губительные для твоего покоя. Матильда, ты должна удалиться отсюда завтра же.

– Завтра, Амбросио? Завтра? О, ты не можешь этого потребовать! Ты не решишься обречь меня отчаянно! Ты не будешь столь жесток...

– Ты слышала мое решение и должна ему повиноваться. Устав нашего ордена не

дозволяет тебе остаться тут. Укрывать женщину в этих стенах – значит нарушить устав, и мой обет вынудит меня поведать твою историю всей братии. Ты должна уйти отсюда. Я жалею тебя, но сделать ничего не могу.

Последние слова он произнес слабым, дрожащим голосом. Затем, поднявшись, он хотел уйти, но Матильда, испустив громкий крик, кинулась за ним и остановила его.

– погоди еще миг, Амбросио! Дай мне сказать еще одно слово!

– Я не смею слушать! Посторонись! Ты знаешь мое решение.

– Но лишь одно слово! Одно последнее, и я кончу.

– Оставь меня. Твои просьбы напрасны! Ты должна удалиться отсюда завтра же!

– Так иди же, безжалостный варвар! Но мне еще остается одно средство!

Сказав это, она внезапно выхватила кинжал и, разорвав одеяние послушника, приставила острие к груди.

– Отче, живой я эти стены не покину!

– Остановись, Матильда! Остановись! Что ты задумала?

– Ты тверд, но и я тверда. В тот миг, когда ты оставишь меня, я вонжу эту сталь прямо в сердце.

– Святой Франциск! Матильда, в себе ли ты? Сознаешь ли ты последствия такого поступка? Помнишь ли, что самоубийство – величайшее преступление? Что ты губишь свою душу? Что отказываешься от надежды на спасение? Что обрекаешь себя на вечные муки?

– Мне все равно! Мне все равно! – ответила она страстно. – Либо в рай меня приведет твоя рука, либо моя принесет мне гибель! Амбросио, скажи мне! Скажи, что я останусь твоим другом, твоей собеседницей, или этот кинжал напьется моей крови!

И она подняла руку, словно готовясь поразить себя. Глаза монаха с ужасом следили за смертоносным движением кинжала. Он опустил на левую грудь, полуобнажившуюся, когда Матильда разорвала одеяние послушника. О, какая это была грудь! Лунный свет ложился на нее, и монах видел ее ослепительную белизну. Его взор с ненасытной жадностью впивался в эту прекрасную полусферу. Неведомое дотоле чувство преисполняло его сердце тревогой и восторгом. Жгучий огонь пробежал по всем членам, кровь закипала в жилах, тысяча необузданных желаний воспламеняла его воображение.

– Остановись! – вскричал он торопливо, запинаясь голосом. – Я не могу доле противиться! Так оставайся, чародейка! Оставайся на мою гибель!

С этими словами он покинул сад и скрылся в дверях монастыря. У себя в келье он бросился на постель, растерянный, ошеломленный, в глубоком смятении.

Долгое время ему не удавалось собраться с мыслями. Случившееся возбудило в его груди столько разнообразных чувств, что он не мог понять, какое преобладало. Он не знал, как вести себя с нарушительницей его покоя. Он понимал, что осмотрительность, религия и приличия требуют, чтобы она покинула монастырь. Но, с другой стороны, столь властные причины требовали не изгонять ее, что он был более чем склонен разрешить ей остаться. Ему не могло не польстить признание Матильды, как и сознание, что он, сам того не зная, покорила сердце, устоявшее перед атаками самых благородных кавалеров Испании. Приятен его тщеславию был и способ, которым он завоевал ее любовь. Он вспомнил многие счастливые часы, проведенные в обществе Росарио, и страшился пустоты в сердце, неминуемо ожидающей его в разлуке. Вдобавок ко всему он припомнил, что Матильда богата и ее расположение могло оказаться весьма полезным монастырю.

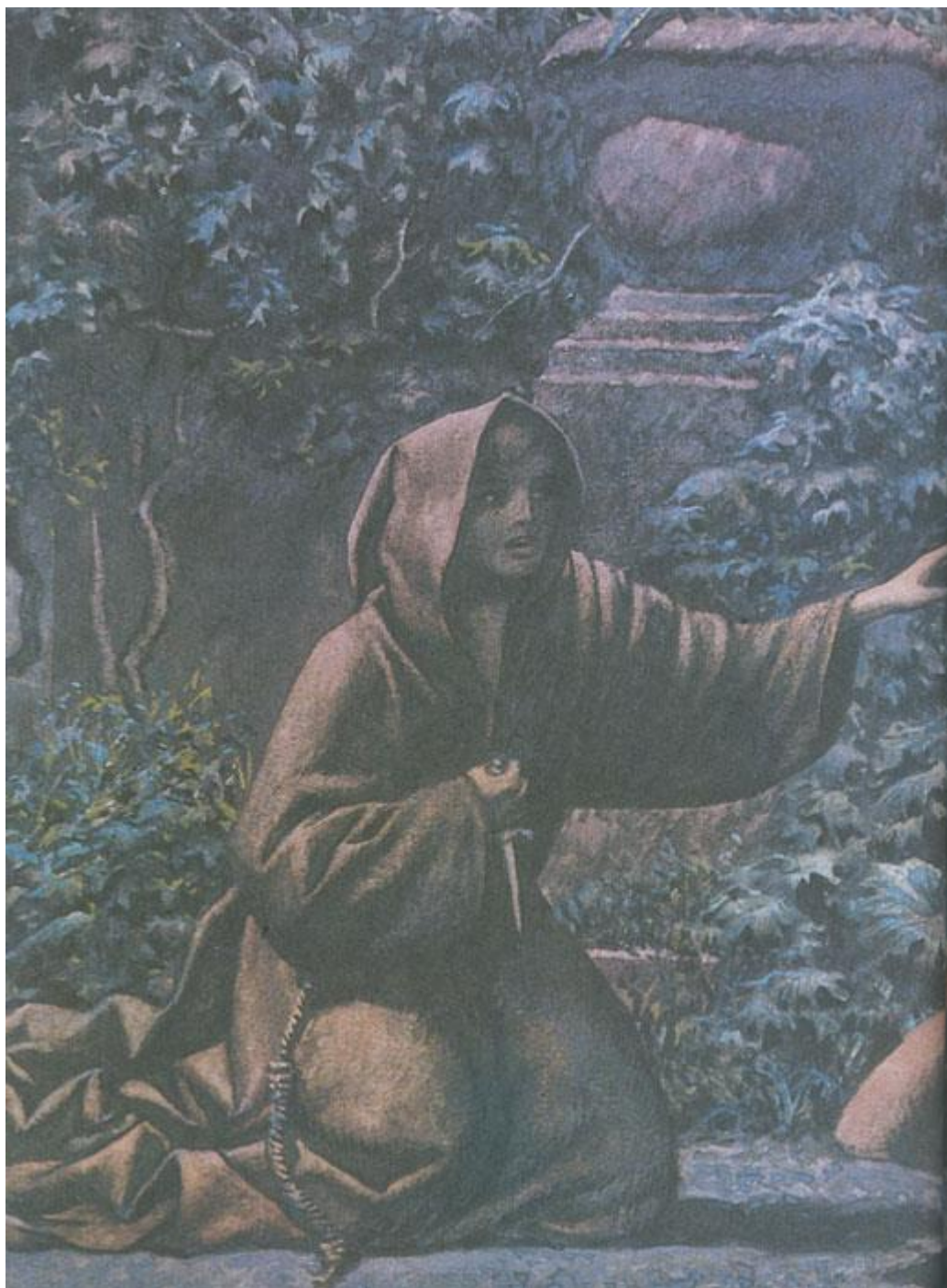
– И чем я рискую, позволив ей остаться? – сказал он себе. – Разве я не могу без сомнений положиться на ее заверения? Разве мне так трудно забыть ее пол и по-прежнему видеть в ней друга и ученика? Конечно же, ее любовь чиста, как она утверждает. Будь это лишь сладострастие, ужели она так долго его таила бы? Ужели не прибегла бы к какому-либо средству найти ему удовлетворение? А она поступала прямо наоборот: пыталась скрыть от меня свой пол, и открыть тайну ее принудил лишь страх разоблачения и мои настояния. Она соблюдала все религиозные обряды с не меньшей строгостью, чем я. Она и не пыталась пробудить дремлющие во мне страсти и до этого вечера никогда не

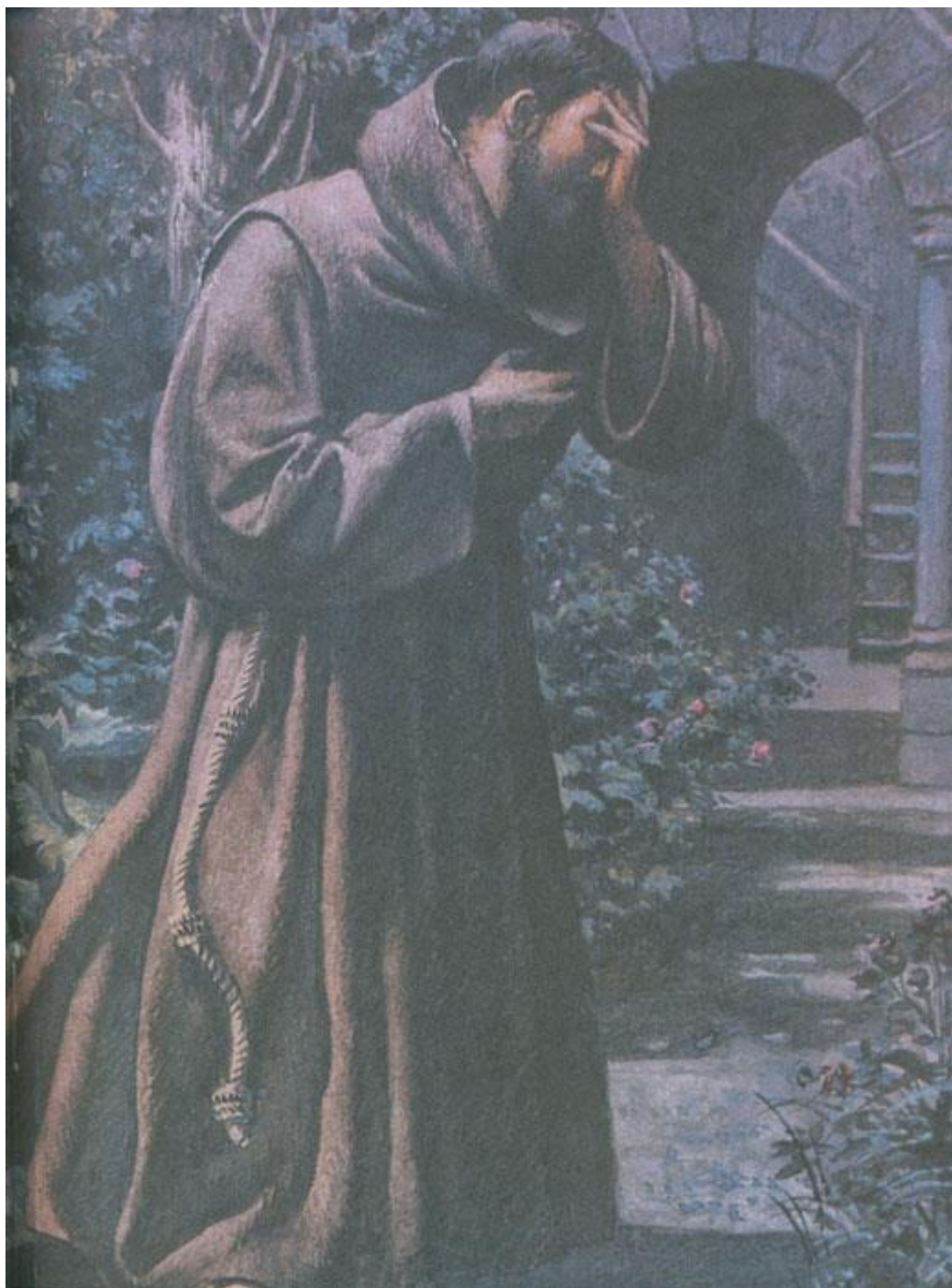
заговаривала со мной о любви. Будь ее целью снискать мою нежность, а не уважение, она не стала бы так тщательно таить от меня свои прелести. Я до сих пор не видел ее лица, а оно должно быть прекрасно, ведь она, несомненно, красавица, если судить по ее... по тому, что я увидел.

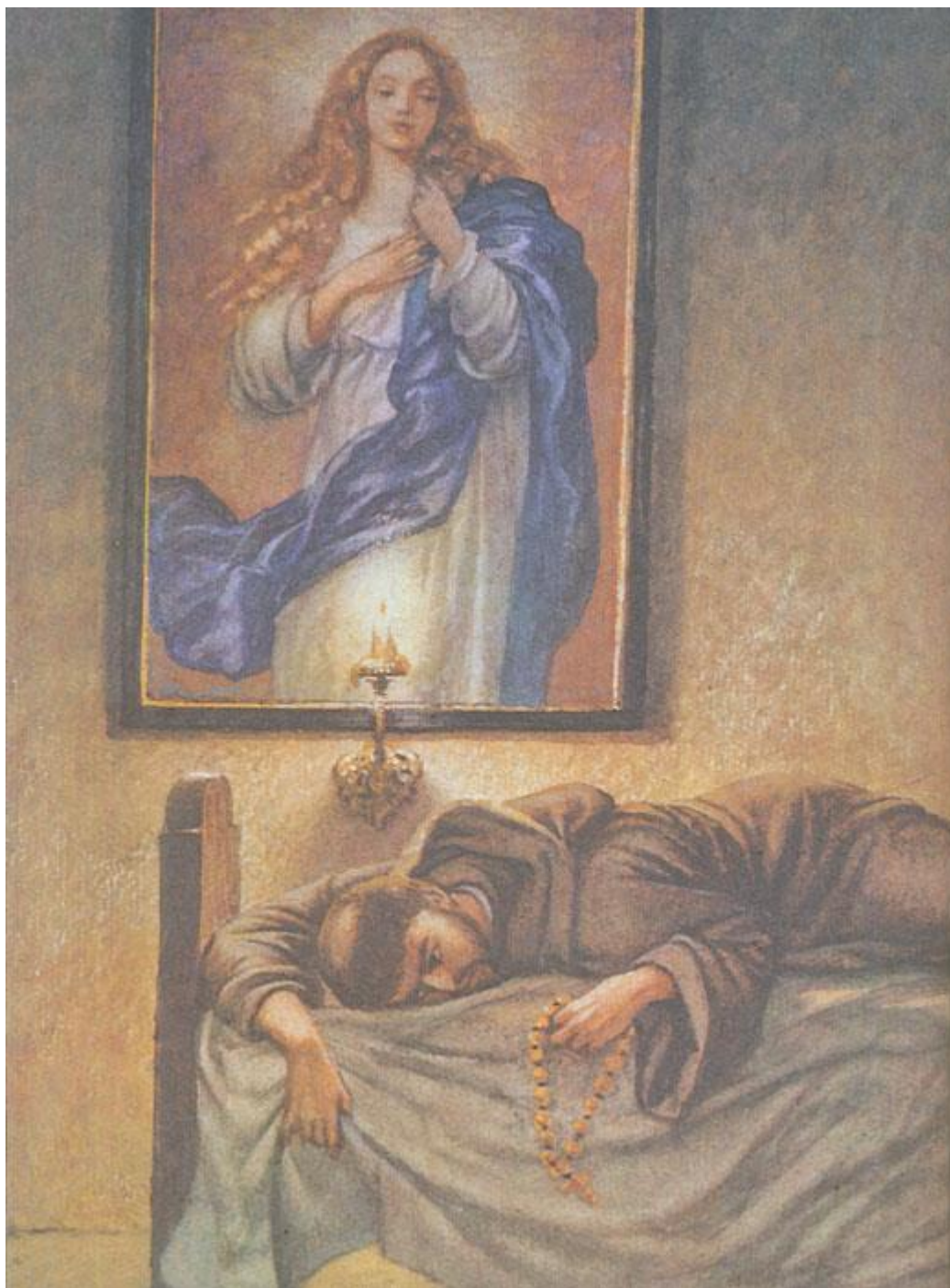
Когда у него промелькнула эта мысль, его щеки залил жаркий румянец стыда. Испугавшись чувств, которым он поддался, Амбросио обратился к молитве. Встав с постели, он опустил на колени перед красавицей Мадонной и умолял ее помочь ему избавиться от столь грешных чувств. Потом он снова лег и предался сну.

Он проснулся весь в жару и неосвеженный. Во сне воображение являло ему лишь самые сладострастные предметы. В сновидениях перед ним стояла Матильда, и его глаза вновь созерцали ее обнаженную грудь. Она повторила свои заверения в вечной любви, обвила руками его шею и осыпала поцелуями. Он отвечал на них, он пылко прижал ее к своему сердцу, и... и сновидение рассеялось. Иногда ему чудилось изображение его Мадонны – будто он стоит перед ним на коленях и произносит обеты, а глаза картины словно излучают невыразимую нежность. Он прижал губы к нарисованным губам, и они оказались теплыми. Ожившая фигура сошла с холста, с любовью открыла ему объятия, и его чувства не вынесли столь несравненного блаженства. Вот на каких сценах сосредоточивались его сонные мысли. Неудовлетворенные желания рисовали ему самые сладострастные и соблазнительные образы, он буйно наслаждался радостями, дотоле ему неведомыми.









С постели он поднялся полный смятения от воспоминаний о своих сонных грезах, и стыд его усугубился, едва он задумался о причинах, побудивших его накануне ночью дать Матильде разрешение остаться. Он содрогнулся, узрев свои доводы в истинном свете, и обнаружил, что стал рабом лести, алчности и себялюбия. Если всего за час Матильда сумела вызвать такую разительную перемену в его чувствах, так какие же опасности будут подстерегать его, если она останется в аббатстве? Зная теперь, что ему угрожает, очнувшись от дурмана доверчивости, он решил настоять на ее немедленном отъезде. У него возникали подозрения, что искушение может оказаться слишком сильным. Пусть Матильда ни в чем не преступит пределы целомудрия, но устоит ли он под натиском тех страстей, от которых самонадеянно считал себя свободным?

— Агнеса! Агнеса! — воскликнул монах, размышляя над своим тяжким положением. — Твое проклятие уже сбывается!

Он покинул келью с твердым намерением отослать лже-Росарио и направился в

часовню к заутрене. Однако мысли его были далеко, и службу он отстоял в рассеянии. Сердце и голова у него равно были заняты суетными предметами, и молитвам его не доставало истинного благочестия. Затем он спустился в сад и поспешил к тому месту, где накануне сделал это тягостное открытие. Он не сомневался, что Матильда будет искать его там, и оказался прав. Вскоре она вошла в грот и боязливо приблизилась к нему. Несколько мгновений оба молчали, а потом она, казалось, хотела робко заговорить, однако аббат, собрав всю свою решимость, перебил ее. Он опасался чар ее мелодичного голоса, хотя еще не испытал всю их силу.

– Сядь подле меня, Матильда, – сказал он с твердостью на лице, хотя старательно избегал даже намека на суровость. – Выслушай меня терпеливо и поверь, говорю я это столько же ради тебя, сколько ради себя. Поверь, я питаю к тебе теплейшую дружбу, истиннейшее сострадание, и горесть моя не уступит твоей, когда я скажу, что больше мы не должны видеться. Никогда.

– Амбросио! – вскричала она голосом, полным и удивления, и печали.

– Успокойся, мой друг, мой Росарио! Разреши мне все еще называть тебя этим именем, столь дорогим мне. Наша разлука неизбежна. Я краснею, признаваясь, как чувствительно она меня ранит. Но тем не менее другого быть не может. Я чувствую, что не способен обходиться с тобой равнодушно, и это убеждение как раз и заставляет меня настаивать, чтобы ты удалилась из монастыря. Матильда, ты не должна здесь больше оставаться.

– О! Где же теперь искать мне чистоты духа? Отвратись от коварного мира, в каких счастливых пределах прячется теперь Истина? Отче, я уповала обрести ее здесь, я думала, что твоя грудь – ее избранное святилище. Но и ты оказался обманщиком? О Боже! И ты тоже можешь предать меня?

– Матильда!

– Нет, отче, нет! Упреки мои справедливы. О! Где твои обещания? Срок моего послушания еще не кончился, и все же ты вынуждаешь меня покинуть монастырь? У тебя достанет сердца прогнать меня от себя? Но разве ты не дал мне торжественную клятву, утверждающую обратное?

– Я не стану вынуждать тебя покинуть монастырь. Я дал тебе клятву, утверждающую обратное. Но когда я взываю к твоему великодушию, когда я объясняю тебе тягостное положение, в которое ставит меня твое присутствие здесь, ужели ты не освободишь меня от этой клятвы? Подумай об опасности, что правда откроется, о негодовании и осуждении, которое это навлечет на меня. Вспомни, что речь идет о моей чести и доброй славе, что мой душевный мир зависит от твоего согласия. Пока мое сердце свободно. Я расстанусь с тобой, сожалея, но без отчаяния. Останься здесь, и несколько недель принесут мое счастье в жертву на алтаре твоих чар. Ты ведь так привлекательна, так хороша! Я полюблю тебя! Буду обожать! Грудь мне будут раздирать желания, которым честь и мой сан не позволяют уступить. Но если я буду им противиться, их сила сведет меня с ума, а если я уступлю соблазну, то принесу в жертву мгновению грешного наслаждения свою добрую славу в этом мире и спасение в том. И я прибегаю к тебе, ища защиты от себя самого. Помешай мне потерять награду за тридцать лет страданий! Помешай мне стать жертвой угрызений нечистой совести! Твое сердце уже познало муку безнадежной любви. О! Если я правда тебе дорог, спаси мое сердце от такой же муки. Верни мне мое обещание! Покинь эти стены! Беги – и ты унесешь с собой теплейшие мои молитвы о твоём счастье, мою дружбу, мое уважение и восхищение. Останься – и ты превратишься для меня в источник опасности, страданий, несчастья! Отвечай же, Матильда, что ты решила?

Она молчала.

– Ты не хочешь говорить, Матильда! Ты не скажешь, что ты выбираешь?

– Жестокий! Жестокий! – вскричала она, в агонии ломая руки. – Ты знаешь, что не оставил мне выбора! Ты знаешь, что у меня нет воли, кроме твоей!

– Значит, я не обманулся? Благородство Матильды равно моим ожиданиям!

– Да. Я докажу истинность моей любви, подчинившись приговору, который поражает

меня в самое сердце. Я возвращаю тебе твое обещание и сегодня же покину монастырь. У меня есть родственница – аббатиса монастыря в Эстремадуре. К ней направляюсь я и навеки затворюсь от мира. Но ответь мне, отче, унесу ли я в мое заточение твои добрые пожелания? Будешь ли ты порой отрываться от размышления о божественном и уделять мне мысль-другую?

– Ах, Матильда! Боюсь, я буду думать о тебе слишком часто для моего душевного покоя!

– Тогда мне больше нечего желать, кроме одного: чтобы мы могли встретиться на Небесах. Прощай, мой друг! Мой Амбросио!.. Нет, мне все же хотелось бы унести с собой какой-нибудь знак твоего расположения!

– Но что мне дать тебе?

– Что-нибудь... что угодно. Одного цветка с этого куста будет довольно! – Тут она указала на розовый куст, посаженный возле входа в грот. – Я спрячу его у себя на груди, и, когда умру, монахини найдут его увядшим на моем сердце.

Монах был не в силах ответить. Душа его исполнилась горести, и, медленно ступая, он вышел из грота, приблизился к кусту и наклонился сорвать розу. Внезапно он испустил пронзительный вопль, отшатнулся и уронил сорванный цветок. Услышав крик, Матильда в тревоге поспешила к нему.

– Что случилось? – воскликнула она. – Ради Бога, ответь! Что с тобой?

– Я встретил мою смерть! – ответил он слабым голосом. – Укрывшись среди роз... змея...

Тут боль в укушенной руке достигла того предела, которого человеческая природа выдержать не может, сознание его помрачилось, и он без чувств упал на руки Матильды.

Отчаяние ее было неопишным. Она рвала на себе волосы, била себя в грудь и, не решаясь оставить Амбросио, громкими воплями призывала на помощь. Наконец несколько братьев, встревоженные ее криками, поспешили в сад, и настоятеля перенесли в его келью. Его немедленно уложили в постель, и монах-врачеватель приготовился осмотреть укушенную руку. К этому времени она необыкновенно распухла. Его напоили целебными отварами, и к нему вернулась жизнь, но не рассудок. Он тяжело бредил, на его губах клубилась пена, и четверо самых сильных монахов с трудом удерживали его в постели.

Отец Паблос, как звали лекаря, торопливо исследовал укус. Монахи столпились у постели, с тревогой ожидая его приговора. Среди них лже-Росарио более других предавался горю. Он смотрел на страдальца с невыразимой мукой, а вырывавшиеся из его груди стоны выдавали силу бушевавших его чувств.

Отец Паблос углубил ранку. Когда он извлек ланцет, кончик его оказался зеленым. Скорбно покачав головой, отец Паблос отошел от кровати.

– Как я и боялся, – сказал он. – Надежды нет.

– Надежды нет? – в один голос воскликнули монахи. – Ты сказал, что надежды нет?

– Столь быстрое действие яда, решил я, указывает, что аббат был укушен съентипедоро.¹⁵ Яд, который вы видите на моем ланцете, подтверждает мое подозрение. Он не проживет и трех дней.

– И никакого противоядия нет? – спросил Росарио.

– Он может выздороветь только, если яд будет извлечен, а как его извлечь – для меня тайна. Я могу лишь прикладывать к ране травы, смягчающие боли. Страдалец придет в себя, но яд испортит ему всю кровь, и через три дня его жизнь угаснет.

Этот приговор вверг всех в глубокое горе. Паблос, как обещал, наложил на рану повязку и удалился с остальными монахами. В келье остался один Росарио, заботам которого по его настоянию поручили аббата. Бред и метания совсем истощили силы Амбросио, он

¹⁵ Полагают, что съентипедоро – уроженец Кубы и попал в Испанию с этого острова на корабле Колумба. (Примеч. автора.)

погрузился в глубокое забытие и почти не подавал признаков жизни. Когда монахи вернулись узнать, не произошли ли какие-нибудь перемены, они нашли его все в том же положении. Паблос снял повязку более из любопытства, чем в надежде обнаружить благоприятные симптомы. Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что воспаление прошло бесследно! Он проверил запястье и извлек ланцет чистым и светлым. Никаких следов яда не обнаружилось, а ранка, оставленная укусом, затянулась без следа. Паблос даже усомнился, была ли она.

Он сообщил все это братьям, и восторг их мог бы сравниться разве что с их удивлением. Однако последнее быстро исчезло, едва они объяснили случившееся на свой лад, окончательно убедившись, что их настоятель – святой, а значит, святой Франциск, как и надо было ожидать, сотворил ради него чудо. К такому выводу пришли все и провозглашали его с таким жаром и громкостью: – Чудо! Чудо! – что скоро прервали сон Амбросио.

Монахи тотчас столпились у его ложа, выражая радость по поводу его дивного исцеления. Он был в полном рассудке, не чувствовал ни малейшей боли и пожаловался только на чрезвычайную слабость и вялость. Паблос дал ему выпить укрепляющего настоя и посоветовал два дня не вставать с постели. Затем он удалился, объявив, что больной не должен утомлять себя разговорами и ему следует снова заснуть. Остальные монахи последовали за ним, и аббат остался наедине с Росарио вдаль от посторонних глаз.

Несколько минут Амбросио смотрел на свою сиделку с радостью и тревогой. Она сидела подле его постели, склонив голову и, как всегда, низко опустив на лицо капюшон.

– Так ты еще здесь, Матильда? – сказал наконец монах. – Тебе мало подвергнуть мою жизнь такой опасности, что лишь чудо спасло меня от могилы? О, несомненно Небеса послали эту змею покарать...

Матильда принудила его замолчать, с веселым видом заградив его уста ладонью.

– Т-ш-ш, отче! Т-ш-ш! Тебе нельзя разговаривать.

– Тот, кто наложил этот запрет, не знал, как важны для меня предметы, о которых я хочу говорить.

– Но я знаю. И налагаю тот же запрет. Мне поручено выхаживать тебя, и ты должен исполнять мои распоряжения.

– Ты весела, Матильда!

– И у меня есть на то право. Мне только что была дарована радость, какой я не ведала прежде.

– Какая же?

– Такая, какую я должна скрывать ото всех и особенно – от тебя.

– Особенно от меня? Нет, Матильда, я настаиваю...

– Т-ш-ш, отче! Т-ш-ш! Тебе нельзя разговаривать. Но если сон бежит от тебя, может быть, сыграть тебе на арфе?

– Как? Я не знал, что ты осведомлена и в музыке.

– Ах, я играю дурно. Но тебе велено двое суток хранить молчание, и, может быть, моя музыка развлечет тебя, когда ты устанешь от размышлений. Я схожу за арфой.

Она скоро вернулась с инструментом и спросила:

– Так что же мне спеть тебе, отче? Не хочешь ли послушать балладу о Дурандарте, доблестном рыцаре, который пал в знаменитой Ронсевальской битве?

– Как угодно тебе, Матильда.

– О, не называй меня Матильдой! Называй меня Росарио, называй своим другом! Вот имена, которые мне дороги в твоих устах! Так слушай же!

Она настроила арфу и сыграла небольшую прелюдию с величайшим вкусом, доказывавшим, что она в совершенстве владеет этим инструментом. Мотив был гармоничным и грустным. Слушая, Амбросио ощутил, как рассеивается его тревога, а грудь преисполняется сладкой печалью. Внезапно Матильда заиграла по-другому. Смелым быстрым движением она извлекла из струн воинственные аккорды, а затем запела следующую балладу под простой, но мелодичный аккомпанемент:

ДУРАНДАРТЕ И БЕЛЕРМА

Песнь о битве в Ронсевале
Так ужасна, так грустна!
Славны рыцарей, что пали
В том ущелье, имена.

Там и доблести зеркало,
Дурандарте был сражен.
Смерть уста ему сковала,
Но успел промолвить он:

«О Белерма! Семь уж лет я
Преданно тебе служил.
От тебя в ответ семь лет я
Лишь презренье находил.

Ныне же, едва ответный
Я огонь в тебе зажег,
Помешал мечте заветной
Сбыться беспощадный Рок.

В цвете лет, в том честь порука,
Я с улыбкой на устах
Смерть приму, и лишь разлука
С милой мне внушает страх.

Монтесинос, родич милый,
Выслушай, молю, меня,
Заклинаю дружбы силой,
Заклинаю светом дня,

Чуть мой дух покинет тело,
Сердце из моей груди
Извлеки рукою смелой
И к Белерме с ним пойд.

Скажешь ей, мои владенья
В смертный миг я ей отдал,
На нее благословенье
Вздох последний мой призвал.

За нее, скажи ей, верно

Я молитвы возносил,
Да помолится усердно
За того, кто так любил.

Монтесинос, близок час мой,
Дай на грудь твою прилечь.
Чу! Слабею, взор угас мой.
Чу! Я выронил свой меч.

Те, что провожали в битву,
Уж не свидятся со мной,
Родич, сотвори молитву
И глаза мои закрой.

Перестанет сердце биться,
Понапрасну слез не лей,
Не забудь лишь помолиться,
Родич, о душе моей.

Пусть к мольбе твоей Спаситель
Милосердно склонит слух
И в Небесную Обитель
Примет мой смиренный дух».

Встретил смолкнувший в печали
Дурандарте свой конец.
Мавры все возликовали,
Что погиб такой боец.

Горько плача, Монтесинос
Мертвые глаза закрыл,
Горько плача, Монтесинос
Для него могилу рыл.

Выполняя обещанье,
Дурандарте грудь рассек,
Чтоб Белерме дар прощальный
Отвезти, любви залог.

Монтесинос над могилой
В лютой горести стенал:
«Дурандарте, родич милый,
Кто тебе подобных знал?

Чести рыцарской зеркало,
Кроток духом, лев в бою!
Горе сердце истерзало,
Как снести мне смерть твою?

Родич, прах твой схоронивши,
Я останусь слезы лить.
Для чего тебя сразивший
Враг меня оставил жить?»

Амбросио с восхищением внимал ее пенью. Никогда он еще не слышал столь мелодичного голоса и удивлялся, что кроме ангелов кто-то способен изливать сердце в столь небесных звуках. Но, услаждая свой слух, он после единственного взгляда понял, что не должен подвергать такому искушению и зрение. Певица сидела в некотором отдалении от его ложа, склоняясь к арфе с грациозной непринужденностью. Капюшон был надвинут на лицо не так низко, как обычно, и открывал глазу коралловые губки, сочные, свежие, манящие, а также прелестный подбородок, где в ямочках, казалось, притаилась тысяча Купидонов. Длинный рукав ее одеяния задевал бы струны, а потому она завернула его выше локтя, обнажив безупречной красоты руку, нежная кожа которой могла бы поспорить белизною со снегом. Амбросио осмелился взглянуть на нее лишь раз. Но и одного взгляда оказалось достаточно, чтобы он убедился, сколь опасной была близость этого соблазнительного видения. Он закрыл глаза, но тщетно пытался изгнать образ Матильды из своих мыслей. Она все так же витала перед ним, украшенная всеми прелестями, какие могло измыслить разгоряченное воображение. Красота того, что он уже видел, стократно возрастала, а все скрытое от его взора фантазия рисовала самыми яркими красками. Но по-прежнему он помнил о своих обетах и необходимости строго следовать им. Он вступил в борьбу с желанием и содрогнулся, узрев, какая перед ним разверзалась бездна.

Матильда умолкла. Страшась ее чар, Амбросио не открыл глаз и только молил святого Франциска укрепить его в этом опасном испытании. Матильда поверила, что он спит. Она встала, тихо подошла к постели и несколько минут безмолвно смотрела на него с пристальным вниманием.

– Он спит! – произнесла она наконец тихим голосом, но аббат ясно различал каждое слово. – Теперь я могу смотреть на него, не возбуждая его неудовольствия. Я могу смешать мое дыхание с его дыханием, могу с обожанием созерцать его черты, и он не заподозрит меня в нечистоте помыслов и в обмане! Он страшится, что я соблазню его нарушить обет! О несправедливец! Будь моей целью пробудить желание, разве я стала бы так старательно прятать от него мое лицо? Лицо, о котором я каждый день слышу от него...

Она умолкла, погрузившись в размышления, а затем продолжала:

– Это случилось только вчера! Лишь несколько коротких часов прошло с той минуты, когда он сказал, что я ему дорога, что он уважает меня, – и мое сердце обрело удовлетворение. Но теперь!.. О, как страшно изменилось мое положение! Он смотрит на меня подозрительно! Он велит мне покинуть его, покинуть навеки! О, ты – мой святой, мой кумир! Ты второй в моем сердце после Бога! Еще два дня, и мое сердце откроется тебе... Можешь ли ты постигнуть чувства, с какими я смотрела на твою агонию? Можешь ли ты понять, насколько дороже сделали тебя мне твои страдания? Но недалек час, когда ты узнаешь, что моя любовь чиста и бескорыстна. Тогда ты пожалеешь меня и почувствуешь всю тяжесть такой печали!

Голос ее прервался от рыданий, и на щеку Амбросио, над которым она склонялась, упала слеза.

– О, я обеспокоила его! – воскликнула Матильда и торопливо отошла.

Тревога ее была напрасной. Крепче всех спят те, кто решает не просыпаться, Монах был именно в этом положении. Он еще изображал глубокий сон, но каждая проходящая минута все больше лишала сон всякой заманчивости. Жгучая слеза обожгла его сердце.

«Какая нежность! Какая чистота! – восклицал он мысленно. – Ах! Если моя грудь так отзывчива на жалость, что было бы, взволнуй ее любовь!»

Матильда вновь встала, но отошла от ложа еще дальше. Амбросио осмелился открыть глаза и боязливо взглянуть на нее. Она стояла спиной к нему. Скорбно положив одну руку на арфу, она созерцала Мадонну, висевшую напротив ложа.

– Счастливое, счастливое изображение! – так обратилась она к прекрасной Мадонне. – К тебе он обращает свои мольбы! На тебя взирает он с восхищением! Я думала, ты облегчишь мои горести, но тылишь сделала их тяжелее. Ты внушаешь мне мысль, что, узнай я Амбросио, прежде чем он принял постриг, он и счастье могли бы стать моими. С каким упоением смотрит он на тебя! С каким жаром обращает молитвы к бесчувственному холсту! Ах, но вдруг эти чувства пробуждает в нем какой-нибудь тайный и добрый гений, друг моей любви? Но вдруг естественный инстинкт подскажет ему... Прочь пустые надежды! Надо гнать мысль, отнимающую блеск у добродетелей Амбросио. Религия, а не красота будит в нем восхищение, и не перед женщиной, но перед Божественностью преклоняет он колена. О, если бы он обратился ко мне с самым холодным из слов, которые изливает перед своей Мадонной! О, если бы услышать от него, что он, не будь уже обручен с Церковью, не презрел бы Матильды! О, позволь мне питать эту сладкую мысль! Быть может, он еще признает, что чувствует ко мне не просто жалость и что любовь, подобная моей, заслуживает взаимности. Быть может, он скажет это, когда я буду лежать на смертном одре! Тогда ему не надо будет опасаться нарушения обета, а признание в его истинном чувстве утишит смертные муки. Ах, если бы я была уверена в этом! О, как искренне вздыхала бы я о смертном миге!

Из этой речи аббат не упустил ни единого слога, а тон, которым она произнесла последние слова, проник в самое его сердце. И он невольно приподнялся на подушке.

– Матильда! – сказал он взволнованным голосом. – О моя Матильда!

Она вздрогнула и быстро обернулась к нему. Это внезапное движение сбросило капюшон с ее головы, и ее лицо открылось вопрошающему взгляду монаха. С каким же изумлением он узрел точное подобие своей Мадонны! Те же безупречные черты, та же пышность золотых волос, те же алые губы, небесные глаза и то же величие – вот каким было дивное лицо Матильды. Вскрикнув от удивления, Амбросио вновь упал на подушки, не зная, видит ли он перед собой смертную или небожительницу.

Матильду, казалось, сковало смущение. Она стояла, окаменев, с рукой на арфе. Глаза ее потупились, щеки залил жаркий румянец. Затем она поспешила вновь скрыть лицо под капюшоном и дрожащим испуганным голосом обратилась к монаху так:

– Несчастная случайность сделала тебя обладателем тайны, которую я открыла бы только на ложе смерти. Да, Амбросио, в Матильде де Вильянегас ты видишь оригинал своей возлюбленной Мадонны. Вскоре после того, как мной овладела моя злополучная страсть, я придумала план, как послать тебе свое изображение. Толпы поклонников убедили меня, что я не лишена красоты, и мне не терпелось узнать, какое впечатление она произведет на тебя. Я поручила Мартину Галуппи, знаменитому венецианцу, прибывшему тогда в Мадрид, написать мой портрет. Сходство было поразительным, и я послала его в капуцинский монастырь как бы на продажу – еврей, у которого ты его купил, был моим доверенным. Да, ты купил портрет. Вообрази же мой восторг, когда я узнала, что ты смотрел на него с восхищением, а вернее, с преклонением во взоре; что ты повесил его в своей келье и обращаешь свои молитвы только к нему. Будешь ли ты после этого открытия смотреть на меня с еще большим подозрением? Однако оно должно убедить тебя в чистоте моей любви и не лишать меня твоего присутствия, твоего уважения. Я ежедневно слышала, как ты восхваляешь мой портрет, я видела, в какой экстаз ввергает тебя его красота. Но я не обратила против твоей добродетели это оружие, полученное от тебя же. Я скрывала от твоего

взора черты, которые ты бессознательно любил. Я не пыталась пробудить желание своими прелестями или при помощи твоих чувств стать госпожой твоего сердца. Единственной моей целью было привлечь твое внимание усердным исполнением благочестивых обрядов, стать нужной тебе, убедив тебя в добродетельности моих мыслей, в искренности моей привязанности. И я преуспела. Я стала твоей собеседницей и другом. Я скрыла от тебя свой пол, и, если бы не твоя настойчивость в расспросах и не мой страх перед случайным разоблачением, ты продолжал бы знать меня только как Росарио. И ты по-прежнему хочешь прогнать меня? Немногие часы жизни, какие мне еще остаются, ужели я не могу провести рядом с тобой? О, прерви же молчание, Амбросио, и скажи, что я могу остаться!

Эта речь дела аббату время собраться с мыслями. Он понимал, что в нынешнем его расположении духа не отдаться во власть этой пленительной женщины он мог, лишь избегая ее присутствия.

– Твое признание так меня ошеломило, – сказал он, – что пока я не способен ответить тебе. Не настаивай на ответе, Матильда. Оставь меня пока, я должен побыть в одиночестве.

– Я повинуюсь... Но прежде чем я удалюсь, обещаю не требовать, чтобы я покинула монастырь теперь же.

– Матильда, подумай о своем положении, подумай, к чему приведет твое пребывание здесь. Наша разлука неизбежна, и мы должны расстаться.

– Но не сегодня, отче! О, сжался! Только не сегодня!

– Ты слишком настойчива! Но я не могу воспротивиться этому молящему тону. Раз ты так этого желаешь, я уступаю твоей просьбе и даю согласие, чтобы ты осталась здесь на время достаточное, чтобы в какой-то мере подготовить братию к твоему отъезду. Останься еще на два дня. На третий же... – Он невольно вздохнул. – Помни, на третий мы должны расстаться навсегда!

Она благодарно схватила его руку и прижала к губам.

– На третий? – воскликнула она с мрачной торжественностью. – Ты прав, отче, о, ты прав! На третий мы должны расстаться навсегда.

В ее глазах, когда она произносила эти слова, появилось дикое выражение, пронзившее ужасом душу монаха. А она еще раз поцеловала его руку и выбежала вон.

Амбросио старался подыскать оправдание присутствию своей опасной гостьи, памятуя, насколько оно нарушает устав его ордена, и грудь его превратилась в арену противоборствующих страстей. В конце концов его привязанность к лже-Росарио, подкрепляемая природной его пылкостью, начала брать верх. И победа ей была всецело обеспечена, когда на помощь Матильде пришла самоуверенность, составлявшая основу его характера. Монах рассудил, что преодоление соблазна неизмеримо большая заслуга, чем бегство от него. Он подумал, что ему скорее надо радоваться случаю доказать твердость своей добродетельности. Святой Антоний выдержал все искушения плотской страстью. Почему же он не способен сделать то же? К тому же святого Антония искушал Дьявол, пускавший в ход все ухищрения, лишь бы зажечь в нем греховную страсть. Ему же, Амбросио, угрожает лишь смертная женщина, боязливая, целомудренная, причем мысль, что он уступит соблазну, страшит ее так же, как и его самого.

– Да, – сказал он, – несчастная останется. Мне нечего опасаться ее присутствия. Даже если моя воля окажется слишком слабой перед искушением, невинность Матильды мне щит от всякой опасности.

Амбросио только предстояло узнать, что Порок еще опаснее для незнакомого с ним сердца, когда прячется под личиной Добродетели.

Ему стало настолько легче, что вечером, когда его снова навещил отец Паблос, он попросил разрешения покинуть келью уже на следующий день. И получил его. Вечером Матильда к нему не пришла, но только появилась на минуту вместе с монахами, когда они все пришли справиться о здоровье настоятеля. Казалось, она страшилась разговора наедине с ним и быстро покинула келью. Амбросио спал крепко, но ему привиделось то же, что накануне, а сладострастные ощущения стали сильнее и утонченнее. Те же будящие похоть

образы витали перед ним. Матильда во всем блеске красоты, теплая, нежная, обворожительная прижимала его к груди и расточала ему самые пылкие ласки. Он отвечал тем же и уже готов был удовлетворить свои желания, как вдруг неверный призрак исчез, оставив его всем ужасам стыда и разочарования.

Занялась заря. Усталый, измученный, истомленный своими дразнящими снами, он не захотел встать с постели и не пошел к заутрене. Впервые в жизни он пропустил эту службу. Встал он поздно, и в течение всего дня у него не было случая поговорить с Матильдой без свидетелей. В его келье толпились монахи, желавшие выразить ему свое сочувствие и озабоченность его состоянием. И он все еще выслушивал их поздравления с быстрым исцелением, когда звук колокола позвал их в трапезную.

После обеда монахи разошлись по саду, где древесная сень и укромные уголки предлагали тихий приют для сиесты. Аббат направил свои стопы к гроту отшельника. Взглядом он позвал с собой Матильду. Она повиновалась и без слов последовала за ним. Они вошли в грот и сели. Ни он, ни она, казалось, не решались что-нибудь сказать, охваченные смущением. Наконец аббат прервал молчание, но заговорил он о самых обыденных вещах, Матильда отвечала в том же тоне. Казалось, ей хотелось, чтобы он забыл, что с ним рядом не Росарио. Оба они не осмеливались, да и не хотели даже намекнуть на то, что больше всего занимало обоих.

Веселость Матильды выглядела напускной. Ее угнетала какая-то тяжелая тревога, и голос ее звучал тихо и слабо. Казалось, она хотела кончить разговор, который тяготил ее, и, сославшись на нездоровье, попросила у аббата разрешения вернуться к себе. Амбросио проводил ее до дверей кельи, а там остановил и сказал, что согласен, чтобы она и дальше оставалась товарищем его одиночества, пока ей будет угодно.

Выслушав его, Матильда ничем не выразила радости, хотя накануне Добивалась его согласия с такой настойчивостью.

– Увы, отец! – произнесла она, печально покачивая головой. – Твоя доброта опоздала! Мы должны разлучиться навеки. Но верь, я благодарна за твое великодушие, за твое сострадание к несчастной, которая столь мало его заслуживает!

Она прижала платок к глазам. Капюшон прикрывал только половину ее лица, и Амбросио заметил, что она бледна, а глаза у нее запали и стали смутными.

– Боже мой! – вскричал он. – Ты больна, Матильда! Я тотчас пришлю к тебе отца Паблоса.

– Нет. Не надо. Я больна, это правда, но он не сможет вылечить мой недуг. Прощай, отец! Помяни меня завтра в своих молитвах, а я помяну тебя на Небесах!

Она вошла к себе в келью и затворила дверь.

Аббат незамедлительно послал к ней лекаря и с нетерпением ждал его возвращения. Впрочем, отец Паблос вернулся очень скоро и сказал, что ходил напрасно. Росарио отказался впустить его и решительно отверг предложенную помощь. Ответ этот внушил Амбросио немалую тревогу, тем не менее он решил, что до утра Матильду не надо больше тревожить, но если тогда ей не станет лучше, он настаит, чтобы она посоветовалась с отцом Паблосом.

Ему не спалось. Он открыл свое окошко и взирал, как лунные лучи озаряют ручей, омывающий стены монастыря. Прохладный ночной ветерок и ночное безмолвие вызвали печаль в душе монаха. Он задумался о красоте Матильды, о ее любви, о наслаждениях, которые мог бы делить с ней, не будь он закован в цепи монастырского устава. Ему пришло в голову, что ее любовь к нему, не питаемая надеждой, долго не продлится. Без сомнения, она сумеет погасить свою страсть и попытается найти счастье в объятиях более удачливого смертного. Он содрогнулся при мысли о пустоте, которую разлука с ней оставит в его груди, с отвращением оглянулся на монастырское однообразие и послал вздох миру, от которого был навеки отлучен. От этих размышлений его отвлек громкий стук в дверь. Монастырский колокол уже отбил два часа. Аббат поспешил узнать, что случилось, и отворил дверь кельи. За ней стоял послушник, чей вид говорил о торопливости и смятении.

– Поспешите, святой отец! – сказал он. – Поспешите к Росарио. Он призывает вас к

себе. Он умирает!

– Милостивый Боже! Где отец Паблос? Почему он не с ним? Я страшусь! О, я страшусь!

– Отец Паблос был у него, но его искусство бессильно. Он подозревает, что юноша отравился.

– Отравился? О, несчастный! Это я и подозревал. Но нельзя терять ни мгновения. Быть может, еще удастся спасти ее!

С этими словами он поспешил к келье лже-Росарио. Там уже собралось несколько монахов. Одним из них был отец Паблос, державший в руке лекарство, которое пытался дать выпить молодому послушнику. Остальные восхищались божественным ликом больного, впервые не закрытым капюшоном. А Матильда выглядела даже прелестней обычного. Бледность и страдание исчезли. Яркий румянец разлился по ее ланитам, в глазах светилась безмятежная радость, и весь ее вид дышал верой и покорностью судьбе.

– Ах, не мучайте меня больше, – говорила она Паблосу, когда в келью вбежал полный ужаса аббат. – Мой недуг не подвластен вашему искусству, и я не ищу исцеления. – Тут, увидев Амбросио, она вскричала: – Ах, это он! Я свидетелю с ним еще раз перед тем, как мы расстанемся навеки! Оставьте нас, братья мои. Мне многое нужно сказать святому человеку наедине.

Монахи тотчас удалились, и аббат с Матильдой остались одни.

– Что ты сделала, неразумная девица! – воскликнул он, едва дверь затворилась. – Скажи, верны ли мои подозрения? И я действительно должен тебя потерять? И твоя собственная рука стала орудием твоей гибели?

Она улыбнулась и сжала его пальцы.

– В чем я была неразумна, отче? Пожертвовала камешком и спасла алмаз. Моя смерть сохраняет жизнь, бесценную для мира и более дорогую мне, чем моя собственная. Да, отче, я отравлена. Но знай, яд этот прежде струился в твоих жилах.

– Матильда!

– Я скажу тебе то, что твердо решила открыть только на смертном одре. И вот эта минута настала. Ты еще не мог забыть дня, когда укус съентипедоро поставил твою жизнь под угрозу. Врач потерял всякую надежду и объявил, что не знает, как извлечь яд. Одно средство мне было известно, и я без колебаний прибегла к нему. Меня оставили наедине с тобой. Ты спал, я развязала повязку на твоей руке, я поцеловала ранку и высосала яд. Подействовал он быстрее, чем я предполагала. Я ощущаю смерть в сердце. Еще час, и я буду в лучшем мире.

– Боже Всемогущий! – вскричал аббат и упал на постель почти бездыханный.

Через минуту-другую он внезапно поднялся и посмотрел на Матильду с самым диким отчаянием.

– И ты пожертвовала собой ради меня! Ты умираешь – и умираешь, чтобы жил Амбросио! Неужто нет никакого противоядия, Матильда? Нет никакой надежды? О, ответь мне! Скажи, что ты можешь сохранить свою жизнь!

– Утешься, мой единственный друг! Да, я еще могу сохранить свою жизнь. Но с помощью средства, к которому не смею прибегнуть. Оно опасно. Оно страшно! Жизнь будет куплена слишком дорогой ценой... если только мне не будет дозволено жить для тебя...

– Так живи для меня, Матильда, для меня и моей благодарности! – Он схватил ее руку и страстно прижал к губам. – Вспомни последние наши разговоры. Теперь я согласен на все. Вспомни, какими яркими красками ты живописала союз душ. Да осуществим мы его. Забудем разность полов, презрим мирские предрассудки и будем считать себя братьями и друзьями. Живи же, Матильда! О, живи для меня!

– Амбросио, это невозможно! Когда я думала так, я обманывала и тебя и себя. Либо я должна умереть сейчас, или медленно погибнуть в муках неудовлетворенного желания. Ах, с тех пор как мы беседовали в последний раз, с моих глаз спала ужасная повязка. Я люблю тебя не так благоговейно, как любят святого, я более не ценю тебя за достоинства твоей

души, я жажду насладиться тобой. Женщина царит в моей груди, и я стала добычей необузданных страстей. Прочь дружба! Холодное, бесчувственное слово! Моя грудь пылает любовью, невыразимой любовью, требующей любви в ответ! Трепещи же, Амбросио, трепещи, что твоя молитва будет услышана. Если я останусь жить, твоя чистота, твоя добрая слава, твоя награда за жизнь, проведенную в страдании, – все, чем ты дорожишь, все будет безвозвратно потеряно. Я буду уже не в силах бороться со своими страстями, буду пользоваться каждым случаем, чтобы воспламенить твои желания и добиваться твоего бесчестия и моего. Нет, нет, Амбросио, я не должна жить! С каждым мгновением я убеждаюсь, что у меня есть только один выбор, с каждым биением сердца я чувствую, что должна насладиться тобой или умереть.

– О удивление!.. Матильда!.. Ты ли это говоришь со мной?

Он сделал движение, словно собираясь встать. И она с пронзительным воплем приподнялась и обняла его, чтоб удержать.

– Нет, не покидай меня! Выслушай с состраданием признание в моих грехах! Через несколько часов меня не станет. Еще немного, и я буду свободна от этой позорной страсти.

– Злосчастная! Что я могу сказать тебе! Я не в силах... я не должен... Но живи, Матильда! О, живи!

– Ты не подумал, о чем ты просишь. Как? Жить, чтобы броситься в пучину порока? Стать орудием Ада? Добиваться гибели и твоей и моей? Послушай это сердце, отче!

Она взяла его руку. Смущенный, в смятении он, точно завороченный, не отнял руки и почувствовал, как под ладонью бьется ее сердце.

– Ты чувствуешь это сердце, отче? Оно пока еще вместилище чести, правды и целомудрия. Если оно будет биться завтра, то неизбежно станет добычей чернейших преступлений. О, разреши мне умереть сегодня! Дай мне умереть, пока я еще достойна слез добродетельных людей. Вот так хочу я испустить дух! – Она опустила голову ему на плечо, и ее золотые волосы рассыпались по его груди. – В твоих объятиях я погружусь в сон. Твоя рука закроет мне глаза навеки, твои губы примут мой последний вздох. И ведь ты будешь иногда думать обо мне? Прольешь иногда слезу над моей могилой? О да! Да! Да! Этот поцелуй мне порука!

Была глубокая ночь. Вокруг царила тишина. Слабые лучи единственной лампы скользили по телу Матильды, наполняли келью смутным таинственным сиянием. Ни любопытные глаза, ни настороженные уши не мешали любовникам. Слышен был лишь мелодичный голос Матильды. Амбросио был молодым мужчиной в расцвете сил. Он видел перед собой молодую прекрасную женщину, свою спасительницу, обожательницу, кого нежность к нему привела на край могилы. Он сидел на ее постели, его рука покоилась на ее груди, ее голова маняще склонялась на его плечо. Так можно ли удивляться, что он поддался соблазну? Пьяный от желания, он прижался устами к устам, искавшим их. Его поцелуи пылкостью и жаром соперничали с поцелуями Матильды. Он заключил ее в страстные объятия и забыл свои обеты, свою святость и свою славу. В мыслях у него было только наслаждение и возможность предаться ему.

– Амбросио! О мой Амбросио! – вздохнула Матильда.

– Твой, навеки твой! – прошептал монах и пал на ее грудь.

ГЛАВА III

...Это злодеи, убивающие всех путешественников.

...Между ними есть дворяне –

Слепое буйство юности безумной

Их от людей достойных удалило.

«ДВА ВЕРОНЦА»

Маркиз и Лоренцо шли по улицам молча. Первый припоминал все обстоятельства,

которые могли создать у Лоренцо наилучшее мнение о том, что связывало его и Агнесу. Второй, справедливо боясь за фамильную честь, испытывал тягостное смущение. То, чему свидетелем он только что был, воспрещало ему обходиться с маркизом как с другом, но данное Антонию обещание стать ходатаем за нее мешало обойтись с ним как с врагом. Эти размышления привели его к мысли, что разумнее всего будет молчать, в нетерпении ожидая объяснений дон-Раймонда.

Когда они вошли во дворец де-лас-Систернас, маркиз тотчас проводил его в свои покои и заговорил о том, как счастлив он, найдя его в Мадриде. Но Лоренцо перебил эти изъяснения.

– Простите меня, маркиз, – сказал он сурово, – если я с некоторой холодностью отвечу на ваши заверения в дружбе. Речь идет о чести моей сестры. Пока она не будет очищена и цель вашей переписки с Агнесой не станет мне понятна, я не могу считать вас другом. Я с нетерпением жду услышать, что означает ваше поведение, и надеюсь, что вы не станете мешкать с обещанным объяснением.

– Сначала дай слово, что будешь слушать терпеливо и снисходительно.

– Я нежно люблю сестру и не собираюсь судить ее с беспощадностью, а до этого мгновения у меня не было друга столь мне дорогого, как вы. Признаюсь также, что в вашей власти одолжить меня в деле, которое я принимаю близко к сердцу, и потому я всей душой хочу узнать, что вы по-прежнему заслуживаете моего уважения.

– Лоренцо, ты восхищаешь меня! Мне нет большей радости, чем получить возможность услужить брату Агнесы!

– Убедите меня, что честь позволит мне принять вашу услугу, и в мире не найдется человека, которому я столь охотно был бы обязан.

– Быть может, ты слышал, как твоя сестра упоминала имя Альфонсо д'Альварады?

– Нет. Хотя я питаю к Агнесе истинно братскую любовь, обстоятельства надолго нас разлучили. Совсем девочкой ее поручили заботам тетки, бывшей замужем за немецким бароном. В его замке она оставалась до тех пор, пока два года назад не вернулась в Испанию, твердо решив удалиться от мира.

– Боже Великий! Лоренцо, ты знал о ее намерении и не попытался отговорить ее?

– Маркиз, вы ко мне несправедливы. Известие об этом, которое я получил в Неаполе, глубоко меня поразило, и я поспешил в Мадрид, только чтобы помешать ее губительному намерению. В день приезда я кинулся в монастырь святой Клары, куда Агнеса поступила белицей. Я сказал, что хочу увидеть мою сестру. Вообразите же мое изумление, когда она прислала сказать мне, что отказывается меня видеть. Она прямо объявила, что, опасаясь моего на нее влияния, она решится встретиться со мной лишь накануне дня, в который примет постриг. Я умолял монахинь, я требовал свидания с Агнесой и даже высказал подозрение, что ее насильственно от меня прячут. Чтобы очиститься от такого обвинения, настоятельница принесла мне несколько строк, начертанных хорошо мне знакомым почерком моей сестры. Они повторяли то, что мне уже сообщили от ее имени. Все дальнейшие попытки Добиться свидания с ней оказались столь же бесплодными, как и первая. Она оставалась неумолимой, и мне дозволили свидеться с ней лишь за день до того, как она вошла в монастырь, чтобы более никогда его не покидать. Свидание происходило в присутствии наших ближайших родственников. Я увидел ее впервые с тех пор, как она была маленькой девочкой, и встреча наша была очень трогательной. Агнеса бросилась мне в объятия, поцеловала меня и горько расплакалась. Всевозможными доводами, слезами, мольбами я тщился убедить ее отказаться от пострижения. Я упал перед ней на колени, я перечислял все тяготы монастырской жизни, я рисовал ей все радости, от которых она отказывалась, и просил хотя бы открыть мне, что внушило ей такое отвращение к миру. При этом вопросе она побледнела, и ее слезы хлынули с новой силой. Она умоляла меня не настаивать на ответе. Тогда я понял, что ее решение твердо, что только в монастыре можно ей надеяться обрести душевный покой. Она не отступила от своего намерения и постриглась. Я часто навещал ее у решетки, и каждая проведенная с ней минута увеличивала мою горечь

от того, что я ее лишился. Затем мне пришлось надолго покинуть Мадрид. Вернулся я лишь вчера вечером и еще не успел побывать в монастыре святой Клары.

– Так, значит, до того, как я упомянул о нем, ты прежде никогда не слышал имени Альфонсо д'Альварады?

– Прошу извинить меня. Тетушка писала мне, что носивший такое имя проходимец нашел средство втереться в замок Линденберг, что он сумел расположить к себе мою сестру и что она даже согласилась бежать с ним. Однако до того, как план этот был приведен в исполнение, кавалер узнал, что поместье на Испаньоле, которое он считал приданым Агнесы, в действительности принадлежит мне, и изменил свое намерение. Он скрылся в тот самый день, когда они собирались бежать, и Агнеса, в отчаянии от его вероломства и алчности, пожелала удалиться в монастырь. Тетушка добавила, что негодяй выдавал себя за моего друга, и осведомилась, знаю ли я такого. Я ответил, что нет. Мне тогда и в голову не приходило, что Альфонсо д'Альварада и маркиз де лас Систернас – одно и то же лицо. Присланное мне описание первого далеко не совпадало с внешностью второго.

– Узнаю коварство доньи Родольфы. Каждое слово здесь дышит ее злобой, ее лживостью, ее умением очернить тех, кому она хочет повредить. Прости меня, Медина, что я позволил себе так отозваться о твоей родственнице. Зло, которое она мне причинила, оправдывает мое негодование, а когда ты выслушаешь мою повесть, то убедишься, что употребленные мной выражения еще слишком мягки.

Затем он начал свой рассказ.

ИСТОРИЯ ДОНА РАЙМОНДА, МАРКИЗА ДЕ ЛАС СИСТЕРНАСА

Долгое знакомство наше, милый Лоренцо, открыло мне все благородство твоей натуры. И я без твоего объяснения знал, что злоключения твоей сестры были преднамеренно скрыты от тебя. Если бы ты был о них осведомлен, скольких бедствий избежали бы Агнеса и я! Судьба судила иначе. Ты путешествовал, когда я познакомился с твоей сестрой, а так как наши враги скрывали от нее, где ты странствуешь, она не могла написать тебе, прося защиты и совета.

Покинув Саламанку, где ты, как мне стало ведомо позднее, провел еще год после моего отъезда, я незамедлительно отправился путешествовать. Мой отец щедро снабдил меня деньгами. Однако он настоял, чтобы я скрыл свой ранг и представлялся простым дворянином. Так ему посоветовал его друг, герцог Вилья-Хермоса, гранд, которого я весьма почитал за его великие достоинства и знание света.

– Поверь, дорогой Раймонд, – сказал он, – ты не раз убедишься в пользе временного отказа от титула. Разумеется, как графа де лас Систернас тебя всюду принимали бы с распростертыми объятиями, и юное твое тщеславие убаглотворялось бы лестными знаками внимания, которыми тебя окружали бы. Теперь же многое зависит от тебя самого. Ты везешь превосходные рекомендательные письма, но сам должен будешь найти, как обратить их себе на пользу. Ты должен будешь стараться произвести благоприятное впечатление, прилагать усилия, чтобы понравиться тем, к кому ты явишься. Те, кто не замедлил бы искать дружбы графа де лас Систернас, не станут гадать о достоинствах или терпеливо сносить недостатки Альфонсо д'Альварады. А потому если ты встретишь дружбу и расположение, то сможешь смело приписать их собственным благородным качествам, а не обаянию своего титула, и такие знаки отличия будут несравненно более лестными. К тому же твое высокое рождение не позволило бы тебе сходить с людьми низкого звания, но теперь такие знакомства тебе открыты, а из них, по моему мнению, ты извлечешь немалую пользу. Не ограничивайся лишь знатно тех стран, которые будешь посещать. Познакомься с нравами и обычаями простонародья. Посещай хижины и, посмотрев, как обращаются с крестьянами в чужих краях, научись облегчать бремя своих и увеличивать их благоденствие. По моему мнению, среди преимуществ, которые юноша, предназначенный обладать властью и богатством, может извлечь из путешествий, отнюдь не последним является возможность близко

познакомиться с низшими сословиями и своими глазами увидеть страдания простых людей.

Прости, Лоренцо, если мой рассказ кажется тебе долгим и утомительным. Существующая между нами теперь тесная связь внушает мне желание открыться тебе во всем, и, опасаясь упустить хоть малейшую подробность, которая может способствовать тому, чтобы ты не подумал дурно о своей сестре и обо мне, я, вероятно, сообщу и много такого, что ты сочтешь неинтересным.

Последовав совету герцога, я вскоре убедился в его мудрости. Назвавшись вымышленным именем, Испанию я покинул как дон Альфонсо д'Альварада в сопровождении лишь одного верного слуги. Первой моей целью был Париж. Вначале он меня совершенно очаровал, как не может не очаровать всякого молодого богатого человека, любящего удовольствия. Однако в вихре веселья я замечал какую-то пустоту в сердце. Мне приелись буйные развлечения. Я обнаружил, что люди, среди которых я жил, столь учтивы и обходительные, на самом деле легкомысленны, бесчувственны и неискренни. Я с отвращением отвернулся от парижан и без вздоха сожаления покинул эту обитель роскоши.

Теперь путь мой лежал в Германию, где я намеревался посетить все главные дворы, но прежде предполагал пожить некоторое время в Страсбурге. Выйдя из экипажа в Люневилле, чтобы перекусить в гостинице, я заметил у дверей «Серебряного льва» великолепную карету с четырьмя слугами в пышных ливреях. Вскоре, посмотрев случайно в окно, я увидел, как в карету села дама величественной наружности в сопровождении четырех прислужниц. Карета тотчас уехала, а я осведомился у хозяина, кто эта дама.

– Немецкая баронесса, мосье, очень знатная и богатая. От ее слуг я узнал, что она навещала здесь герцогиню де Лонгвилль. Сейчас она направляется в Страсбург, где встретится с супругом, и они вместе вернутся в свой замок в Германии.

Я отправился дальше, намереваясь в тот же вечер уже быть в Страсбурге. Однако поломка экипажа воспрепятствовала этому. Сломался он на полпути через густой лес, и я оказался в немалом затруднении. Была середина зимы, уже смеркалось, а до Страсбурга, ближайшего оттуда города, оставалось еще несколько лиг. Я решил, что должен либо провести ночь в лесу, либо взять лошадь моего слуги и добраться до Страсбурга верхом – прогулка в такое время года не слишком приятная. Однако иного выхода не было, и я сообщил о своем намерении наемному кучеру, обещав тотчас прислать помощь из Страсбурга. Его честность не внушала мне особого доверия, но он был в годах, а Стефано хорошо вооружен, и я не думал, что должен опасаться за свой багаж.

К счастью, как показалось мне тогда, тут же выяснилось, что ночь можно провести гораздо удобнее, чем я полагал. Едва услышав, что я намерен отправиться в Страсбург, кучер покачал головой.

– До Страсбурга далеко, – сказал он, – а без проводника вы и с дороги можете сбиться. К тому же мосье как будто не привык к суровым зимам и может не выдержать холода...

– К чему эти возражения? – нетерпеливо перебил я. – Что еще мне остается делать? А проведя ночь в лесу, я скорее погибну от холода.

– Проведя ночь в лесу? – повторил он. – Святой Денис! Мы еще не в столь отчаянном положении. Коли не ошибаюсь, отсюда совсем близко до хижины моего старинного друга Батиста, дровосека и честного малого. Он будет рад приютить вас на ночь, а я тем временем поскачу в Страсбург и на заре вернусь с каретником и его подручными.

– Во имя всего святого! – воскликнул я. – Что же ты раньше не сказал? Почему не объяснил про хижину? Какая глупость!

– Я думал, может, мосье побрезгует...

– Вздор! Ну, довольно болтовни! Проводи нас не мешкая к дровосеку.

Он послушался, и мы двинулись вперед. Лошади с трудом тащили за нами разбитый экипаж. Мой слуга уже совсем онемел от холода, да и меня мороз пробирал до костей, когда мы наконец добрались до желанной хижины. Она была невелика, но построена крепко, и я с радостью увидел в окошке жаркое пылание огня. Наш проводник постучал в дверь. Никто не откликнулся. Без сомнения, обитатели хижины не знали, впускать ли нас.

– Э-эй! Э-эй, друг Батист! – нетерпеливо крикнул кучер. – Чего мешкаешь? Или ты спишь? Или хочешь отказать в ночлеге благородному путешественнику, чей экипаж сломался в лесу?

– А! Так это ты, честный Клод? – донесся изнутри мужской голос. – погоди минуту, сейчас отворю.

Вскоре засовы были отодвинуты, дверь распахнулась и пред нами предстал мужчина с фонарем в руке. Он радостно поздоровался с кучером, а затем обратился ко мне:

– Добро пожаловать, мосье! Входите, входите! Простите, что не сразу пустил вас. Но в округе столько всякого темного люда, что, вы уж извините, я было принял вас за разбойников.

С этими словами он ввел нас в комнату, где я видел огонь. Меня тотчас усадили в кресло у очага. Женщина, жена хозяина, как я подумал, встала при моем появлении, холодно сделала мне небрежный реверанс, а затем снова села и взяла отложенное рукоделие. Насколько приветлив был ее муж, настолько недружелюбно и грубо держалась она.

– Желал бы я предложить вам что-нибудь поудобнее, мосье, но наша лачуга тесновата. Однако комнатка для вас и другая для вашего слуги у нас найдется. Вам придется довольствоваться простой пищей, но предложат ее вам, поверьте, со всем радушием. – Он повернулся к жене. – Что это, Маргарита, ты сидишь тут, будто у тебя никакого дела нет! Пошевеливайся, матушка! Пошевеливайся! Собери на стол, постели чистые простыни. Э-эй! Подбрось-ка поленьев в огонь! Господин, видно, совсем замерз.

Жена поспешно положила рукоделие на стол, но начала выполнять его распоряжения с видимой неохотой. Лицо ее мне не понравилось с первого взгляда. Однако черты ее были, бесспорно, красивыми. Но кожа выглядела землистой, а сама она – худой и изможденной. Лицо ее, полное угрюмости, выражало такую злобу и недоброжелательность, что их заметил бы и самый ненаблюдательный человек. Каждый ее взгляд, каждое движение выражали недовольство и досаду, а когда Батист добродушно пенял ей за насупленный вид, она отвечала коротко, резко и ядовито. Короче говоря, я сразу же проникся к ней неприязнью, не уступавшей по силе расположению, которое вызвал у меня ее муж, чья внешность внушала уважение и доверие. Лицо у него было открытое, искреннее, дружелюбное, манера держаться казалась простецкой, как у поселянина, но без крестьянской неотесанности. Щеки у него были круглыми и румяными, а дородство фигуры с избытком возмещало худобу его жены. По морщинам на лбу его я дал ему шестьдесят лет, но он выглядел не по возрасту крепким и здоровым. Жене не могло быть многим больше тридцати, но она казалась даже старше своего бодрого и деятельного супруга.

Пусть с неохотой, но Маргарита все-таки начала готовить ужин, а дровосек весело поддерживал разговор о том о сем. Кучер, запасшийся бутылкой с крепким зельем, готов был отправиться в Страсбург и спросил, нет ли у меня еще распоряжений.

– В Страсбург? – перебил Батист. – Куда это ты на ночь глядя?

– Так-то так, но коли я не вернусь с каретником, как мосье поедет дальше?

– Верно, верно! Про экипаж-то я и позабыл. Да только, Клод, чего бы тебе не поужинать тут? Времени потратишь немного, а у мосье лицо доброе, не пошлет же он тебя на пустой желудок ехать по такому холодищу.

Я охотно дал свое согласие, заверив кучера, что, приеду я завтра в Страсбург на час-другой раньше или позже, важность невелика. Он поблагодарил меня и вышел из хижины со Стефано, чтобы поставить лошадь в большой сарай. Батист проводил их до дверей и с тревогой посмотрел наружу.

– Ветер-то, ветер! – сказал он. – Что-то мои парни задержались. Мосье, я вам покажу двух таких молодцов, что, право, загляденье. Старшему двадцать три, а младший на год моложе. В пятидесяти милях вокруг Страсбурга не сыскать двух таких разумных, смелых и усердных ребят. Скорей бы они вернулись! Что-то на душе у меня тревожно.

Маргарита в эту минуту застилала стол скатертью.

– Вы тоже тревожитесь за своих сыновей? – спросил я у нее.

– Нет, – ответила она с досадой. – Они мне не сыновья.

– Ну-ну, Маргарита, – сказал муж. – Не огрызайся на господина за простой вопрос. И не хмурься ты так, он бы заметил, что двадцатитрехлетнего сына у тебя быть не может! Вот видишь, как тебя старит дурной характер! Вы уж извините грубость моей хозяйки, мосье. Она по всякому пустяку из себя выходит, ну и надулась, что вы ей столько лет дали, хотя она еще и до тридцати не дожила. Так ведь, Маргарита, а? Вы же знаете, мосье, как все женщины молодятся. Ну-ну, Маргарита, улыбнись! Не сейчас, так через двадцать лет будут и у тебя сыновья в таком возрасте, и, надеюсь, выйдут из них молодцы не хуже Жака и Робера.

Маргарита с отчаянием сжала руки.

– Господи избави! – сказала она. – Господи избави! Да поверь я в это, так задушила бы их сразу своими руками!

Она торопливо вышла за дверь и поднялась по лестнице на второй этаж.

Я не удержался и вслух посочувствовал дровосеку, что, мол, всю жизнь ему придется проводить с такой сварливой женой.

– Господь с вами, мосье! У каждого есть свой крест, а у меня так Маргарита. Да к тому же она только сердится легко, а характер у нее не злой. Худо только, что из любви к двум своим детям от первого мужа она моим молодцам злая мачеха. Видеть их не может и, будь ее воля, давно бы выгнала их из дома. Но уж тут я ей даю отпор и никогда не отправлю бедных ребят бродить в поисках пропитания по свету, как она меня ни уговаривай! В чем другом я ей всегда уступлю, да и хозяйка она на редкость домовитая, этого у нее не отнимешь.

Мы продолжали беседовать, но вскоре нас перебил громкий окрик, который разнесся по всему лесу.

– Никак мои сынки! – воскликнул дровосек и побежал отворить дверь.

Окрик повторился. Теперь мы различили лошадиный топот, и минуту спустя к двери хижины подъехала карета в сопровождении нескольких всадников. Один из них осведомился, далеко ли до Страсбурга. Обращался он ко мне, и я назвал расстояние, о котором говорил Клод. Тут раздался залп проклятий по адресу кучеров, не знающих дороги, после чего сидящим в карете было доложено, что до Страсбурга еще далеко, а лошади так устали, что еле ноги передвигают. Дама, которая, видимо, всем распоряжалась, выразила глубокое огорчение. Но делать было нечего, и слуга спросил дровосека, сможет ли он предоставить им ночлег.

Батист, видимо, смутился и ответил, что никак не может, добавив, что единственные две свободные комнаты уже отданы испанскому дворянину и его слуге. Когда я это услышал, наша испанская галантность не позволила мне оставить за собой то, в чем нуждалась женщина. Я тотчас сказал дровосеку, что уступаю свою комнату даме. Он начал было возражать, но я отверг все его доводы, поспешил к карете, отворил дверцу и помог даме выйти, немедленно узнав в ней особу, которую видел из окна гостиницы в Люневилле. Выбрав удобную минуту, я осведомился у одного из слуг, кто она.

– Баронесса Линденберг, – последовал ответ.

Я не мог не заметить, что хозяин принял этих гостей совсем иначе, чем меня. Его нежелание видеть их под своим кровом было ясно написано на его физиономии, и он лишь с трудом заставил себя сказать даме «добро пожаловать». Я проводил ее в дом и усадил в кресло, которое только что покинул. Она поблагодарила меня весьма любезно и рассыпалась в извинениях, что лишает меня комнаты. Внезапно лицо дровосека прояснилось.

– Наконец-то сообразил! – сказал он, перебивая ее извинения. – Я могу устроить вас и вашу свиту, сударыня, причем так, что вам не придется стеснять этого господина за его учтивость. Одну из свободных комнат займет благородная дама, мосье, а вторую вы. Моя жена уступит свою двум служанкам, ну, а слуги переночуют в амбаре в нескольких шагах от дома. Там можно затопить печь, и они поужинают, чем Бог послал.

Дама изъявила благодарность, я было воспротивился тому, чтобы Маргарита лишилась своей комнаты, но в конце концов все так и устроилось. В комнате, где мы находились, было тесно, и баронесса тотчас отпустила своих слуг. Батист уже собрался проводить их в амбар,

как в дверях хижины появились два молодых человека.

– Ад и Дьявол! – вскричал один из них, попятившись. – Робер, в доме полно чужих!

– А вот и мои сынки! – воскликнул хозяин. – Жак! Робер! Куда это вы, ребята? Места и на вас хватит.

Услышав это заверение, молодые люди вернулись. Отец представил их баронессе и мне, а затем увел наших слуг, Маргарита же проводила обеих служанок по их просьбе в комнату, отведенную их госпоже.

Молодые люди были крепкими, высокими, широкоплечими, с грубыми лицами и загорелые дочерна. Они поздоровались с нами коротко, но вошедшего в комнату Клода приветствовали как старого знакомого. Потом они сбросили плащи, в которые кутались, сняли кожаные пояса с кинжалами, а потом вытащили из-за кушака пистолеты и положили их на полки.

– Вы хорошо вооружаетесь в дорогу, – заметил я.

– Верно, мосье, – ответил Робер. – Из Страсбурга мы выехали вечером, а в этом лесу после темноты надо ухо держать востро. Слава о нем идет дурная, можете мне поверить.

– Почему? – спросила баронесса. – Разве в окрестностях есть разбойники?

– Поговаривают, что так, сударыня. Только я, сколько ни ездил по лесу и днем и ночью, ни с одним не повстречался.

Тут вернулась Маргарита, пасынки отвели ее в дальний угол и несколько минут шептались с ней о чем-то. Судя по взглядам, которые они на нас бросали, я решил, что они расспрашивают ее, зачем мы тут.

Баронесса тем временем посетовала, что ее супруг будет очень о ней тревожиться. Она намеревалась послать к нему слугу с известием, что ей пришлось задержаться до утра, но после слов Робера не знала, как поступить. Из затруднения ее вывел Клод. Он сообщил ей, что сейчас же отправляется в Страсбург – так коли она даст ему письмо, оно будет незамедлительно доставлено барону, он ручается.

– Как же ты не боишься повстречаться с разбойниками? – спросил я.

– Увы, мосье! Бедному человеку с большой семьей не след отказываться от выгодного поручения потому лишь, что он за свою шкуру опасается. Может, господин барон пожалует мне что-нибудь за мои труды. Да к тому же взять у меня кроме жизни нечего, а она разбойникам ни к чему.

Я счел его доводы слабыми и посоветовал ему дожждаться утра. Однако баронесса меня не поддержала, и я вынужден был умолкнуть. Как позже я узнал, баронесса Линденберг имела привычку пренебрегать чужими интересами ради своих, и желание послать Клода в Страсбург заставило ее забыть про грозившую ему опасность. Было решено, что он пустится в путь сейчас же. Баронесса написала супругу, а я черкнул несколько строк моему банкиру, оповещая его, что буду в Страсбурге только на следующий день. Клод забрал наши послания и покинул хижину.

Баронесса пожаловалась на усталость: не только она проехала большой путь, но кучер то и дело сбивался с дороги в лесу. Она попросила Маргариту проводить ее в отведенную ей комнату, чтобы полчаса отдохнуть. Немедленно позвали одну из служанок, она явилась со свечой, и баронесса поднялась следом за ней по лестнице. В комнате, где я находился, начали накрывать на стол, и Маргарита дала мне понять, что я ей мешаю. Намеки ее были такими прозрачными, что я попросил ее пасынков показать мне мою комнату и выразил желание подождать ужина там.

– Какая это комната, матушка? – спросил Робер.

– Та, где занавески зеленые, – ответила она. – Я только сейчас кончила ее прибирать и постелила свежие простыни. Если господину хочется поваляться на кровати, пусть сам ее перестилает, а я не стану.

– Сегодня, матушка, ты что-то очень сердита, хоть нам это и не внове. Я провожу вас, мосье.

Он открыл дверь и направился к узкой лестнице.

– Что же ты без свечи? – спросила Маргарита. – Себе хочешь шею сломать или господину?

Она прошла мимо меня и сунула горящую свечу в руку Робера, и он начал подниматься по ступенькам. Жак спиной ко мне расстилал скатерть на столе. Маргарита выбрала эту минуту, когда на нас никто не смотрел, чтобы схватить меня за руку и сильно ее сжать.

– На простыни поглядите! – шепнула она, прошла мимо меня назад к столу и опять занялась ужином.

Растерявшись от ее неожиданной выходки, я стоял как окаменелый, пока меня не окликнул Робер. Я поднялся следом за ним, и он распахнул передо мной дверь комнаты, где в очаге весело пылали поленья. Поставив свечу на стол, он осведомился, не нужно ли мне чего-нибудь еще, а когда я ответил отрицательно, удалился. Едва оставшись один, я, как ты можешь легко себе представить, тотчас последовал настоянию Маргариты – взял свечу, быстро подошел к кровати и откинул одеяло. Каковы же были мое изумление, мой ужас, когда я увидел, что простыни все в крови!

Мысли вихрем закружились в моем мозгу. Разбойники, грабящие в этом лесу, восклицание Маргариты, касавшееся ее детей, оружие и внешность сыновей хозяина, а также бесчисленные рассказы, которые мне доводилось слушать, о том, как наемные кучера сговариваются с бандитами, – все это разом припомнилось мне, ввергнув меня в страх и растерянность. Я начал обдумывать, как убедиться наверное, и тут услышал, что внизу кто-то быстро расхаживает взад и вперед. Теперь малейший пустяк казался мне подозрительным, я тихо подошел к окну, которое, несмотря на холод, было открыто, чтобы проветрить комнату, и осмелился выглянуть наружу. В лучах луны я различил фигуру мужчины и без труда узнал в нем нашего хозяина. Я начал следить за ним. Он быстро прошел несколько шагов, потом остановился и прислушался. Он притопывал, хлопал себя кулаками по бокам, точно стараясь согреться. Но при каждом самом тихом звуке – доносился ли голос из нижней комнаты, пролетала ли над ним летучая мышь или ветер шуршал безлистыми ветками – он вздрагивал и с тревогой осматривался по сторонам.

– Чума на него! – буркнул он. – Где его черти носят?

Произнес он свое проклятие вполголоса, но прямо у меня под окном, так что я хорошо расслышал каждое слово.

Тут послышались приближающиеся шаги. Батист пошел в ту сторону и встретил невысокого человека с рожком на груди – моего верного Клода, которого я полагал на пути в Страсбург. Думая, что разговор их поможет мне разобраться во всем, я поспешил принять меры, чтобы остаться незамеченным, и задул свечу, стоявшую на столике у кровати. Огонь в очаге отбрасывал мало света и не мог меня выдать. Я торопливо вернулся к окну.

Оба они стояли прямо под ним. Видимо, за время моего краткого отсутствия дровосек попрекнул Клода, что он так замешкался, – во всяком случае тот оправдывался.

– Ну, теперь, – добавил он, – мое усердие искупит эту задержку.

– В таком случае, – сказал Батист, – я тебя охотно прощу. А впрочем, добычу-то мы делим поровну, так торопиться тебе следует для себя же. Жаль было бы упустить такой жирный кусок! Ты говоришь, что этот испанец богат?

– Его слуга хвастал в гостинице, что вещи в его коляске стоят побольше двух тысяч пистолей.

Ах, какие проклятия я обрушил на Стефано за это опрометчивое бахвальство!

– И мне сказали, – продолжал кучер, – что баронесса везет с собой шкатулку с драгоценностями несметной цены!

– Может, и так, но лучше бы она сюда не сворачивала. Испанец был верной добычей. Мальчики и я легко справились бы с ним и его слугой, и две тысячи пистолей мы поделили бы между нами четверыми. А теперь придется взять в долю всю шайку, да к тому же они еще могут ускользнуть из наших рук. Если наши друзья разойдутся по своим дозорным постам прежде, чем ты доберешься до пещеры, все будет потеряно. У баронессы слишком много слуг, нам с ними не справиться. Если наши товарищи не подспеют вовремя, придется нам

завтра отпустить всех этих путешественников целыми и невредимыми.

– Такая неудача, что баронессу вез кучер, который ничего про наш договор не знает! Ну да не бойся, брат Батист. Через час я доберусь до пещеры. Сейчас всего десять, так что к полуночи жди шайку. Да только последи за своей хозяйкой. Ты же знаешь, как ей не по нутру наша жизнь. А вдруг она найдет способ предупредить слуг баронессы!

– А! Она будет помалкивать. Меня до смерти боится, а своих детей любит крепко, вот и не посмеет нас выдать. К тому же Жак и Робер глаз с нее не спускают, а за дверь ей и шагу ступить не дозволяется. Слуги выдворены в амбар, и уж я постараюсь, чтобы до прибытия наших Друзей тут все было спокойно. Знай я, что ты их непременно разыщешь, так тех, кто в доме, теперь же отправил бы на тот свет. Но только опасаюсь, что ты бандитов не найдешь, а утром слуги хватятся своих господ.

– А коли он или она догадаются о твоих замыслах?

– Ну, тогда придется прирезать тех, кто в доме, и попробовать прикончить остальных. Однако, чем про это толковать, ты бы поторопился в пещеру. До одиннадцати бандиты из нее никогда не уходят, и ты, коли поторопишься, еще успеешь их перехватить.

– Скажи Роберу, что я возьму его лошадь. Моя оборвала уздечку и сбежала в лес. Пароль-то какой?

– Награда за храбрость.

– Запомнил. Ну, так я скачу в пещеру.

– А я пойду к моим гостям, не то как бы они чего не заподозрили. Доброго пути. Да поторапливайся!

Достойные друзья разошлись – один побежал к конюшне, а другой вернулся в дом.

Ты можешь вообразить, что я чувствовал во время этого разговора, из которого не упустил ни слова. Мысли у меня мешались, я не видел никакого способа избежать опасности. Я понимал, что сопротивление окажется тщетным: ведь я один и не вооружен, а их – трое. Тем не менее я твердо решил продать свою жизнь как можно дороже. Страшась, что Батист заметит мое отсутствие и сообразит, что мне удалось услышать, с каким поручением он отправил Клода, я поспешил вновь зажечь свечу и спустился вниз. Я увидел стол, накрытый на шестерых. Баронесса сидела у огня, Маргарита смешивала салат, а ее пасынки шептались в дальнем углу комнаты. Батист, которому надо было обойти вокруг дома, еще не вернулся. Я молча сел напротив баронессы.

Взгляд, брошенный на Маргариту, сказал ей, что ее предупреждение не пропало втуне. Теперь она мне показалась совсем иной! То, что прежде выглядело угрюмостью и сварливостью, на самом деле было ненавистью к мужу с пасынками и состраданием ко мне. Я видел в ней теперь единственную мою опору, но, зная, как подозрительно следит за ней муж, не мог надеяться на ее помощь.

Как я ни старался, мне не удалось скрыть мое волнение. Оно ясно отражалось на моем лице. Я побледнел, слова и движения у меня стали неуверенными, смущенными. Молодые люди заметили это и осведомились о причине. Я сослался на утомление и непривычку к зимним холодам. Поверили они мне или нет, не знаю, но хотя бы перестали задавать мне вопросы. Я попытался отвлечься от нависшей надо мной угрозы и завел разговор с баронессой о том о сем. Заговорил о Германии, сообщил, что направляюсь туда... Бог знает, сколь мало я в ту минуту надеялся побывать там! Она отвечала мне с величайшей непринужденностью и любезностью, объявила, что знакомство со мной более чем вознаградило ее за эту задержку, и с настойчивостью пригласила меня непременно погостить в замке Линденберг. При этих словах молодые люди обменялись злобной улыбкой, говорившей, что судьба ей очень ворожит, если она и сама когда-нибудь вернется в замок. Я заметил эту улыбку, но сумел скрыть чувство, которое она пробудила в моей груди, и продолжал беседовать с баронессой, но так часто заговаривался, что – как эта дама сказала мне впоследствии – у нее возникло подозрение, в своем ли я уме. Но ведь говорил я об одном, а мысли мои были всецело заняты другим. Я размышлял, как мне выскользнуть из хижины, пробраться в амбар и сообщить слугам о намерениях нашего гостеприимного

хозяина. Однако вскоре я убедился, что попытка моя оказалась бы тщетной. Жак и Робер следили за каждым моим движением, мне пришлось отбросить этот план. Оставалось только надеяться, что Клод не разыщет бандитов. Ведь тогда, если верить тому, что я услышал, нам позволят продолжить путь без всяких помех.

Когда вошел Батист, я невольно содрогнулся. Он рассыпался в извинениях за свое долгое отсутствие, но «его задержали дела, которые невозможно было отложить». Затем он стал испрашивать нашего разрешения ему и его семье поужинать за одним столом с нами, дескать, иначе почтение не позволит им подобной вольности. О, как я в душе проклинал лицемера! Как тягостно мне было присутствие того, кто намеревался лишить меня жизни, в то время бесконечно мне дорогой! У меня ведь были все основания ею дорожить – юность, богатство, знатность, образование и блистательное будущее. И вот это будущее у меня намеревались отнять самым подлым образом. А я должен был притворяться и с подобием благодарности принимать лживые заверения того, кто прижимал кинжал к моей груди.

Разрешение, которого искал наш хозяин, было немедленно ему дано, и мы сели за стол. Я и баронесса с одной стороны, сыновья напротив нас, спиной к двери, Батист во главе стола рядом с баронессой, а по другую его руку стоял прибор его жены. Она вскоре вошла в комнату и поставила на стол блюда с простыми, но сытными крестьянскими кушаньями. Наш хозяин тотчас счел необходимым извиниться за скромность ужина: он ведь не был предупрежден о нашем приезде и может предложить нам лишь еду, готовившуюся для его семьи.

– Но, – добавил он, – если случай задержит моих благородных гостей у нас дольше, нежели они намеревались, я надеюсь, что сумею угостить их получше.

Злодей! Я отлично понял, на какой случай он намекает, и содрогнулся при мысли об уготованном нам угощении.

Баронесса же, не ведая о грозящей нам опасности, как будто совсем перестала огорчаться из-за того, что ей пришлось прервать свой путь. Она смеялась и с величайшей веселостью беседовала с хозяином и его сыновьями. Я тщетно пытался следовать ее примеру. Моя веселость была столь вымученной, что мои усилия не укрылись от наблюдательности Батиста.

– Ну, ну, мосье, подбодритесь! – сказал он. – Видно, вы еще не совсем оправились от усталости. Ну, да я знаю средство разогнать ваше уныние! Что вы скажете о стаканчике превосходного старого вина, доставшегося мне еще от покойного родителя моего? Господи, упокой его душу в селениях праведных! Я редко угощаю этим вином. Но ведь такие гости не каждый день оказывают честь моему дому, и ради подобного случая как не распечатать бутылочку!

Тут он дал своей жене ключ и растолковал ей, где стоит вино, про которое он говорил. Ей это поручение пришлось не по вкусу: ключ она взяла с расстроенным видом и не торопилась встать из-за стола.

– Ты меня слышала? – сердитым голосом спросил Батист.

Маргарита бросила на него взгляд, в котором страх мешался с гневом, и вышла из комнаты. Муж подозрительно смотрел ей вслед, пока за ней не затворилась дверь.

Вскоре она вернулась с бутылкой, запечатанной желтым воском, поставила ее на стол и возвратила ключ мужу. Я не сомневался, что вином этим нас потчуют не просто так, и с беспокойством наблюдал каждое движение Маргариты. Она ополаскивала небольшие роговые кубки и, ставя их перед мужем, заметила мой взгляд. Улучив мгновение, когда внимание бандитов было от нее отвлечено, она покачала головой в знак, чтобы я не пригубливал этого напитка, а затем села на свое место.

Тем временем наш хозяин извлек пробку и, наполнив два кубка, придвинул их баронессе и мне. Она сначала отнекивалась, но Батист уговаривал ее с такой настойчивостью, что ей пришлось уступить. Опасаясь возбудить подозрения, я без колебаний взял предложенный мне кубок. По цвету и запаху я узнал в вине шампанское, но плававшие сверху крупинки убедили меня, что к нему что-то подмешано. Однако я не мог

выдать своей решимости не пить его. Я поднес кубок к губам и притворно испил, а затем внезапно вскочил со стула и, поспешив к тазу с водой, в котором Маргарита ополаскивала кубки, сделал вид, будто выплюнул вино с отвращением, а сам незаметно отлил из кубка в тазик.

Бандиты встревожились, Жак приподнялся со стула, прижав руку к груди, и я успел разглядеть полуобнаженный кинжал, но вернулся на свое место с притворным спокойствием, словно не заметив их смятения.

– Вы не угодили моему вкусу, мой добрый друг, – сказал я Батисту. – От шампанского мне всегда становится дурно. Я успел сделать несколько глотков, прежде чем сообразил, какое вино пью, и, боюсь, мне придется поплатиться за мою опрометчивость.

Батист обменялся с Жаком недоверчивым взглядом.

– Так, наверное, вам и запах его неприятен, – сказал Робер, встал и забрал у меня кубок. Я заметил, как он проверил, много ли в нем осталось вина.

– Выпил достаточно, – шепнул он брату, возвращаясь на свое место.

Маргарита посмотрела на меня с испугом, но мой взгляд уверил ее, что я не проглотил ни капли зелья.

В тревоге я ждал, как скажется роковой напиток на баронессе. Я не сомневался, что замеченные мною крупинки были отравой, и горько сожалел о невозможности предостеречь ее. Однако прошло несколько минут, прежде чем веки ее сомкнулись, голова упала на плечо и она погрузилась в глубокий сон. Я притворился, будто ничего не заметил, и продолжал обращаться к Батисту со всей веселостью, на какую оказался способен, но он теперь отвечал мне принужденно, взирая на меня с опаской и недоумением. Затем бандиты начали перешептываться между собой. Мое положение ухудшалось с каждым мгновением, и притворство давалось мне все труднее. Равно страшась и появления их сообщников и того, что они догадаются о моем проникновении в их замысел, я не знал, как обезоружить подозрения, которые бесспорно им внушил. И вновь из затруднения меня вывела добрая Маргарита. Проходя за спиной пасынков, она замедлила шаг прямо напротив меня, зажмурила глаза и наклонила голову к плечу. Этот знак тотчас вывел меня из нерешительности. Он сказал мне, что я должен притвориться, будто напиток возымел свое действие и меня, подобно баронессе, сморил сон. Я не замедлил последовать этому совету и через несколько минут уже словно бы крепко спал.

– Ну вот! – воскликнул Батист, когда я откинулся на спинку стула. – Наконец-то. А я уж было подумал, что он догадался о наших планах и нам придется прикончить его сразу же.

– Так почему бы и не прикончить его сразу? – спросил кровожадный Жак. – Зачем оставлять ему возможность донести на нас? Маргарита, подай-ка мой пистолет. С него хватит одной пули.

– Ну, а если, – возразил его родитель, – наши друзья не явятся? Хорошенький вид у нас будет утром, когда слуга захочет его увидеть! Нет, нет, Жак! Надо дожидаться наших товарищей. С ними мы слуг отправим к праотцам вслед за их господами, и добыча будет наша. Коли Клод не разыщет шайку, нам надо будет набраться терпения и отпустить всю компанию подобра-поздорову. Эх, мальчики, мальчики! Вернись вы на пять минут раньше, с испанцем мы бы разделались и две тысячи пистолей были бы наши. Но вы вечно куда-то пропадаете, когда для вас есть работа, бездельники проклятые!

– Так ведь, батюшка, – возразил Жак, – поступи мы по-моему, давно бы все сделалось. Ты, да Робер, да Клод со мной, неужто мы вчетвером не одолели бы слуг, хоть их и вдвое больше? Только вот Клода нет, и теперь поздно жалеть об этом. Придется дожидаться шайку. Ну, да если нынче мы их не тронем, так утром перехватим всю компанию на дороге.

– И то верно, – ответил Батист. – Маргарита, ты дала сонное питье служанкам?

Она ответила утвердительно.

– Ну, так все в порядке. Да будет вам, мальчики! Как бы дело ни обернулось, внакладе мы не останемся. Опасности нет никакой, получить можем много и ничего не потеряем.

Тут до моего слуха донесся лошадиный топот. О, как ужаснул меня этот звук! На лбу у

меня выступил холодный пот, и я был объят смертным ужасом. Не утешило меня и горестное восклицание сострадательной Маргариты:

– Боже Всемогущий! Они погибли!

К счастью, дровосек и его сыновья повернулись к двери, слышав своих товарищей, и не смотрели на меня, не то сила моего волнения показала бы им, что я лишь притворяюсь спящим.

– Открывай! Открывай! – раздались голоса снаружи.

– Да-да! – весело вскричал Батист. – Это наши друзья! Ну, теперь добыча от нас не ускользнет. Живей, живей, ребята! Ведите их к амбару. А что делать там, вы знаете.

Робер поспешил открыть дверь.

– Только, – сказал Жак, беря свое оружие, – я сначала расправлюсь с этими сонями.

– Нет-нет! – ответил отец. – Иди в амбар, там ты нужнее. А об этих и служанках наверху я сам позабочусь.

Жак подчинился и вышел следом за братом. Они заговорили с новоприбывшими. Затем я услышал, как разбойники спешили, и заключил, что они направились к амбару.

– Правильно! – пробормотал Батист. – Сошли с лошадей, чтобы захватить их врасплох. Отлично, отлично! А теперь за дело.

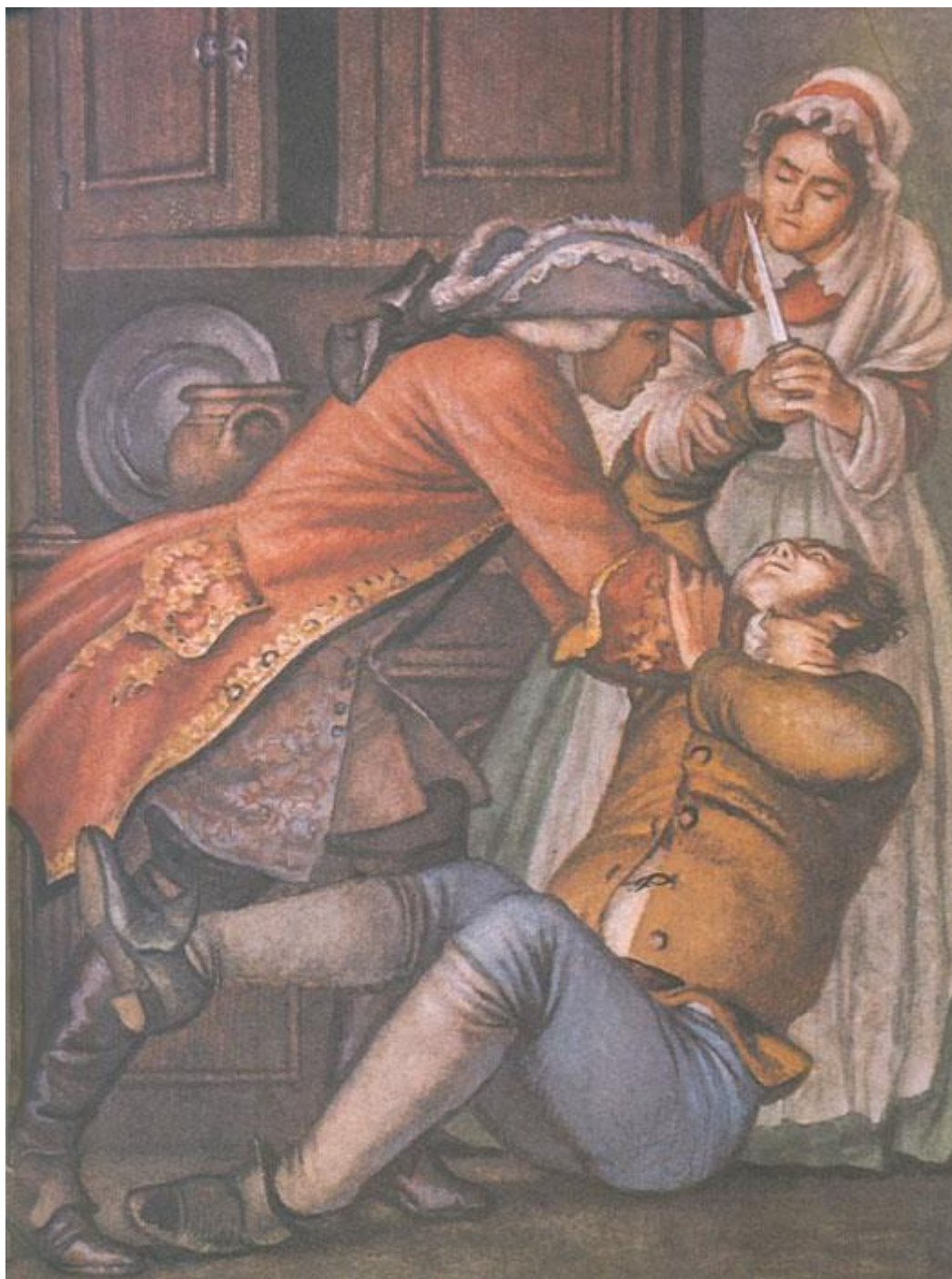
Я услышал, как он подошел к шкафчику в дальнем углу и отпер его. Тут же меня потрясли за плечо.

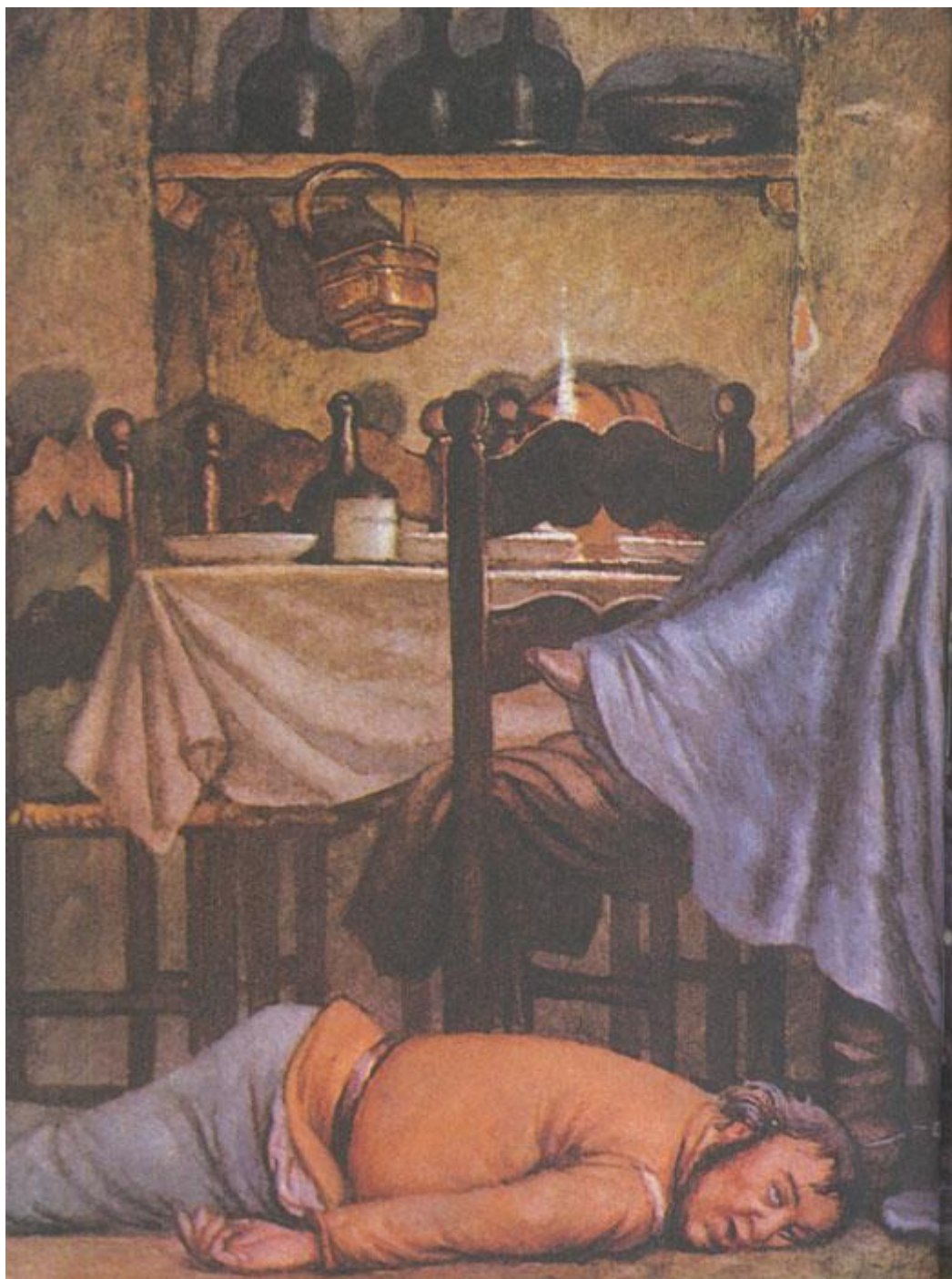
– Пора! – прошептала Маргарита.

Я открыл глаза. Батист стоял спиной ко мне. В комнате кроме нас были только Маргарита и спящая баронесса. Злодей уже достал из шкафчика кинжал и, видимо, проверял, достаточно ли он наточен. А я не потрудился вооружиться! Но мне было ясно, что другого шанса спастись у меня не будет, и, решив не упустить его, я вскочил, бросился на ничего не подозревавшего Батиста, схватил его за горло и сжал так, что он не сумел даже вскрикнуть. Ты помнишь, как в Саламанке я славился силой рук. Теперь она спасла меня. Захваченный врасплох, перепугавшийся, задыхающийся злодей не был опасным противником. Я опрокинул его на пол и еще сильнее сжал ему горло. Он замер без движения, а Маргарита вырвала кинжал из его руки и погрузила острие ему в сердце. А потом ударила еще несколько раз, пока он не испустил дух.

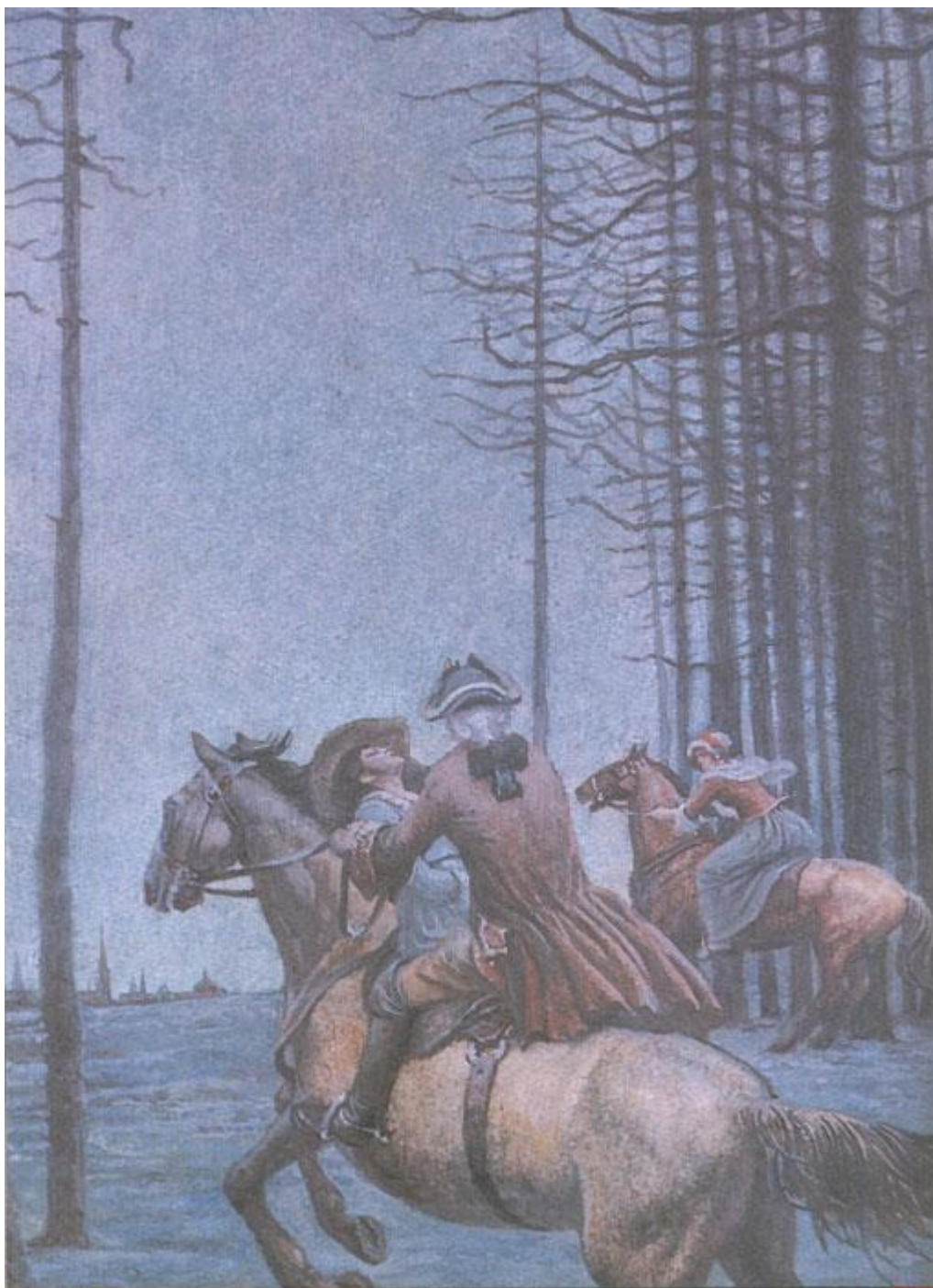
Едва завершив это ужасное, но необходимое деяние, Маргарита позвала меня следовать за ней.

– Наше единственное спасение в бегстве, – сказала она. – Поспешите! Быстрее! Быстрее!









Я без колебаний послушался ее, но, не желая оставлять баронессу мести разбойников, поднял ее на руки, все еще спящую, и вышел из хижины следом за Маргаритой. Лошади разбойников были привязаны возле двери. Моя спасительница вскочила на одну, я последовал ее примеру, усадив баронессу на седло перед собой, и прищипорил коня. Нашей единственной надеждой было достичь Страсбурга, до которого оказалось гораздо ближе, чем уверял меня коварный Клод. Маргарита хорошо знала дорогу и погнала лошадь галопом впереди меня. Но нам пришлось промчаться мимо амбара, где разбойники убивали наших слуг. Двери были открыты, мы услышали вопли убиваемых и проклятия убийц! То, что я почувствовал тогда, невозможно выразить словами!

Жак услышал топот наших лошадей, когда мы пронеслись мимо амбара. Он выскочил наружу с горящим факелом в руке и без труда узнал нас.

– Измена! Измена! – закричал он своим товарищам.

Они тотчас оставили свою кровавую работу и кинулись к лошадям. Больше мы ничего

не расслышали. Я вонзил шпоры в бока моего скакуна, а Маргарита колола свою лошадь острием кинжала, который уже сослужил нам такую хорошую службу. Мы летели как молнии, и вскоре лес остался позади. Вдали показался шпиль страсбургской колокольни, но тут мы услышали, что разбойники настигают нас. Маргарита оглянулась и увидела, что они несутся вниз по склону небольшого холма, который мы миновали минуту назад. Тщетно мы понукали наших лошадей. Шум погони приближался.

– Мы погибли! – вскричала она. – Они уже близко!

– Вперед! – ответил я. – Со стороны города сюда кто-то скачет!

Мы удвоили наши усилия и вскоре увидели большой конный отряд, мчавшийся навстречу нам. Всадники чуть было не проскакали мимо.

– Остановитесь! – пронзительно крикнула Маргарита. – Спасите нас! Ради Бога, спасите нас!

Передний всадник, видимо проводник, сразу же натянул поводья.

– Это она! Она! – воскликнул он и спешил. – Остановитесь, ваша милость! Они спаслись. Это моя матушка!

В тот же миг Маргарита спрыгнула на землю, обняла его и осыпала поцелуями. Остальные всадники остановились.

– Где баронесса Линденберг? – спросил громкий голос. – Она не с вами? Где она?

Говоривший умолк, увидев, что баронесса без чувств лежит в моих объятиях, и поспешно принял ее из моих рук. Ее непробудный сон сначала напугал его, но, ощутив ровное биение ее сердца, он понял, что она жива.

– Благодарение Богу! – произнес он. – Она невредима.

Я перебил его и указал на приближающихся разбойников. При первых же моих словах отряд, состоявший главным образом из солдат, устремился к ним навстречу. Но злодеи предпочли не вступать в бой. Обнаружив, с кем им предстоит иметь дело, они повернули лошадей и устремились в лес, а наши избавители последовали за ними. Тем временем незнакомец – или барон Линденберг, как я сразу догадался, – поблагодарив меня за спасение супруги, предложил незамедлительно поспешить в город. Баронессу, все еще во власти дурмана, подняли в седло перед ним, Маргарита и ее сын сели на своих лошадей, и в сопровождении слуг барона мы скоро добрались до гостиницы, где он остановился.

Называлась гостиница «Австрийский орел» и оказалась той самой, где мой банкир, извещенный о моем намерении посетить Страсбург, снял комнаты для меня. Такое совпадение меня очень обрадовало, ибо давало возможность поддержать знакомство с бароном, что, как я полагал, могло оказаться полезным для меня в Германии. Баронессу сразу же уложили в постель и послали за врачом, и он прописал микстуру, которая должна была послужить противоядием опию, подмешанному в шампанское. Когда микстуру влили ей в рот, она была оставлена попечениям хозяйки, а барон обратился ко мне с просьбой рассказать все подробности случившегося. Я тотчас изъявил согласие, так как страх за Стефано, которого мне пришлось оставить на милость жестоких бандитов, не позволял мне отойти ко сну прежде, чем я узнаю о его судьбе. Но слишком скоро я услышал, что мой верный слуга погиб. Солдаты, преследовавшие бандитов, вернулись, пока я беседовал с бароном. Они сообщили, что им удалось настичь разбойников. Нечистая совесть и истинное мужество несовместимы. Негодяи бросились к ногам своих преследователей и, сдавшись без единого удара, указали дорогу к своему тайному убежищу, сообщили сигналы, с помощью которых можно было заманить в засаду остальных членов шайки, то есть, короче говоря, целиком изобличили свою трусость и низость. Таким образом, вся шайка насчитывавшая почти шестьдесят человек, была схвачена. Связанных разбойников повели в Страсбург, а несколько солдат, взяв одного из них в проводники, отправились в хижину. Сначала они зашли в роковой амбар, где, к счастью, нашли двух слуг барона живыми, хотя и с тяжелыми ранами. Остальные испустили дух под кинжалами бандитов, в том числе и мой злополучный Стефано.

Торопясь догнать нас, напуганные нашим бегством разбойники не заходили в хижину,

а потому солдаты нашли обеих служанок целыми и невредимыми, хотя и погруженными в такой же мертвый сон, что и их госпожа. Больше в хижине никого не было, кроме ребенка лет четырех. Солдаты и его привезли с собой. Мы как раз гадали, откуда там мог взяться этот бедняжка, но тут в комнату вбежала Маргарита, держа его в объятиях. Она упала на колени перед офицером, который рассказывал нам обо всем этом, и принялась тысячекратно благословлять его за то, что он спас ее дитя.

Когда первый взрыв материнской нежности прошел, я попросил ее поведать, каким образом она стала женой человека, чья преступная натура, казалось, была столь ей противна. Она опустила глаза и утерла со щек увлажнившие их слезы.

— Благородные господа, — начала она после долгого молчания. — Я намерена просить вас о милости. А вам надобно знать, кого вы облагодетельствуете. И потому я не откажу вам в признании, которое покроет меня стыдом. Но дозвоьте мне сделать его кратким. Я родилась в Страсбурге в почтенной семье, которую пока не назову. Мой отец еще жив и не заслужил того, чтобы мой позор коснулся и его. Но потом, если вы согласитесь выполнить мою просьбу, я открою вам его имя. Черный негодяй завладел моим сердцем, и ради него я покинула отчий кров. Но если страсть и взяла верх над добродетелью, я все же не пала в пучину порока, хотя это и обычная участь женщины, сделавшей первый ложный шаг. Я любила моего соблазнителя, истинно любила. Я была верна его ложу. Этот младенец и мальчик, который, господин барон, прискакал сказать вам о том, что грозило вашей супруге, — это два залога нашей взаимной любви. Даже и сейчас я оплакиваю его потерю, хотя ему обязана всеми горестями моей тяжелой жизни.

Он был благородного происхождения, но промотал отцовское наследство. Родственники, полагая, что он позорит их фамильное имя, отреклись от него. Его бесчинства навлекли на него гнев полиции. Он вынужден был бежать из Страсбурга и не нашел иного средства спастись от нищеты, как присоединиться к бандитам, укрывавшимся в лесах. Шайка эта состояла главным образом из таких же повес хорошего происхождения, которые очутились в подобном же положении. Я твердо решила не покидать его, а потому последовала за ним в разбойничью пещеру и делила с ним все тяготы, неизбежные для тех, кто живет грабежом. Но хотя я знала, что мы существуем плодами разбоя, ужасные обстоятельства, сопутствующие занятию моего любовника, мне оставались неведомы. Он скрывал их от меня с величайшим тщанием, зная, что я еще не пала настолько низко, чтобы равнодушно смотреть на убийства. Он полагал — и не ошибался, — что я с отвращением вырвусь из объятий убийцы. Восемь лет обладания не угасили его любовь ко мне, и он ревностно следил, чтобы ничто не могло пробудить во мне подозрения, и я все так же пребывала в неведении о кровавых преступлениях, к которым он был причастен не меньше остальных. И он преуспел. Только после смерти моего соблазнителя я узнала, что руки его были обгажены кровью невинных!

И вот в роковую ночь его принесли в пещеру покрытого ранами. Он получил их, напав на английского путешественника, который тут же пал жертвой мести его товарищей. Успев только попросить у меня прощения за все зло, которое мне причинил, он прижал мою руку к губам и испустил дух. Горе мое было невыразимым, а когда оно чуть поутихло, я решила вернуться в Страсбург с моими детьми и броситься к ногам отца, умоляя его о прощении, которое не чаяла получить. Каков же был мой ужас, когда я узнала, что никого из тех, кому известен тайный приют бандитов, они от себя не отпускают и что я не только должна оставить всякую надежду на возвращение к честным людям, но и тотчас избрать в мужья одного из членов шайки! Мои мольбы и возражения были тщетными. Они бросили жребий, кому я достанусь, и он выпал гнусному Батисту. Разбойник, который когда-то был монахом, после шутовской церемонии объявил нас обвенчанными. Меня и моих детей отдали во власть моего нового мужа, и он тотчас увез нас в свой дом.

Он заверил меня, что давно уже пылает ко мне страстью, но дружба с покойным моим любовником заставляла его молчать. Он попытался примирить меня с моей судьбой и некоторое время обходился со мной мягко и ласково. Но потом, убедившись, что мое

отвращение к нему лишь увеличивается, он силой добился того, в чем я ему отказывала. Мне осталось только с терпением переносить мои страдания. Я знала, что заслужила их сполна. О бегстве нечего было и помышлять. Мои дети находились во власти Батиста, и он поклялся убить их, если я попробую спастись. А у меня было, увы, много случаев убедиться в варварской жестокости его натуры, и я знала, что он выполнит свою клятву с лихвой. Печальный опыт убедил меня в ужасе моего положения. Мой первый любовник тщательно скрывал от меня мерзости своего ремесла, а Батист, напротив, наслаждался, хвастая ими передо мной, и хотел приучить меня к крови и убийствам.

По натуре я горяча и своевольна, но не бессердечна. Поведение мое было легкомысленным, но я сохраняла совесть. Судите же сами, что я должна была испытывать, постоянно наблюдая самые отвратительные и кровавые преступления! Судите же, как тяжело мне было жить с человеком, который принимал ничего не подозревающего гостя с самым приветливым радушием, а сам уже готовил ему гибель. Тоска и бессилие подтачивали мое здоровье. Немногие прелести, дарованные мне природой, увяли, и уныние на моем лице отражало муки моего сердца. Тысячу раз я порывалась наложить на себя руки, но мысль о детях удерживала меня. Мной овладевал трепет при мысли, что они останутся во власти деспота, и трепетала я от страха за их добродетель даже больше, чем от страха за их жизнь. Второй был еще слишком мал, чтобы получать пользу от моих наставлений, но в сердце старшего я неустанно тщила утвердить те нравственные начала, которые не позволили бы ему вступить на преступный путь отца и матери. Он слушал меня с кротостью, а вернее – с жадностью. С самых первых лет было видно, что он не создан для общества злодеев, и единственным утешением в моих горестях служило наблюдение за тем, как в моем Теодоре росли и крепились добрые чувства.

Таково было мое положение, когда предательство кучера привело дону Альфонсо в нашу хижину. Его юность, благородный облик и учтивость пробудили во мне сильнейшее сострадание. Отсутствие сыновей моего мужа позволило мне сделать то, о чем я давно думала, и я решила рискнуть всем, лишь бы спасти молодого чужестранца. Бдительность Батиста помешала мне предупредить дону Альфонсо о грозящей ему гибели. Я знала, что карой мне за это будет мгновенная смерть, а как ни мрачна была моя жизнь, у меня не доставало храбрости пожертвовать ею ради спасения чужой. Единственной моей надеждой было искать помощи в Страсбурге. Это я и решила сделать, однако не оставляя Попыток незаметно предостеречь дону Альфонсо. По приказанию Батиста я поднялась наверх приготовить ему постель и взяла простыни, на которых запеклась кровь путешественника, убитого несколько ночей назад. Я уповала, что такой знак будет сразу замечен нашим гостем и он поймет коварный замысел моего мужа. Но я приняла и другие меры для его спасения. Теодор лежал больной. Я прокралась в его каморку тайком от моего тирана и рассказала ему свой план. Он взялся выполнить его с величайшей охотой и оделся со всей поспешностью. Я обвязала его под мышками простыней и спустила из окна. Он прокрался в конюшню, взял лошадь Клода и поскакал в Страсбург. Если бы ему повстречались разбойники, он сказал бы, что его послал с поручением Батист, но, по счастью, он добрался до города без всяких помех и немедленно обратился за помощью в магистрат. Его рассказ передавался из уст в уста и так достиг слуха его милости барона. Тревожась за свою супругу, которая должна была вечером проехать по этой дороге, он предположил, что она могла попасть в руки разбойников, а потому поехал с солдатами, которых Теодор взялся проводить до хижины и которые подоспели как раз вовремя, чтобы не дать нам снова попасть в руки наших врагов.

Тут я перебил Маргариту и спросил, почему мне дали сонный напиток. Она ответила, что Батист хотел обезопаситься на случай, если при мне есть оружие. Он всегда прибегал к этой предосторожности, потому что путешественники, понимая, что пощады не будет, конечно, постарались бы продать свою жизнь подороже.

Затем барон осведомился у Маргариты, что она намеревалась делать дальше. А я тотчас сказал, что хотел бы выразить делом свою благодарность ей за спасение.

– Полная отвращения к миру, – ответила она, – в котором на мою долю выпадали одни

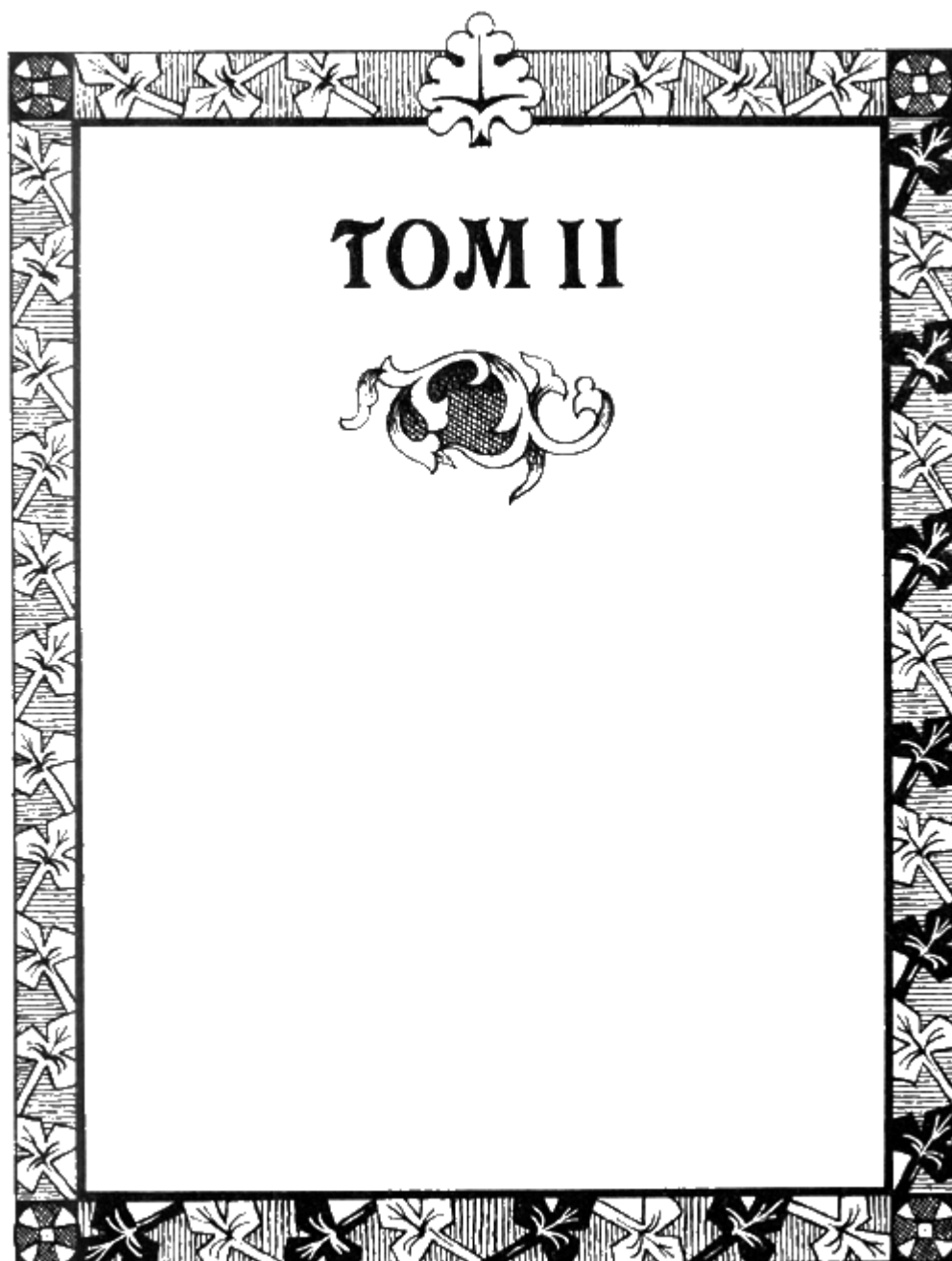
беды, я хотела бы только одного: удалиться в монастырь. Но сначала я должна устроить судьбу своих детей. Я узнала, что моя мать скончалась, быть может, безвременно сведенная в могилу горем, которое я ей причинила, бежав из дома. Отец мой еще жив. Он добрый человек, и, может быть, благородные господа, несмотря на мою неблагодарность и неразумие, дарует мне прощение и возьмет на попечение своих внуков, если вы походатайствуете за меня. Так вы тысячекратно оплатите мне за услугу, которую я вам оказала.

Барон и я заверили Маргариту, что не пожалеем усилий, лишь бы испросить ей прощение; если же ее отец окажется неумолим, за своих сыновей она может быть спокойна. Я обещал позаботиться о Теодоре, а барон обязался взять младшего под свое покровительство. Обрадованная мать благодарила нас со слезами за наше великодушие, как она выразилась, хотя, разумеется, это был лишь малый знак нашей признательности. Затем она вышла из комнаты, чтобы уложить в постель младшего, совсем засыпавшего от усталости.

Баронесса, когда пришла в себя и узнала, от какой страшной опасности я ее спас, не находила слов для изъявления своей благодарности. Ее муж не меньше ее настаивал, чтобы я отправился с ними в их баварский замок, и я сдался на их горячие уговоры. В Страсбурге мы провели еще неделю и, разумеется, не забыли обещания, данного Маргарите. Обратившись к ее отцу, мы преуспели свыше всяких ожиданий. Добрый старик потерял любимую супругу, и у них не было других детей, кроме этой злополучной дочери, о которой он четырнадцать лет не получал никаких известий. Его окружали дальние родственники, с нетерпением ожидавшие его смерти в чаянии наследства. И когда Маргарита столь внезапно вернулась, он почел ее даром Небес, принял дочь и ее детей с распростертыми объятиями и потребовал, чтобы они незамедлительно поселились под его кровом. Разочарованные родственники вынуждены были отправиться восвояси. Старик и слушать не желал о том, что его дочь уйдет в монастырь. Он объявил, что без нее счастлив не будет, и она без особого труда позволила убедить себя отказаться от своего намерения. Однако никакие настояния не убедили Теодора отказаться от плана, придуманного мной для устройства его судьбы. Перед моим отъездом он со слезами на глазах умолял меня взять его к себе на службу. Он расписывал свои юные таланты самыми яркими красками и убеждал меня, что в дороге мне никак без него не обойтись. Я вовсе не желал обременять себя мальчиком, которому только-только исполнилось четырнадцать лет, полагая, что он будет мне обузой. Тем не менее я не устоял перед мольбами милого отрока, который и правда был наделен многими добрыми качествами. Согласия матери и деда отпустить его со мной он добился лишь с большим трудом, но в конце концов был возведен в звание моего пажа. После недели в Страсбурге мы с Теодором отправились в Баварию в обществе барона и его супруги. Как и я, эти последние вынудили Маргариту принять ценные подарки и для себя и для младшего сына. Прощаясь с ней, я торжественно обещал вернуть Теодора матери по истечении года.

Я так подробно описал эти события, Лоренцо, чтобы ты понял, каким способом «проходимец Альфонсо д'Альварада втерся в замок Линденберг». Суди же по этим ее словам, многого ли стоят заверения твоей тетки!





ТОМ II



ГЛАВА I

*Сгинь! Скройся с глаз! Вернись обратно в землю!
Застыла кровь твоя, в костях нет мозга.*

*Незряч твой взгляд, который ты не сводишь
С меня...
Сгинь, жуткий призрак! Прочь, обман!
«МАКБЕТ»*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ДОНА РАЙМОНДА

Путешествие мое прошло на редкость приятно. В бароне я нашел неглупого человека, но плохо знающего свет. Большую часть жизни он провел, не покидая собственных владений, а потому не блистал изысканностью манер. Однако его отличали прямоту, веселость и дружелюбие. Я видел от него всевозможные знаки внимания и имел все причины почувствовать к нему большое расположение. Главной его страстью оказалась охота, которую он привык считать важным занятием. Когда он серьезно повествовал о какой-нибудь примечательной травле, так и чудилось, будто речь идет о битве, в которой решалась судьба двух королевств. Сам я кое-что понимаю в тонкостях охоты и вскоре после приезда в Линденберг доказал это на деле. Барон тут же объявил меня украшением рода людского и поклялся мне в вечной дружбе.

Дружба эта вскоре приобрела для меня неизмеримую ценность. В замке Линденберг я впервые увидел твою сестру, прелестную Агнесу. Для меня, чье сердце было свободно, удручая меня своей пустотой, увидеть ее значило полюбить. В Агнесе я нашел все, что могло сделать эту любовь пламенной. Ей тогда едва исполнилось шестнадцать лет, но ее тоненькая стройная фигура уже сформировалась. Она обладала многими дарованиями, особенно отличаясь в музыке и рисовании. Характер у нее был веселый, открытый и кроткий, а изящная простота ее нарядов и манер выгодно контрастировала с ухищрениями и бездушным кокетством парижских дам, общество которых я только что покинул. Едва увидев ее, я почувствовал живейший интерес к ее судьбе и обратился с вопросами к баронессе.

– Она моя племянница, – ответила та. – Вы ведь еще не знаете, дон Альфонсо, что я ваша соотечественница, сестра герцога Медина-Цели. Агнеса – дочь моего второго брата дона Гастона. С колыбели она предназначалась в монахини и скоро примет постриг в Мадриде.

Тут Лоренцо перебил дона Раймонда удивленным восклицанием.

– С колыбели предназначалась в монахини? – повторил он. – Небом клянусь, я впервые об этом слышу!

– Верю, милый Лоренцо, – ответил дон Раймонд. – Но имей терпение. Тебя не меньше удивят некоторые сведения о твоей семье, тебе пока неизвестные, хотя я узнал их из уст самой Агнесы.

Затем он продолжил свой рассказ.

– Ты не можешь не знать, что твои родители, к несчастью, были рабами самого темного суеверия. И все другие их чувства, все другие их страсти подчинялись этому игу. Когда твоя мать носила под сердцем Агнесу, ее поразил тяжкий недуг, и врач сказал, что его искусство бессильно. Тогда донья Инесилья поклялась, коли ей будет ниспослано исцеление, посвятить будущее дитя служению святой Кларе, если родится девочка, или святому Бенедикту, если родится мальчик. Молитва ее была услышана, недуг ее прошел, Агнеса явилась в мир и тотчас была предназначена для служения святой Кларе.

Дон Гастон охотно согласился с желанием своей супруги, но, зная мнение его брата герцога о монастырской жизни, они вознамерились скрыть от него судьбу, назначенную твоей сестре. Для лучшего сохранения тайны было решено, что Агнеса отправится со своей теткой доньей Родольфой в Германию, куда та отбывала с бароном Линденбергом, женой которого только что стала. Приехав в замок, она поместила малютку Агнесу в соседнюю обитель. Монахини, воспитывавшие ее, выполняли свои обязанности добросовестно –

развили в совершенстве ее дарования и пытались внушить ей вкус к уединенности и тихим радостям монастыря. Однако тайный инстинкт подсказал юной отшельнице, что она не рождена для уединения. С веселой вольностью юности она позволяла себе считать смешными многие обряды и церемонии, внушавшие благоговение монахиням, и бывала особенно счастлива, когда бойкое воображение подсказывало ей новые проказы, чтобы допекать суровую аббатису или старую сердитую привратницу. Она думала о предназначенном ей будущем с отвращением. Но ей не предлагали выбора, и она смирилась с решением своих родителей, хотя и не без тайной печали.

Отвращение свое она не сумела скрывать долго, и о нем было доведено до сведения дона Гастона. Лоренцо, он испугался, как бы ты из любви к сестре не воспротивился их плану и не помешал бы обречь ее на горестное существование. Поэтому он решил держать тебя в таком же неведении, как и герцога, пока жертвоприношение не будет совершено. Ее постриг был назначен на время, когда ты отправишься путешествовать. А до тех пор ни единого намека не должно было быть обрешено о роковом обете доньи Инесильи. От твоей сестры скрывали, куда тебе можно было бы написать. Твои письма прочитывались, прежде чем их отдавали ей, вымарав все места, которые могли бы дать пищу ее мирским наклонностям. Ответы на твои письма ей диктовали либо тетка, либо дама Кунегунда, ее гувернантка. Все эти подробности я узнал отчасти от Агнесы, а отчасти от баронессы.

Я тут же проникся решимостью спасти эту прелестную девушку от судьбы, столь противной ее склонностям и чуждой ее совершенствам. Я прилагал все старания заслужить ее расположение и не устал рассказывать про нашу с тобой близкую и давнюю дружбу. Она слушала меня с жадностью и впитывала каждое похвальное слово тебе, а глаза ее благодарили меня за любовь к ее брату. Мое постоянное заботливое внимание наконец завоевало мне ее сердце, и с трудом я добился от нее признания, что она любит меня. Когда же я затем предложил ей покинуть замок Линденберг, она отказалась самым неколебимым образом.

— Будь великодушен, Альфонсо, — сказала она. — Ты владеешь моим сердцем, но распорядись этим даром благородно. Не используй свою власть надо мной для того, чтобы подвигнуть меня на шаг, из-за которого мне потом всегда придется краснеть. Я молода и покинута всеми. Брат, единственный мой друг, далек от меня, а все остальные мои родственники поступают со мной как враги. Сжался над моей беззащитностью. Не соблазняй меня на действия, которые покроют меня стыдом, но попытайся снискать благосклонность тех, кто распоряжается мной. Барон тебя почитает. Тетушка, суровая, надменная и презрительная с другими, помнит, что ты вырвал ее из рук убийц, и лишь тебе оказывает доброжелательность и ласку. Так испытай свое влияние на моих опекунов. Если они дадут согласие на наш союз, я отдам тебе руку. То, что ты рассказывал о моем брате, не оставляет сомнения в его радостном согласии. А когда мои родители убедятся в невозможности поставить на своем, они, уповаю, простят мое непослушание и какой-нибудь другой жертвой искупят роковой обет моей матери.

С той минуты, как я увидел Агнесу, у меня возникло намерение во что бы то ни стало понравиться ее родственникам. Теперь же, когда она призналась мне во взаимности, я удвоил свои усилия. Атаку я вел главным образом на баронессу, ибо легко было убедиться, что в замке ее слово закон. Муж находился у нее в полном подчинении и видел в ней высшее существо. Ей было лет сорок, и в молодости она несомненно слыла красавицей, однако прелести ее отличались той пышностью, которую годы щадят мало. Тем не менее часть их она еще сохраняла. Ум ее не был лишен остроты, и она рассуждала весьма здраво, если только не подчинялась предрассудкам и предубеждениям, что с ней, к несчастью, случалось постоянно. Страсти ее были бурными. Свои желания она полагала законом и мстительно преследовала тех, кто им противостоял. Самый добрый друг, самый неумолимый враг — такова была баронесса Линденберг.

Я неустанно старался ей угождать и, увы, слишком в этом преуспел. Казалось, мое внимание было ей приятно, и она обходилась со мной так ласково, как ни с кем другим.

Одной из моих ежедневных обязанностей было читать ей вслух часами. Часы эти я предпочел бы проводить с Агнесой, но, понимая, что одобрение тетки будет способствовать нашему соединению, я безропотно нес эту епитимью. Библиотека доньи Родольфы состояла главным образом из старинных испанских романов. Они были ее любимым чтением, и каждый день мне в руку беспощадно вкладывался один из этих утомительных томов. Я читал о скучнейших приключениях Тиранте Белого, Пальмерина Английского и Рыцаря Солнца, пока мне не начинало казаться, что вот-вот книга выпадет из моих слабеющих пальцев. Однако мое общество словно бы доставляло баронессе все больше и больше удовольствия, и это поддерживало меня. Ее расположение ко мне стало настолько заметным, что Агнеса попросила меня воспользоваться первым удобным случаем, чтобы поведать ей о наших чувствах.

Однажды вечером я сидел наедине с донной Родольфой в ее будуаре. Так как в романах этих постоянно трактовалась любовь, Агнесе не разрешалось присутствовать при чтении. Я как раз поздравлял себя с тем, что наконец-то могу закрыть «Любовь Тристана и королевы Изольды», и вдруг...

– Ах, несчастные! – вскричала баронесса. – Что скажете, сеньор? По-вашему, мужчина способен на такую искреннюю и самоотверженную любовь?

– Не мне усомниться в этом! – отвечал я. – Мое собственное сердце дает мне все необходимые доказательства. О, донья Родольфа, если бы у меня была надежда, что вы посмотрите на мою любовь с одобрением! Ах, если бы я мог признаться вам и назвать вам имя моей властительницы, не вызвав вашего гнева!

Она перебила меня.

– А если я избавлю вас от признания? А если я не стану отрицать, что предмет ваших воздыханий не остался мне неизвестным? А если я скажу, что она платит вам взаимностью и не менее искренне, чем вы, оплакивает злополучную клятву, ставшую вам помехой?

– Ах, донья Родольфа! – вскричал я, упав перед ней на колени и прижимая к губам ее руку. – Вы догадались о моей тайне! Каков ваш приговор? Должен ли я отчаяться или могу уповать на вашу благосклонность?

Она не отняла руки, однако отвернулась от меня и свободной рукой закрыла лицо.

– Как могу я отказать вам? – отвечала она. – Ах, дон Альфонсо, я давно заметила, кого вы дарите своим вниманием, но до этой минуты не замечала, как отзывалось оно в моем сердце. И долее я не могу скрывать свою слабость ни от себя, ни от вас. Я уступаю силе моей страсти и признаюсь, что боготворю вас! Три долгих месяца я подавляла свои желания, но сопротивление лишь сделало их необоримее, и я сдаюсь их власти. Гордость, страх, уважение к себе, мой долг перед бароном – все побеждено. Я принесла их в жертву моей любви к вам, но мнится мне, это малая цена за обладание вами.

Она умолкла, ожидая ответа. Суди же сам, мой Лоренцо, в какое смятение ввергло меня это открытие! Я тотчас понял, что воздвиг на пути к своему счастью непреодолимое препятствие. Баронесса приписала собственным чарам внимание, которое я оказывал ей ради Агнесы! А бурность ее выражений, взгляды, их сопровождавшие, и известная мне мстительность ее натуры заставили меня трепетать и за себя и за мою возлюбленную. Я хранил молчание, не зная, как отвечать на ее признание. Однако необходимо было как можно быстрее разъяснить ей ее ошибку, скрыв пока имя моей возлюбленной. Едва лишь она завершила меня в своей страсти, как восторг, которым дышали мои черты, сменился смущением и тревогой. Я выпустил ее руку и поднялся с колен. Она тотчас заметила, как я переменялся в лице.

– Что означает это молчание? – произнесла она дрожащим голосом. – Где радость, которую вы заставили меня ожидать?

– Простите меня, сеньора, – отвечал я, – если слова, которые вынуждают меня произнести необходимость, покажутся грубыми и неблагодарными, но не вывести вас из заблуждения, которое, сколь ни лестно оно для меня, вам должно причинить досаду, значило бы стать преступным негодяем в глазах всех. Честь требует объяснить, что за изъявления

любви вы приняли внимание, рожденное дружбой. Это же чувство уповал я пробудить в вашем сердце. Уважение к вам и благодарность, которой я обязан барону за его радушие возбраняли даже помыслить о более нежном. Однако, возможно, этих причин не достало бы, чтобы уберечь меня от ваших чар, если бы мое сердце уже не было отдано другой. Ваши чары, сеньора, способны пленить самых бесчувственных. Ни одно свободное сердце не устоит перед ними. И судьба была милостива ко мне, что мое более мне не принадлежит. Иначе мой жребий был бы вечно укорять себя за нарушение священного долга гостя. Подумайте о нем и вы, благородная дама! Вспомните свои обязательства перед честью и мои – перед бароном и смените на уважение и дружбу те чувства, ответить на которые я не могу!

Баронесса побледнела при этих неожиданных и решительных словах. Она не знала, спит она или бодрствует. Едва она оправилась от ошеломления, как оно сменилось яростью и кровь алой волной вновь прихлынула к ее щекам.

– Злодей! – вскричала она. – Чудовищный обманщик! Так-то ты принял мое любовное признание? Так-то... Но нет! Нет! Этого не может быть и не будет! Альфонсо, узри меня у своих ног! Будь свидетелем моего отчаяния! Взгляни с жалостью на женщину, которая любит тебя всем существом своим! Та, что владеет сейчас твоим сердцем, чем она заслужила такое сокровище? Чем пожертвовала тебе? Что ставит ее выше Родольфы?

Я попытался поднять ее с колен.

– Ради всего святого, сеньора, удержитесь от этих молений. Они тягостны для вас и для меня. Ваши восклицания могут услышать, и ваша тайна станет известна челяди. Я вижу, мое присутствие вас раздражает, так разрешите мне удалиться.

Я повернулся к двери, но баронесса внезапно схватила меня за руку.

– Кто моя счастливая соперница? – произнесла она с угрозой. – Я узнаю ее имя, а когда узнаю!.. Она подвластна мне – ты же просил о моей милости, о моем благоволении! Дай мне только найти ее, дай мне только обнаружить, кто посмел отнять у меня твое сердце, и она претерпит все муки, какие могут измыслить ревность и оскорбленная любовь! Кто она? Отвечай сию же минуту! Не надейся укрыть ее от моей мести! К тебе будут приставлены соглядатаи, каждый твой шаг, каждый взгляд будут известны мне. Твои глаза изобличат мою соперницу. Я узнаю ее, а тогда... тогда, Альфонсо, трепещи и за себя и за нее!

При последних словах ее ярость достигла такого предела, что у нее прервалось дыхание. Она застонала, захрипела и лишилась чувств. Я успел подхватить ее на руки и опустить на диван. Затем, подбежав к двери, позвал на помощь ее прислужниц, поручил ее их заботам и поспешил ретироваться.

Невыразимо взволнованный и смущенный, я направился в сад. Благожелательность, с какой, как казалось мне, баронесса слушала мое признание, исполнила меня надеждой, я вообразил, что она заметила мои чувства к племяннице и одобряет их. Какой ужас я ощутил, когда понял всю глубину ее заблуждения. И теперь не знал, что делать. Суеверность родителей Агнесы вкупе с злосчастной страстью ее тетки казались непреодолимыми препонами нашему союзу.

Проходя мимо нижней гостиной, окна которой смотрели в сад, я увидел за открытой дверью сидящую у стола Агнесу. Она рисовала, и вокруг лежали незаконченные наброски. Я вошел, все еще не зная, рассказать ли ей о признании баронессы.

– А, это ты! – произнесла Агнеса, подняв головку. – Ты не чужой, и я могу без церемоний продолжать свое занятие. Придвинь стул и садись подле меня.

Я повиновался и сел к столу. Сам того не заметив, занятый мыслями о случившемся, я рассеянно взял отложенные рисунки и посмотрел на них. Один поразил меня своей необычностью. Он изображал залу замка Линденберг. Дверь, ведущая к узкой лестнице, была полуоткрыта. На переднем плане располагалась группа фигур в самых гротескных позах. На каждом лице был запечатлен ужас. Один, возведя глаза к небу, истово молился, другой отползал на четвереньках. Третьи прятали лица под плащом или в коленях своих соседей. Некоторые укрылись под столом, остальные, разинув рты и выпучив глаза, указывали на фигуру, видимо, вызвавшую весь этот переполох, – фигуру женщины

необычайного роста в одеянии какого-то монашеского ордена. Лицо ее было закрыто, с запястья свисали четки, одежда была вся в пятнах крови, лившейся из раны на груди. В одной руке она держала светильник, в другой – большой нож и словно бы спускалась к железным воротам Ада.

– Что тут изображено, Агнеса? – спросил я. – Игра твоего воображения?

Она взглянула на рисунок.

– О нет, – сказала она. – Игра воображения куда более мудрых голов, чем моя. Но неужели ты, прожив в Линденберге целых три месяца, ничего не слышал об Окровавленной Монахине?

– Ты первая упомянула о ней сейчас. Но кто же она?

– На этот вопрос я ответа не знаю. Мне известно только то, что сохранило старинное семейное предание, которое передавалось от отца к сыну и во владениях барона ни у кого не вызывает сомнений. Сам барон тоже в него верит, а тетушка, от природы склонная ко всему таинственному, скорее усомнится в истинности Библии, чем в истинности Окровавленной Монахини. Рассказать тебе это предание?

Я ответил, что она весьма меня этим обяжет. Агнеса, продолжая рисовать, заговорила притворно торжественным тоном:

– Удивительно, что во всех хрониках былых времен сия особа ни разу нигде не упоминается. С великой охотой поведала бы я тебе о ее жизни, но, к несчастью, после ее смерти никто ничего не знал о ее существовании. Засим она почла необходимым устроить некоторый шум в мире и с этим намерением дерзко вторглась в замок Линденберг. Обладая прекрасным вкусом, она выбрала для себя лучшую комнату и, расположившись там, принялась развлекаться, опрокидывая столы и стулья в глухие часы ночи. Быть может, она страдает бессонницей, но точно выяснить, так ли это, мне не удалось. Предание гласит, что забавы эти начались примерно век тому назад. Они сопровождались визгом, стонами, воплями, проклятиями и многими другими столь же усладительными звуками. Однако своими визитами она удостаивала не только выбранную ею комнату. Порой она отправлялась прогуляться по старым галереям, расхаживала взад и вперед по обширным залам или вдруг останавливалась у дверей спален, рыданиями и стенаниями наводя ужас на тех, кто был внутри. Во время сих ночных променадов ее зрели разные люди, которые единодушно описывали ее именно такой, какой она представлена тут недостойной рукой почтительного ее портретиста.

Необычайность этого рассказа незаметно завладела моим вниманием.

– И она никогда не заговаривала с теми, кто ей встречался? – спросил я.

– Не желала. И к лучшему, если судить по ее манере выражаться, которую она являла еженощно. Иногда стены замка звенели от проклятий и ругательств. Не успеет прочесть «Отче наш», как уже раздражается самыми гнусными богохульствами, а затем запевает *De Profundis*,¹⁶ да так чинно, будто еще стоит на хорах. Короче говоря, никакой последовательности. Но молилась ли она или кощунствовала, являлась богохульницей или образцом благочестия, ее слушателей все равно дрожь пробирала до костей. Жизнь в замке превратилась в муку, а его владельца эти ночные буйства так перепугали, что в одно прекрасное утро его нашли в постели мертвым. Такой успех как будто ублажил Монахиню, потому что она принялась шуметь пуще прежнего. Однако новый барон ее перехитрил. В замок он прибыл с прославленным заклинателем бесов, который не устранился запереться на ночь в комнате, где бушевал призрак. По-видимому, он выдержал долгий бой с ней, прежде чем она пообещала уgomониться. Она была упряма, но он еще упрямее, и в конце концов она согласилась позволить обитателям замка хорошенько выспаться. После этого некоторое время о ней не было никаких известий. Но через пять лет заклинатель умер и Монахиня решила снова дать о себе знать. Однако теперь она вела себя куда более

¹⁶ Из глубины (лат.). Начало католической заупокойной молитвы (Примеч. переводчика.).

пристойно. Расхаживала молча и появлялась не чаще раза в пять лет. Этого правила, если верить барону, она придерживается до сих пор. Он твердо убежден, что каждые пять лет пятого мая, едва часы пробьют час ночи, дверь запертой комнаты открывается. (Заметь, комната эта заперта уже почти столетие!) И в коридор выходит призрак Монахини со светильником и кинжалом. Она сходит по лестнице Восточной башни и шествует через большую залу! На эту ночь привратник оставляет ворота замка открытыми из почтения к духу. Не то чтобы это считалось необходимым – ведь она без труда проскользнет в замочную скважину, если ей так заблагорассудится, – но из учтивости, дабы не вынуждать ее удалиться путем, недостойным ее призрачности.

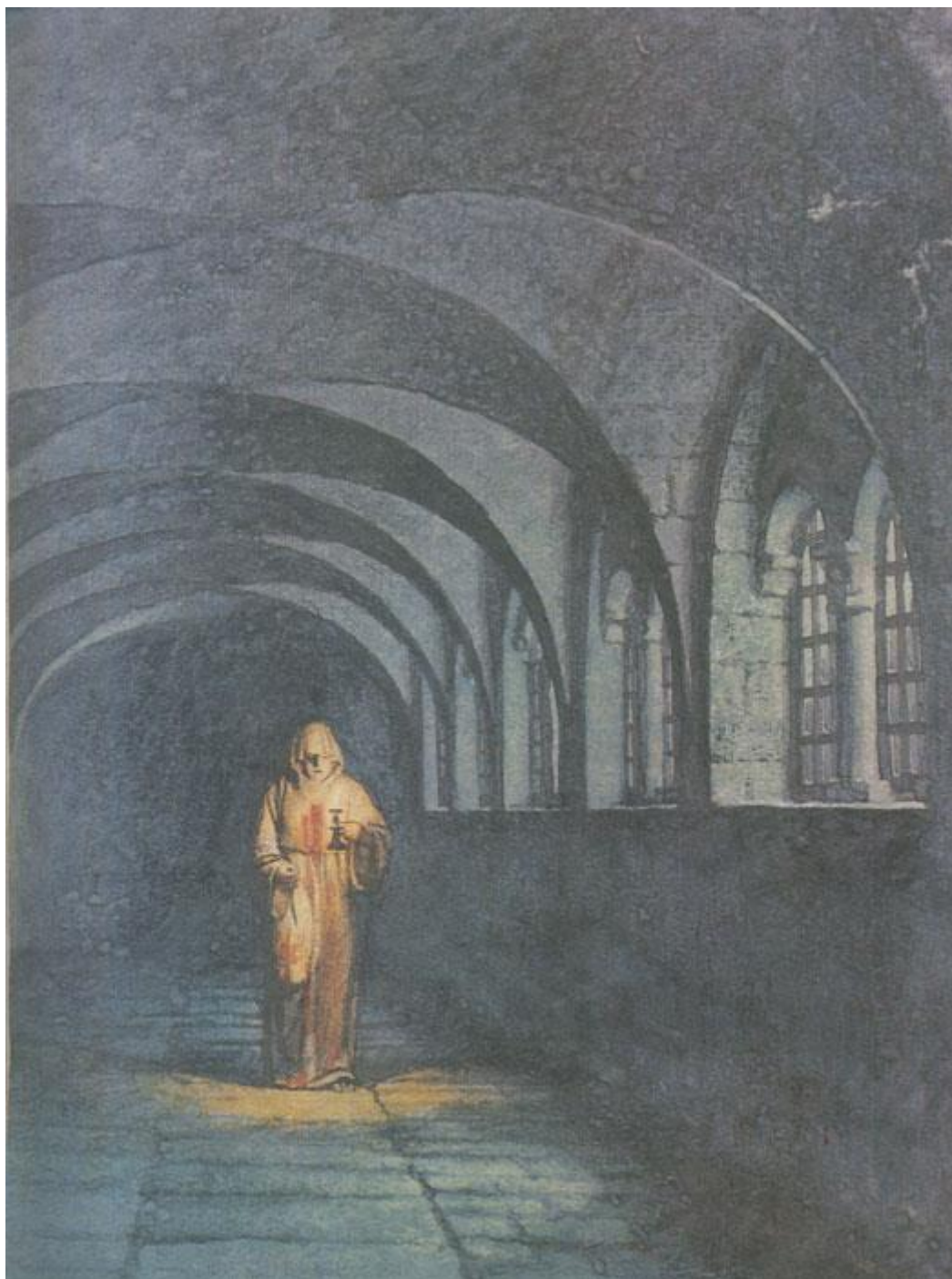
– И куда она направляется, покинув замок?

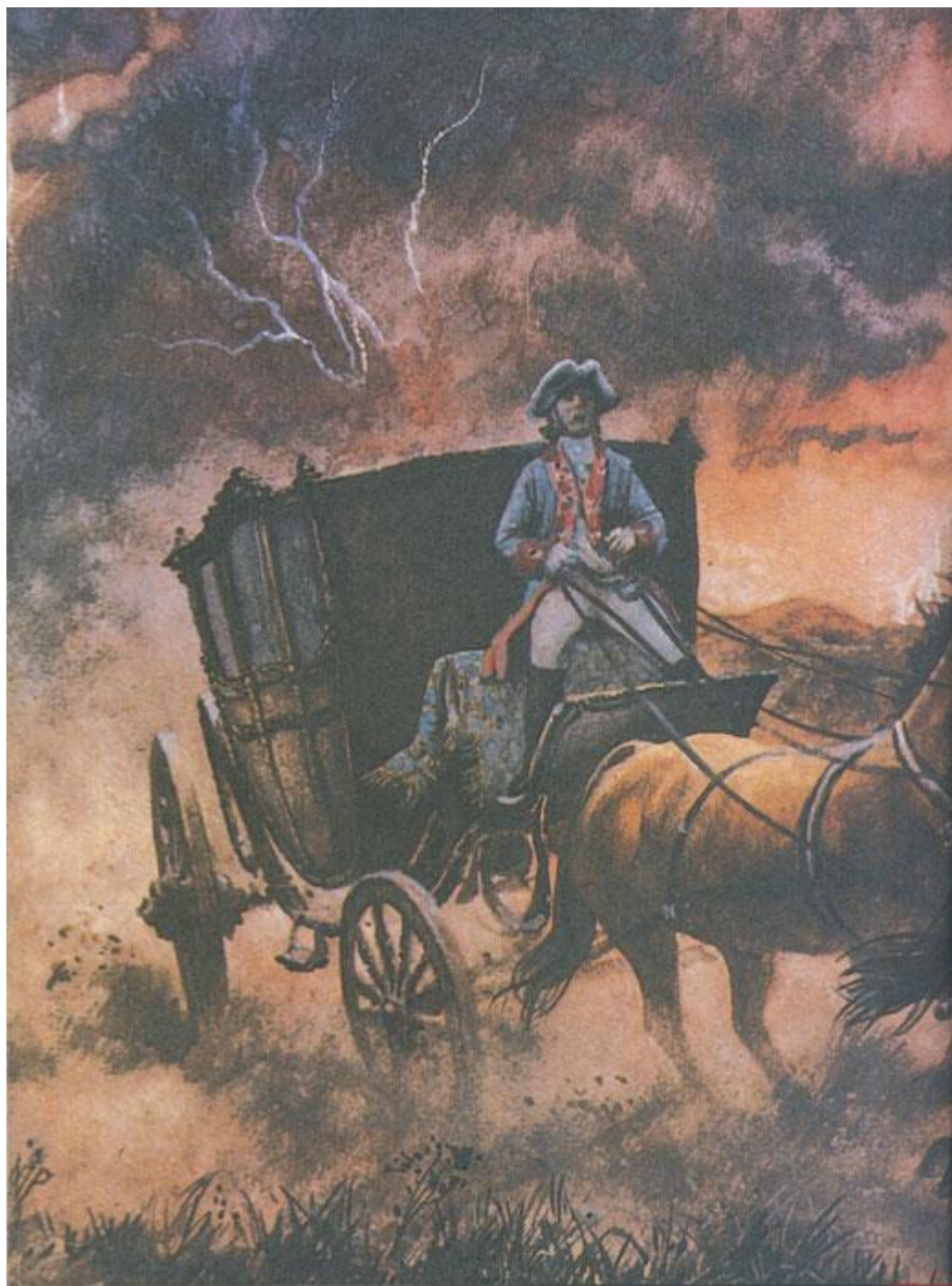
– Надеюсь, что на Небеса. Но если так, ей там не слишком нравится, ибо она возвращается через час, удаляется в свою комнату и затихает еще на пять лет.

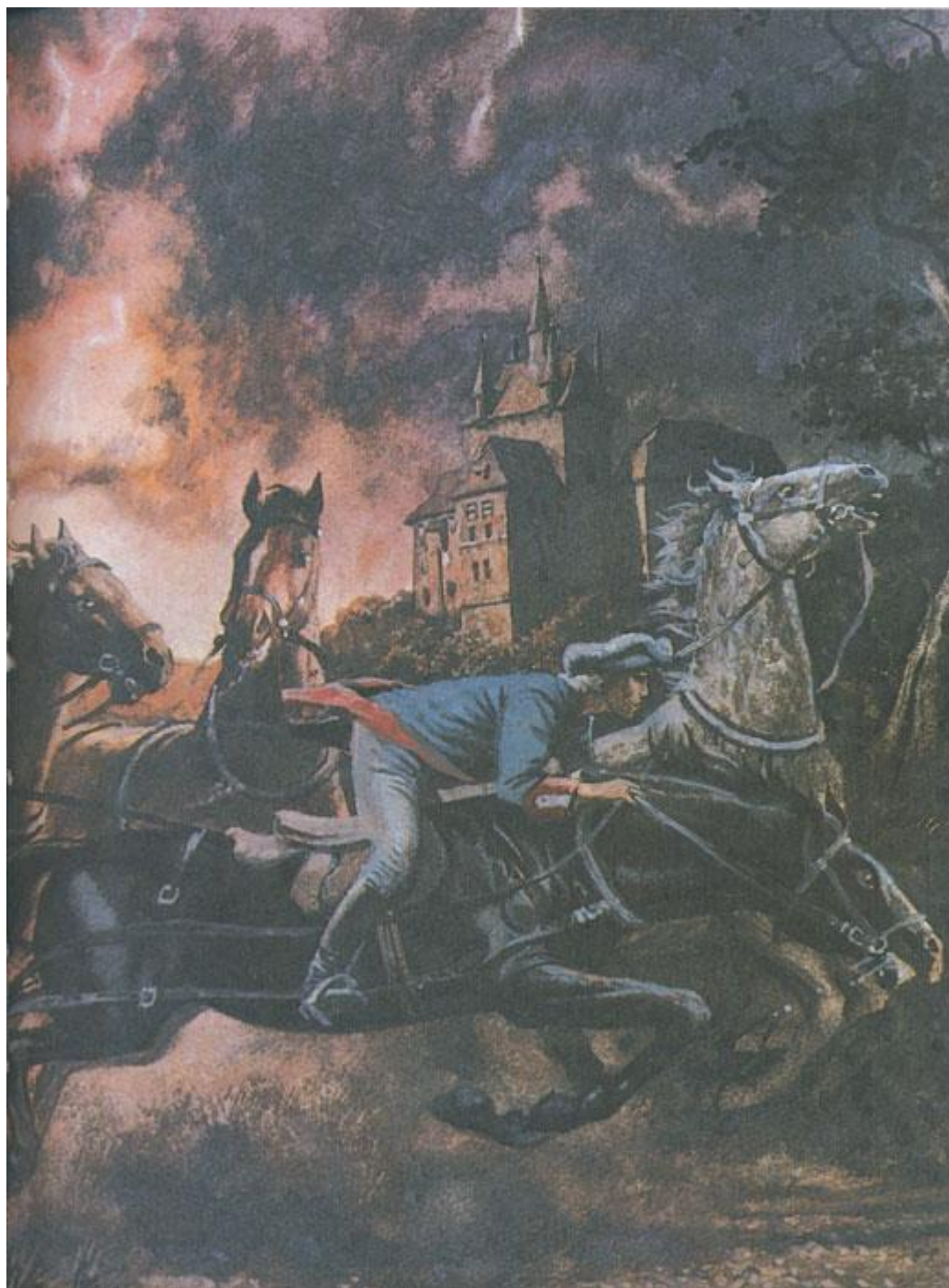
– И ты этому веришь, Агнеса?

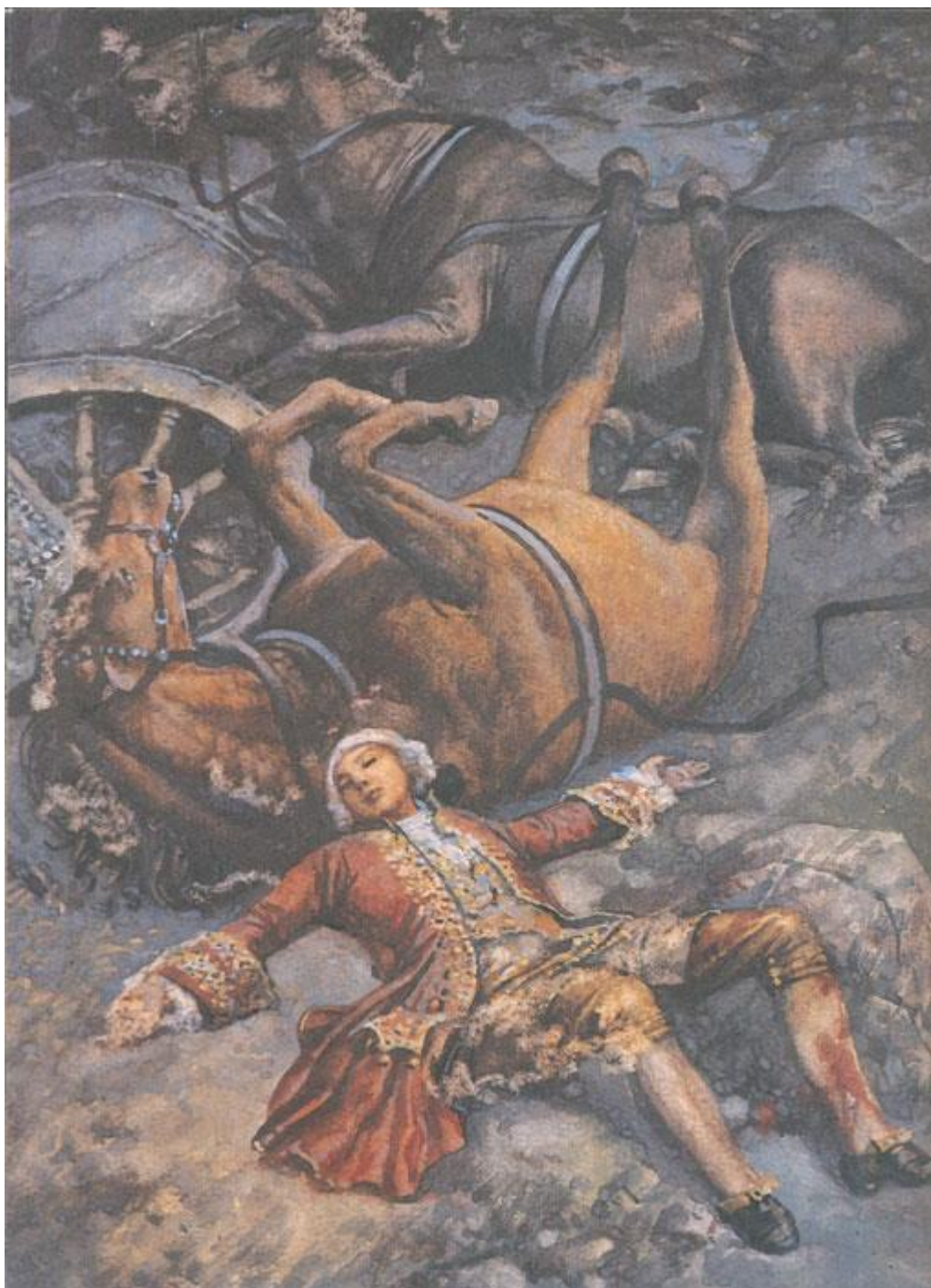
– Какой вопрос! Нет-нет, Альфонсо. У меня слишком много причин оплакивать силу суеверий. Ведь я сама их жертва. Однако баронессе я на это не смею даже намекнуть. Она ничуть не сомневается в правдивости предания. А дама Кунегунда, моя гувернантка, и вовсе уверяет, что пятнадцать лет назад видела духа своими собственными глазами. Однажды вечером она рассказала, какой ужас поразил ее и других домашних, когда за ужином им явилась Окровавленная Монахиня, как называют призрак в замке. Темой этого наброска послужил именно ее рассказ, и можешь быть уверен, Кунегунда тут не блещет отсутствием. Вот она. Никогда не забуду, в какую ярость она впала и какой безобразной выглядела, пока бранила меня за то, что ее портрет так на нее похож!

С этими словами Агнеса указала на комическую фигуру старухи, скорчившейся от страха.









Вопреки моему унынию я не мог не улыбнуться игривости воображения Агнесы. Она нарисовала даму Кунегунду очень похожей, но так преувеличила каждый изъясн и сделала каждую черту столь невыразимо смешной, что мне нетрудно было вообразить злость дуэньи.

– Рисунок восхитителен, милая Агнеса! Я и не знал, что ты так хорошо умеешь схватывать смешное.

– погоди, – отвечала она, – я покажу тебе лицо еще более смешное, чем лицо дамы Кунегунды. И если ты не против, то можешь распорядиться им, как тебе заблагорассудится.

Она встала и отошла к кабинету в углу, отперла ящик, вынула шкатулочку и, открыв, протянула ее мне.

– Ты находишь сходство? – сказала она с улыбкой.

Это был ее собственный портрет!

В восторге от такого подарка я страстно прижал портрет к своим губам и, бросившись перед ней на колени, излил свою благодарность в самых пылких и страстных словах. Она

слушала меня с нежностью, а потом заверила, что разделяет мои чувства. Но вдруг с громким криком вырвала у меня свою руку и выбежала в дверь, выходящую в сад. Пораженный этим внезапным бегством, я поспешно поднялся и в смятении узрел перед собой баронессу, почерневшую от ревности и злобы, захлебнувшуюся яростью. Придя в себя после обморока, она терзала свое воображение, стремясь догадаться, кто ее соперница. Подозрения незамедлительно пали на Агнесу, и она тут же поспешила к племяннице, чтобы обвинить ее в поощрении моих ухаживаний и удостовериться, ошиблась она или нет. К несчастью, она увидела достаточно, чтобы более не искать иных подтверждений. Дверь комнаты она открыла в тот миг, когда Агнеса протянула мне свой портрет, а затем услышала, как я поклялся ее сопернице в вечной любви, увидела меня на коленях перед ней. Она вошла, чтобы встать между нами, но мы были так заняты друг другом, что не услышали ее приближения и поняли, что произошло, только когда Агнеса увидела ее рядом со мной.

Бешенство доньи Родольфы, мое смущение некоторое время мешали нам заговорить. Первой прервала молчание баронесса.

– Мои подозрения были справедливы, – сказала она. – Кокетство моей племянницы восторжествовало, и я принесена в жертву ей! Однако и мне дано торжествовать, ибо не я одна буду мучиться безответной страстью. Вы тоже узнаете, что значит любить без надежды! Я со дня на день ожидаю письмо от родителей Агнесы с просьбой отослать дочь к ним. Немедленно по прибытии в Испанию она будет пострижена, и союз между вами станет невозможным. Не тратьте время на напрасные мольбы, – продолжала она, заметив, что я хотел заговорить. – Мое решение твердо и непоколебимо. Ваша любовница будет сидеть под замком в своей комнате до тех пор, пока не сменит стены этого замка на монастырские. Быть может, одиночество вернет ее на стезю долга. Однако, чтобы вы не воспрепятствовали этому, дон Альфонсо, я вынуждена уведомить вас, что ваше присутствие здесь более нежеланно ни для барона, ни для меня. Ваши родственники отправили вас в Германию не для того, чтобы вы нашептывали вздор моей племяннице. Вам надлежит путешествовать, и мне было бы жаль стать помехой их превосходным планам. Прощайте, сеньор, и помните, что завтра утром мы встретимся в последний раз.

Умолкнув, она одарила меня взглядом, полным надменности, презрения и злорадства, а затем вышла из комнаты. Я также отправился к себе и провел всю ночь, измышляя способ, как спасти Агнесу от тирании ее тетки.

Остатся в замке Линденберг после столь прямого настояния его госпожи я, разумеется, не мог и на следующее утро сообщил о своем незамедлительном отъезде. Барон изъясил глубокое огорчение и был со мною столь ласков, что я вознамерился заручиться его содействием. Однако едва я упомянул имя Агнесы, как он перебил меня, сказав, что вмешаться не в его власти. Я увидел, что было бы напрасно звать к нему. Баронесса управляла мужем деспотически, и нетрудно было заметить, что она успела восстановить его против нашего брака. Агнеса не вышла к завтраку. Я попросил разрешения проститься с ней, но не получил его и вынужден был уехать, так ее и не увидев.

Желая мне доброго пути, барон сердечно пожал мою руку и заверил меня, что я могу считать его дом своим сразу же, как их племянница отбудет к родителям.

– Прощайте, дон Альфонсо, – сказала баронесса, протягивая мне руку.

Я взял ее и хотел поднести к губам, но она тотчас ее отняла. Барон стоял у окна и не мог нас слышать.

– Берегитесь! – продолжала его супруга. – Моя любовь превратилась в ненависть, моя оскорбленная гордость вопиет о возмездии. Куда бы вы ни направились, мое мщение найдет вас!

Слова эти сопровождались взглядом, вызвавшим у меня холодную дрожь. Ничего не ответив, я поспешил покинуть замок.

Когда мой экипаж выезжал со двора, я кинул взгляд на окна твоей сестры. За ними не было видно никого, и я в тоске откинулся на спинку сиденья. Сопровождали меня только слуга-француз, которого я нанял в Страсбурге на место бедного Стефано, и мой маленький

паж, о котором я упоминал. Преданность, бойкость и добрый нрав Теодора уже сделали его дорогим моему сердцу, но теперь он замыслил оказать мне такую услугу, что я готов был счесть его моим благим гением. Не отъехали мы от замка и мили, как он подскакал к дверце экипажа.

— Ободритесь, сеньор, — сказал он на испанском языке, уже научившись говорить на нем свободно и правильно. — Пока вы были с бароном, я улучил минуту, когда дама Кунегунда спустилась в кухню, и забрался в покой над комнатой доньи Агнесы. Там я громко запел хорошо ей знакомую немецкую песенку в надежде, что она узнает мой голос. И не напрасно — так как вскоре услышал, что ее окно отворилось. Тотчас я спустил вниз шнурок, которым запасаю, а когда окно затворилось, сматал шнурок и нашел привязанный к его концу вот этот листочек.

Тут он протянул адресованную мне записочку. Я с нетерпением развернул ее и прочел следующие написанные грифелем строки:

«Укройся на ближайшие две недели в какой-нибудь окрестной деревне. Тетушка поверит, будто ты покинул Линденберг, и я вновь обрету свободу. В ночь на тридцатое я буду ждать в Западной беседке. Будь там, и мы сможем обсудить, что нам делать дальше. Прощай.

Агнеса».

Когда я дочитал эти строки, мой восторг не знал пределов — как и изъявления благодарности, которыми я осыпал Теодора. И поистине его находчивость и наблюдательность заслуживали всяческих похвал. Разумеется, ты понимаешь, что я не открыл ему мою любовь к Агнесе. Но умный мальчуган был настолько проницательным, что проник в мою тайну, и настолько осмотрительным, что скрыл это даже от меня. Он следил за происходящим молча и не предлагал себя в наперсники, ожидая, когда я сам обращусь к нему. Меня равно восхищали его рассудительность, его смывленность, его ловкость и его преданность мне. Не впервые он оказал мне необходимую помощь, и с каждым днем я все больше убеждался в его находчивости и способностях. Во время моего недолгого пребывания в Страсбурге он начал усердно учиться начаткам испанского и, продолжая занятия, уже объяснялся по-испански немногим хуже, чем на своем родном языке. Почти весь свой досуг он посвящал чтению и для своего возраста приобрел порядочные знания. Короче говоря, приятное лицо и ладная фигура сочетались в нем с остротой ума и добрым сердцем. Теперь ему уже пятнадцать лет, он по-прежнему служит у меня, и когда ты его увидишь, не сомневаюсь, он тебе понравится. Однако, извини, я отвлекся. Вернусь к теме.

Я повиновался указаниям Агнесы. Доехав до Мюнхена, оставил там свой экипаж на своего французского слугу Люка, а сам верхом возвратился в окрестности замка Линденберг, свернув в четырех милях от него в деревушку, где и поселился. Хозяину маленькой гостиницы я рассказал заранее придуманную историю, которая должна была помешать ему удивляться, почему я так долго остаюсь под его кровом. К счастью, он был стар, доверчив и нелюбопытен. Поверил всему, что я ему наговорил, и не старался узнать больше того, что я счел нужным ему сказать. Со мной был только Теодор, и мы оба изменили свою внешность, а так как мы держались особняком, никто не заподозрил, что мы не те, за кого себя выдаем. Так прошли две недели, и за этот срок я имел приятный случай убедиться, что заточение Агнесы кончилось. Однажды она проехала через деревню в сопровождении дамы Кунегунды. Выглядела она здоровой и бодрой и беседовала со своей спутницей спокойно и весело.

— Кто это? — спросил я у хозяина, когда их карета проехала мимо гостиницы.

— Племянница барона Линденберга и ее гувернантка, — ответил он. — Каждую пятницу она навещает обитель святой Екатерины, где воспитывалась. До нее отсюда около мили.

Ты легко представишь себе, с каким нетерпением ожидал я следующей пятницы. Вновь я увидел мою прекрасную возлюбленную. Когда карета проезжала мимо гостиницы, взор

Агнесы упал на меня и покрывший ее ланиты румянец сказал мне, что я узнан вопреки моему маскараду. Я глубоко поклонился, она ответила легким кивком, словно человеку низшего сословия, и более на меня не смотрела.

Наконец настала долгожданная заветная ночь. Она была тихой, по небосводу плыла полная луна. Едва часы пробили одиннадцать, как я поспешил к месту свидания, чтобы быть там загодя. Теодор заранее позаботился о лестнице, и я без помех перебрался через садовую ограду. Паж последовал за мной, а затем поднял лестницу. Я спрятался в Западной беседке, нетерпеливо ожидая Агнесу. Малейший шепот ветерка, легкое падение листа казались мне ее шагами, и я торопился встретить ее. Так я провел полный час, каждая минута которого мнилась мне веком. Но вот колокол в замке пробил двенадцать, и я не поверил, что времени прошло так мало. Миновало еще четверть часа, и я различил легкие шаги моей возлюбленной, осторожно подходившей к беседке. Я поспешил к ней, подвел к дивану, бросился к ее ногам и хотел выразить всю меру восторга, которую доставило мне это свидание, но она прервала меня.

— Нам нельзя терять времени, Альфонсо. Бесценен каждый миг. Ведь если мне и дозволено покидать мою комнату, Кунегунда следит за каждым моим шагом. От моего отца пришла эстафета. Я должна немедленно отправиться в Мадрид и лишь с большим трудом сумела выговорить себе неделю отсрочки. Суеверность моих родителей, всячески поддерживаемая моей жестокой теткой, не позволяет надеяться, что мне удастся воззвать к их жалости. В столь безвыходном положении я решилась довериться твоей чести. Дай Бог, чтобы мне никогда не пришлось пожалеть о своем решении! Бегство — единственное мое спасение от ужасов монастыря, и меня извиняет неотвратимая близость опасности. А теперь выслушай план, который я придумала. Сейчас наступило тридцатое апреля. Через пять дней должна явиться призрачная Монахиня. Прошлый раз посетив обитель, я увезла оттуда одеяние, такое же, какое на ней. Его дала мне подруга детских лет, которая еще живет там. Я не побоялась ей довериться, и она охотно согласилась снабдить меня монастырским платьем. Жди меня с каретой неподалеку от главных ворот замка. Как только колокол возвестит час ночи, я выйду из моей комнаты в личине призрака, каким его описывает предание. Те, кого я повстречаю, впадут в ужас и не посмеют меня остановить. Я без помех выйду за ворота и отдамся под твою защиту. Это все вне сомнений. Но, ах, Альфонсо, что, если ты меня обманываешь! Если ты презираешь мою неосторожную доверчивость и отплатишь за нее неблагодарностью, в мире не найдется создания несчастнее меня! Я понимаю все опасности, которым подвергаюсь. Я понимаю, что даю тебе право обойтись со мной пренебрежительно. Но я полагаюсь на твою любовь, твою честь! Шаг, который я намерена сделать, восстановит против меня всех моих близких. Если ты покинешь меня, если предашь взятое на себя обязательство, у меня не будет друга покарать тебя за оскорбление или заступиться за меня. На тебе одном сосредоточены все мои упования, и если твое сердце не молит за меня, то я погибла навеки!

Она произнесла все это таким трогательным голосом, что к радости, охватившей меня, когда Агнеса обещала бежать со мной, добавилось умиление. И я горько упрекнул себя, что не догадался держать в деревне карету, ведь тогда бы я мог умчаться Агнесу сейчас же. Но теперь об этом не стоило и думать: ни карету, ни лошадей негде было достать ближе Мюнхена, а до него от Линденберга было два дня пути. Поэтому мне пришлось согласиться на ее план, который в самом деле казался превосходным. Ее костюм позволит ей без помехи пройти через замок и спокойно, не теряя времени, сесть в карету у самых его ворот.

Агнеса печально склонила головку мне на плечо, и в лучах луны я увидел, что по ее ланитам струятся слезы. Я постарался рассеять ее грусть, напомнил об ожидающем впереди счастье и торжественно заверил, что ее добродетели и невинности под моей защитой ничто не угрожает, что до тех пор, пока она в церкви не станет моей законной женой, честь ее для меня останется столь же священной, как честь сестры. Я сказал ей, что первой моей заботой будет отыскать тебя, Лоренцо, и заручиться твоим согласием на наш союз. Я еще говорил, как вдруг меня испугал шум, донесшийся снаружи. Дверь беседки распахнулась. На пороге

перед нами стояла Кунегунда! Она услышала, как Агнеса вышла из комнаты, прокралась за ней в сад и увидела, как она вошла в беседку. Под покровом окружавших беседку деревьев, не замеченная Теодором, который ждал в некотором отдалении, она бесшумно подошла поближе и подслушала весь наш разговор.

– Восхитительно! – визгливо закричала Кунегунда, и Агнеса горестно ахнула. – Клянусь святой Варварой, благородная девица, вы редкостная выдумщица. Так вы изобразите Окровавленную Монахиню? Какое кощунство! Какое неверие! Право, я готова позволить вам привести ваш план в исполнение. Когда истинное привидение повстречает вас, в хорошеньком же вы будете виде! А вам, дон Альфонсо, должно быть стыдно, что вы соблазнили юное невинное создание покинуть семью и друзей. Однако хотя бы на этот раз я помешаю вашим злодейским замыслам. Ее милость баронесса узнает все, и Агнесе придется подождать с подражанием призракам до следующего раза. Прощайте, сеньор! Донья Агнеса, окажите мне честь, разрешив сопровождать ваш призрачный корабль назад в вашу спальню!

Она подошла к дивану, на котором сидела ее трепещущая ученица, схватила за руку и приготовилась увести из беседки.

Я остановил ее и попытался мольбами, завереньями, обещаниями и лестью привлечь на свою сторону. Но, убедившись, что говорю напрасно, оставил тщетную попытку.

– Ваше упрямство станет вашим наказанием, – сказал я. – Есть лишь одно средство спасти нас с Агнесой, и я к нему прибегну без колебаний.

Испугавшись этой угрозы, она опять хотела выйти из беседки, но я схватил ее за руку и удержал насильственно. В тот же миг Теодор, который вошел в беседку следом за ней, закрыл дверь, чтобы помешать ей убежать. Я взял покрывало Агнесы и набросил его на голову дуэньи, которая испускала такие отчаянные вопли, что я испугался, как бы ее не услышали в замке, хотя мы находились от него на значительном расстоянии. Наконец мне удалось замотать ей рот. Затем Теодор и я, как она ни отбивалась, сумели связать ей руки и ноги нашими платками, и я попросил Агнесу поскорее вернуться в свою комнату. Я обещал, что Кунегунда останется целой и невредимой, заверил ее, что пятого мая буду ждать с каретой у главных ворот замка, и с нежностью простился с ней. Трепеща от страха, она еле нашла в себе силы согласиться на мой план и в смятении поспешила назад в замок.

Теодор помог мне унести мою престарелую добычу. Мы перетащили ее через ограду, положили передо мной на лошадь, как саквояж, и я ускакал с ней прочь от замка Линденберг. Никогда еще злополучная дуэнья не совершала столь неприятных путешествий. Ее встряхивало и подбрасывало так, что вскоре она превратилась в подобие одушевленной мумии. А уж что говорить об испуге, который она испытала, когда мы перебирались вброд через речку перед деревней! В пути я уже придумал, как разделаться с несносной Кунегундой. Я остановился в некотором отдалении от гостиницы, а мой паж постучал в дверь. Ее открыл хозяин с фонарем в руке.

– Дайте-ка мне фонарь, – сказал Теодор. – Сейчас подъедет мой господин.

Он схватил фонарь и нарочно уронил на землю. Хозяин направился на кухню, чтобы снова его зажечь, а дверь оставил открытой. Под покровом темноты я, держа Кунегунду в объятиях, спрыгнул с лошади, взбежал по лестнице, никем не замеченный проскользнул к себе в комнату, отпер дверцу чулана, водворил ее туда и повернул ключ в замке. Вскоре явились хозяин и Теодор со свечами. Первый изъясил некоторое удивление, что я так припозднился, но никаких неловких вопросов задавать не стал. Вскоре он удалился, оставив меня радоваться успеху моего предприятия.

Я тотчас навел на мою пленницу и попытался убедить ее с терпением снести временно свое заключение. В попытке этой я не преуспел. Ни говорить, ни двигаться она не могла, но глаза ее горели яростью, и я вынужден был оставить ее связанной и вынимал кляп у нее из рта, только чтобы она могла поесть. В эти минуты я стоял над ней со шпагой, предупредив, что вонжу лезвие ей в грудь, если она осмелится закричать. Едва она проглатывала последний кусок, как кляп водворялся на место. Я понимал, что поступаю жестоко и могу искать оправдания только в крайней необходимости. Что до Теодора, никаких угрызений он

не испытывал, и положение Кунегунды до чрезвычайности его забавляло. Живя в замке, он вел с ней постоянную войну, а теперь его заклятый враг оказался у него во власти. Он беспощадно торжествовал и, казалось, занимался только тем, что измышлял новые способы допекать ее. Порой он делал вид, будто сочувствует ее бедственному положению, а потом смеялся и передразнивал ее, придумывал всяческие шуточки, одна обиднее другой, и развлекался, живописуя ей, какое удивление в замке вызвало ее тайное бегство. Тут он недалеко уклонился от истины. Кроме Агнесы, все только диву давались, что могло случиться с дамой Кунегундой. Обыскивали все глухие углы и подвалы, обшарили пруды, исходили лес вдоль и поперек, но от дамы Кунегунды не было ни слуху ни духу. Агнеса не выдала тайны, а я не выдал дуэнью. Поэтому баронесса оставалась в полном неведении о судьбе старухи, но предполагала, что та наложила на себя руки. Так прошли пять дней, в течение которых я приготовил все необходимое для успеха задуманного. На следующее же утро я отправил крестьянина с письмом к Люка, в котором отдал ему распоряжение позаботиться, чтобы в десять часов вечера в деревню Розенвальд прибыла карета, заложная четверней. Он выполнил все в точности, и экипаж остановился у гостиницы ровно в десять. По мере того как приближался назначенный срок, Кунегунда приходила во все большую ярость. Полагаю, злость и бешенство убили бы ее, если бы я, к счастью, не узнал о ее пристрастии к вишневой наливке. С этой минуты она не знала недостатка в любимом напитке, а так как Теодор от нее не отходил, то кляп можно было вынимать чаще. Наливка волшебным образом подслащивала кислоту ее натуры, а так как иных развлечений у нее не было, то она каждый день напивалась, просто чтобы скоротать время. Настало пятое мая, день, который я никогда не забуду! Еще до того как пробило двенадцать, я отправился в условленное место. Теодор сопровождал меня верхом. Карету я скрыл в пещере под склоном холма, на котором стоял замок. Пещера эта была очень обширной и глубокой, крестьяне между собой называли ее Линденбергской дырой. Ночь выдалась тихая и красивая. Лунный свет лился на древние башни замка, одевая их вершины серебром. Вокруг меня царил безмолвие, только ночной зефир шелестел листьями, и далеко в деревне лаяли собаки, да иногда ухала сова, поселившаяся под сводами покинутой Восточной башни. Услышав ее тоскливый крик, я поглядел вверх. Она сидела над окном комнаты, где являлся призрак. Это напомнило мне об Окровавленной Монахине, и я вздохнул, подумав о силе суеверий и слабости человеческого разума. Внезапно тишину ночи нарушили дальние голоса.

– Что означают эти голоса, Теодор? – спросил я.

– Нынче через деревню, – отвечал он, проехал важный господин, направлявшийся в замок. Говорят, это отец доньи Агнесы. Полагаю, барон устроил праздник в честь его приезда.

Колокол в замке отбил полночь – час, когда семья удалялась на покой. Вскоре в окнах туда и сюда замелькали огоньки, из чего я заключил, что общество расходится по своим спальням. Мне был слышен скрип тяжелых дверей, отворявшихся с трудом, а когда их захлопывали, постукивали подгнившие рамы. Спальня Агнесы находилась в другом крыле замка. Меня томил страх, сумела ли она раздобыть ключ от комнаты призрака – ей необходимо было пройти через нее, чтобы добраться до узкой лестницы, по которой, согласно преданию, дух спускался в большую залу. Вне себя от волнения я не отводил взгляда от окна роковой комнаты в надежде увидеть дружественное сияние светильника в руке Агнесы. Тут я услышал лязг отодвигаемых засовов, и массивные створки главных ворот распахнулись. Их открыл человек со свечой в руке, и я узнал старого привратника Конрада, который сейчас же удалился. Огоньки в окнах мало-помалу гасли, и вскоре замок окутала темнота.

Я сидел на уступе у гребня холма. Мрак и тишина навевали меланхолические мысли, в которых было нечто приятное. Замок прямо передо мной был грозен и живописен. Его могучие стены в отблесках лунного света, его древние полуразрушенные башни, устремленные к тучам и надменно хмурые на окрестные равнины, плющ, льнувший к серым камням, и створки ворот, раскрытые в честь воображаемой его обительницы, – все

это преисполнило меня печалью и благоговейным ужасом. Однако даже такие мысли не препятствовали мне нетерпеливо следить за ходом времени. Я приблизился к замку и решился обойти его снаружи. В комнате Агнесы виднелось смутное сияние, очень меня обрадовавшее. Пока я смотрел на него, к окну приблизилась фигура и плотно задернула занавеску, загораживая лучи горящего светильника. Зрелище это убедило меня, что Агнеса не отказалась от нашего плана, и я с легким сердцем вернулся на уступ.

Пробило полчаса! Пробило три четверти часа! Сердце мое билось от ожидания и надежд. Наконец раздался желанный звук. Колокол отбил час, и гулкий звон пронесся по безмолвному замку. Я смотрел теперь на окно комнаты призрака. Не прошло и пяти минут, как там появился желанный свет. Я подошел к башне. Окно находилось не слишком высоко над землей, и мне почудилось, что я вижу женскую фигуру, которая со светильником в руке идет через комнату. Затем сияние угасло и все вновь погрузилось в угрюмую тьму.

Теперь сияние возникало и исчезало в амбразурах, за которыми спускался по ступенькам прелестный призрак. Я проследил движение сияния по зале, оно достигло портала, и наконец я увидел, как Агнеса вышла из открытых ворот. Она была одета в точности так, как призрак на ее наброске. С запястья у нее свисали четки, голову окутывало белое покрывало. Монашеское одеяние покрывали кровавые пятна, и она позаботилась взять не только светильник, но и кинжал. Она направилась в мою сторону, я бросился к ней навстречу и заключил в объятия.

– Агнеса! – произнес я, прижимая ее к груди. –

О Агнеса, ты – моя,
Стал твоим отныне я.
И пока я жив, я твой!
Ты моя!
Ты и я,
Твой я телом и душой!

Вне себя от страха, она не могла вымолвить ни слова и, уронив светильник и кинжал, молча, почти бездыханная упала мне на грудь. Я подхватил ее и отнес в карету. Теодор должен был вернуться в гостиницу, чтобы освободить даму Кунегунду. Еще я оставил ему письмо для баронессы, в котором объяснял произошедшее и умолял ее испросить согласие дона Гастона на мой брак с его дочерью. Я открыл ей мое истинное имя, я доказал ей, что мое происхождение и мое будущее дают мне право просить руки ее племянницы, я заверил ее, что приложу все усилия заслужить ее уважение и дружбу, пусть и не в моей власти ответить на ее любовь.

Я сел в карету, куда уже усадил Агнесу. Теодор захлопнул дверцу, и кучер стегнул лошадей. Вначале меня радовала быстрота, с какой мы ехали, но, едва опасность погони осталась позади, я приказал кучеру придержать лошадей. Он и фореиторы попытались исполнить мое приказание, но тщетно. Лошади не слушались вожжей и продолжали нестись с необыкновенной быстротой. Кучер и фореиторы удвоили усилия, но лошади рвались, брыкались, и вскоре те, не удержавшись, с громкими воплями слетели наземь. Тотчас небо затянули черные тучи завыл ветер, заблестали молнии, загрохотал гром. Никогда мне еще не доводилось видеть столь ужасной грозы. Напуганные ревом разбушевавшихся стихий, лошади мчались все быстрее и быстрее. Они волокли карету через изгороди и канавы, устремлялись вниз по самым крутым косогорам и словно стремились обогнать ветер.

Все это время моя спутница лежала неподвижно в моих объятиях. Понимая всю меру грозящей нам опасности, я пытался привести ее в чувство, но напрасно, и тут оглушительный треск возвестил, что нашей бешеной езде был положен самый неприятный конец. Карета разбилась вдребезги. Упав на землю, я ударился виском об острый камень. Боль от раны, страшное потрясение, ужасная мысль о том, что могло случиться с Агнесой, заставили меня лишиться сознания, и я лежал распростертый, как бездыханный труп.

Видимо, пролежал я так очень долго, потому что открыл глаза в ярком свете дня. Меня окружали крестьяне и спорили, останусь ли я жив. По-немецки я изъясняюсь сносно и, обретя дар речи, тотчас осведомился об Агнесе. Каковы же были мои удивление и горе, когда крестьяне заверили меня, что не видели никого похожего на ту, кого я описал. По их словам, направляясь в поле, они встревожились, увидев обломки кареты и услышав хрипение лошади, единственной из четырех, не погибшей сразу. Остальные три лежали мертвые рядом со мной. Когда они подошли, я был совсем один, и миновало много времени, прежде чем им удалось привести меня в чувство. Полный невыразимого страха, я умолял крестьян разойтись в разные стороны и поискать ее, описал, как она была одета, и обещал щедрую награду тому, кто принесет мне известие о ней. Сам я не мог присоединиться к поискам: у меня были сломаны два ребра, вывихнуто плечо так, что рука свисала бессильной плетью, а левая нога казалась раздробленной, и я опасался, как бы мне не остаться калекой навсегда.

Крестьяне сдались на мои просьбы и отправились искать Агнесу – все, кроме четверых, а те соорудили носилки из жердей, чтобы отнести меня в ближайшее селение. Я осведомился о названии городка и, услышав в ответ «Ратисбон», не поверил своим ушам – слишком велико было расстояние, которое я одолел всего за ночь. На мои слова, что в час ночи я проехал деревню Розенвальд, крестьяне грустно покачали головами, знаками показывая друг другу, что я брежу.

Меня отнесли в пристойную гостиницу и немедленно уложили в постель. Послали за лекарем, и он успешно вправил мне плечо. Затем он осмотрел остальные мои повреждения и сказал, что я могу не опасаться неизлечимых последствий, но мне необходим покой и я должен быть готов к длительному и болезненному лечению. Если он хочет, чтобы мой покой ничем не нарушался, ответил я, то пусть сначала узнает что-нибудь о моей спутнице, которая накануне ночью уехала со мной из Розенвальда и была в карете в тот миг, когда она опрокинулась. Лекарь улыбнулся, но только посоветовал мне не тревожиться: за мной будет самый отличный уход. Когда он простился со мной, в дверях его встретила хозяйка, и я расслышал, как он сказал ей тихо:

– Господин не совсем в здравом уме. Естественное следствие таких ушибов и скоро пройдет бесследно.

Один за другим в гостиницу являлись крестьяне и сообщали, что о моей злополучной возлюбленной ничего узнать не удалось. Я в самых горячих выражениях умолял их продолжить поиски, удвоив уже обещанную награду. Сильное мое возбуждение и отчаяние окончательно убедили всех, что я брежу. Нигде не обнаружив следов моей спутницы, они решили, что она – плод моего разгоряченного мозга, и перестали обращать внимание на мои просьбы. Тем не менее хозяйка заверила меня, что поиски будут продолжаться, однако, как я узнал позднее, сказала она это только для того, чтобы я успокоился.

Хотя багаж мой оставался в Мюнхене под охраной французского слуги, кошелек у меня был набит туго – я ведь приготовился к длинному путешествию. К тому же моя разбитая карета показывала, что я не простой человек, а потому в гостинице меня окружали всяческими заботами. Подошел вечер, об Агнесе по-прежнему не было никаких известий. Тревога и страх теперь уступили место унынию. Я перестал предаваться бурному отчаянию и погрузился в глубокую меланхолию. Увидев, что я затих и молчу, те, кто ухаживал за мной, решили, что бред прошел и болезнь принимает благоприятный оборот. По предписанию лекаря я проглотил микстуру, и, как стемнело, меня оставили одного предаться сну.

Но сон я призывал тщетно. Волнение в моей груди гнало его прочь. Мой расстроенный дух взял верх над телесным утомлением, и я ворочался с боку на бок, пока куранты на соседней колокольне не отбили час ночи. Пока я слушал, как тоскливый глухой звук уносится ветром, по моему телу вдруг разлился холод, и я задрожал, не зная почему. По лбу у меня заструилась ледяная испарина, волосы встали дыбом от страха. Внезапно я услышал поднимающиеся по лестнице медленные тяжелые шаги. Невольно приподнявшись на кровати, я отдернул полог. Тростниковый светильник, мерцавший на каминной полке, слабо

освещал увешанные гобеленами стены. Дверь с силой распахнулась. Через порог переступила некая фигура и размеренной походкой направилась к моей кровати. Трепеща от страха, я вглядывался в полуночную гостью. Великий Боже! Это была Окровавленная Монахиня! Это была моя исчезнувшая спутница! Покрывало все так же прятало ее лицо, но ни светильника, ни кинжала у нее в руках не было. Медленно она откинула покрывало. Какое зрелище предстало моим пораженным глазам! Я увидел перед собой живой труп. Лицо у нее было обострившимся и изможденным, щеки и губы – бескровными, бледность смерти одевала ее черты, а устремленные на меня глаза были тусклыми и глубоко запавшими.

Я смотрел на привидение с ужасом, не поддающимся описанию. Кровь застыла в моих жилах. Я тщился позвать на помощь, но звуки умирали у меня на устах. Мои нервы сковало бессилие, и я окостенел в своей позе, точно статуя.

Призрачная Монахиня несколько мгновений смотрела на меня в безмолвии. Во взгляде ее было что-то мертвящее. Наконец тихим загробным голосом она произнесла следующее:

– Раймонд! Раймонд! Я твоя,
И тобой владею я.
О, пока ты жив, ты мой.
Я твоя.
Ты и я,
Мой ты телом и душой.

Почти бездыханный от ужаса слушал я, как она повторяет мои же собственные слова. Призрачная Монахиня села напротив меня в ногах кровати и смолкла. Ее глаза пристально смотрели в мои и, казалось, были наделены свойством глаз гремучей змеи, потому что я напрасно пытался отвести взгляд. Мои глаза были заморожены, и я не мог оторвать свой взгляд от призрака.

В этой позе она оставалась долгий час, молча, без движения. И я не мог ни заговорить, ни пошевелиться. Наконец куранты пробили два. Призрачная Монахиня поднялась и подошла ко мне. Ее ледяные пальцы сжали мою руку, бессильно лежавшую поверх одеяла, и, прижав холодные губы к моим, она повторила:

– Раймонд! Раймонд! Я твоя!
И тобой владею я. (и прочее)

Затем она отпустила мою руку, медленным шагом вышла из комнаты, и дверь за ней затворилась. До этого мгновения мое тело словно помертвело. Бодрствовал лишь разум. Но теперь чары рассеялись. Кровь, застывшая в жилах, разом прихлынула к сердцу, я громко застонал и замертво упал на постель.

Соседняя комната отделялась от моей лишь тонкой перегородкой, ее занимали хозяин и хозяйка. Первого разбудил мой стон, и он тотчас поспешил ко мне. Хозяйка вскоре последовала за ним. С некоторым трудом они привели меня в чувство и поспешили послать за лекарем, который не замедлил явиться. Он объявил, что моя лихорадка очень усилилась и, если я буду пребывать в подобном возбуждении, он не ручается за мою жизнь. Он напоил меня микстурой, которая немного меня успокоила. Перед рассветом я погрузился в подобие дремоты, но ужасные сны помешали ей пойти мне на пользу. Видения Агнесы и Окровавленной Монахини попеременно представляли передо мной, пугая меня и мучая. Я пробудился усталый и не освеженный сном. Лихорадка моя, казалось, усилилась, душевное волнение мешало срастаться моим костям, один обморок сменялся другим, и в течение дня лекарь остерегался оставлять меня более чем на два часа подряд.

Необычайность случившегося вынуждала меня хранить молчание – вряд ли кто-нибудь отнесся бы к моим словам с доверием. Меня снедала тревога. Я не знал, что могла подумать Агнеса, не найдя меня на условленном месте, и опасался, как бы она не усомнилась в моей

верности. Однако я полагался на ловкость Теодора и уповал, что мое письмо убедит баронессу в честности моих намерений. Эти соображения несколько умилили мои опасения за Агнесу, но впечатление, оставленное ночной посетительницей, усугублялось с каждой минутой. Приближалась ночь, и я все больше страшился ее наступления, хотя и тщился убедить себя, что призрак более не появится. Но так или иначе я пожелал, чтобы слуга остался у меня в комнате до утра.

Телесное утомление от того, что прошлую ночь я не сомкнул глаз, вкупе со сновидными снадобьями, которыми меня пичкали, наконец принесли мне отдых, в котором я столь нуждался, и я погрузился в крепкий спокойный сон, продлившийся несколько часов, пока меня не пробудили куранты, пробив один раз. Звук этот напомнил мне о всех ужасах предыдущей ночи. Вновь по моему телу разлился тот же холод. Я сел на постели и увидел, что слуга крепко спит в кресле около меня. Я окликнул его по имени, он не ответил. Я сильно потряс его за плечо, но не сумел разбудить. Мои усилия не возымели ни малейшего действия. Тут я услышал тяжелые шаги на лестнице, дверь распахнулась, и вновь передо мной предстала Окровавленная Монахиня. Вновь мои члены были словно запеленуты в свивальник, вновь раздались роковые слова:

– Раймонд, Раймонд, я твоя!
И тобой владею я. (и прочее)

Опять повторилось то, что накануне так меня парализовало. Вновь призрачная Монахиня прижала губы к моим, вновь прикоснулась ко мне истлевшими пальцами и, как в первый раз, удалилась, едва пробило два.

Это повторялось каждую ночь. Но я не только не свыкся с призраком, но при каждом новом его появлении испытывал все больший ужас. Мысли о нем не оставляли меня ни на минуту, и я впал в непреходящую меланхолию. Непрестанные борения духа, разумеется, замедляли мое выздоровление. Прошло несколько месяцев, прежде чем я встал с постели, а когда наконец мне было разрешено проводить день на диване, я был таким слабым, вялым и исхудалым, что не мог без посторонней помощи даже пройти через комнату. Непреходящая моя меланхолия внушила лекарю мысль, что я ипохондрик. Истинную причину моего состояния я хранил в тайне, понимая, что помочь мне не может никто: ведь призрак был скрыт ото всех глаз, кроме моих. Я постоянно оставлял при себе на ночь слуг, но едва куранты отбивали один час, как их сковывал непробудный сон, и просыпались они лишь после того, как призрак удалялся.

Возможно, тебя удивляет, что я не расспрашивал о твоей сестре. Дело в том, что Теодор, который с трудом отыскал меня, утишил мою тревогу. Но из его слов мне стало ясно, что попытки спасти ее останутся безуспешными, пока я достаточно не окрепну, чтобы возвратиться в Испанию. Подробности того, что с ней произошло и о чем я сейчас расскажу тебе, мне удалось узнать отчасти от Теодора, отчасти позднее от самой Агнесы.

В роковую ночь, назначенную для бегства, непредвиденная случайность не позволила ей выйти из спальни в условленный час. Но наконец она решилась войти в комнату призрака, спустилась по лестнице в залу, увидела, что ворота открыты, как она ожидала, и не замеченная никем покинула замок. Каково же было ее удивление, когда я не кинулся к ней навстречу! Она осмотрела пещеру, обошла все дороги в ближайшем лесу, отдав целых два часа этим бесплодным поискам. Никаких следов ни меня, ни кареты она не нашла и, вне себя от тревоги и отчаяния, решила вернуться в замок, пока баронесса ее не хватилась. Но тут она оказалась в новом затруднении. Ведь колокол уже пробил два. Час власти призрака миновал, и добросовестный привратник запер ворота. Помедлив в нерешительности, она осмелилась тихонько постучать. К счастью, Конрад еще не уснул и, услышав стук, поднялся, ворча, что его снова поднимают с постели. Открыв калитку и увидев, что в нее, видимо, хочет войти призрак Монахини, он завопил и рухнул на колени. Агнеса не преминула воспользоваться его ужасом, проскользнула мимо, поспешно поднялась к себе, сбросила монашеское одеяние

и легла в постель, тщетно ища объяснение моему отсутствию.

Тем временем Теодор, увидев, как я уехал в карете с лже-Агнесой, радостно вернулся в деревню. Утром он освободил Кунегунду из ее заточения и отправился с ней в замок. Когда они пришли туда, барон, его супруга и дон Гастон с недоумением обсуждали то, что узнали от привратника. Все они верили в привидения, однако дон Гастон утверждал, что для призрака постучать, чтобы его впустили, дело неслыханное и никак не сочетается с его нематериальной природой. В эту минуту и явился Теодор с Кунегундой. Тайна тотчас разъяснилась. Выслушав его, все они согласились, что Агнесой, которая, по словам Теодора, села в мою карету, несомненно была Окровавленная Монахиня, перепугала же привратника дочь дона Гастона.

Когда первая минута удивления миновала, баронесса решила воспользоваться случившимся, чтобы убедить племянницу принять постриг. Опасаясь, как бы возможность блестящей партии не заставила дона Гастона переменить намерения, она скрыла мое письмо и продолжала аттестовать меня как никому не известного нищего проходимца. Детское тщеславие понудило меня скрыть мое имя даже от моей возлюбленной. Я хотел, чтобы меня любили за меня самого, а не потому, что я сын и наследник маркиза де лас Систернаса. Таким образом мое истинное имя было в замке известно только баронессе, а она приняла необходимые меры, чтобы скрыть его ото всех. Дон Гастон одобрил намерение сестры, и они призвали Агнесу. Ее обвинили в том, что она замышляла бегство, и заставили признаться во всем, однако, к ее удивлению, с большой мягкостью. Но каковы же были ее страдания, когда ей объяснили, что план не удался по моей вине! Подученная баронессой, Кунегунда заявила, будто, отпуская ее, я поручил ей сказать своей госпоже, что между нами все кончено, что все произошедшее было следствием заблуждения и что мои обстоятельства не допускают брака с бесприданницей.

Внезапное мое исчезновение придало этому вымыслу большую правдоподобность. Теодора, который мог бы опровергнуть ложь, по приказанию баронессы держали взаперти. В довершение всего, как будто в подтверждение моего самозванства, пришло письмо от тебя, в котором ты объявлял, что Альфонсо д'Альварада тебе неизвестен. Такие убедительные доказательства моего коварства, подкрепленные искусной клеветой тетки, выдумками Кунегунды, а также угрозами и гневом отца, взяли верх над отвращением Агнесы к монастырской жизни. Негодуя на мое поведение, исполняясь омерзения к миру, она согласилась принять постриг. В замке Линденберг Агнеса провела еще месяц, но от меня не приходило никаких вестей, и она окончательно утвердилась в своем намерении, а затем уехала в Испанию. Тогда Теодора отпустили. Он поспешил в Мюнхен, куда я обещал написать ему, но, узнав от Люка, что я туда не заезжал, он принялся меня усердно разыскивать и наконец нашел в Ратисбоне.

Я так переменялся, что он с трудом меня узнал, и огорчение на его лице ясно показало, как горячо он ко мне привязался. Общество этого милого отрока, в котором я всегда видел более товарища, нежели слугу, стало теперь единственным моим утешением. Беседа его была веселой и разумной, а наблюдения проницательными и забавными. Он был много осведомленнее, чем обычно в его лета, но особенно пленял меня в нем чудесный голос, а к тому же он немного разбирался в музыке. Был у него вкус и к поэзии – он даже осмеливался сочинять коротенькие баллады по-испански, впрочем, должен признаться, довольно дурно. Тем не менее они забавляли меня новизной, и слушать, как он поет их, аккомпанируя на гитаре, было единственным развлечением, которое я себе позволял. Теодор не преминул заметить, что меня что-то сильно гнетет, но я не открыл причину даже ему, а почтение не позволяло ему расспрашивать меня.

Однажды вечером я лежал на своем диване, погруженный в размышления, далеко не самые приятные. Теодор развлекался тем, что следил в окно за дракой двух кучеров, решавших какой-то спор во дворе гостиницы.

– Ха-ха! – внезапно воскликнул он. – А вот и Великий Могол!

– Кто-кто? – спросил я.

– Один человек, который наговорил мне в Мюнхене всякой всячины.

– О чем же?

– Ваш вопрос, сеньор, напомнил мне, что он поручил повторить свои слова вам, но они, право, этого не стоят. Думается, он просто сумасшедший. Когда я приехал в Мюнхен, ища вас, он проживал в «Римском императоре», и хозяин рассказал мне о нем много странного. Судя по его манере речи, он чужестранец, но из каких краев, никто не знает. В городе он как будто ни с кем не знаком, говорит очень редко и не улыбается никогда. С ним не было ни слуги, ни багажа, однако кошелек у него как будто набит туго и он сделал в городе много добра. Одни считают его арабским астрологом, другие ярмарочным шарлатаном, а многие так заявляют, что это не кто иной, как доктор Фауст, которого Дьявол отослал назад в Германию. Однако хозяин сказал мне под секретом, что, по верным сведениям, это сам Великий Могол, путешествующий инкогнито.

– Но «всякая всячина», Теодор?

– А, да, я уже почти позабыл. Но и забудь я вовсе, потеря была бы невелика. Видите ли, сеньор, он проходил мимо, когда я спрашивал про вас у хозяина, остановился и внимательно на меня посмотрел. «Отрок! – произнес он торжественно. – Тот, кого ты ищешь, нашел то, чего был бы рад лишиться. Только моя рука может осушить кровь. Предупреди своего господина, чтобы он подумал обо мне, когда куранты пробьют час!»

– Как! – вскричал я, приподнимаясь. – Слова, повторенные Теодором, казалось, намекали, что странный незнакомец знает мою тайну! – Беги за ним, мальчик. Умоляй его уделить мне одну минуту для беседы!

Мое волнение удивило Теодора, однако он поспешил исполнить мое приказание, не задавая вопросов. Я с нетерпением ожидал его возвращения. Но уже очень скоро он привел в мою комнату желанного гостя. Это оказался человек величавой наружности с суровыми чертами лица и большими, черными, сверкающими глазами. Едва я его увидел, как что-то в нем вызвало у меня тайный трепет, если не сказать ужас. Костюм его был прост, волосы не напудрены, а черная бархатная лента обвивавшая лоб, придавала ему мрачность. Лицо его носило следы глубокой меланхолии, походка была медлительной, манеры серьезными, величественными и торжественными.

Он учтиво мне поклонился и, обменявшись со мной обычными приветствиями, сделал знак Теодору удалиться, и паж тотчас повиновался.

– Я знаю, что вас гнетет, – сказал он, не давая мне заговорить, – и у меня есть власть избавить вас от ночной гостыи. Но до воскресенья сделать этого нельзя. В час наступления дня Господня духи тьмы теряют власть над смертными. После субботы Монахиня перестанет вас навещать.

– Можно ли мне осведомиться, – спросил я, – каким образом вы проникли в тайну, которую я тщательно хранил ото всех?

– Как могу я не знать о вашей печали, когда ее причина стоит возле вас?

Я вздрогнул, а незнакомец продолжал:

– Хотя вы зрите ее лишь один час в сутки, она с вами и днем и ночью, ни на миг не покидая. И не покинет, пока вы не исполните ее просьбу.

– Какую же?

– Это должна объяснить она сама. Мне же сие не открыто. С терпением дождитесь субботней ночи. И тогда все станет ясно.

Я не осмелился расспрашивать его дальше, а он переменял тему и заговорил о самых разных предметах, упоминал людей, умерших века и века тому назад, но так, словно знал их живыми. Какую бы страну я ни назвал, оказывалось, что он ее посетил, а обширность и разнообразие его познаний глубоко меня восхитили. Я высказал мнение, что, столько путешествуя, столько видя и узнавая, он, конечно, получал великое наслаждение. Но он скорбно покачал головой.

– Никому, – отвечал он, – не постичь горести моего существования! Судьба обрекла меня на вечные скитания. Мне не дозволено оставаться на одном месте более двух недель. У

меня нет ни единого друга в мире, и в моих скитаниях я не могу им обзавестись. С какой радостью я лишился бы своей горестной жизни, ибо завидую тем, кто обрел покой могилы. Но Смерть бежит меня, ускользает от моих объятий. Тщетно устремляюсь я навстречу опасностям. Бросаюсь в океан – и волны с отвращением выносят меня на берег; устремляюсь в огонь – и пламя отклоняется от меня. Подставляю себя ножам разбойников, их лезвия затупляются и ломаются о мою грудь. Голодный тигр содрогается при виде меня, а крокодил убегает от чудовища, более ужасного, чем он сам. Бог наложил на меня печать свою, и все его создания чтут роковой знак!

Он прикоснулся к черному бархату, закрывавшему его лоб. В глазах у него появилось такое выражение ярости, отчаяния и злобы, что я побледнел от ужаса. По телу у меня пробежала невольная дрожь, и незнакомец заметил это.

– Таково наложенное на меня проклятие, – продолжал он. – Я обречен внушать всем на меня смотрящим страх и отвращение. Вы уже ощущаете его влияние, и с каждой минутой ощущение это будет усиливаться. Не стану усугублять ваши страдания своим присутствием. Прощайте до субботы. Как только пробьет полночь, ждите меня здесь.

С этими словами он удалился, оставив меня дивиться таинственному изменению в его манере держаться и говорить.

Его заверения, что скоро я избавлюсь от посещений призрака, оказали на меня самое благотворное влияние. Теодор, с которым я обращался более как с приемным сыном, чем как со слугой, вернувшись в комнату, выразил удивление, такую он заметил во мне перемену к лучшему. Он поздравил меня с возвращением ко мне здоровья и изъявил восторг, что моя беседа с Великим Моголом принесла мне подобную пользу.

Наведя справки, я узнал, что незнакомец уже провел в Ратисбоне восемь дней. Из его слов следовало, что жить он тут сможет еще только шесть дней, а до субботы оставалось целых три дня! О, с каким жгучим нетерпением ожидал я ее! А пока Окровавленная Монахиня продолжала свои ночные посещения. Но надежда, что скоро им наступит конец, лишала их прежнего ужаса.

Наступила долгожданная ночь. Чтобы не вызвать подозрений, я лег в обычный свой час, но едва ухаживавшие за мной слуги удалились, как я вновь оделся и приготовился встретить незнакомца. Он вошел ко мне ровно в полночь. В руке он держал сундучок, который поставил возле камина. Он молча поклонился мне, я ответил ему поклоном, также ничего не сказав. Затем он открыл сундучок и достал небольшое деревянное распятие. Упав на колени, он устремил на распятие скорбный взгляд, а затем возвел глаза к Небу. Казалось, он горячо молится. Затем, благоговейно склонив голову, он трижды поцеловал распятие и встал, после чего извлек из сундучка закрытый крышкой кубок. Хранившейся в кубке жидкостью, которая выглядела как кровь, он обрызгал пол и окунув в кубок конец распятия, очертил им круг посередине комнаты. Возле черты он расположил различные реликвии, черепа, кости и тому подобное, причем, как я заметил, выкладывал их в форме крестов. Наконец, взяв большую Библию, он вступил в круг и сделал мне знак последовать за ним. Я повиновался.

– Берегись произнести хоть слово, – прошептал незнакомец. – Не переступай черты и, если дорожишь собой, не вздумай смотреть на мое лицо!

Держа в одной руке распятие, а в другой Библию, он, казалось, погрузился в чтение. Куранты пробили час. Как обычно, я услышал шаги призрака по ступенькам, но знакомого холодного озноба не почувствовал. Я ждал появления Окровавленной Монахини с уверенностью. Она вошла в комнату, приблизилась к кругу и остановилась. Незнакомец произнес несколько непонятных слов. Затем, подняв голову и протянув распятие в сторону призрака, провозгласил громким и грозным голосом:

– Беатриса! Беатриса! Беатриса!

– Чего ты хочешь? – произнес призрак глухим запинаящимся голосом.

– Что тревожит твой сон? Почему ты преследуешь и терзаешь этого юношу? Как можно вернуть покой твоей неприкаянной душе?

– Не смею ответить! Я не должна отвечать! Как хотела бы я упокоиться в могиле, но беспощадные повеления вынуждают меня продлевать мою кару!

– Знаешь ли ты эту кровь? Знаешь ли ты, в чьих жилах она струилась? Беатриса! Беатриса! Его именем приказываю тебе отвечать!

– Я не смею ослушаться тех, кто повелевает мной.

– Смеешь ли ты ослушаться меня?

Он произнес эти слова властным тоном и снял черную ленту со лба. Вопреки его предупреждению я подчинился любопытству и поднял глаза на его лицо. На лбу его был отпечаток пылающего креста! Не могу объяснить, почему этот вид внушил мне смертельный страх, но ничего подобного я никогда не испытывал. На мгновение я лишился чувств, таинственный ужас возобладал над моим мужеством, и если бы Заклинатель не схватил меня за руку, я упал бы за черту.

Придя в себя, я увидел, что пылающий крест произвел на призрачную Монахиню не меньшее действие. Лицо ее изобразило благоговение и великий страх, бестелесные члены ее содрогались.

– Да! – произнесла она наконец. – Я трепещу перед этим знаком! Я почитаю его! Я повинуюсь тебе! Узнай же, что кости мои до сих пор не погребены. Они тлеют в глубине Линденбергской дыры. И лишь этому юноше дано право предать их земле. Его собственные уста объявили, что он мой и телом и душой. Я не освобожу его от этого обета, и каждую ночь его будет поражать ужас, пока он не обяжется собрать мои истлевшие кости и похоронить их в семейном склепе его андалузского замка. Потом пусть отслужат тридцать месс за упокой моей души, и более я не стану тревожить этот мир. А теперь отпусти! Это пламя меня сжигает.

Он медленно опустил руку, сжимавшую распятие, которым до этой минуты указывал на нее. Она склонила голову и растаяла в воздухе. Заклинатель вывел меня из круга, убрал Библию и все остальное в сундучок, а затем обернулся туда, где я стоял, окаменев от удивления.

– Дон Раймонд, ты слышал, на каких условиях тебе обещан покой. Так исполни их в точности. Мне же остается только рассеять тьму, все еще окружающую историю этого духа, и сообщить тебе, что при жизни Беатриса носила фамилию де лас Систернас. Она была двоюродной бабкой твоего деда. Родство между вами требует от тебя уважения к ее праху, хотя непомерность ее преступлений должна вызвать у тебя содрогание. Что это были за преступления, лучше меня поведать тебе не может никто, ибо я знал святого человека, который положил конец ее ночным бесчинствам в замке Линденберг, и выслушал рассказ о них из собственных его уст.

Беатриса де лас Систернас постриглась в монахини в нежных летах не по собственной воле, но по настоянию родителей. Тогда она была еще слишком юна, чтобы сожалеть о радостях, которых монашество ее лишило. Но едва в ней пробудилась пылкая и сладострастная натура, как она безудержно предалась своим страстям и воспользовалась первым же случаем, чтобы обрести им удовлетворение. Случай этот представился только после долгих неудач, которые лишь пуще распаляли ее желания. Она сумела убежать из монастыря и уехала в Германию с бароном Линденбергом. Несколько месяцев она жила у него в замке как его наложница. Вся Бавария была возмущена ее дерзким и бесстыдным поведением. Пирь ее соперничали роскошью с пирами Клеопатры, и Линденберг стал местом самых необузданных оргий. Не довольствуясь славой развратницы, она объявила себя атеисткой, постоянно поносила свои монашеские обеты и смеялась над самыми священными церковными обрядами.

Обладая столь порочной натурой, Беатриса недолго продолжала отдавать свою нежность одному. Поселившись в замке, она вскоре обратила внимание на младшего брата барона и пленилась его надменным лицом, гигантским ростом и геркулесовским телосложением. Она не склонна была прятать свою благосклонность. Однако Отто фон Линденберг даже превосходил ее порочностью. Он отвечал ей лишь в той мере, чтобы еще

сильнее распалить ее страсть, а добившись желаемого, назначил ценой за свою взаимность убийство брата. Негодница согласилась на этот ужасный уговор. Для свершения страшного дела была назначена ночь. Отто, живший в небольшом поместье неподалеку от замка, обещал ждать ее в Линденбергской дыре в час, а также привести с собой надежных друзей, с чьей помощью он без труда станет хозяином замка, после чего не замедлит вступить с ней в брак. Именно это последнее обещание и взяло верх над остатками совести Беатрисы, так как барон, хотя и любил ее, заявил самым решительным образом, что женой его она никогда не будет.

Настала роковая ночь. Барон спал в объятиях своей коварной любовницы. Когда колокол замка пробил час, Беатриса выхватила из-под подушки кинжал и вонзила его в сердце своего любовника. Барон испустил ужасный стон и скончался. Убийца тотчас покинула кровать, взяла в одну руку светильник, в другую окровавленный кинжал и поспешила в пещеру. Привратник не осмелился не открыть ворота той, кого челядь в замке боялась куда больше, чем своего господина. Беатриса без помех добралась до Линденбергской дыры, где ее уже ожидал Отто. Он выслушал ее рассказ с ликованием, но прежде, чем она успела спросить, почему с ним никого нет, он объяснил, что не хотел, чтобы при их встрече присутствовали свидетели. На самом же деле, стремясь скрыть свою причастность к убийству, а также избавиться от женщины, чей необузданный и жестокий нрав заставлял его трепетать за собственную жизнь, он решил убить свою мерзкую сообщницу. Внезапно он бросился на нее, вырвал из ее руки кинжал, погрузил ей в грудь лезвие, еще дымившееся кровью его брата, а затем добил несколькими ударами.

Отто унаследовал линденбергское баронство. Убийство все приписывали только исчезнувшей монахине, и никто не подозревал, что на кровавое дело подстрекнул ее он. Однако, если люди оставили его преступление без кары, Божье правосудие не позволило ему мирно наслаждаться титулом и богатствами, добытыми кровью. Кости Беатрисы лежали непогребенные в Линденбергской дыре, но неприкаянная душа Беатрисы продолжала обитать в замке. Одета как монахиня в ознаменование данных Небу и нарушенных обетов, с кинжалом, испившим крови ее любовника, и светильником, помогшим ей найти путь в темноте, она каждую ночь приходила к ложу Отто. В замке царил жуткое смутение – под сводами эхо отвечало воплям и стонам. Призрачная монахиня, проходя по старинным галереям, то страшно богохульствовала, то бормотала молитвы. Отто не вынес ужаса, который внушало ему это страшное видение, становившееся все страшнее с каждым новым посещением. Его сердце, не выдержав, разорвалось, и однажды утром он был найден на постели холодным и бездыханным. Но смерть его не положила конца ночным буйствам. Кости Беатрисы оставались непогребенными, и ее дух все так же бродил по замку.

Титул и поместье унаследовал дальний родственник. Однако рассказы про Окровавленную Монахиню (как начали называть призрак) столь напугали нового барона, что он обратился за помощью к прославленному заклинателю бесов. Этот святой человек вынудил ее на время оставить замок в покое. Она поведала ему свою историю, однако он не получил дозволения ни сообщить ее рассказ кому-либо другому, ни даже устроить так, чтобы прах ее похоронили в освященной земле. Обязанность эту приберегли для тебя, а тем временем дух ее был обречен бродить по замку и оплакивать свое преступление. Но как бы то ни было, заклинатель вынудил ее умолкнуть до конца своих дней. Пока он был жив, комната, где обитал призрак, стояла запертой и призрака никто не видел. Когда же пять лет спустя он скончался, Окровавленная Монахиня вновь стала являться людям, но лишь раз в пять лет, в тот самый день и в тот самый час, когда она вонзила кинжал в сердце своего любовника. Она выходила за ворота, посещала пещеру, где тлеют ее кости, возвращалась в замок, когда било два, и до истечения следующих пяти лет ее никто не видел и не слышал.

Она была обречена страдать столетие. Теперь этот срок миновал. Остается лишь схоронить кости Беатрисы. Я стал орудием, освободившим тебя от твоей призрачной мучительницы, и в безмерных моих горестях мысль, что я помог тебе, будет служить мне утешением. Прощай юноша! Да насладится дух твоей родственницы покоем могилы, в

котором отмщение Господне отказывает мне во веки веков!

С этими словами незнакомец направился к двери.

– Помедлите еще немного! – сказал я. – Мое любопытство во всем, что касалось призрака, вы удовлетворили, однако оставляете меня на жертву еще более жгучего! Собогадите же открыть, перед кем я в таком неоплатном долгу. Вы упоминаете давно прошедшие события и людей, умерших столетия тому назад. Вы беседовали с заклинателем духов, который, по вашим же словам, уже без малого век как скончался. В чем объяснение? Что означает крест, пылающий у вас во лбу, и почему вид его ввергает мою душу в такой ужас?

Некоторое время он отказывался ответить, но в конце концов уступил моим мольбам и обещал открыть мне все при условии, что я подожду до следующего дня. Мне пришлось согласиться, и он ушел. Утром я тотчас спросил о незнакомце. Вообрази же мое разочарование, когда мне сообщили, что он уже покинул Ратисбон. Я отправил за ним слуг, но напрасно. Им не удалось открыть никаких его следов. С той минуты я больше ничего о нем не слышал и, полагаю, не услышу никогда.

(Тут Лоренцо перебил своего друга.

– Как? – сказал он. – Ты не узнал, кто он был? И даже догадаться не попытался?

– Прошу прощения, – отвечал маркиз. – Когда я рассказал об этом случае моему дяде, кардиналу-герцогу, он ответил, что, без сомнения, этот необычайный человек был не кто иной, как прославленный скиталец, известный всюду под прозвищем Вечный жид. Предположение это подтверждали запрет проводить в одном месте более двух недель, запечатленный у него на лбу пылающий крест, воздействие этого креста на окружающих и еще многие другие подробности. Кардинал полностью в этом убежден, и я тоже склонен принять такое решение загадки как единственно правдоподобное. Но вернемся к тому, что произошло дальше.)

С этого дня я начал выздоравливать с быстротой, изумлявшей лекаря и всех вокруг. Окровавленная Монахиня более не появлялась, и вскоре я уже отправился в Линденберг. Барон принял меня с распростертыми объятиями. Я рассказал ему о последнем событии, и его весьма обрадовало, что призрак перестанет посещать его замок даже и раз в пять лет. С сожалением я убедился, что мое отсутствие не ослабило безрассудной страсти доньи Родольфы. Во время моего краткого пребывания в замке она в беседе с глазу на глаз возобновила попытки добиться от меня взаимности. Я же, считая ее первопричиной всех моих страданий, питал теперь к ней одно отвращение. Скелет Беатрисы был найден в месте, которое она назвала, а так как я лишь ради этого вернулся в Линденберг, то и поспешил покинуть владения барона, равно торопясь и предать погребению прах убитой монахини и бежать от посягательств женщины мне противной. Я уехал, провожаемый угрозами доньи Родольфы, что мое пренебрежение неотмщенным не останется.

В Испанию я отправился самым прямым путем – Люка с моим багажом приехал ко мне еще в Линденберг. Добрался я до родной страны без происшествий и сразу же направился в андалузский замок моего отца. Прах Беатрисы был погребен в семейном склепе, все обряды были совершены и мессы отслужены, как она распорядилась. Теперь ничто не мешало мне сосредоточить все усилия на поисках монастыря, куда удалилась Агнеса. Донья Родольфа твердила мне, что ее племянница уже постриглась. Но я подозревал, что она обманывает меня из ревности и возлюбленная моя еще свободна от обета и может вступить со мной в брак. Я навел справки о ее семье. Оказалось, что донья Инесилья скончалась прежде, чем ее дочь успела достичь Мадрида. Ты, мой дорогой Лоренцо, сказали мне, еще не вернулся из путешествий. Твой батюшка уехал в отдаленную провинцию погостить у герцога де Медины, а про Агнесу никто ничего не знал. Теодора я перед отъездом из Германии отправил в Страсбург, как и обещал. Дед его тем временем скончался, и Маргарита унаследовала его состояние. Но все уговоры не покидать ее не возымели действия: Теодор простился с ней во второй раз и последовал за мной в Мадрид. Он не жалел усилий, чтобы способствовать предпринятым мною поискам. Но и совместные наши старания не принесли

успеха. Место, где укрывали Агнесу, оставалось тайной, и я начинал терять надежду когда-либо свидеться с ней.

Около восьми месяцев тому назад я после вечера, проведенного в театре, полный грусти возвращался к себе. Ночь была темной, меня никто не сопровождал, и, погруженный в размышления, далеко не приятные, я обнаружил, что за мной следом идут трое мужчин, только когда свернул в безлюдную улицу, где все трое разом свирепо на меня набросились. Я отпрыгнул, выхватил шпагу, сбросил плащ и обмотал им левую руку. Густой мрак давал мне преимущество. Нападавшие наносили удары слепо и чаще мимо. В конце концов я сумел сразить одного из противников, но получил уже столько ран, а оставшиеся двое так меня теснили, что гибель моя была бы неминуемой, если бы лязг шпаг не привлек внимание какого-то кавалера. С обнаженной шпагой он бросился мне на помощь, за ним следовали слуги с факелами. Теперь дрались двое против двоих, однако бравы не подумали отступить, пока не подбежали слуги, а тогда метнулись прочь и исчезли во тьме.

Мой спаситель учтиво заговорил со мной и осведомился, не ранен ли я. Ослабев от потери крови, я мог только слабым голосом поблагодарить его и попросить, чтобы кто-нибудь из его слуг проводил меня во дворец де лас Систернас. Едва я упомянул эту фамилию, как он назвался знакомым моего отца и объявил, что не отпустит меня, пока мои раны не будут перевязаны. Его дом, добавил он, совсем рядом, и я должен отправиться с ним туда. Настояния эти были столь искренними, что я уступил им и, опираясь на его руку, вскоре уже подошел к великолепному дворцу.

Дверь открыл седовласый слуга и, почтительно поздоровавшись с моим проводником, осведомился, скоро ли герцог, его господин, намерен покинуть загородный дом. Мой спаситель, ответив, что герцог думает пробыть там еще несколько месяцев, приказал послать за домашним врачом. Его приказание было тотчас выполнено. Меня усадили на диван в богато обставленной комнате, врач осмотрел мои раны и нашел их не опасными, однако добавил, что ночной воздух мне вреден. Мой спаситель принялся настаивать, чтобы я переночевал у него, и мне трудно было не принять его любезное приглашение.

Оставшись с ним наедине, я воспользовался этим, чтобы еще раз поблагодарить его, но он ничего не захотел слушать.

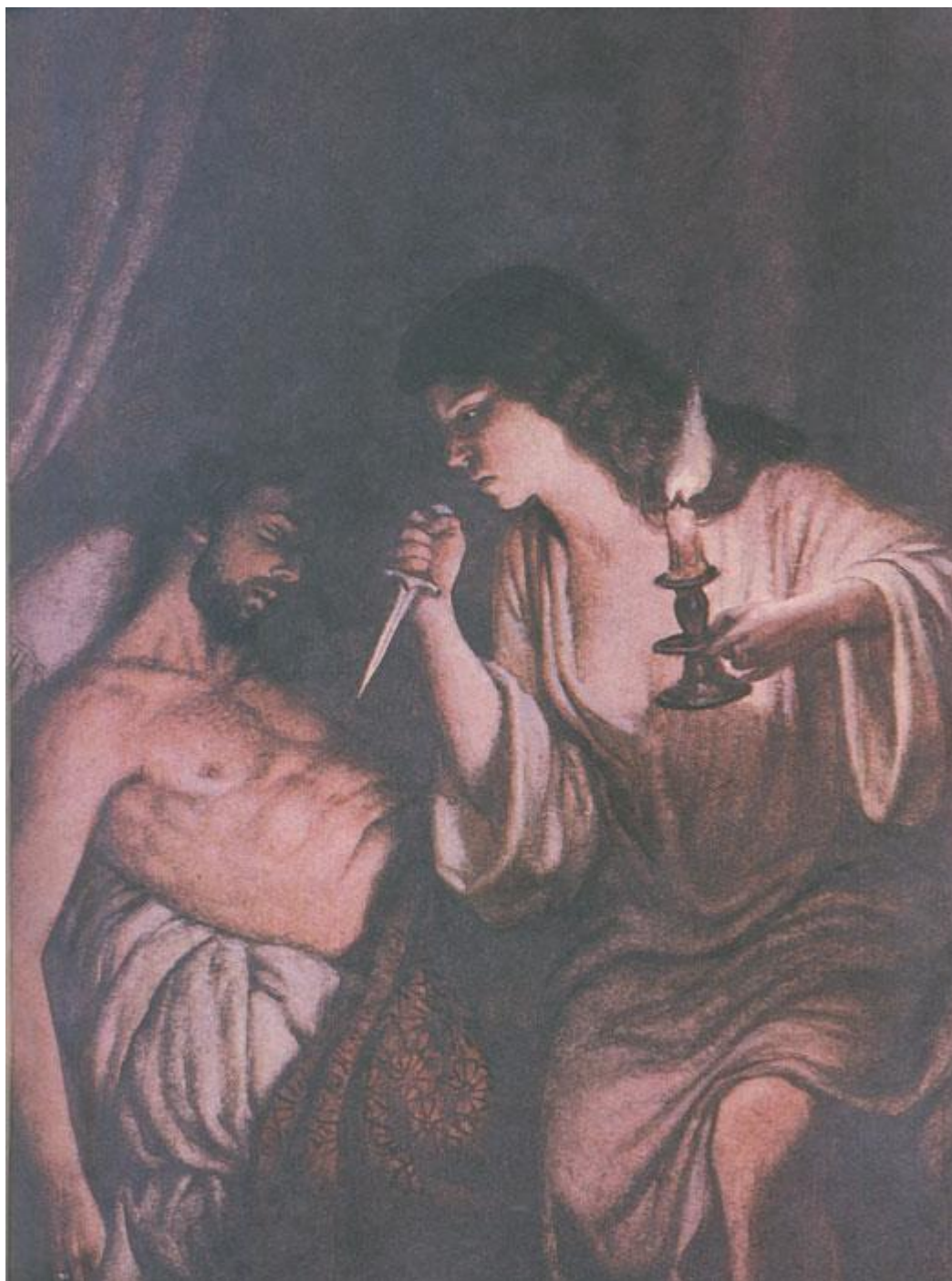
– Я почитаю себя счастливым, – сказал он, – что в моей власти было оказать вам эту ничтожную услугу, и навсегда останусь обязан моей дочери за то, что она задержала меня в монастыре святой Клары до столь позднего часа. Величайшее почтение, которое я питаю к маркизу де лас Систернасу, хотя обстоятельства, увы, помешали нам узнать друг друга ближе, заставляет меня вдвойне радоваться случаю познакомиться с его сыном. Я не сомневаюсь, что мой брат, в чьем доме вы находитесь, весьма огорчится из-за того, что, будучи в отъезде, не мог сам принять вас. Но в отсутствие герцога глава семьи я и заверяю вас, что дворец де Медина и все в нем к полным вашим услугам.

Вообрази же мое изумление, Лоренцо, когда я узнал, что спаситель мой – дон Гастон де Медина. Оно могло сравниться лишь с тайной радостью, которую он доставил мне, упомянув, что Агнеса находится в монастыре святой Клары. Правда, радость эта быстро угасла, когда в ответ на мои нарочито равнодушные вопросы я узнал, что его дочь действительно постриглась. Однако я не позволил себе при этом известии поддаться горю, утешаясь мыслью, что влияние моего дяди в Риме поможет удалить это препятствие и он без особого труда получит для моей возлюбленной папское разрешение ее монашеского обета. Я удвоил выражения благодарности и всячески изъяснял свой восторг от знакомства с доном Гастоном.

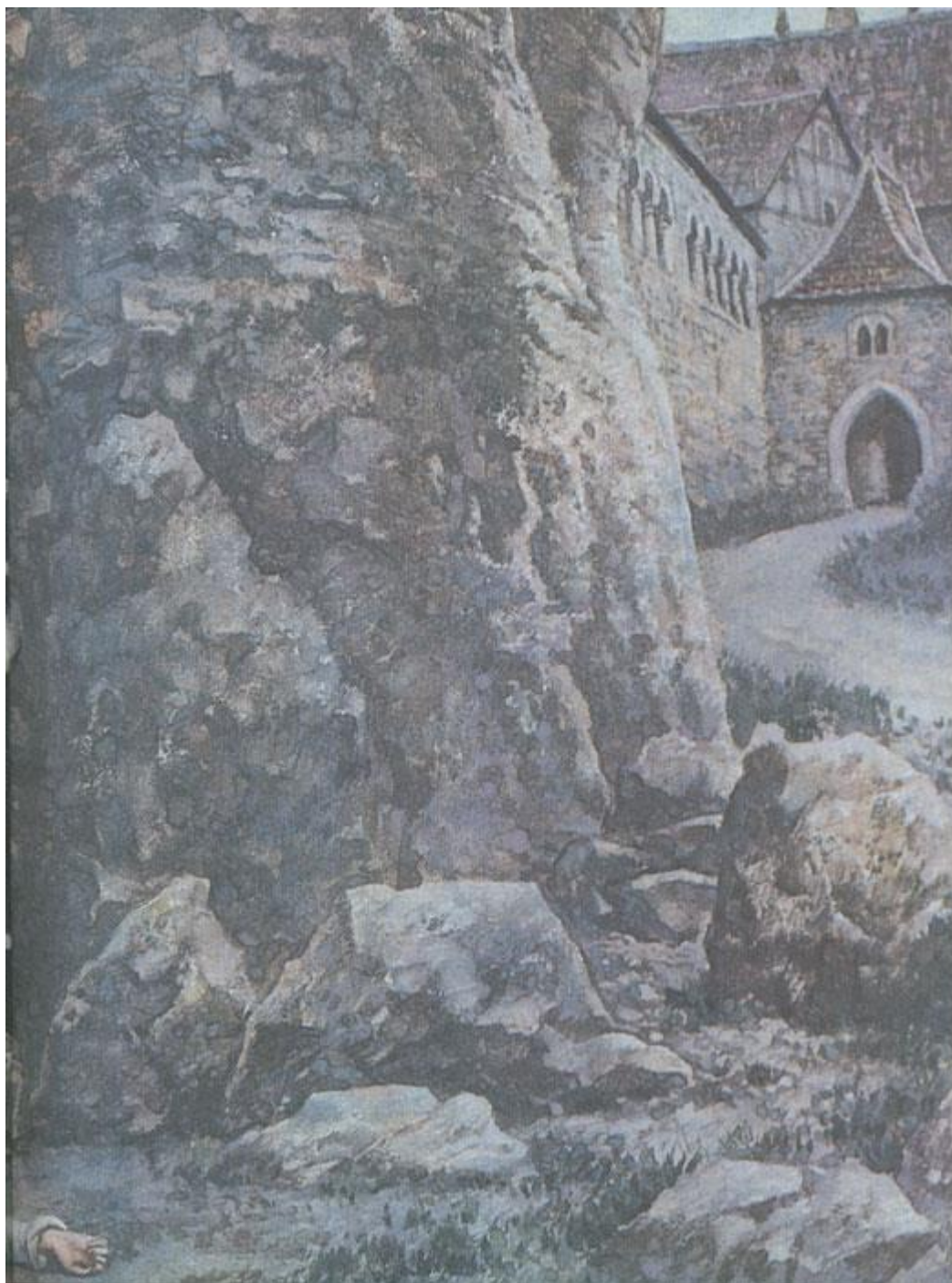
Тут в комнату вошел слуга и доложил, что bravo, которого я ранил, подает признаки жизни. Я выразил желание, чтобы его перенесли в дом моего отца, где, как только к нему вернется речь, я допрошу его о причинах этого покушения на меня. Оказалось, что раненый уже может говорить, хотя и с трудом, и дон Гастон из любопытства стал настаивать, чтобы я допросил убийцу при нем. Однако никакого желания удовлетворить это любопытство у меня не было. Во-первых, не сомневаясь, кто причина этого нападения, я не хотел разоблачить

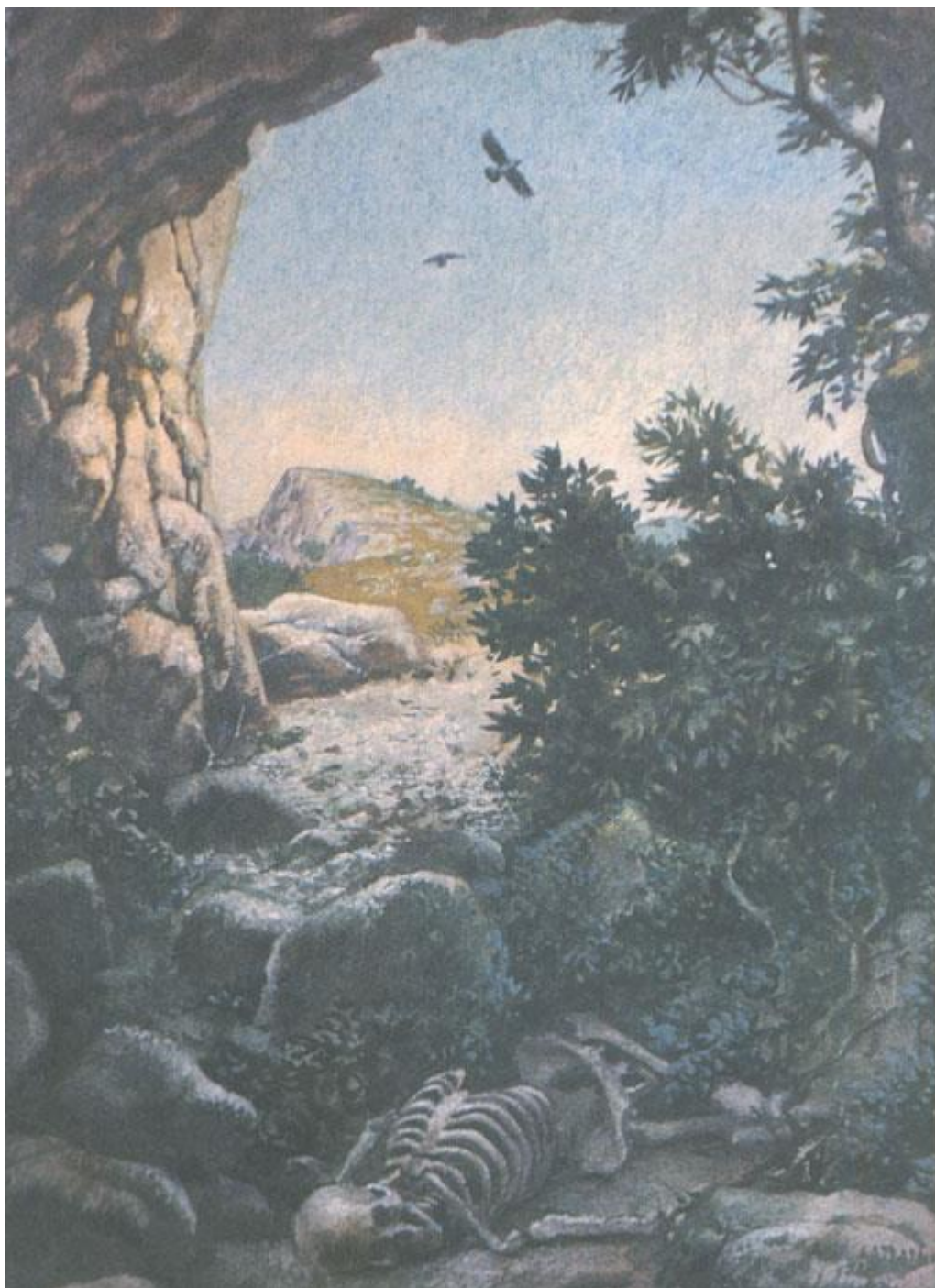
перед доном Гастоном преступление его сестры. А во-вторых, я опасался, что он узнает во мне Альфонсо д'Альвараду и примет меры, чтобы не допустить меня до Агнесы. Все, что мне было известно о характере дона Гастона, указывало, что признаться ему в любви к его дочери с тем, чтобы получить от него согласие на мой план, было бы верхом неразумия. Убежденный, что и дальше он должен знать меня только как графа де лас Систернаса, я никак не мог допустить, чтобы он присутствовал при допросе браво, и я намекнул ему на свои подозрения, что в этом замешана женщина, чье имя наемный убийца может ненароком назвать, отчего мне следует допросить его без посторонних. Деликатность не позволила дону Гастону настаивать дальше, и браво перенесли в мой дом.

Утром я простился с доном Гастоном, который в тот же день намеревался вновь отбыть к герцогу. Раны мои были не более чем царапинами и не причиняли особых неудобств, — если бы некоторое время мне не пришлось держать руку в лубке, я мог бы сразу забыть о ночном приключении. Но рана браво оказалась смертельной. Он только успел признаться, что его наняла убить меня мстительная донья Родольфа, и через несколько минут испустил дух.









Теперь все мои мысли были заняты только тем, как найти возможность поговорить с моей прекрасной монахиней. Теодор взялся за дело, и на этот раз с успехом. Он с такой настойчивостью осыпал монастырского садовника подарками и обещаниями, что старик вскоре уже готов был услужить мне как мог и предложил провести меня в монастырь под видом своего помощника. План был приведен в исполнение немедленно. В грубой одежде, с черной повязкой на глазу я был представлен настоятельнице, она соблаговолила одобрить выбор садовника, и я тут же приступил к исполнению своих обязанностей. Ботаника всегда меня влекла, и в новом моем положении мне это весьма пригodiлось. Несколько дней я трудился в монастырском саду, не видя той, ради кого очутился там. На четвертое утро удача мне улыбнулась. Я услышал голос Агнесы и поспешил на его звук, но остановился, увидев настоятельницу, и укрылся за густыми кустами.

Настоятельница приблизилась к ним и вместе с Агнесой села на скамью. Я услышал, как она гневно бранит свою спутницу за непроходящую меланхолию. Она сказала ей, что в

ее нынешнем положении оплакивать утрату возлюбленного уже преступно, но оплакивать утрату изменника – это величайшее безумие и нелепость. Агнеса отвечала так тихо, что я почти не различал ее слов, но заметил, что говорит она с кротостью и покорностью. Их разговор прервало появление молоденькой пансионерки, которая доложила настоятельнице, что ее ждут в приемной. Старуха встала, поцеловала Агнесу в щеку и удалилась. Но вестница осталась, и Агнеса стала ей хвалить кого-то. Я не понял кого, но ее юная собеседница, казалось, была восхищена и очень заинтересована. Моя монахиня показала ей какие-то письма. Та прочла их с видимым удовольствием, попросила разрешения переписать их и, к великой моей радости, ушла с ними.

Не успела она скрыться, как я покинул свое убежище. Боясь напугать мою прелестную возлюбленную, я подошел к ней тихо и молча, так как думал открыться ей не сразу. Но кто хоть на миг способен обмануть глаза любви? Она подняла головку и сразу же узнала меня вопреки моей одежде и повязке. С удивленным восклицанием она поднялась со скамьи и сделала движение уйти, но я поспешил за ней и удержал, умоляя, чтобы она меня выслушала. Агнеса, убежденная в моем коварстве, отказалась говорить со мной и потребовала, чтобы я немедленно покинул сад. Настал мой черед ответить отказом. Я поклялся, что не оставлю ее, какими бы опасными ни были последствия, пока она меня не выслушает. Я заверил ее, что она стала жертвой обмана своих родственников, что я могу неопровержимо доказать ей, какой чистой и бескорыстной была моя страсть, а затем спросил, зачем бы я пришел искать ее в монастыре, руководствуясь я теми эгоистическими побуждениями, которые приписали мне враги.

Мои мольбы, доводы и клятвы остаются тут, пока она не обещает выслушать меня, вкупе с опасением, что нас увидят монахини, и еще не вполне изгладившейся из ее сердца нежностью ко мне моей предполагаемой измене вопреки, наконец все-таки возобладали. Агнеса сказала, что исполнить мою просьбу теперь же она не может, но обещает прийти сюда вечером в одиннадцать часов и поговорить со мной в последний раз. Добившись этого обещания, я отпустил ее руку, и она быстро удалилась из сада.

О своем успехе я сообщил моему союзнику старику садовнику, и он указал мне укромное место, где я мог дожидаться ночи никем не замеченный. Туда я и проскользнул, когда мне, как и старику, пришел час удалиться до утра, и с нетерпением ждал одиннадцати. Ночная прохлада благоприятствовала мне, так как она удерживала остальных монахинь в кельях. Только Агнеса пренебрегла ею и еще до одиннадцати нашла меня на месте, где мы встретились днем. Не опасаясь, что нас прервут, я объяснил ей истинную причину моего исчезновения пятого мая. Мой рассказ, видимо, глубоко ее поразил. Когда я кончил, она призналась, что была несправедлива в своих подозрениях, и горько упрекала себя за то, что постриглась в отчаянии из-за моего предательства.

– Но теперь поздно сетовать, – сказала она. – Жребий брошен. Я дала обет и посвятила себя служению Небесам. Я понимаю, как мало подхожу для монашества. Мое отвращение к монастырской жизни растет день ото дня. Тоска и скука – вот мои постоянные спутницы, и не скрою от тебя, что любовь, которую я прежде питала к тому, кого собиралась назвать мужем, еще не угасла в моей груди. Но мы должны расстаться! Непреодолимая стена стоит между нами, и по эту сторону могилы нам более нельзя встречаться!

Я принялся убеждать ее, что наш союз еще возможен. Я превозносил влияние, каким кардинал, герцог Лерма, пользуется в Риме, и заверил ее, что без труда добьюсь освобождения ее от обета, а дон Гастон, добавил я, конечно, не будет нам препятствовать, узнав мое истинное имя и силу моей любви. Агнеса ответила, что я плохо знаю ее отца, если питаю подобные надежды. Во всех других отношениях он добр и благороден, но суеверие приобрело над ним слишком большую власть. И тут он непоколебим. Он не раз приносил в жертву своим понятиям самое дорогое и усмотрит оскорбление в том, что его сочли способным допустить дочери нарушить клятву, данную Небесам.

– Хорошо, предположим, – начал я, – предположим, он не одобрит наш брак. Так пусть он ничего не знает, пока я не вызволю тебя из этой тюрьмы! Став моей женой, ты выйдешь

из-под его власти. В его деньгах я не нуждаюсь, а когда он увидит, что его досада бесплодна, то, без сомнения, вернет тебе свою любовь. Но даже пусть случится худшее! Если дон Гастон окажется неумолим, все мои родственники будут соперничать, чтобы возместить тебе такую потерю, и в моем отце ты обрешь замену родителю, которого я тебя лишу.

– Дон Раймонд, – ответила Агнеса твердым, решительным голосом, – я люблю моего отца. В одном он обошелся со мной сурово, но я получала от него столько других доказательств его любви ко мне, что она стала мне необходима. Если я покину монастырь, он никогда меня не простит, а при одной мысли, что на смертном одре он меня проклянет, я леденею от страха. К тому же я чувствую, что мой обет нерушим. Я добровольно дала согласие посвятить себя Небесам, и будет преступлением взять его назад. Так изгони мысль о том, что мы когда-нибудь соединимся. Я отдана церкви и, как ни удручает меня наша разлука, сама буду препятствовать тому, что сделает меня виновной в моих собственных глазах.

Я все еще пытался рассеять эти неверные угрызения, когда монастырский колокол позвал монахинь к заутрене. Агнеса должна была подчиниться его звону, но прежде я вырвал у нее обещание встретиться со мной на этом же месте в следующую ночь. Встречи эти продолжались без помех несколько недель, и вот теперь, Лоренцо, я должен просить тебя о снисхождении. Подумай о нашем положении, нашей молодости, нашей верной любви, взвесь все обстоятельства наших встреч, и ты не только признаешь искушение непомерным, но и простишь меня, когда я признаюсь, что в минуту беспамятства честь Агнесы была принесена в жертву моей страсти.

(Глаза Лоренцо сверкнули гневом, алая краска разлилась по его лицу. Он вскочил и схватился за шпагу. Но маркиз успел удержать его руку и дружески ее сжал.

– Мой друг! Мой брат! Дослушай меня до конца! А до тех пор сдержи свое негодование и убедись, что вся вина, если то, о чем я сказал, – преступление, падает только на меня, а не на твою сестру.

Лоренцо уступил настояниям дона Раймонда. Он снова сел, приготовясь слушать с угрюмым нетерпением. И маркиз продолжал:)

– Не успели пройти первые порывы страсти, как Агнеса вырвалась из моих объятий с ужасом. Она назвала меня бесчестным соблазнителем, осыпала горчайшими пенями и в безумном отчаянии била себя в грудь. Вне себя от стыда за свою несдержанность я не находил слов оправдания. Я попытался утешить ее. Я бросился к ее ногам и умолял о прощении. Она вырвала руку, которую я схватил, чтобы прижать к губам.

– Не прикасайся ко мне! – вскричала она в гневе, ужаснувшем меня. – Коварный лжец! Чудовище неблагодарности! Как я в тебе обманулась! Я видела тебя своим другом, своим защитником и доверчиво предалась тебе, веря твоей чести, думая, что моей ничто не грозит. И ты, кого я обожала, покрыл меня стыдом и позором. Ты соблазнил меня нарушить клятвы, данные Богу! Тобой я низведена до положения самых непотребных женщин! Стыдись, злодей! А меня ты больше не увидишь!

Она поднялась со скамьи, на которой сидела. Я попытался остановить ее, но она вырвалась и скрылась в монастыре.

Я удалился, полный смущения и неуверенности. Наутро я, как всегда, пришел в сад, но Агнесы не увидел. Ночью я ждал ее на обычном месте наших свиданий, но тоже напрасно. Несколько дней и ночей миновали таким же образом. Наконец я увидел, как моя оскорбленная возлюбленная свернула в аллею, где я работал. Она шла с той же юной пансионеркой, опираясь на ее руку, словно от слабости. Едва взглянув на меня, она тотчас отвернулась. Я ожидал, думая, что она вернется, но она направилась к монастырю, более не посмотрев на меня, презрев полный раскаяния взгляд, которым я умолял ее о прощении.

Едва монахини удалились, ко мне печально подошел старый садовник.

– Сеньор, – начал он, – к моему прискорбию, более я вам полезен быть не могу. Сестра, с которой вы встречались, сейчас сказала мне, что откроет все матери настоятельнице, коли я снова впущу вас в сад. Еще она поручила передать вам, что ваше присутствие здесь –

оскорбление и если вы сохранили хоть каплю уважения к ней, то более никогда не попытаетесь увидеть ее. Простите, что я дольше не могу способствовать вашему маскараду. Коли настоятельница узнает про мой проступок, так может не просто прогнать меня, а по злобе обвинит в осквернении обители, чтобы меня бросили в темницу инквизиции!

Тщетно я пытался отговорить его от такого решения. Он запретил мне доступ в сад, и Агнеса упорствовала в отказе увидаться со мной или ответить на мои письма. Через две недели мой отец тяжело заболел и я должен был поспешить в Андалузию. Хотя недуг его врачи сразу признали смертельным, он болел долго, и я не мог покинуть его, а после его кончины устройство дел еще задержало меня в Андалузии. Затем я возвратился в Мадрид и нашел у себя дома вот это письмо.

(Тут маркиз отпер ящик кабинета, вынул сложенный лист и протянул его Лоренцо. Тот развернул письмо и узнал почерк сестры. Оно гласило:

«В какую бездну горести ты вверг меня, Раймонд! Ты принуждаешь меня стать такой же преступной, как ты сам. Я решила более не видеться с тобой, а если смогу, то и забыть тебя или же вспоминать о тебе лишь с ненавистью. Но существо, к которому я уже питаю материнскую нежность, молит меня простить моего соблазнителя и воззвать к его любви как к единственному средству спасения. Раймонд, я ношу под сердцем твое дитя. Я трепещу мщения настоятельницы. Я страшусь за себя, но куда сильнее за невинное создание, чья жизнь неотторжима от моей. Если мое положение будет открыто, нам обоим суждено гибель. Сообщи мне свой план. Садовник, обещавший доставить это письмо, изгнан из монастыря, и мы уже не можем полагаться на его помощь. Новый садовник неподкупен. Передать ответ всего надежнее можно, положив его под статую святого Франциска в церкви Капуцинов. Туда я каждый четверг хожу исповедоваться и легко сумею взять твое письмо. Я слышала, тебя нет в Мадриде! Должна ли я молить о том, чтобы ты ответил сразу, как вернешься? Не думаю. Ах, Раймонд! Сколь жестока моя судьба! Обманутая ближайшими родственниками, вынужденная обречь себя на служение долгу, для которого не рождена, сознающая святость этого долга и соблазненная нарушить его тем, от кого, казалось, могла не ждать коварства, я теперь поставлена обстоятельствами перед выбором между смертью и клятвопреступлением. Женская робость и материнская любовь не оставляют места для колебаний. Но, давая согласие на твой план, я чувствую всю безмерность своей вины. Кончина моего бедного отца, отошедшего в мир иной после нашего рокового свидания, устранила одно препятствие. Он спит в могиле, и я более не страшусь его гнева. Но от гнева Бога – о Раймонд! – кто оградит меня? Кто может защитить меня от моей совести? От меня самой? Я гоню такие мысли. Они сводят меня с ума. Мое решение принято. Добейся освобождения меня от обета. Я готова бежать с тобой. Напиши мне, муж мой! Скажи, что разлука не угасила твоей любви, скажи, что ты спасешь от смерти свое нерожденное дитя и его злополучную мать. Я живу в вечных муках ужаса. Всякий брошенный на меня взгляд, мнится мне, разоблачает мою тайну, мой стыд. И ты причина этой муки! О, когда мое сердце тебя полюбило, как мало подозревало оно, что ты причинишь ему такую боль!

Агнеса».

Прочитав это письмо, Лоренцо молча отдал его маркизу, и тот, убрав письмо в кабинет, продолжил свой рассказ:)

– Мой восторг, когда я прочел то, о чем так мечтал, на что перестал надеяться, был чрезвычайен. План придумать затруднений не составило. Когда дон Гастон открыл мне, где находится его дочь, я не сомневался в ее согласии бежать со мной, а потому тотчас рассказал обо всем кардиналу, герцогу Лерме, и он уже начал хлопотать о папской булле. К счастью, потом я не попросил его оставить это дело и лишь несколько дней назад получил от него известие, что буллу он ждет со дня на день. Я с радостью счел бы это достаточным, но

кардинал, кроме того, написал, что мне тем не менее следует найти способ увезти Агнесу из монастыря без ведома настоятельницы. Он не сомневался, что последняя будет очень рассержена тем, что лишится особы столь высокого положения, и сочтет отказ Агнесы от обета оскорблением для своего монастыря. Он представил ее женщиной властной и мстительной, способной на всякие крайности. Следовало опасаться, что она заточит Агнесу в подземельях монастыря и положит конец моим надеждам вопреки папской булле. Обдумав все это, я решил немедленно похитить мою возлюбленную и до прибытия буллы укрыть ее в поместье кардинала-герцога. Он одобрил мое намерение и обещал дать приют беглянке. Затем по моему распоряжению новый садовник монастыря святой Клары был похищен и заперт у меня во дворце. Таким способом я раздобыл ключ от садовой калитки, и мне оставалось лишь оповестить Агнесу. Что я и сделал в письме, которое, как ты видел, отнес нынче вечером в церковь. В нем я сообщил ей, что завтра в полночь приду за ней, что у меня есть ключ от садовой калитки и она может надеяться на скорое освобождение.

Теперь, Лоренцо, ты дослушал до конца мою длинную повесть и знаешь все. В свое оправдание я могу сказать только, что мои намерения в отношении твоей сестры всегда были самыми чистыми, что я хотел и хочу сделать ее своей женой. И уповаю, что ты, взвесив обстоятельства, нашу юность, нашу любовь, не только простишь нам минутное уклонение с пути добродетели, но и поможешь мне искупить мою вину перед Агнесой и обрести освященное церковью право на нее и на ее любовь.

ГЛАВА II

*Кого в ладье тщеславья славы вал
Влечет, гонимый ветрами похвал,
Играет тем, шутя, коварный бриз:
Возносит к небу и швыряет вниз!
Кто славы ищет, проиграет тот:
Вздых оживит его и вздох убьет.*

ПОП

Как маркиз заключил свое повествование. Лоренцо, прежде чем ответить, несколько минут раздумывал. Наконец он прервал молчание.

– Раймонд, – сказал он, беря руку маркиза, – суровый закон чести требует, чтобы я твоей кровью смыл пятно, легшее на нашу семью, но обстоятельства, жертвой которых вы стали, препятствуют мне считать тебя врагом. Искушение было слишком велико, а причина всех этих горестей – суеверие моих родителей, и они виновны более, чем ты или Агнеса. То, что было между вами, нельзя изменить, но можно загладить, связав вас узами брака. Ты был всегда и остаешься самым моим дорогим... нет, моим единственным другом! К Агнесе я питаю нежную любовь и никому с такой охотой не вручил бы ее у алтаря, как тебе. Завтра ночью я пойду с тобой и сам провожу ее в дом кардинала. Мое присутствие послужит оправданием ее поведению и снимет с нее вину за бегство из монастыря.

Маркиз поблагодарил его с самой горячей признательностью, после чего Лоренцо сообщил ему, что он может более не опасаться козней доньи Родольфы. Миновало уже пять месяцев с тех пор, как баронесса пришла в такой неистовый гнев, что у нее лопнула жила и через несколько часов она испустила дух. Затем он заговорил об Антонии. Маркиз весьма удивился, услышав про свою новую родственницу: его отец унес ненависть к Эльвире в могилу и никому ни словом не обмолвился, что ему известна судьба вдовы его старшего сына. Дон Раймонд заверил своего друга, что он, разумеется, признает свою невестку и ее прекрасную дочь. Приготовления к бегству не позволят ему побывать у них на следующий день, но он поручил Лоренцо заверить их в его дружбе и выдать Эльвире от его имени любую сумму, в какой она может нуждаться. Лоренцо обещал это сделать, как только узнает, где она поселилась. Затем он простился со своим будущим зятем и вернулся во дворец де

Медина.

Когда маркиз вошел к себе в спальню, уже занималась заря. Понимая, что рассказ его займет не один час, и не желая, чтобы его прерывали, он, едва усадив Лоренцо, отослал слуг спать. А потому он несколько удивился, увидев в гардеробной Теодора. Паж сидел за столом с пером в руке и был так поглощен своим занятием, что не заметил появления своего господина. Маркиз остановился, наблюдая за ним. Теодор написал несколько строк, остановился, зачеркнул часть написанного и опять принялся писать, но с улыбкой, видимо, очень собой довольный. Наконец он бросил перо, вскочил со стула и радостно захлопал в ладоши.

– Вот-вот! – произнес он вслух. – Теперь превосходно!

Его восторги прервал смех маркиза, догадавшегося, чем он занимался.

– Что превосходно, Теодор?

Паж вздрогнул и оглянулся. Он покраснел, бросился к столу, схватил исписанный лист и в смущении спрятал его.

– Ах, ваша светлость! А я и не знал, что вы тут. Могу ли я вам чем-нибудь услужить? Люка уже лег спать.

– Я последую его примеру, после того как скажу тебе свое мнение о твоих стихах.

– Моих стихах, ваша светлость?

– Да-да! Я уверен, что ты тут сочинял стихи! Ведь только это могло помешать тебе лечь. Где они, Теодор? Мне хочется прочесть твои вирши.

Щеки Теодора стали совсем багровыми. Ему не терпелось показать свое творение, но прежде он хотел, чтобы на этом настояли.

– Право, ваша светлость, они недостойны вашего внимания.

– Как? Стихи, которые ты только что объявил превосходными? Нет-нет, дай посмотреть, совпадут ли наши мнения. Обещаю, ты найдешь во мне снисходительного критика.

Мальчик достал лист с нарочитой неохотой, но радость, заблестевшая в его темных выразительных глазах, выдала его юное тщеславие. Маркиз улыбнулся, наблюдая движения души, еще не научившейся успешно прятать свои чувства. Он расположился на диване, и Теодор, на лице которого надежда боролась с опасениями, приготовился в тревоге ждать, когда маркиз окончит чтение следующих строк:

ЛЮБОВЬ И СТАРОСТЬ

Выл ветер, ночь была черна.
Угрюм, у очага без сна
Сидел, согбен, старик Анакреон.
Вдруг хижины открылась дверь.
Кого же видит он теперь?
Приветствует его с улыбкой Купидон.

«Как? Это ты? – вскричал старик,
И краска гнева в тот же миг
Сменила желчь морщинистых ланит. –
Иль вздумал ты огонь любви
Зажечь в хладающей крови?
От жала стрел твоих мне старость верный щит.

Зачем пришел ты в сей приют?
Здесь смех и ласки не живут.

Долины эти негой не манят.
Здесь слышен только ветра вой.
Здесь правит Старость, деспот злой.
Мой пуст цветник, а в сердце вечный холод.

Прочь! С луком улетай скорей
В беседку между роз, лилей.
Ждет не дождется друга дева там.
Пронзи Дамону сердце ты
И Хлое сладкие мечты
Навей, крыло свое прижав к ее устам.

Там ты резвись, там ты играй!
Оставь холодный этот край!
Не властен ты над сединой моей.
О, скольких слез в расцвете лет
И вздохов стоил мне твой гнет!
Обманщик, не страшусь теперь твоих сетей.

Прочь с глаз моих! Мой мирный кров
Не место для коварных ков!
Изведал хитрость я твою и ложь.
Твои улыбки я презрел,
Но острых опасуюсь стрел.
Лети же прочь! Здесь жертвы вновь ты не найдешь».

«Ты глуп стал в старости, – изрек,
Нахмурясь, оскорбленный бог. –
Коль мне слова такие говоришь!
Я ж все равно тебя люблю,
Хоть дружбу ты отверг мою
И радости прошедших дней теперь бранишь.

Одна пренебрегла тобой!
Но прочих нимф влюбленных рой
Ужель про Юлию забыть не дал?
О Человек! Ты вечно так!
Сто милостей тебе пустяк,
За промай же один шивтгоднять скандал.

Кто был с тобой у речки той,
Где Лесбия купалась в зной?
Кто известил, что Дафну сон сморил?
На помощь Тирса стала звать,
Кто научил ее обнять?
Любовь, Анакреон изменник! Иль забыл?

Ты «милый мальчик» звал меня,
«Мое блаженство», «светоч дня».
Не можешь без меня, ты клялся, жить.
Меня ты нянчил, целовал.
Когда же чашу наливал,
Подслащивал вино, мне дав глоток испить.

Ужель возврата нет тем дням?
И суждена разлука нам?
К тебе не буду в сердце возвращен?
Но нет! Напрасен этот страх!
Твой взор, улыбка на устах
Мне говорят, что мил тебе я и прощен.

Любим, обласкан, вновь могу
С тобой резвиться на лугу,
Уставши, на груди твоей усну.
Согреет сердце факел мой,
Сражусь я за тебя с Зимой,
Вновь приведу сюда я Младость и Весну!»

Тут мальчик, развернув крыло,
Златое выдернул перо
И протянул поэту этот дар.
Анакреон перо берет,
И грез прекрасных хоровод
Предстал его глазам, и сердце полнит жар.

А в хижине светло как днем.
Пылает грудь любви огнем.
Магическую лиру он берет.
По струнам, столько лет немым,
Проводит перышком златым,
Могуществу Любви поэт хвалу поет.

Услышав имя это, лес
Стряхнул снега. Гремит окрест,
Ломаясь, лед. Зима бежала прочь.
Зазеленел земли покров,
Зефиры веют средь цветов,
И солнце льет лучи, прогнав надолго ночь.

Сильваны, фавны туг как тут,
И нимфы к хижине бегут,

Покорствуя призыву дивных струн.
И сладкозвучного певца
Готовы слушать без конца.
Сгорают от любви и мнят – он снова юн.

А непоседа Купидон
Порхает, точно сам влюблен.
То тронет пальцем звонкую струну,
То поцелуем песнь прервет,
К груди певца на миг прильнет
Иль розами его украсит седину.

Тут рек поэт: «У алтаря
Любви служу отныне я.
О помощи просить не стану вновь
Ни Феба, ни богов иных.
Тебе, о Купидон, мой стих.
Владеет лирою моей одна Любовь».

И не вернусь я к давним дням,
Когда героям и царям
Хвалы я пел и звал их на войну.
Теперь я о царях молчу,
Героев славить не хочу,
Отныне лира будет петь любовь одну».

Маркиз вернул лист, ободряюще улыбнувшись.

– Твое стихотворение мне весьма понравилось, – сказал он. – Однако значение моему мнению тебе придавать не следует. В стихах я плохой судья, ибо за всю жизнь сотворил лишь шесть строчек, и они произвели столь злосчастное впечатление, что я твердо решил ими и ограничиться. Однако я отвлекся. Намеревался же я сказать, что найти занятие хуже стихоплетства ты не мог бы. Автор, хорош он, или плох, или как раз посередине, – это зверь, на которого охотятся все, кому не лень. Пусть не все способны писать книги, но все почитают себя способными судить о них. Плохое сочинение несет кару в себе самом, вызывая пренебрежение и насмешки. А хорошее возбуждает зависть и обрекает своего создателя на тысячу унижений. Он становится жертвой пристрастной и зложелательной критики. Этот бранит композицию, тот стиль, третий – мысли, в нем заключенные; те же, кому не удастся обнаружить недостатки в книге, принимаются поносить автора. Они ревностно доискиваются до самых ничтожных обстоятельств, которые могут сделать предметом насмешек его характер или поведение, и стремятся ранить человека, раз уж не могут повредить писателю. Короче говоря выступить на поприще литературы – значит добровольно подставить себя стрелам пренебрежения, насмешек, зависти и разочарования. Пишешь ли ты хорошо или дурно, не сомневайся, что клевет тебе не избежать. Собственно говоря, в этом обстоятельстве начинающий автор обретает главное свое утешение. Он вспоминает, как часто Лопе де Вега и Кальдерон подвергались гонениям злобных и завистливых критиков, а потому скромно верит, будто и ему выпала та же судьба. Однако я понимаю, что все мои мудрые поучения ты пропускаешь мимо ушей. Сочинительство – это мания, победить которую никакими доводами невозможно. И мне так же не по силам убедить тебя не писать, как тебе меня – не любить. Однако, если уж ты должен время от

времени поддаваться пиитической лихорадке, будь, во всяком случае, осмотрителен и показывай свои стихи лишь тем, чье расположение к тебе снищет им одобрение.

– Так вы, ваша светлость, не находите эти строки хотя бы сносными? – спросил Теодор со смиренным и огорченным видом.

– Ты меня не понял. Как я уже сказал, мне они весьма понравились, но мое расположение к тебе делает меня пристрастным, а другие, возможно, будут судить их гораздо строже. Должен заметить, однако, что даже моя слабость к тебе не ослепляет меня настолько, чтобы я не заметил кое-какие недостатки. Например, ты ужасно путаешься в метафорах и более склонен полагаться на слова, чем на смысл. Некоторые строки явно написаны только для рифмы, а почти все лучшие мысли заимствованы у других поэтов, хотя сам ты мог и не заметить кражи. Все эти недостатки иногда неизбежны в длинной поэме, но короткое стихотворение должно быть правильным и безупречным.

– Все это верно, сеньор, но заметьте, я пишу лишь ради собственного удовольствия.

– Тем менее простительны недостатки в твоих стихах. Небрежности можно спустить тем, кто работает за деньги, кто обязан завершить такой-то заказ к такому-то сроку и кому платят за количество, а не за качество ими написанного. Но тем, кого авторами сделала не нужда, кто пишет лишь для славы и имеет досуг отделять свои творения, извинить недостатки невозможно, и они заслуживают острейших критических стрел.

Маркиз поднялся с дивана. Лицо пажа приняло выражение унылой грусти, и его господин это заметил.

– Однако, – добавил он с улыбкой, – мне кажется, этих строк тебе стыдиться нечего. Стих у тебя легкий и слух как будто верный. Читая твоё стихотворение, я получил немалое удовольствие и, если это не составит большого затруднения, буду тебе весьма обязан за список.

Лицо Теодора сразу прояснилось. Он не заметил полуласковой, полуиронической улыбки, которая сопровождала эту просьбу, и с восторгом обещал переписать стихи для маркиза. Тот удалился к себе в спальню, посмеиваясь над тем, с какой быстротой утешили тщеславие Теодора его последние слова. Он бросился на свое ложе, и вскоре им овладел сон, рисуя ему самые чудесные картины его счастья с Агнесой.

Вернувшись во дворец де Медина, Лоренцо тотчас спросил, нет ли для него писем. Ему принесли четыре, но того, которого он ждал, между ними не оказалось. Леонелла не сумела написать ему в тот же вечер. Однако в своем нетерпении покорить сердце дон Кристобая, которое, льстила она себя мыслью, уже почти ей принадлежало, тетка Антонии не могла допустить, чтобы он хотя бы еще день пребывал в неведении, где ее искать. Вернувшись из церкви, она с ликованием поведала сестре, как внимателен к ней был красавец кавалер и как его спутник взялся ходатайствовать за Антонию перед маркизом де лас Систернасом. Эльвира выслушала этот рассказ с совсем иным чувством, попеняла сестре за неосмотрительность, с какой она доверила ее историю совершенно незнакомому человеку, и выразила опасение, как бы этот необдуманный шаг не настроил маркиза против нее. Однако главное свое опасение она скрыла от сестры. С тревогой она заметила, как при упоминании Лоренцо по лицу ее дочери разлился жаркий румянец. Робкая Антония не осмеливалась произнести его имя, но, сама не зная почему, смутилась, когда разговор зашел о нем, и попыталась перевести его на Амбросио. Эльвира заметила чувства, волнующие ее юную грудь, и потребовала, чтобы Леонелла нарушила обещание, которое дала кавалерам. Вздых, вырвавшийся при этих словах у Антонии, утвердил осторожную мать в этом решении.

Однако Леонелла и не думала подчиниться ему. Она не сомневалась, что его породила зависть, что ее сестра боится, как бы ей не достался знатный супруг. Никому ничего не сказав, она при первом удобном случае отправила Лоренцо следующее послание, которое ему подали, едва он открыл глаза:

«Без сомнения, сеньор дон Лоренцо, вы уже не раз обвиняли меня в неблагодарности и забывчивости, но, слово девственницы, не в моих силах было

исполнить мое вчерашнее обещание. Не знаю даже, как описать вам, сколь странно моя сестра отнеслась к вашему желанию посетить ее. Она необычная женщина и обладает многими превосходными качествами, но ревность ко мне часто внушает ей совершенно необъяснимые мысли. Услышав, что ваш друг оказал мне некоторые знаки внимания, она тотчас встревожилась, осудила мое поведение и наотрез запретила мне сообщить вам, где мы живем. Моя глубокая признательность вам за любезно предложенные услуги и... признаться ли?... мое желание еще раз увидеть галантного дона Кристобая не позволяют мне последовать ее запрету. И вот я улучила минуту сообщить вам, что мы проживаем на улице Сан-Яго в пяти дверях от дворца д'Альборнос и почти напротив цирюльника Мигеля Колло. Спросите донью Эльвиру Дальфа, ибо, подчинившись приказу свекра, моя сестра сохранила девичью фамилию. В восемь вечера нынче вы можете застать нас дома, но ни словом не выдайте, что я написала вам. Если увидите графа д'Оссорио, скажите ему... Я краснею, признаваясь... Скажите ему, что и его приглашает расположенная к нему

Леонелла.

Заключительная фраза была написана красными чернилами, означавшими стыдливую краску на ее щеках, вызванную таким насилием над ее целомудрием.

Едва дочитав это послание, Лоренцо отправился на поиски дона Кристобая. Так и не отыскав его, он явился к донье Эльвире один, к величайшему разочарованию Леонеллы. Служанка, которую он просил доложить о себе, уже сообщила, что ее госпожа дома, и та вынуждена была его принять, хотя и с великой неохотой, которая еще увеличилась из-за изменившегося выражения на лице Антонии, и не стала меньше, когда юноша вошел. Изящество его телосложения, одушевленное лицо и непринужденная учтивость убедили Эльвиру, что такой гость может быть опасен для ее дочери. Она решила встретить его с холодной вежливостью, отказаться от его услуг с благодарностью и мягко дать почувствовать, что ему больше не следует их навещать.

Войдя, Лоренцо увидел Эльвиру на диване – ей нездоровилось, Антония сидела подле нее с пальцами, а Леонелла, одетая пастушкой, держала в руке «Диану» Монтемайора. Хотя Эльвира была матерью Антонии, Лоренцо невольно ожидал найти в ней истинную сестру Леонеллы и дочь «честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало». Одного взгляда было достаточно, чтобы открыть ему глаза. Он увидел перед собой женщину, чьи черты, несмотря на время и страдания, все еще хранили следы замечательной красоты. Они дышали серьезностью и достоинством, смягчавшимися ласковой благожелательностью. Лоренцо подумал, что в юности она, вероятно, была похожа на свою дочь, и охотно извинил безрассудство покойного графа де лас Систернаса. Она пригласила его сесть и сама тотчас опустилась на диван.

Антония встретила его скромным реверансом и вновь взялась за рукоделие. Ланиты ее алели, и она низко склонилась над пальцами, желая скрыть волнение. Ее тетка сочла нужным напустить на себя девичью стыдливость. Она делала вид, будто краснеет, трепещет, и, потупившись, ждала учтивых комплиментов дона Кристобая. Через несколько минут, убедившись, что он к ней не подходит, она подняла глаза и только теперь с досадой обнаружила, что Медина пришел один. Нетерпеливость не позволила ей ждать объяснения, и, перебив Лоренцо, который передавал поручение Раймонда, она пожелала узнать, что случилось с его другом.

Лоренцо, полагая, что ему необходимо остаться у нее в милости, попытался успокоить ее, несколько поступившись правдой.

– Ах, сеньора, – ответил он грустным голосом, – как удручен он будет, что лишился этой возможности засвидетельствовать вам свое почтение! Болезнь близкого родственника понудила его внезапно уехать из Мадрида. Но по возвращении он, несомненно, с восторгом воспользуется первым случаем броситься к вашим ногам!

Тут его глаза встретились с глазами Эльвиры, и негодующий упрек в них был ему

достаточной карой за ложь. Обман, кроме того, не достиг цели: Леонелла, надувшись, встала и сердито удалилась в свою комнату.

Лоренцо поспешил загладить промах, уронивший его во мнении Эльвиры. Он пересказал свой разговор с маркизом в том, что касалось ее, сообщил о намерении Раймонда признать вдову своего брата и передал его просьбу считать Лоренцо его заместителем до тех пор, пока он не свидится с ней. Это известие сняло с Эльвиры тяжелое бремя тревоги. Теперь она обрела покровителя для лишившейся отца Антонии, чье будущее внушало ей сильнейшие опасения. Избавившись от своих страхов, она не поскупилась на благодарности тому, кто так предупредительно помог ей. Но тем не менее не пригласила его бывать у них. Однако, когда Лоренцо, прощаясь, встал и попросил ее позволения иногда справляться о ее здоровье, учтивость и искренность его слов, признательность за услугу и уважение к нему, как к другу маркиза, не позволили ответить ему отказом. И она с неохотой согласилась принимать его у себя. Пообещав не злоупотреблять ее добротой, он ушел.

Антония осталась наедине с матерью. Наступило молчание. Обоим хотелось говорить об одном и том же, и обе не знали, как приступить к этому разговору. Одной уста запечатывала непонятная ей робость, вторая боялась убедиться, что ее дурные предчувствия верны, или же внушить дочери мечты, которые, возможно, в ней еще не пробудились. Наконец Эльвира все-таки заговорила:

– Прекрасный молодой человек, Антония. Мне он очень понравился. Он в церкви долго оставался рядом с тобой?

– Все время, пока я была в церкви, он не отходил от меня. Уступил мне свой табурет, был очень любезен и внимателен.

– Неужели? Так почему же ты мне про него не упомянула? Твоя тетюшка изливалась в похвалах его другу, ты превозносила красноречие Амбросио. Но ни она, ни ты ни слова не сказали ни про наружность донна Лоренцо, ни про его достоинства. Если бы Леонелла не сообщила, что он намерен помочь нам, я даже не знала бы о его существовании.

Она умолкла. Антония покраснела, но ничего не ответила.

– Быть может, ты судишь его более сурово, чем я? По моему мнению, внешность его приятна, разговор указывает на ум, а манеры безупречны. Однако тебе он мог показаться иным. Ты могла счесть его отталкивающим и...

– Отталкивающим? Ах, милая матушка, разве я могла бы так подумать? Я была бы очень неблагодарной, если бы осталась равнодушна к его давешней учтивости, и совсем слепой, если бы не заметила его достоинств. Его облик так изящен, так благороден! Манеры такие мягкие и все же такие мужественные! Я еще ни разу не видела, чтобы в одном человеке соединялось столько высоких качеств, и, думается, в Мадриде не найти ему равного.

– Так почему же ты только теперь хвалишь этого мадридского феникса? Почему скрыла от меня, что его общество тебе приятно?

– Право, не знаю. Вы задаете мне вопрос, который меня озадачивает. Я тысячу раз готова была заговорить о нем. Его имя рвалось с моих уст, но произнести его вслух у меня не доставало смелости. Однако, если я про него и молчала, это не значит, что я о нем мало думала.

– Этому я верю. Но сказать, почему тебе не доставало смелости? Да потому что, привыкнув доверять мне самые тайные свои мысли, ты не знала, как скрыть, а в то же время боялась признать, что в сердце твоём поселилось чувство, которое, как ты заранее знала, я не одобрю. Подойди ко мне, дитя мое!

Антония оставила пальцы, бросилась на колени у дивана и спрятала лицо в материнских коленях.

– Не бойся, милая моя девочка. Считаю меня столько же подругой, сколько матерью и не страшись услышать от меня упрёки. Я прочла тайну твоего сердца. Ведь ты еще не научилась скрывать свои чувства, и они не могли избежать моего внимательного взгляда. Этот Лоренцо опасен для твоего душевного покоя. Он уже затронул твое сердечко. Правда, я

заметила без труда, что тебе отвечают взаимностью. Но каковы могут быть следствия такой привязанности? Ты бедна и не имеешь друзей, моя Антония. Лоренцо – наследник герцога Медины-Цели. Пусть у него самые благородные намерения, дядя никогда не даст согласия на ваш союз, а без согласия герцога не дам своего согласия и я. По горькому опыту я знаю, какие страдания подстерегают ту, что приходит женой в семью, не желающую ее принять. Так борись со своим чувством. Каких терзаний это тебе ни стоило бы. Сердечко у тебя нежное и привязчивое. Оно уже пробудилось. Однако, надеюсь, когда ты убедишься, что не должна поддаваться таким чувствам, у тебя достанет твердости изгнать их из сердца.

Антония поцеловала материнскую руку и обещала полное повиновение, и Эльвира продолжала:

– Чтобы помешать твоей страсти расти, необходимо будет помешать Лоренцо бывать у нас. Услуга, им оказанная, не позволяет мне просто отказать ему от дома. Но если только я не составила о его характере слишком уж лестного мнения, он сам перестанет бывать у нас, когда я объясню ему причины и положусь на его благородство. В следующий же раз, когда мы увидимся, я честно открою ему, в какое трудное положение ставит нас его присутствие. Что скажешь ты, дитя мое? Ведь это необходимо сделать, не так ли?

Антония без колебаний согласилась со всем – хотя и не без сожалений. Мать нежно ее поцеловала и удалилась к себе в спальню. Антония последовала ее примеру и так часто клялась не думать больше о Лоренцо, что только о нем и думала, пока сон не смежил ей вежды.

Пока мать с дочерью вели этот разговор, Лоренцо поспешил к маркизу. Все было готово для второго похищения Агнесы, и в двенадцать друзья уже были с каретой, запряженной четверней, у садовой ограды обители святой Клары. Дон Раймонд достал ключ и отпер калитку. Они вошли и остановились, ожидая, что к ним вот-вот присоединится Агнеса. Наконец маркиз потерял терпение. Начиная опасаться, что вторая попытка окажется не более удачной, чем первая, он предложил дойти до монастырских зданий. Друзья так и сделали, но везде было темно и тихо. Настоятельница решила сохранить случившееся в строжайшей тайне, боясь, что грех одной монахини навлечет позор на всех остальных или же могущественная родня помешает ей расправиться с намеченной жертвой. Поэтому она приняла все меры, чтобы любовник Агнесы не заподозрил, что его план разоблачен и его возлюбленной предстоит понести кару за свое отступничество. Та же причина заставила ее отказаться от мысли схватить неведомого соблазнителя в монастырском саду. Это вызвало бы большой переполох, и весь Мадрид заговорил бы о том, что случилось в ее обители. Она удовлетворилась тем, что надежно заперла Агнесу и не стала мешать ее любовнику. Все произошло, как она предвидела. Марикиз и Лоренцо прождали до рассвета, а затем бесшумно удалились, очень встревоженные неудачей и не понимая ее причины.

Утром Лоренцо явился в обитель и попросил свидания с сестрой. Настоятельница вышла к решетке со скорбным лицом и объявила ему, что Агнеса несколько дней находилась в сильном расстройстве, что сестры тщетно уговаривали ее объяснить причину и обратиться к ним за любящим советом и утешением, однако она упорно молчала. Но в четверг вечером расстройство это перешло в тяжкий недуг, и она не может встать с постели. Лоренцо не поверил ни единому слову. Он настаивал на свидании с сестрой. Если она не может выйти к решетке, пусть его проводят к ней в келью. Тут настоятельница перекрестилась. Как! Взгляд мужчины осквернит ее святую обитель? И она выразила изумление, что Лоренцо мог подумать о подобном. Его просьба невыполнима, сказала она. Но если он вернется на следующий день, ее любимая дочь, наверное, уже настолько оправится, что сможет увидеться с ним в приемной у решетки. Получив это заверение, Лоренцо вынужден был удалиться, но оно его не удовлетворило, и он трепетал за судьбу сестры.

На следующий день он явился в ранний час. «Агнесе стало хуже. Врач объявил, что положение опасно. Ей предписан полный покой, и брату увидеть ее невозможно!» Ответ этот привел Лоренцо в ярость. Он требовал, умолял, угрожал. Прибегнул ко всем средствам, лишь бы увидеть Агнесу. Но настояния его остались столь же бесплодными, как и накануне, и он в

отчаянье вернулся к маркизу. Тот со своей стороны не жалел усилий, чтобы узнать, почему его план не удался. Дон Кристоаль, которому он теперь доверился, попытался вывести что-нибудь у старой привратницы, своей давней знакомицы, но она была настороже, и он ничего не выяснил. Маркиз сходил с ума от тревоги, Лоренцо тоже. Оба не сомневались, что план бегства был раскрыт. Оба были убеждены, что болезнь Агнесы – выдумка, но не видели, как вырвать ее из рук настоятельницы.

Лоренцо посещал монастырь ежедневно и ежедневно слышал, что его сестре становится хуже. Это его не тревожило, так как он был уверен в мнимости этого недуга. Но он ничего не знал ни о ней, ни о причинах, почему настоятельница мешает им увидеться, и вот это ввергало его в чрезвычайную тревогу. Он все еще не мог решить, какие предпринять шаги, когда маркиз получил письмо от кардинала, герцога Лермы. К письму была приложена ожидаемая папская булла, гласившая, что Агнеса освобождается от обета и должна быть возвращена родственникам. Этот важнейший документ подсказал друзьям, как им следует действовать. Было решено, что Лоренцо немедленно явится с буллой к настоятельнице и потребует, чтобы ему тотчас вернули сестру. Ссылки на болезнь утрачивали силу. Булла предоставляла брату Агнесы право безотлагательно забрать ее из монастыря. И он решил сделать это на следующий же день.

Теперь, перестав тревожиться за сестру, ободренный надеждой скоро вернуть ей свободу, он мог посвятить несколько часов любви и Антонии. В то же время, что и в прошлый раз, он отправился к донье Эльвире. Она заранее предупредила служанку, чтобы Лоренцо проводили прямо к ней. Но как только о нем доложили, Антония удалилась с Леонеллой, и, войдя в комнату, он застал в ней хозяйку совсем одну. Она приняла его не столь холодно, как в первый раз, и предложила ему сесть подле себя на диване. Затем без промедления перешла к делу, как и было условлено между ней и Антонией.

– Не считите меня неблагодарной, дон Лоренцо, и не думайте, будто я уже забыла, какую важную услугу вы мне оказали, поговорив с маркизом. Ничто на свете не понудило бы меня поступить так, кроме благополучия моей дочери, моей любимой Антонии. Мое здоровье слабеет, и только Богу известно, как скоро я предстану перед Его престолом. Дочь моя останется без родителей, а если семья де лас Систернас откажет ей в покровительстве, то и без друзей. Она молода, простодушна, ничего не знает о коварстве мира и достаточно красива, чтобы стать жертвой соблазителя. Судите же сами, как меня страшит то, что ее ожидает. Судите же сами, с каким тщанием должна я оберегать ее от возможного их общества, не то в ней может заговорить еще дремлющая страстность. Вы располагаете к себе, у Антонии нежное, любящее сердце, и она благодарна вам за ваше ходатайство перед маркизом. Ваше присутствие заставляет меня трепетать, я боюсь, что оно пробудит в ней чувства, которые омрачат всю дальнейшую ее жизнь или внушат ей надежды, напрасные и непозволительные для девушки в ее положении. Простите, что я признаюсь в своих страхах, и пусть извинением мне послужит искренность. Я не могу отказать вам от дома, этого не допускает признательность, и мне остается лишь воззвать к вашему великодушию и умолять вас пощадить чувства встревоженной, обожающей матери. Поверьте, я всей душой сожалею, что необходимость заставляет меня отказаться от знакомства с вами. Но иного выхода нет, и ради Антонии я должна умолять вас более нас не навещать. Выполнив мою просьбу, вы увеличите уважение, которое я уже к вам питаю и которого, как все меня убеждает, вы бесспорно заслуживаете.

– Ваша откровенность меня чарует, – отвечал Лоренцо. – Вы убедитесь, что не обманываетесь в своем лестном для меня мнении. И все же я надеюсь, что мое возражение окажется достаточно убедительным, чтобы вы взяли назад свою просьбу, подчиниться которой я могу лишь с величайшей неохотой. Я люблю вашу дочь, люблю всем сердцем и не мыслю счастья больше, нежели пробудить в ней взаимность и получить ее руку у алтаря. Правда, сам я небогат, смерть отца оставила меня без особых средств к существованию, но у меня есть надежды, позволяющие мне просить в жены дочь графа де лас Систернаса.

Он хотел было продолжать, но Эльвира прервала его:

– Ах, дон Лоренцо, за пышностью этого титула вы забываете низость моего происхождения. Вы забываете, что я вот уже четырнадцать лет живу в Испании, не признанная родней моего мужа, и живу на скудное содержание, которого едва хватало на поддержку и образование моей дочери. Нет, мной пренебрегали даже мои кровные родственники, которые из зависти сомневаются в подлинности брака. После смерти моего свекра мне перестали выплачивать содержание, и я оказалась на краю нищеты. В этом положении меня разыскала сестра, которая вдобавок ко всем своим чудачествам обладает горячим, щедрым и привязчивым сердцем. Она помогала мне из небольшого наследства которое оставил ей наш отец, уговорила меня поехать в Мадрид и содержала меня с дочерью с тех пор, как мы покинули Мурсию. Так не считайте Антонию дочерью графа де лас Систернаса, считайте ее бедной беззащитной сиротой, внучкой ремесленника Торрибио Дальфа, живущей на деньги дочери этого ремесленника. Сравните это положение с положением племянника и наследника могущественного герцога де Медины. Я верю, что намерения ваши благородны. Но надежды на то, что ваш дядя одобрит такой союз, нет никакой, а потому я предвижу, что ваша любовь будет губительной для душевного покоя моей дочери.

– Простите меня, сеньора, но вы находитесь в заблуждении, если полагаете, что герцог Медина похож на большинство людей. Он великодушен и терпим, любит меня, и у меня нет оснований опасаться, что он запретит наш брак, когда поймет, что без Антонии для меня не будет счастья. Но, предположим, он не даст согласия, чего мне страшиться? Мои родители скончались, мое небольшое состояние принадлежит мне без всяких условий. Его хватит, чтобы Антония не знала бедности, а я променяю герцогство Медина на ее руку без единого вздоха сожаления.

– Вы молоды и пылки. Такие мысли для вас естественны. Но опыт, на горе научил меня, что на неравных браках лежит проклятие. Я вышла замуж за графа де лас Сестернаса против воли его родных. Сколько терзаний я перенесла из-за этого опрометчивого шага! Куда бы мы ни отправлялись, ненависть отца преследовала Гонсальво. Мы впали в нищету, и рядом не было друга, чтобы помочь нам. Наша взаимная любовь еще сохранялась, но, увы, порой угасая. Привыкший к богатству и роскоши, мой муж не мог перенести переход к нужде и неудобствам. Он с тоской вспоминал былую беспечную жизнь. Он сожалел о положении, от которого отказался ради меня, и, когда им овладевало отчаяние, упрекал меня за то, что я обрекла его на нищету и убогость. Он называл меня своей злой судьбой! Источником своих горестей, причиной своей гибели! О Боже! Он не знал, что упреки моего собственного сердца были куда тяжелее! Он не понимал, что я страдаю втройне – за себя, за моих детей и за него! Правда, гнев его никогда долго не длился. Искренняя его любовь ко мне скоро воскресала в его сердце, и тогда в своем раскаянии из-за слез, которые вызывали у меня недавние упреки, он мучил меня даже еще больше. Он бросался ничком на землю, умолял меня о прощении самыми отчаянными словами и проклинал себя как убийцу моего душевного покоя. Наученная опытом, что брак, заключенный без одобрения обеих семей, должен быть несчастным, я спасу мою дочь от горестей, которые выпали на долю мне. Пока я жива, без согласия вашего дяди она никогда не станет вашей. А он, без сомнения, такого брака не одобрит. Власть его огромна, и я не допущу, чтобы Антония подверглась его гневу и гонениям.

– Гонениям? Но их же так просто избежать! Пусть случится худшее – достаточно будет покинуть Испанию. Мое имущество легко обратить в деньги. Острова Западных Индий станут нашим надежным приютом. На Испаньоле у меня есть поместье, правда, ничего не стоящее. Мы бежим туда, и я сочту остров своей родиной, если Антония будет там со мной.

– О юность! Это лишь желанные грезы! Вот и Гонсальво думал так же. Воображал, что может покинуть Испанию без сожалений. Но первые же часы расставания открыли ему глаза. Вы еще не знаете, что такое оставить родину, и оставить навсегда! Вы еще не знаете, что такое променять то, что вам знакомо с младенчества, на неведомые варварские края! Быть забытым, навеки забытым товарищами юности. Видеть, как самые близкие вам, как

предметы вашей нежной привязанности умирают от недугов, вызываемых тамошним воздухом, и не иметь возможности найти для них помощь! Я все это пережила! Мой муж и два чудных младенца обрели могилу на Кубе. И мою малютку Антонию спасло только мое возвращение в Испанию. Ах, дон Лоренцо! Можете ли вы понять, как я страдала в разлуке с родиной! Способны ли вы догадаться, как горько я сожалела обо всем, что я оставила в Испании, и как дорого мне стало само это слово – Испания! Я завидовала ветрам, дувшим в ту сторону. А когда мимо моего окна проходил какой-нибудь испанский матрос, распевая ту или иную знакомую песню, слезы навертывались мне на глаза, пока я вспоминала мой родимый край. И Гонсальво тоже... Мой муж.

Эльвира умолкла. Голос ее прервался, и она спрятала лицо за носовым платком. Потом поднялась с дивана и продолжала:

– Простите, но я должна покинуть вас на несколько минут. Воспоминания о моих бедах слишком взволновали меня, мне надобно побыть одной. До моего возвращения прочтите эти строки. Я нашла их в бумагах мужа после его смерти. Узнай я раньше, что он чувствовал все это, горе меня убило бы. Он написал эти стихи, когда мы плыли на Кубу и его ум был так затуманен горем, что он забыл про свою жену и детей. То, что мы теряем, всегда кажется нам самым дорогим. Гонсальво покидал Испанию навсегда, а потому Испания была ему драгоценней всего что есть в мире. Прочтите их, дон Лоренцо. Они дадут вам некоторое представление о чувствах изгнанника!

Эльвира вложила в руку Лоренцо исписанный лист и вышла из комнаты. Юноша начал читать, и вот что он прочел:

ИЗГНАНИЕ

Прости, Испания моя! Мы боле
Не свидимся! Прости же навсегда!
Тебя, твердит мне сердце, полнясь боли,
Гонсальво не увидит никогда.

Устали ветры спорить на просторе,
Корабль мой тихо по зыбям плывет.
Слабею духом и клянусь я море,
Что от Испании прочь меня влечет.

Родимый берег и шпили золотые
Моим глазам еще видны пока.
А с мыса звуки полились простые,
Но сладкие родного языка.

Там на скале рыбак с веселой песней
Развесил сеть, труд завершив дневной.
В картинах, что одна другой чудесней,
Былое воскресает предо мной.

Счастливец! Час урочный наступает,
Когда вернется он под отчий кров.
Ночная тьма сиянье дня сменяет,
И ужин незатейливый готов.

Любовь и Дружба с ним за стол садятся,
Нет у него ни горя, ни забот.
От близких он не должен отказаться.
Он не вздыхает, горьких слез не льет.

Счастливец! А вот мной неумолимо
Играет Рок, и нынче должен я
Покинуть все, что с детства мной любимо.
Сколь жребий мне завиден рыбаля!

Пастушки я уже не встречу снова,
Что, с козами бродя по крутизне,
Стенает о жестокости милого,
Пастушьего рожка не слышать мне.

Покой домашний позабыть мне надо,
К родительской груди мне не прильнуть.
Воспоминанья – вот моя отрада.
В палимый солнцем край лежит мой путь,

Где душная жара болезни множит,
Где змеи с тиграми кишат в лесах,
Где жажды утолить ничто не может,
Где желтая чума наводит страх.

Но все, чем угрожают те пределы, –
И медленная смерть во цвете лет,
И злая боль, терзающая тело,
И черных лихорадок тяжкий бред –

Не так страшны, не так тяжки, как мука
Прощания с тобой, любимый край!
Все радости души убьет разлука,
Я сердцу своему твержу «прощай».

О, горе мне! Как часто в сновиденьях
Стремиться буду к родине моей!
И плакать о минувших наслажденьях,
И вспоминать покинутых друзей.

Долины Мурсии я в грезах озираю.
Вон в виноградниках знакомый склон,

Вон лес, в котором все поляны знаю,
Вон башни замка, где я был рожден.

Страна моя! Моих надежд обитель!
О, знаю, все восторги дней былых
Отныне станет Память, злой мучитель,
Преображать в источник мук моих.

Увы мне! В море кануло светило,
Сокрылись шпили, темен небосклон.
Ночная тьма далекий берег скрыла.
Вот виден – и уже не виден он.

Замрите, ветры! Не вздымайтесь, волны!
Усни, мой барк! И, чуть морской простор
Вновь солнце озарит, пусть, счастья полный,
Опять узрит Испанию мой взор.

Напрасны все моления и речи!
Крепчает ветер. Поутру в пути
От этих мест мы будем уж далече.
О, навсегда, Испания, прости!

Лоренцо едва успел прочесть эти строфы, как открылась дверь и к нему возвратилась Эльвира. Слезы, пролитые наедине с собой, принесли ей облегчение, и она обрела свое обычное спокойствие.

– Мне больше нечего сказать вам, дон Лоренцо, – произнесла она. – Вы узнали мои страхи, узнали причины, почему я умоляю вас не посещать нас больше. Я без колебаний доверилась вашей чести, и, я уверена, вы не опровергнете моего высокого о вас мнения.

– Еще только один вопрос, сеньора, и я прощусь с вами. Если герцог Медина одобрит мою любовь, будет ли мое предложение неприемлемо для вас и для прекрасной Антонии?

– Я буду с вами откровенна, дон Лоренцо. Брак этот представляется весьма маловероятным, и я боюсь, что дочь моя слишком уж пылко о нем мечтает. Вы приобрели власть над ее юным сердечком, и это очень меня тревожит. Я вынуждена отказаться от знакомства с вами, чтобы власть эта еще не усилилась. Что до меня, не сомневайтесь, я буду рада, если моя дочь сделает такую превосходную партию. Здоровье мое, ослабленное горем и болезнями, не позволяет мне надеяться на долгую жизнь, и я трепещу при мысли, что оставлю ее под покровительством совсем чужого человека. Маркиза де лас Систернаса я совершенно не знаю. Он, конечно, женится. Антония может не понравиться его супруге и тогда лишится своего единственного друга. Если герцог, ваш дядя, даст свое согласие, можете не сомневаться в согласии моем и моей дочери. Но без его согласия не надейтесь на наше. И во всяком случае, каким бы ни было решение герцога, пока оно не станет вам известно, прошу вас, не укрепляйте своим присутствием увлечения Антонии. Если вы получите дозволение родных назвать ее своей женой, мои двери распахнутся перед вами. Если последует отказ, удовлетворитесь моей признательностью и уважением, но помните, что встречаться больше мы не должны.

Лоренцо неохотно обещал подчиниться ее приговору, но добавил, что надеется незамедлительно получить согласие, которое даст ему право возобновить знакомство с ними.

Затем он объяснил, почему маркиз не приехал сам, и счел возможным доверить ей историю своей сестры. А в заключение сказал, что надеется освободить Агнесу завтра же, а как только страхи доня Раймонда рассеются, он не замедлит сам заверить донью Эльвиру в своей дружбе и покровительстве.

Но она покачала головой.

– Я боюсь за вашу сестру, – сказала она. – Мне много рассказывала о нраве настоятельницы обители святой Клары моя подруга, которая воспитывалась в одном с ней монастыре. По ее словам, она высокомерна, упряма, суеверна и мстительна. С тех пор мне довелось услышать, что она горит желанием сделать свою обитель самой образцовой в Мадриде и не прощает тех, чья неосторожность может бросить на нее хоть малейшую тень. Хотя натура у нее очень властная и крутая, она, когда ей это нужно, умеет надеть личину мягкой доброжелательности. Она не брезгует никакими средствами, чтобы залучать знатных девиц под свое начало. Если разбудить в ней злобу, она неумолима и так бесстрашна, что не останавливается перед самыми жестокими карами, лишь бы наказать тех, кто эту злобу вызвал. Без сомнения, уход вашей сестры из монастыря она сочтет оскорблением и пустит в ход всевозможные хитрости, только бы не подчиниться приказу его святейшества папы, и меня страшит мысль, что донья Агнеса находится в руках этой опасной женщины.

Лоренцо встал, прощаясь. Эльвира протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал и, сказав, что надеется незамедлительно получить право также приветствовать и Антонию, отправился к себе домой. Эльвира осталась очень довольна их разговором и с радостью подумала, что он может стать ее зятем, однако благоразумие не позволило ей сообщить дочери о радужных надеждах, которые теперь начала питать она сама.

Едва рассвело, как Лоренцо уже явился в монастырь святой Клары, вооруженный папской буллой. Монахини были у заутрени. Он с нетерпением ожидал конца службы, и наконец к решетке приемной подошла настоятельница. Он потребовал свидания с Агнесой, старуха с печальным видом ответила, что милое дитя с каждым часом слабеет и врачи отчаиваются, но твердо настаивают, что спасти ее может только полный покой, а потому к ней нельзя допускать никого, чье присутствие может ее взволновать. Лоренцо не поверил ни единому слову, как не поверил выражениям горя и нежности к Агнесе, на которые настоятельница не скупилась. Чтобы покончить с этим, он вложил буллу ей в руку и потребовал, чтобы его сестру, больна ли, не больна, немедленно ему выдали.

Настоятельница приняла буллу с видом почтительного смирения, но едва глаза ее скользнули по строчкам, как ярость взяла верх над усилиями лицемерия. Багровая краска разлилась по ее лицу, и она метнула в Лоренцо взгляд, полный ярости и угрозы.

– Приказ его святейшества папы! – произнесла она с гневом, который не сумела скрыть. – О, я выполнила бы его неукоснительно, но, к несчастью, сие не в моей власти.

Лоренцо перебил ее возгласом, полным удивления.

– Повторяю, сеньор, выполнить этот приказ я не властна. Сострадая чувствам брата, я подготовила бы вас к грустному известию постепенно, так, чтобы вы перенесли его мужественно. Но мне придется забыть мои добрые намерения. Вот приказ безотлагательно отпустить с вами сестру Агнесу, и посему мне остается только без обиняков сообщить вам, что в прошлую пятницу она скончалась.

Лоренцо в ужасе отшатнулся и побледнел. Но краткое раздумье убедило его в том, что настоятельница лжет, и это вдохнуло в него бодрость.

– Вы меня обманываете! – воскликнул он гневно. – Всего пять минут назад вы заверили меня, что она, хотя и очень больна, еще жива! Немедленно приведите ее! Я должен увидеть ее и увижу! Всякая попытка воспрепятствовать мне бесполезна.

– Вы забываетесь, сеньор! Вы обязаны почитать не только мой сан, но и мой возраст. Вашей сестры более нет. Если я и не сразу открыла вам это, то потому лишь, что опасалась, как бы столь неожиданное известие не ввергло вас в слишком иступленное горе. Поистине плохая благодарность за мою заботливость! И скажите, зачем бы мне удерживать ее? Одного ее желания покинуть нашу обитель было бы достаточно, чтобы я сама захотела ее отослать,

видя в ней позор для ордена святой Клары. Однако она показала себя куда более недостойной моего доброго расположения. Ее преступления велики, и, когда вы узнаете причину ее смерти, дон Лоренцо, то без сомнения возрадуетесь, что подобной твари уже нет в живых. В прошлый четверг, когда она вернулась с исповеди в церкви Капуцинов, ей стало дурно. Недуг ее был странным, но она упорно скрывала причину, а мы, благодарение Пресвятой Деве, слишком не осведомлены в подобном, чтобы самим ее угадать! Судите же, какой была наша растерянность, каким был наш ужас, когда наутро она разрешилась мертвым младенцем и сразу скончалась сама... Как так, сеньор? Ужели лицо ваше и правда не выражает ни удивления, ни негодования? Ужели вам было известно бесстыдство вашей сестры и вы сохранили любовь к ней? В таком случае вы не нуждаетесь в моем сострадании. Больше мне сказать вам нечего. Могу лишь повторить, что исполнить распоряжение его святейшества не в моей власти. Агнесы больше нет, и, чтобы убедить вас в правдивости моих слов, призываю в свидетели сладчайшего Спасителя нашего, что вот уж три дня как ее погребли! – И с этими словами она поцеловала небольшое распятие, свисавшее с ее пояса. Затем поднялась с кресла и вышла из приемной. У двери она сказала Лоренцо с презрительной улыбкой:

– Прощайте, сеньор. От подобного мне неизвестны никакие средства. Боюсь, даже еще одна папская булла вашей сестры не воскресит.

Удалился и тяжело удрученный Лоренцо. Но горе дон Раймонда, когда он узнал скорбную новость, граничило с безумием. Он отказывался поверить, что Агнеса умерла, и твердил, что ее по-прежнему скрывают стены монастыря святой Клары. Никакие доводы не могли переубедить его, и каждый день он измышлял новый план, как получить о ней какие-нибудь сведения, и все они оказывались одинаково безуспешными.

Со своей стороны Медина смирился с мыслью, что больше никогда не увидит сестры. Однако он был убежден, что смерть ее не была естественной, а потому поощрял розыски дон Раймонда, решив жестоко отомстить бессердечной настоятельнице, если его подозрения хоть чем-то подтвердятся. Потерю сестры он оплакивал искренне, но огорчился и потому, что приличия заставили его на некоторое время отложить разговор с герцогом об Антонии. Однако его посланцы постоянно следили за дверью Эльвиры. Ему было известно, когда и куда выходила его возлюбленная. А так как по четвергам она неизменно слушала проповедь в церкви Капуцинов, он знал, что хотя бы раз в неделю увидит ее непременно, хотя, соблюдая свое обещание, всегда скрывался от ее взора. Так прошли два долгих месяца. Об Агнесе ничего узнать не удалось, и все, кроме маркиза, считали ее мертвой. Теперь Лоренцо решил открыть дяде свое сердце. Он уже несколько раз намекал, что подумывает жениться, и намеки эти принимались столь благосклонно, что он не сомневался в желанном ответе на свою просьбу.

ГЛАВА III

*Пока они друг друга обнимали,
Благословляли ночь, день – проклинали.*
ЛИ

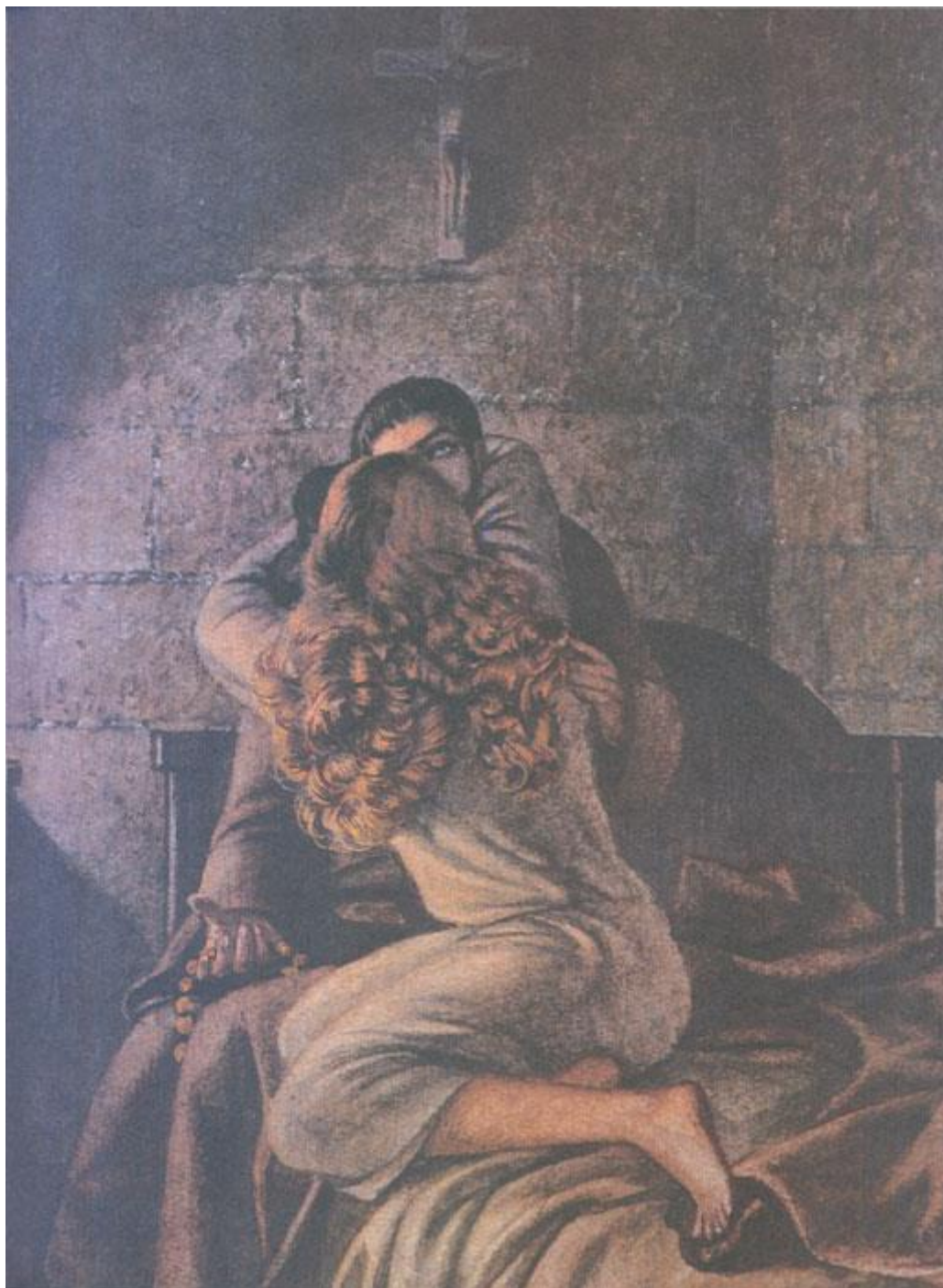
Взрыв первых восторгов миновал, любострастие Амбросио было удовлетворено, плотская радость угасла, ее место занял стыд. В смятении, ужасаясь своей слабости, он вырвался из объятий Матильды и почувствовал себя отступником. О случившемся он думал со страхом, пугаясь разоблачения. Будущее ввергало его в трепет. Сердцем его овладело уныние, принеся с собой пресыщенность и отвращение. Он избегал взгляда соучастницы своего грехопадения. В меланхолическом молчании оба погрузились в тягостные размышления.

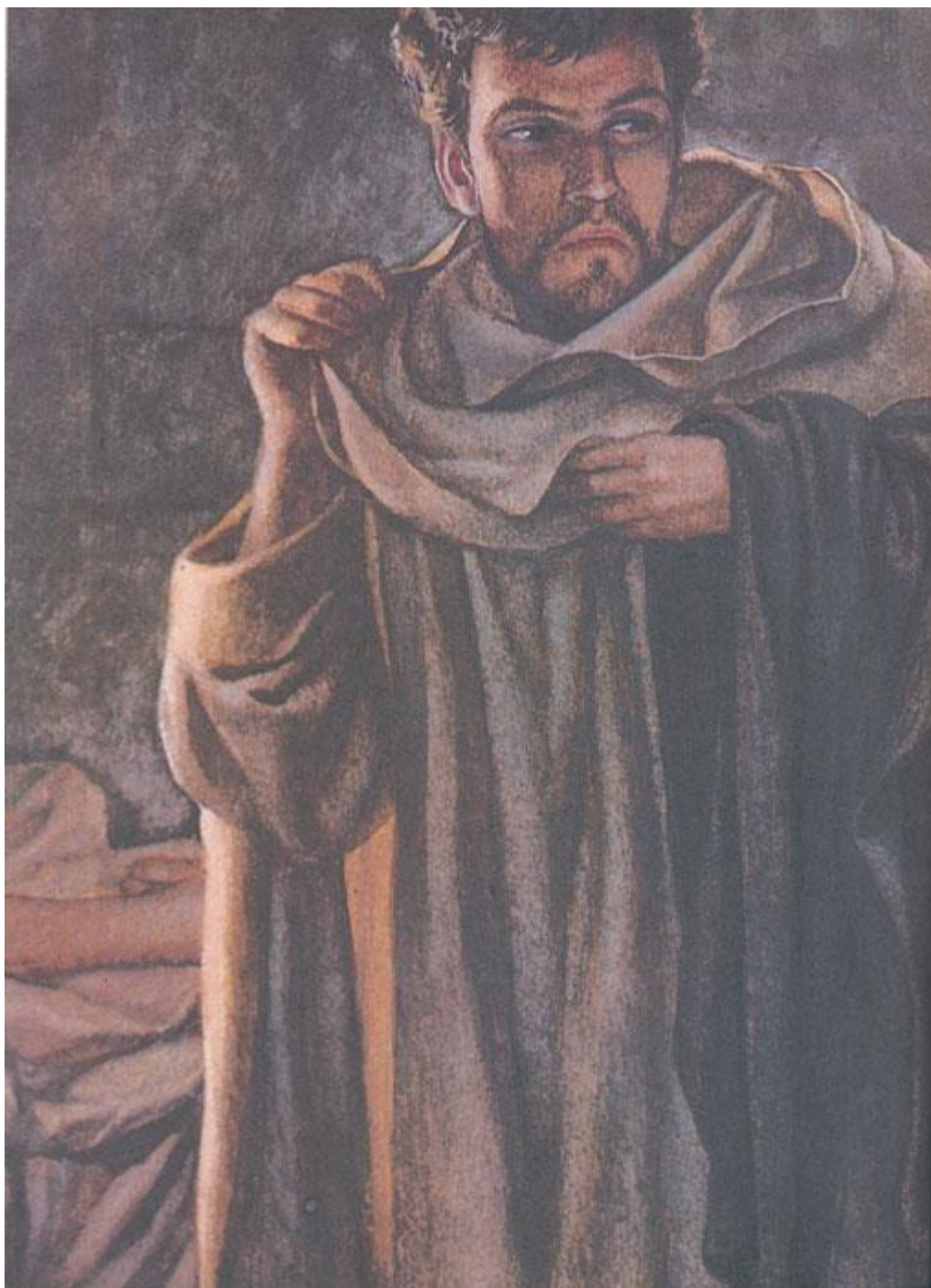
Первой его прервала Матильда. Она нежно взяла его руку и прижала к пылающим губам.

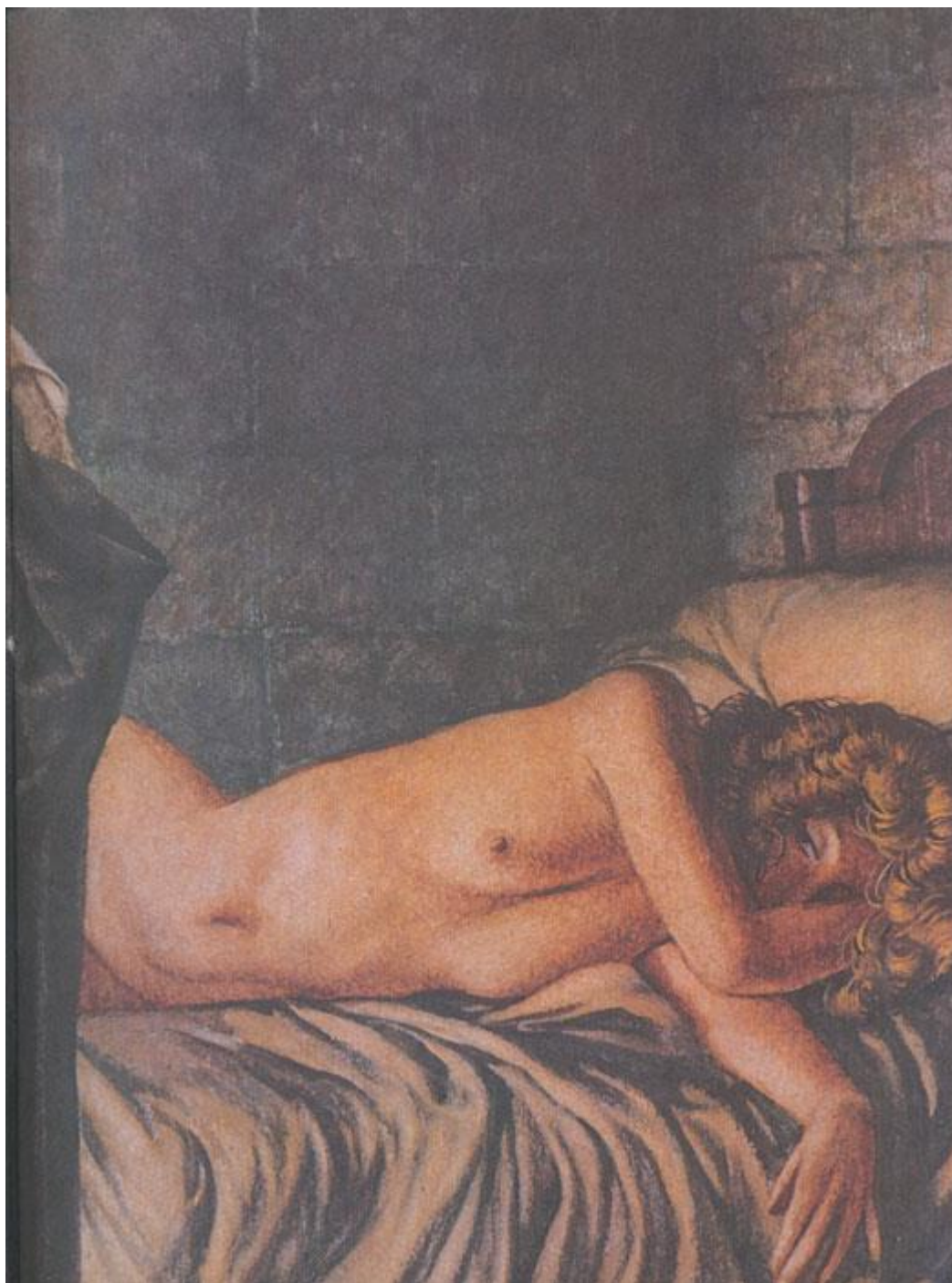
– Амбросио! – прошептала она тихим дрожащим голосом.

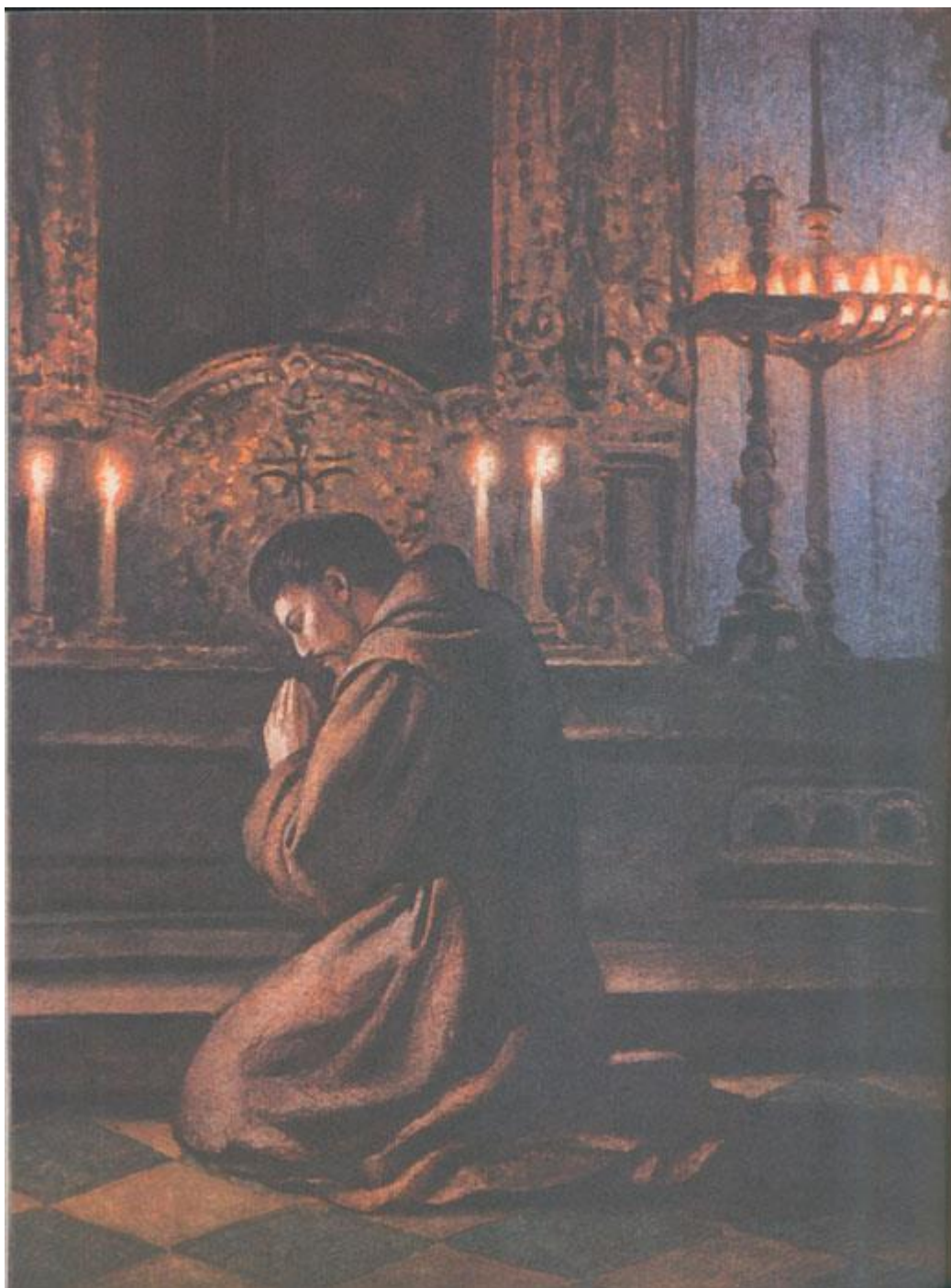
Аббат содрогнулся и посмотрел на Матильду. Ее глаза были полны слез, ланиты горели румянцем стыда, мольба в ее взоре испрашивала сострадания.

– Губительница! – сказал он. – В какую бездну отчаяния ты меня ввергла! Если твой пол будет открыт, за минутное удовольствие я заплачу честью... нет, самой жизнью! Я был глупцом, что доверился твоим соблазнам! Что делать теперь? Как искупить мой проступок? Какая епитимья загладит мое согрешение? Негодная женщина, ты навеки лишила меня душевного покоя!









– Все эти упреки мне, Амбросио? Мне, кто принесла тебе в жертву мирские радости, упоение роскошью, девичью стыдливость, своих друзей, состояние и доброе имя? Что сохранила я из того, чего лишился ты? Разве я не поделила твою вину? Разве ты не разделял мое блаженство? Вину, сказала я? Но в чем наша вина, кроме как во мнении безрассудного света? Если свет ничего не знает, наши восторги становятся божественными и невинными! Противоестественным был твой обет целомудрия! Мужчина был сотворен не для него. А будь любовь преступлением, Бог не создал бы ее такой чудесной, такой неодолимой! Прогони же тучи со своего чела, Амбросио! Предайся полностью тем наслаждениям, без которых жизнь – дар пустой. Перестань пенять мне за то, что я научила тебя блаженству, и вольно дели его с женщиной, которая тебя обожает.

Пока она говорила, глаза ее исполнились восхитительной неги. Грудь вздымалась. Она нежно обвила его руками, привлекла к себе и прильнула губами к его губам. В Амбросио вновь забушевало желание. Жребий был брошен, его обеты уже были нарушены, он уже

совершил преступление, так почему бы не насладиться его плодами? Он прижал ее к груди с удвоенным пылом. Более не связанный стыдом, он дал волю своим буйным наклонностям, а прелестная распутница пускала в ход все изобретения сладострастья, все тонкости искусства наслаждения, которые могли усилить блаженство обладания ею и придать новое упоение восторгам ее любовника. Амбросио купался в плотских радостях, доселе ему неведомых. Ночь пролетела быстро, и утро порозовело, застав его все еще в объятиях Матильды.

Опьянев от наслаждения, монах встал с роскошного ложа сирены. Он больше не думал со стыдом о своей невоздержанности, не страшился мщения оскорбленных Небес. Опасался он только, как бы Смерть не отняла у него яства, которые из-за долгого поста казались особенно аппетитными. Матильда еще испытывала действие яда, но сладострастный монах потому лишь опасался за нее, что видел в ней не свою спасительницу, а наложницу. Лишившись ее, где еще он отыщет любовницу, с которой мог бы отдаваться страсти столь необузданно и в такой безопасности? И он настойчиво попросил ее применить средство, с помощью которого, по ее словам, она могла спасти свою жизнь.

– Да! – ответила Матильда. – Ты заставил меня почувствовать, как драгоценна жизнь, и я спасу свою. Никакая опасность меня не испугает, я смело взгляну на плоды моего действия и не содрогнусь перед их ужасами. Я буду думать, что моя жертва ничто в сравнении с обладанием тобою, которое она купит; я буду вспоминать, что миг в твоих объятиях в этом мире более чем оплачивает век мучений в том. Но прежде чем я совершу этот шаг, Амбросио, дай мне торжественную клятву не спрашивать никогда, как я спасу себя.

Он дал ей нерушимую клятву.

– Благодарю тебя, любимый. Предосторожность эта необходима, ибо ты, сам того не зная, находишься во власти глупых предрассудков. То, чем я должна заняться в эту ночь, может испугать тебя своей необычностью и принизить меня в твоем мнении. Скажи мне, есть у тебя ключ от маленькой калитки в западной стене сада?

– От калитки, которая ведет на кладбище нашего монастыря и монастыря святой Клары? Нет. Но я могу без труда достать его.

– Тебе надо сделать только это. Впусти меня на кладбище в полночь. Последни, пока я спущусь в подземелье святой Клары, чтобы ничьи любопытные глаза меня не увидели. Оставь меня там одну на час, и жизнь, которую я посвящаю твоим наслаждениям, будет спасена. Чтобы не вызвать подозрений, не навещай меня днем. Не забудь про ключ и что я жду тебя перед полуночью. А! Я слышу приближающиеся шаги! Оставь меня, я притворюсь спящей.

Монах подчинился и вышел из кельи. На пороге он встретился с отцом Паблосом.

– Я, – сказал тот, – хочу посмотреть, как себя чувствует мой юный пациент.

– Тс! – шепнул Амбросио, прижимая палец к губам. – Говори потише. Я как раз ухожу. Он погрузился в глубокий сон, который, несомненно, будет ему полезен. Не буди его, он очень хотел уснуть.

Отец Паблос послушался и направился с аббатом в часовню, потому что позвонили к заутрене. В дверях часовни Амбросио охватило смущение. Он не привык ощущать себя виноватым, и ему казалось, что все читают по его лицу, как он провел ночь. Он попробовал молиться, но грудь его не наполнилась религиозным экстазом. Мысли его незаметно обращались к тайным прелестям Матильды. Но отсутствие чистоты сердца он возмещал внешним благочестием. Чтобы вернее скрыть свой грех, он удвоил показную набожность и никогда еще не являл такой преданности Небесам, как теперь, когда нарушил данные Богу клятвы. Так он, незаметно для себя, добавил лицемерие к отступничеству и прелюбодеянию. Последние два прегрешения были следствием соблазна, устоять перед которым было почти невозможно, но теперь он стал повинен в сознательном грехе, стараясь скрыть те, в которые был втянут другой.

По окончании службы Амбросио удалился к себе в келью. Наслаждения, которые он вкусил впервые, все еще занимали его мысли. Дух его был в смятении, мозг ввергнут в хаос раскаяния, сладострастья, тревоги и страха. Он с сожалением вспоминал о душевном мире, о

стойкой добродетели, которые были его уделом до этого дня. Он предался бешенству плоти, самая мысль о котором еще сутки назад ввергла бы его в ужас. Он содрогался, думая, что пустячный недосмотр его или Матильды мгновенно уничтожит здание доброй славы, которое он воздвигал тридцать лет, и сделает его предметом омерзения для людей, чьим кумиром он пока остается. Совесть яркими красками живописала ему его клятвопреступление и слабость. Страх преувеличивал гибельные последствия, и он уже видел себя в темнице инквизиции. Эти мучительные мысли сменялись воспоминаниями о красоте Матильды и тех восхитительных уроках, которые, раз выученные, уже невозможно забыть. Единственный брошенный на них взгляд примирил его с собой. Он счел, что невинность и честь – недорогая цена за блаженства прошлой ночи. Даже мысль о них преисполнила его душу экстазом. Он проклинал тщеславие, которое принудило его провести расцвет молодости в заточении, не ведая прелестей Любви и Женщины. Он решил в любом случае продолжать отношения с Матильдой и призвал на помощь все доводы, которые могли подкрепить это решение. Он спросил себя, в чем будет заключаться его вина, если его уклонение от устава останется никому не известным, и каких дурных последствий должен он опасаться? Строго выполняя все остальные требования устава, кроме соблюдения целомудрия, он, конечно, сохранит уважение людей и даже защиту Небес. Он полагал без труда получить прощение за столь небольшое и естественное отклонение от обетов. Но он забыл, что после произнесения этих обетов непоследовательность, самый простительный грех для мирян, для него превращался в гнуснейшее из преступлений.

Решив, как поступать в дальнейшем, он почувствовал себя легче и, бросившись на постель, попытался сном восстановить силы, истощенные ночными безумствами. Проснулся он освеженный и готовый вновь вкушать радости плоти. Памятуя о распоряжении Матильды, днем он в ее келью не заходил. В трапезной отец Паблос упомянул, что Росарио наконец-то согласился выполнять его указания, но лекарство желанного действия не произвело и он убежден, что никакое земное искусство спасти юношу от смерти не может. Аббат согласился с ним и присоединился к сожалениям о безвременной кончине того, кто подавал такие надежды.

Наступила ночь. Амбросио еще днем позаботился взять у привратника ключ от кладбищенской калитки. И вот, когда в монастыре все стихло, он, вооружившись ключом, покинул свою келью и поспешил к Матильде. Она встала с постели и оделась еще до его прихода.

– С каким нетерпением ждала я тебя! – сказала она. – Моя жизнь зависит от этих мгновений. Ты принес ключ?

– Да.

– Так поспешим в сад! Нельзя терять времени! Следуй за мной.

Она взяла со стола закрытую корзинку, а в другую руку – горящий над очагом светильник и выбежала из кельи. Амбросио последовал за ней. Оба хранили глубокое молчание. Матильда быстрыми, но осторожными шагами прошла через галерею и достигла западной стены сада. Глаза ее горели безумным огнем, который внушал монаху трепет и ужас. На ее лице была написана решимость отчаяния. Она отдала светильник Амбросио, взяла у него ключ, отперла калитку и вошла на кладбище. Оно было квадратным, очень обширным и обсажено тисами. Половина его принадлежала аббатству, а вторая половина – обители святой Клары и была укрыта под каменными сводами. Разделяла их чугунная решетка с калиткой, которая обычно не запиралась.

К ней-то и направилась Матильда, открыла ее и стала осматриваться в поисках двери, которая вела в подземные склепы, где истлевали кости монахинь ордена святой Клары. Ночной мрак был непроницаем. В небе не сверкали ни луна, ни звезды. К счастью, стояла полная тишь, и огонек светильника в руке монаха даже не колебался. С его помощью они вскоре отыскивали вход в подземелье. Он находился в глубине ниши, и его скрывали густые плети плюща. К двери вели три грубые каменные ступени, и Матильда уже собралась спуститься по ним, как вдруг попятилась.

– В склепах люди! – шепнула она. – Спрячься, пока они не уйдут!

С этими словами она укрылась за великолепной гробницей, воздвигнутой в честь основательницы ордена. Амбросио последовал ее примеру и тщательно прикрыл светильник, чтобы лучи его не выдали их. Через мгновение дверь, ведущая в подземелье, распахнулась. Ступени озарил свет, и спрятавшиеся увидели двух женщин в монашеском одеянии. Они вели серьезный разговор. Аббат без труда узнал настоятельницу обители святой Клары и одну из старейших монахинь.

– Все готово, – говорила настоятельница. – Судьба ее решится завтра. Ее вздохи и слезы останутся тщетны. Да! Я настоятельница этого монастыря уже двадцать пять лет, и ничего столь бесстыдного мне еще видеть не доводилось.

– Однако вам следует ожидать сопротивления вашей воле, – кротким голосом ответила ее спутница. – У Агнесы в монастыре много друзей, и, верно, мать Святая Урсула будет горячо ее защищать. Но поистине она этого заслуживает. Мне хотелось бы убедить вас вспомнить об ее юности и особенностях ее положения. К тому же она понимает всю глубину своего падения. Чрезмерность ее горя свидетельствует о ее раскаянии. И я уверена, что именно оно, а не страх наказания исторгает у нее слезы. Преподобная мать, если вы сообразовываете смягчить свой суровый приговор, если снизойдете извинить это первое прегрешение, я стану порукой безупречности ее поведения в будущем.

– Извинить, сказала ты? Мать Камилла, ты меня удивляешь! Как? После того как она опозорила меня перед кумиром Мадрида, перед тем, кому я особенно хотела показать, как строга дисциплина в моей обители? Какой презренной должен был счесть меня благочестивый аббат! Нет, мать Камилла, нет! Оскорблений я не прощаю. Убедить Амбросио в моем отвращении к подобному преступлению я могу, лишь покарвав за него Агнесу со всей строгостью, какой требует наш устав. Так оставь свои просьбы. Они бесполезны. Мое решение принято. Завтра Агнеса станет грозным примером моего правосудия и негодования.

Мать Камилла, казалось, что-то возразила, но монахини уже отошли так далеко, что голоса их замерли. Настоятельница отперла дверь, ведущую в часовню святой Клары, и закрыла ее, едва они вошли.

Матильда спросила, кто такая Агнеса, столь прогневившая настоятельницу, и какое отношение имеет она к Амбросио. Он рассказал ей о случившемся в исповедальне, а затем добавил, что с тех пор образ его мыслей переменился и теперь его сердце полно сострадания к злополучной монахине.

– Я намерен, – сказал он далее, – попросить настоятельницу принять меня и пущу в ход все средства, чтобы ее приговор был смягчен.

– Берегись! – перебила Матильда. – Такая перемена в тебе, естественно, вызовет подозрения, которых нам необходимо всячески избегать. Напротив, удвой свою внешнюю суровость и обрушивай грома на чужие проступки, чтобы лучше скрыть свой собственный. Предоставь монахиню ее судьбе. Твое вмешательство опасно, а ее неосторожность заслуживает кары. Недостойна наслаждений любви та, у кого недостает ума скрыть их. Но, обсуждая этот пустяк, я напрасно трачу драгоценные минуты. Ночь промелькнет быстро, а до утра необходимо сделать еще много. Монахини ушли. Дай мне светильник, Амбросио. Спуститься в подземелье я должна в одиночестве. Жди здесь и, если кто-нибудь появится, предупреди меня звуком своего голоса. Но если тебе дорога жизнь, не вздумай последовать за мной. Она станет жертвой твоего дерзкого любопытства.

С этими словами Матильда направилась ко входу в склеп, все так же держа корзинку в одной руке, а светильник в другой. Она толкнула дверь, та медленно повернулась на скрипучих петлях, и ее взору открылась узкая винтовая лестница из черного мрамора. Она спустилась по ней. Амбросио остался наверху, следя за еще достигавшими его лучами светильника. Затем они исчезли, и он оказался в полной темноте.

Оставшись наедине с собой, он не мог не удивиться внезапным изменениям в характере и чувствах Матильды. Лишь несколько дней тому назад она казалась самой кроткой, самой

уступчивой из женщин, всецело преданной его воле, взирающей на него как на высшее существо. Теперь же в ее манерах и в ее речах появилась почти мужская дерзость, совсем ему не нравящаяся. Теперь она говорила не для того, чтобы умолять, но чтобы приказывать. Он обнаружил, что не способен противостоять ей в споре и вынужден против воли признать превосходство ее суждений. Каждый миг убеждал его в удивительной силе ее ума. Но то, что она приобретала во мнении человека, то с лихвой теряла в чувствах любовника. Он сожалел о Росарио, любящем, кротком, послушном. Его огорчало, что Матильда заимствует достоинства его пола в ущерб тем, которые украшают ее пол, и когда вспомнил, какими словами она говорила о злополучной монахине, то не мог не счесть их жестокими и неженственными. Жалость – чувство столь естественное для женской натуры и так с ней гармонирующее, что в женщине оно не кажется особой добродетелью, но вот отсутствие его – тяжкий порок. Амбросио не находил извинений для своей возлюбленной и сетовал, что она лишена столь превосходного качества. Однако, хотя он винил ее в бесчувственности, отрицать здравость ее доводов было нельзя, и, искренне жалея несчастную Агнесу, он оставил мысль о том, чтобы вступить за нее.

С той минуты, когда Матильда спустилась в подземелье, прошло более часа, но она все не возвращалась. В Амбросио пробудилось любопытство. Он подошел поближе к лестнице и прислушался. Все было тихо, но порой ему был слышен голос Матильды, разносившийся по подземным коридорам и отражавшийся каменными сводами. Она была так далеко, что слов он не разбирал – прежде чем достичь его ушей, они превращались в неясный ропот. Он жаждал проникнуть в эту тайну и решил вопреки ее предостережению последовать за ней в подземелье. Он спустился на несколько ступенек, но тут мужество изменило ему. Он вспомнил, чем грозила Матильда за ослушание, и грудь его наполнил непонятный, неведомый трепет. Он вернулся наверх, занял свой прежний пост и снова начал ждать, полный нетерпения.

Неожиданно он ощутил сильнейший толчок. Земля всколыхнулась. Колонны, поддерживавшие свод, под которым он стоял, покачнулись, угрожая рухнуть, и в тот же миг он услышал оглушительный удар грома. Едва грохот замолк, как внизу в подземелье мелькнул ослепительный столп света. Мелькнул и исчез. Вновь наступила темнота и тишина. Вновь вокруг него сомкнулся черный мрак, и безмолвие ночи нарушал только шелест крыльев летучей мыши, медленно кружившей над ним.

С каждым мгновением изумление Амбросио возрастало. Прошел еще час, вновь возник тот же свет и сразу исчез, как и прежде. Ему сопутствовали звуки музыки, мелодичной, но грозно-торжественной. Когда они достигли его ушей, монаха охватил восторг, смешанный с ужасом. Не успели они смолкнуть, как он услышал на лестнице шаги Матильды. Она поднялась из подземелья. Живейшая радость сияла на ее прекрасном лице.

- Ты видел что-нибудь? – спросила она.
- Дважды я видел столп света, озарявший лестницу.
- И больше ничего?
- Ничего.
- Вот-вот начнет светать. Вернемся в монастырь, чтобы заря нас не предала.

Легкими шагами она поспешила к калитке в кладбищенской ограде и вернулась в свою келью. Аббат, полный любопытства, вошел к ней. Она закрыла дверь и убрала корзинку со светильником.

– Я преуспела! – воскликнула она, бросаясь к нему на грудь. – Преуспела, как и не мечтала! Я буду жить, Амбросио, жить для тебя! Средство, к которому я трепетала прибегнуть, стало для меня источником невыразимой радости! О, если бы я осмелилась разделить эту радость с тобой! О, если бы мне было дозволено приобщить тебя к моей власти и поднять над всем остальным твоим полом настолько же выше, как одно смелое деяние вознесло меня над моим!

– Но что препятствует тебе, Матильда? – перебил ее монах. – Почему тайна то, чем ты занималась в подземелье? Или ты считаешь, что я не заслуживаю твоего доверия? Матильда,

я усомнюсь в твоей любви, если есть радости, которые мне запрещено делить с тобой.

– Твои упреки несправедливы. Я искренне горюю, что вынуждена прятать от тебя мое счастье. Но виновата ли я? Причина в тебе, а не во мне, мой Амбросио! Ты все еще слишком монах. Твой разум подчинен предрассудкам, внушенным тебе. И суеверие может вызвать у тебя дрожь ужаса при мысли о том, в чем опыт научил меня видеть великое благо. Пока еще тебе нельзя доверить столь важную тайну. Но сила твоего разума и любознательность, которую я с восторгом зрю в твоих глазах, внушают мне надежду, что придет день, когда ты станешь достоин моего доверия. До тех же пор смири нетерпеливость. Помни, ты дал мне торжественную клятву ничего не спрашивать о свершившемся сегодня ночью. Я настаиваю, чтобы ты сдержал ее. Хотя, – добавила она с улыбкой и запечатала его губы любострастным поцелуем, – хотя я и прощаю тебе нарушение клятв, данных Небесам, но клятвы, данные мне, надеюсь, ты сдержишь!

Монах вернул ей поцелуй, воспламенивший его кровь. Необузданные наслаждения предыдущей ночи повторились, и любовники расстались, только когда колокол призвал к заутрене.

Наслаждения эти часто повторялись. Братия радовалась неожиданному выздоровлению лже-Росарио, и никто не заподозрил его истинный пол. Аббат обладал своей любовницей без помех и, убедившись, что прегрешение остается незамеченным, дал полную волю своим страстям. Стыд и раскаяние более его не терзали. Постоянные повторения приучили его к греху, и грудь его стала неуязвимой для угрызений совести. Матильда всячески поощряла эти его чувства, но вскоре ей стало ясно, что она пресытила любовника избытком ласк. Ее прелести стали ему привычными и уже не пробуждали желаний, которые еще недавно зажигали. Горячка страсти миновала, и у него теперь было время подмечать каждый пустячный недостаток. А там, где их не было, их ему рисовала пресыщенность. Монах объелся полнотой наслаждения. Прошла одна неделя, а любовница ему уже надоела. Сладострастная плоть принуждала его искать в ее объятиях утolenия похоти, но едва страсть угасала, как он уходил от нее с отвращением. И, по натуре непостоянный, нетерпеливо вздыхал по чему-то иному.

Обладание, которое пресыщает мужчину, только усиливает любовь женщины. Матильда с каждым проходящим днем все страстнее привязывалась к монаху. Он с тех пор, как добился ее милостей, стал ей еще дороже, чем прежде, и она чувствовала благодарность к нему за блаженство, которое они делили на равных. К несчастью, чем более пылкой становилась ее страсть, тем больше остывала страсть Амбросио. Самые знаки этой любви были ему противны, а ее избыток гасил пламя, и без того уже слабо горевшее в его груди. Матильда не могла не заметить, что ее общество с каждым днем становится ему все более неприятным. Он не слушал, когда она говорила, ее музыкальные таланты, которыми она владела в совершенстве, перестали его развлекать. А если он снисходил до похвал, они были вымученными и холодными. Он больше не глядел на нее с нежностью и не восхищался ее мыслями с увлечением влюбленного. Все это Матильда прекрасно замечала и удваивала усилия, чтобы воскресить в нем былые чувства. Но ее ждала неизбежная неудача, так как в ее стремлении угодить ему он видел навязчивость и испытывал отвращение к тем средствам, к которым она прибегала в чаянии вернуть его нежность. Тем не менее их преступная связь продолжалась, но было очевидно, что в ее объятия его бросает не любовь, а грубая похоть. Его плоть сделала женщину необходимостью для него, а кроме Матильды ему не с кем было удовлетворять страсть без опасений. Как ни была она красива, на любую другую женщину он теперь глядел с несравненно большим желанием, чем на нее. Однако, боясь, как бы его лицемерие не было разоблачено, не давал воли своим склонностям.

По натуре он вовсе не был робок, но его воспитывали в таком сильном страхе, что боязливость стала частью его характера. Если бы он провел юность в миру, то в нем открылось бы немало высоких и мужественных достоинств. Он был рожден предприимчивым, твердым и бесстрашным, с сердцем воина, и мог бы блистать во главе армии. В его натуре не было недостатка благородства. Несчастные всегда находили в нем

доброжелательного слушателя. Способности у него были быстрые и недюжинные, его разум отличали острота, глубина и рассудительность. Наделенный всем этим, он мог бы стать украшением родной страны. Еще в нежном младенчестве он выказывал такие свои качества, и его родители наблюдали пробуждение в нем этих достоинств с восхищением и радостью. К несчастью, он был еще совсем дитя, когда лишился родительских забот и оказался во власти родственника, который не чаял, как от него избавиться, а потому отдал его на попечение прежнего настоятеля капуцинского монастыря, своего друга. Аббат, монах до мозга костей, употреблял все усилия, внушая мальчику, что вне монастырских стен счастья нет. И он полностью преуспел. Самым честолюбивым желанием Амбросио было стать членом ордена святого Франциска. Его наставники ревностно подавляли в нем качества, величие и благородство которых не подходили для монастырской жизни. Вместо бескорыстной благожелательности в нем воспитали эгоистическое пристрастие к своему монастырю. Его научили считать сострадание к чужим заблуждениям и ошибкам самым черным преступлением. Искренность и открытость его натуры подменились услужливым смирением. Для того же, чтобы сломить в нем гордый от природы дух, монахи запугивали его незрелый ум всеми ужасами, которые могло подсказать им суеверие. Они живописали ему мучения погибших душ самыми темными, самыми жуткими и фантастическими красками и за маленькую провинность угрожали ему вечной гибелью. Неудивительно, что его воображение, постоянно питаемое этими страхами, взрастило в нем робость и опасливость. Вдобавок его раннее отлучение от мира и полное незнание с обычными житейскими опасностями представляло их ему гораздо страшнее, чем они были на самом деле. Монахи же, искореняя его достоинства и обедняя чувства, позволили всем присущим ему порокам расцвести пышным цветом. Ему разрешали гордыню, тщеславие, честолюбие и презрительность. Он ревновал к равным себе и презирал все успехи, кроме своих. Считая себя обиженным, он был неумолим и жесток в мести. Все же, вопреки всем усилиям извратить их, его природные добрые качества иногда прорывались из тьмы, в которую их старательно погружали. В таких случаях борьба за верховенство между его истинным и приобретенным характерами поражала и ставила в тупик тех, кто не был знаком с его первоначальными склонностями. Он обрекал провинившихся самым суровым карам, которые минуту спустя сострадание заставляло его смягчить. Он замышлял смелые деяния, но страх перед возможными последствиями вскоре вынуждал его отказаться от них. Его природный гений проливал яркий свет на самые темные материи, и тотчас суеверие возвращало их во тьму еще более непроницаемую, чем та, из которой он их на мгновение извлек. Другие монахи, считая его высшим существом, не замечали противоречий в поведении своего кумира. Как бы он ни поступал, в их глазах это было правильно, и они полагали, что у него есть веские основания менять собственные решения. Дело же было в том, что в его груди непрерывно вели борьбу чувства, данные ему природой, и чувства, привитые воспитанием, решить же, за которыми останется победа, предстояло его страстям, пока еще не вступившим в игру. К несчастью, страсти эти были наихудшими судьями, каких он только мог выбрать. До этого времени монастырское уединение шло ему на пользу, так как не давало случая выказать худшие его качества. Превосходство его талантов ставило его много выше остальной братии и не давало пищи для ревности и зависти. Его образцовое благочестие, замечательное красноречие и приятные манеры завоевали ему всеобщее уважение, и он не знал обид, за которые мог бы мстить. Его честолюбие оправдывали всеобщим признанием, а в гордыне усматривали лишь приличествующее уважение к себе. Он почти не видел женщин и никогда с ними не разговаривал. О радостях, даровать которые во власти женщин, он не знал ничего, а если ему приходилось во время ученых занятий читать, «что кто-то был влюблен, то он смеялся».

В течение некоторого времени скудная пища, долгие бдения и суровые налагаемые на себя епитимьи охлаждали и подавляли природную страстность его натуры. Но едва ему представился случай, едва он узнал про наслаждения, доселе неизвестные, как оказалось, что преграды религии слишком слабы, чтобы противостоять бурному потоку его желаний. Все

помехи сметались силой его темперамента, пылкого, полнокровного и сладострастного до чрезмерности. Остальные страсти еще дремали, но им достаточно было пробудиться, чтобы разыграть с таким же неукротимым неистовством.

Он продолжал восхищать Мадрид. Энтузиазм, вызываемый его красноречием, не только не шел на убыль, но возрастал. Каждый четверг – а он проповедовал только по четвергам – церковь Капуцинов заполняли толпы и его поучения выслушивались со все тем же восхищением. Он стал исповедником знатнейших семей Мадрида, и только те могли претендовать на успех в свете, кому давал причастие Амбросио. Он по-прежнему не отступал от своего решения не выходить за стены монастыря. Это только укрепляло веру в его святость и взыскательность к себе. Громче же всех хвалы ему пели женщины, под влиянием не столько благочестия, сколько его благородного лица, величественности и прекрасно сложенной изящной фигуры. С утра до вечера у монастырских ворот стояли кареты и самые знатные, самые красивые дамы Мадрида исповедовались аббату в тайных своих грешках. Глаза сладострастного монаха пожирали их прелести. Если бы кающиеся дамы посоветовались с этими толмачами, ему не потребовались бы иные средства для выражения своих желаний. На его беду, они безоговорочно веровали в его святость, и возможность того, что он прячет непристойные мысли, им и в голову не приходила. Как известно, жаркий климат немало влияет на темперамент испанских дам. Но даже самая развратная не усомнилась бы, что легче внушить страсть мраморному святому Франциску, чем зажечь ее в холодном и суровом сердце Амбросио.

Монах же был мало знаком с порочностью света. Он даже не подозревал, что лишь очень немногие из кающихся дам устояли бы перед ним. Но и будь ему это известно, мысль об опасности, сопряженной с такой попыткой, заградила бы ему уста. Он знал, что женщине будет трудно хранить столь неожиданную и столь важную тайну, как его падение, и нередко пугался мысли, не предаст ли его Матильда. Его слава была ему бесконечно дорога, и он понимал, как опасно отдать ее на милость тщеславной, вздорной бабенки, а так как мадридские красавицы воспламеняли только его любострастие, но не его сердце, он тут же забывал о них, стоило им уйти. Опасность разоблачения, страх быть отвергнутым, потеря доброй славы – все это требовало, чтобы он укрощал свои желания. И хотя теперь он был совершенно равнодушен к Матильде, ему приходилось довольствоваться ею.

Как-то утром исповедующихся собралось особенно много, и он оставался в исповедальне до позднего часа. Когда наконец их поток иссяк и он собрался покинуть часовню, в нее вошли две женщины и смиренно приблизились к нему. Они откинули покрывала, и младшая попросила его поговорить с ними несколько минут. Мелодичность ее голоса, который ни одного мужчину не оставлял безразличным, тут же обворожила Амбросио. Он остановился. Просительница выглядела очень удрученной. Ланиты ее были бледны, глаза полнились слезами, волосы в беспорядке падали на лицо и грудь. Однако лицо это было таким прелестным, таким невинным, таким небесным, что очаровало бы сердце и не такое податливое, как бывшее в груди аббата. Даже с большей, чем обычно, мягкостью он попросил ее продолжать, и вот что она ему сказала с волнением, которое возрастало с каждым мгновением:

– Святой отец, перед вами несчастная, которой угрожает потеря самого дорогого и почти единственного ее друга! Моя матушка, моя добрая матушка лежит на одре болезни. Вчера ночью ее вдруг сковал внезапный и страшный недуг. Он усиливается с такой стремительностью, что врачи не надеются ее спасти. У людей я помощи не нашла, и мне остается только взывать к Небесам, Отче, весь Мадрид полон рассказами о вашем благочестии и высоких добродетелях. Снизойдите помянуть матушку в ваших молитвах. Быть может, Всемогущий тогда пощадит ее, и если да, то даю обет каждый четверг в следующие три месяца ставить свечи перед святым Франциском во имя его.

«Ах, вот что! – подумал монах. – История с Росарио началась именно так!» – И он про себя пожелал, чтобы и на этот раз конец был бы такой же.

Он обещал исполнить ее просьбу, и она, изъявив горячую благодарность, продолжала:

– Я хочу просить еще об одной милости. Мы недавно в Мадриде. Матушке нужен духовник, но она не знает, к кому обратиться. Нам известно, что вы не выходите из аббатства, а бедная матушка, увы, не может прийти сюда. Святой отец, если бы в доброте своей вы прислали кого-нибудь, чьи мудрые и благочестивые утешения смягчили бы смертные муки матушки, вы навеки облагодетельствовали бы сердца, умеющие быть благодарными.

И эту просьбу монах обещал исполнить. Да и как он мог отказать, когда его умолял такой чудный голос. Просительница была так пленительна! Ее слова звучали такой гармоничной музыкой! Самые слезы, казалось, только придавали силу ее чарам. Он обещал прислать исповедника в тот же вечер и спросил адрес. Ее спутница подала ему карточку с адресом, а затем удалилась вместе с прекрасной просительницей, которая, прощаясь, призвала на аббата тысячу благословений за его милосердие. Он проводил ее взглядом и, лишь когда она покинула часовню, посмотрел на карточку и прочел следующее:

«Донья Эльвира Дальфа. Улица Сан-Яго, пятая дверь от дворца д'Альборонос».

Просительницей этой была не кто иная, как Антония, а сопровождала ее Леонелла. Последнюю лишь с трудом удалось уговорить, чтобы она проводила племянницу в монастырь. Амбросио внушал ей такой благоговейный страх, что она дрожала, только увидев его. Страх возобладал даже над природной ее болтливостью, и в его присутствии она не произнесла ни звука.

Монах вернулся в свою келью. Образ Антонии преследовал его. В груди у него пробудилась тысяча новых чувств, и он боялся разобраться в причине, их породившей. Они совсем не походили на те, которые вызвала в нем Матильда, когда открыла, что она женщина, и призналась ему в любви. Сластолюбие его молчало, никакие буйные желания не бушевали в груди, и воспаленное воображение не рисовало прелести, которые целомудрие скрывало от его глаз. Напротив, нежность, восхищение, уважение – вот что он испытывал теперь. Тихая, сладкая меланхолия проникла в его душу, и он не сменял бы ее на самые бурные восторги. Общество других стало ему противно, он звал одиночество, которое позволяло отдаваться чудным видениям. Все мысли его были кроткими, печальными и безмятежными, и во всем мире для него не существовало никого, кроме Антонии.

– Счастливец! – восклицал он в своем романтическом экстазе. – Счастливец тот, кому будет принадлежать сердце этой чудесной девушки. Какая пленительность черт, какое изящество всего облика! Сколь чарующа робкая невинность ее взоров и как не похожи они на буйный огонь сладострастия, горящий в глазах Матильды! Насколько слаще должен быть единственный поцелуй, сорванный с розовых уст одной, всех сладострастных милостей, сполна расточаемых другой! Матильда пресыщает меня наслаждениями до омерзения, насильно завлекает меня в свои объятия, подражает блудницам и упивается развратом. Мерзость! Знай она невыразимую пленительность целомудрия, его непобедимую власть над сердцем мужчины, догадываясь, какими неразрывными цепями оно приковывает его к престолу Красоты, так никогда бы не рассталась с ним. Какая цена слишком высока за любовь этой чудесной девушки? Чего бы я не согласился принести в жертву, лишь бы с меня были сняты мои обеты и я мог открыто объявить о моей любви перед всей землей и Небом? Как безмятежно и спокойно текли бы часы, пока я тщился бы внушить ей нежность, доверие, дружбу? Милостивейший Боже! Увидеть, как она поднимет скромно потупленные голубые очи и в них воссияет робкое чувство ко мне! День за днем, год за годом слышать этот кроткий голос! Обрести право услужить ей и услышать из ее уст безыскусные выражения благодарности! Следить за движениями ее чистого сердца! Поощрять расцвет каждой добродетели! Делить с ней радость, когда она счастлива, поцелуями осушать ее слезы, когда она в горе, увидеть, как она ищет моих объятий для утешения и поддержки! Да! Коль на земле есть ничем не омрачаемое блаженство, оно выпадет на долю того, кто станет мужем

этого ангела!

Пока его фантазия рисовала эти образы, он расхаживал по келье с самым расстроенным видом. Глаза его были устремлены в пустоту, голова склонилась на плечо, а когда он подумал, что для него это счастье недоступно, по его щеке скатилась слеза.

— Для меня она недостижима! — продолжал он. — Стать моей в брачном союзе она не может, а соблазнить такую невинность, воспользоваться ее доверием ко мне, чтобы ее погубить... О! Это было бы преступлением, чернее которого свет еще не видывал! Не страшись, чудесная девушка! Твоя непорочность в безопасности. И за богатство Индий не допущу я, чтобы эта нежная грудь стала приютом раскаяния!

Он несколько раз торопливо прошелся по келье, и тут его взгляд упал на изображение Мадонны, еще недавно предмет его благоговения. С негодованием сорвал он картину со стены, бросил на пол и оттолкнул ногой.

— Блудница!

Злосчастная Матильда! Ее любовник забыл, что она пожертвовала добродетелью ради него одного, и единственной причиной его презрения к ней было то, что она любила его слишком страстно.

Он бросился в кресло у стола и увидел карточку с адресом Эльвиры. Взяв ее в руку, он вспомнил про свое обещание прислать больной духовника. Несколько минут он пребывал в сомнении, но власть Антонию над ним была уже так сильна, что он недолго противился осевшей его мысли. Он сам будет этим духовником! Покинуть монастырь незаметно ему труда не составит. Капюшон он опустит низко, и на улицах его никто не узнает. Приняв эти предосторожности и потребовав у Эльвиры и ее близких свято хранить его тайну, он сумеет скрыть от всех остальных, что нарушил свою клятву никогда не покидать стен монастыря. Опасался он только бдительности Матильды, но, предупредив ее в трапезной, что весь день ему придется провести в келье, он полагал что обезопасил себя от ее недреманной ревности. И вот с наступлением часов, которые испанцы обычно посвящают своей сиесте, он украдкой вышел из монастыря через потайную дверь, ключ от которой хранился у него. Капюшон плаща он опустил ниже подбородка, а полуденный жар уже обезлюдил улицы. Монах, почти не встречая прохожих, отыскал улицу Сан-Яго и без помех дошел до дверей доньи Эльвиры. Он дернул колокольчик, был впущен и тут же проведен в верхнюю комнату.

Именно тогда опасность, что его узнают, была особенно велика. И будь Леонелла дома, так, конечно, и случилось бы. А ее болтливость не давала бы ей ни есть, ни спать, пока она не разблаговестила бы по всему Мадриду, что Амбросио переступил порог монастыря ради немощи ее сестры. Но судьба хранила монаха. По возвращении домой Леонелла нашла письмо, в котором ее извещали о кончине родственника, оставившего свое небольшое состояние ей и Эльвире. А потому она должна была незамедлительно отправиться в Кордову. При всей ее вздорности сердце у нее было истинно любящим, и она очень не хотела покидать больную сестру. Но Эльвира настояла, напомнив, что даже пустячное увеличение их состояния может очень пригодиться ее дочери, если она осиротеет. Итак, Леонелла покинула Мадрид, искренне горя о болезни сестры и испустив два-три вздоха при воспоминании о галантном, но непостоянном доне Кристобале. Она ничуть не сомневалась, что нанесла его сердцу глубокую рану, но, более не получая от него известий, заключила, что его оттолкнуло ее низкое происхождение. Ведь он же понимал, что без предложения руки и сердца ему ничего не добиться от такого дракона добродетели, как она. Или от природы капризное и переменчивое сердце графа остыло к ее чарам, плененное другой красавицей. Но какова бы ни была причина, Леонелла горько оплакивала его потерю. Тщетны, как она заверяла всех, кто по доброте слушал ее, были ее усилия вырвать его образ из своего слишком чувствительного сердца. Она напускала на себя вид чахнувшей от любви девственницы и доводила его до нелепости. Испускала стенания, расхаживала, скрестив руки на груди, произносила длиннейшие монологи, все больше о какой-нибудь покинутой деве, скончавшейся от разбитого сердца. Ее огненные локоны неизменно украшал венок из ивы. Каждый вечер она при лунном свете выходила на берег реки и провозглашала себя

преданной поклонницей журчащих потоков, соловьев.

Укромных рощ и гротов темной власти –
Любимых утешений Бледной Страсти.

Таково было душевное состояние Леонеллы, когда ей пришлось покинуть Мадрид. Эльвиру все эти причуды выводили из терпения, и она тщетно пыталась образумить сестру. Ее советы пропадали втуне, и, прощаясь, Леонелла заверила ее, что никогда не сможет забыть неверного дона Кристобаля. По счастью, она ошиблась. Честный кордовский юноша, ученик аптекаря, расчислил, что ее денег хватит, чтобы он мог завести собственную аптеку, и не замедлил объявить себя ее обожателем. Леонелла не была неумолима. Его пылкие вздохи растопили ее сердце, и вскоре дала согласие сделать его счастливейшим из смертных. Она написала сестре, оповещая ее о своем браке, но по причинам, которые будут объяснены в свое время, Эльвира ей не ответила.

Амбросио проводили в комнату, соседнюю с той, где отдыхала Эльвира. Впустившая его служанка вышла доложить госпоже, и Антония, сидевшая у одра матери, тотчас поспешила к нему.

– Простите меня, отче... – сказала она, умолкла, узнав его черты, и радостно вскрикнула. – Ужели это так? – продолжала она. – Или глаза меня обманывают? Ужели достойнейший Амбросио отступил от своего решения, чтобы облегчить муки лучшей из женщин? Каким утешением будет для моей матушки ваше посещение! Но я медлю и задерживаю наступление минуты, когда ваша мудрость и благочестие подкрепят и ободрят ее.

Эльвиру беседа с ним восхитила. Общие восторги заставили ее ожидать чего-то необыкновенного, но действительность далеко превзошла эти ожидания. Амбросио, от природы наделенный умением нравиться, разговаривая с матерью Антонии, не пожалел никаких усилий. Красноречивыми убеждениями он рассеял все ее страхи и успокоил все сомнения. Он напомнил ей о бесконечном милосердии ее Судии, отнял у Смерти ее жало, снял с нее покров ужаса и научил Эльвиру не трепетать перед бездной вечности, на краю которой она стояла. Эльвира внимала ему с вниманием и восхищением, и незаметно к ней возвращались уверенность и спокойствие духа. Она без колебаний открыла ему свои заботы и опасения. Последние, касавшиеся жизни грядущей, он уже рассеял, а теперь снял с нее и бремя первых, касавшихся жизни этой. Ее угнетала мысль о том, что будет с Антонией. Ей некому было поручить свою дочь, кроме маркиза де лас Систернаса и ее сестры Леонеллы. В покровительстве первого она не была уверена, ну, а Леонелла хотя и любила племянницу, была такой взбалмошной и тщеславной, что не могла стать единственной руководительницей юной и незнакомой с миром девушки. Монах, едва узнал причину ее тревог, сразу облегчил их. Он обещал, что Антония найдет безопасное убежище в доме одной из его духовных дочерей, маркизы Вилья-Франка, известной своей добродетельностью, строгими принципами и милосердными делами. Если же почему-либо Антония не сможет воспользоваться покровительством маркизы, он без труда устроит, чтобы ее приняли в какую-нибудь почтенную обитель. Разумеется, как пансионерку. (Эльвира еще раньше не очень лестно отзывалась о монастырской жизни, и монах то ли откровенно, то ли угодливо дал понять, что не считает ее неодобрение совсем необоснованным.)

Эти доказательства участия, которое он в ней принимал, окончательно покорили сердце Эльвиры. Благодаря его, она исчерпала все выражения, какие только способна подсказать признательность, и сказала, что теперь может спокойно сойти в могилу. Амбросио встал, прощаясь. Он обещал вернуться на другой день в тот же час, но попросил, чтобы его посещение сохранялось в тайне.

– Мне не хотелось бы, – сказал он, – чтобы отступление от моих правил, вызванное необходимостью, стало известно. Если бы я не принял решения не покидать стен монастыря, кроме случаев настоятельнейшей нужды, как та, что привела меня к вам, за мной начали бы

присылать по всяким пустякам и любопытствующие, томящиеся от безделия или склонные к фантазиям, отнимали бы время, которое теперь я провожу у одра болезней, утешая отходящего в мир иной с раскаянием в сердце, освобождая путь в вечность от терний.

Эльвира, равно восхищенная его предусмотрительностью и сострадательностью, обещала скрыть от всех честь, которую он ей оказал, и монах, благословив ее, вышел.

В передней комнате он нашел Антонию и не сумел отказать себе в удовольствии провести несколько минут с ней. Он утешил ее, сказав, что матушка ее обрела тихое спокойствие и что, по его мнению, нельзя оставлять надежду на ее выздоровление. Осведомившись, кто ее лечит, он обещал прислать ей врача из своего монастыря, одного из самых искусных в Мадриде. Затем принялся превозносить Эльвиру, расхваливая чистоту ее помыслов и душевную твердость, а также сказал, что она внушила ему высочайшее уважение. Невинное сердце Антонии преисполнилось благодарности. И вместо слез в ее глазах заблестала радость. То, как он говорил о ее матери, подав надежду на ее выздоровление, с теплым участием и в самых почтительных выражениях, вдобавок ко всему, что Антония слышала о его мудрости и благочестии, вдобавок к ее собственному впечатлению от его красноречия, еще увеличило восхищение, которое он внушил ей с первых же минут. Она отвечала ему с робостью, но без смущения. Не побоялась рассказать о всех своих маленьких печалях, маленьких страхах и тревогах и поблагодарила его за доброту с тем чистым жаром признательности, который в ответ на услугу переполняет юное и невинное сердце. Лишь такие сердца способны оценить благодеяние во всей его полноте. Те, что помнят о человеческом коварстве и эгоизме, даже одолжение принимают с недоверием и опаской, подозревая, что за ним может крыться какая-то ловушка и в один прекрасный день от них потребуют ответной услуги. И никакое доброе дело они не похвалят от души. Не такова была Антония. Ей мнилось, что все люди похожи на нее, и зло пока оставалось для нее тайной. Монах оказал ей неоценимую услугу, он говорил, что желает ей помочь, она была бесконечно признательна ему, и любые слова казались слишком холодными ее переполненному сердцу. С каким восхищением выслушивал Амбросио трогательные слова благодарности! Природное изящество ее манер, несравненная мелодичность голоса, целомудренная живость, неподражаемая грация, выразительное личико и глаза, в которых светился ясный ум, – все вызывало в нем упоение и восторг. А разумность и уместность ее мыслей обретали особую прелесть благодаря непринужденной простоте выражения, в которую они облекались.

В конце концов Амбросио пришлось прервать эту беседу, исполненную для него неисчерпаемого очарования. Он повторил Антонии свое желание, чтобы о его посещениях никто не знал, и она обещала строго соблюдать тайну. Затем он удалился, а его чаровница поспешила к матери, не зная, какое зло породила ее красота. Ей не терпелось узнать мнение Эльвиры о том, кого она так горячо восхваляла, и с восхищением она убедилась, что благоприятностью оно не уступает ее собственному, а то и превосходит его.

– Еще до того как он заговорил, – сказала Эльвира, – я уже была расположена к нему, а жар его наставлений, достоинство манер и убедительность рассуждений отнюдь не изменили первого моего впечатления. Особенно меня покорило его чудный, звучный голос. Но, Антония, мне кажется, я его уже слышала. Он показался моему слуху таким знакомым! Либо я была знакома с аббатом в давние времена, либо его голос обладает замечательным сходством с голосом, который я слышала множество раз. В нем были переливы, хватавшие меня за сердце и вызвавшие такие странные чувства, что я не находила им объяснения.

– Дражайшая матушка! То же впечатление его голос произвел и на меня. Но мы никак не могли его слышать, пока не приехали в Мадрид. Наверное, нам так кажется из-за приветливости его манер, не позволяющей видеть в нем чужого человека. Не знаю почему, но я разговариваю с ним свободнее, чем обычно с людьми малознакомыми. Я не боялась делиться с ним моими детскими мыслями и почему-то не сомневалась, что он выслушает мои глупенькие признания со снисходительностью. И я в нем не ошиблась! Он слушал меня с таким вниманием и добротой! Отвечал с такой ласковостью и мягкостью! Он не называл

меня ребенком и не обходился со мной пренебрежительно, как наш сердитый старый духовник в замке. Право же, проживи я в Мурсии хоть тысячу лет, все равно толстый дряхлый отец Доменик мне бы не нравился.

– Не спорю, манеры отца Доменика оставляли желать лучшего. Но он был честным, доброжелательным и участливым.

– Ах, милая матушка! Это же такие обычные качества!

– Дай Бог, дитя мое, чтобы опыт не научил тебя считать их столь редкими и бесценными, какими они кажутся мне! Но объясни, Антония, почему я не могла видеть аббата в прежние годы?

– Потому что, поступив в монастырь, он до сих пор никогда не выходил за его стены. Он мне рассказал даже, что, совсем не зная Мадрида, с трудом нашел нашу улицу, хотя она совсем рядом с монастырем.

– Пусть так, однако я могла его видеть и до того, как он затворился в монастыре. Ведь, для того чтобы выйти, прежде надо войти!

– Пресвятая Дева! Да, правда... Но он же мог родиться в монастыре?

Эльвира улыбнулась.

– Это маловероятно.

– Погодите, матушка! Теперь я вспомнила! Его отдали в монастырь еще во младенчестве. Простой народ говорит, что он упал с неба, как дар Пресвятой Девы капуцинам.

– Как любезно с ее стороны! Значит, он упал с неба, Антония? Как же он кувыркался в воздухе!

– Этому многие не верят, и, боюсь, милая матушка, к неверующим мне придется причислить и вас. Да и наша хозяйка говорила тетушке, что, по общему мнению, родители у него были бедными, не могли его прокормить и оставили у монастырских дверей сразу, как он родился. Покойный настоятель из милосердия воспитал его, а он оказался образцом добродетели, благочестия, учености и уж не знаю чего еще. Поэтому его приняли в члены ордена, а не так давно избрали настоятелем. Тем не менее правда ли первое или второе, но все соглашались, что монахи приютили его, когда он еще не умел говорить, а потому вы не могли слышать его голоса до того, как он поступил в монастырь, поскольку голоса у него еще не было.

– Ах, Антония, как убедительно ты рассуждаешь! Твои выводы неопровержимы. А я и не подозревала за тобой такой блистательной логичности!

– Вы смеетесь надо мной! Но тем лучше. Я так рада, что у вас хорошее настроение. И у вас такой спокойный вид, что, наверное, припадков больше не будет. Ах, я была уверена, что посещение аббата поможет вам!

– Оно мне очень помогло, дитя мое. Он успокоил некоторые мои страхи, и его участие уже принесло мне облегчение. У меня тяжелеют веки, и, пожалуй, я сумею заснуть. Задерни занавески, моя Антония. Но если до полуночи я не проснусь, не сиди со мной долее, исполни мою просьбу!

Антония обещала сделать как она хочет и, приняв ее благословение, задернула занавески кровати. Затем тихонько села за пяльцы и принялась коротать время, строя воздушные замки. Заметная перемена к лучшему, которую она заметила в Эльвире, ободрила ее, и воображение рисовало ей счастливые и приятные картины. В этих видениях будущего Амбросио занимал немалое место. Она думала о нем с радостью и благодарностью. Но на каждую мысль, достававшуюся монаху, две, если не больше, бессознательно дарились Лоренцо. Так продолжалось, пока куранты на колокольне церкви Капуцинов поблизости не пробили полночь. Вспомнив настояния своей матери, Антония повиновалась им, хотя и с неохотой. Она осторожно отдернула занавески. Эльвира была погружена в глубокий, спокойный сон. Мертвенная бледность болезни исчезла с ее щек, улыбка показывала, что ей снятся приятные сны. Когда Антония наклонилась над ней, ей почудилось, что она слышит свое имя. Нежно поцеловав мать в лоб, она ушла к себе в спальню и преклонила колени

перед статуей святой Росолии, своей небесной заступницы. Она поручила себя Небесам, а после молитвы, как было у нее в обычае с нежного детства, тихонько пропела следующие строфы:

ПОЛУНОЧНОЕ ПЕСНОПЕНИЕ

Все стихло, день давно угас.
Вот отзвучал курантов бой.
Тебя, полночный грозный час,
Встречаю с чистою душой.

Настало время колдунов,
Что черной полнится бедой.
И из разверзшихся гробов
Выходят мертвецы чредой.

Безгрешна в мыслях и делах,
Своей невинностью сильна,
С мольбой смиренной на устах
Покой ищу в объятьях сна.

Вас, ангелы, благодарю,
Что днесь я спасена была
И что с презрением смотрю
На хитрые тенета зла.

Но вдруг, не ведая о том,
Я в помыслах своих грешу
И делом согрешу потом?
У вас я помощи прошу!

Откройте в сновиденьях мне,
Где праведный сыщу я путь,
И, снизойдя к моей вине,
Не дайте мне с него свернуть!

От нечисти молю ночной
Спасти, мой мирный сон храня.
О, пусть ни бес, ни домовой,
Ни чары не смутят меня!

От искусительных речей
Мой сонный слух вы оградите,
Кошмары черные ночей
В час сей ко мне не допустите!

Но, полный света и чудес,
Целительный пошлите сон!
Пусть сферы дивные Небес
Моим глазам откроет он,

Обитель ангелов и ту,
Где созерцают Божий Лик
Те, что хранили чистоту
Всю жизнь и в свой последний миг.

О, научите в этом сне,
Как обретают благодать!
Как от греха спастись мне
И как себя добру отдать!

Пусть утром и в вечерний час
Дано мне было бы излить
Хвалу Создателю и вас,
О ангелы, благодарить.

Пороков буду я бежать,
Завет ваш бережно храня,
И все ошибки исправлять,
Как вы научите меня.

Когда же плоть, как должно быть,
Могильный призовет покой
И Смерть приблизится закрыть
Глаза мне дружеской рукой,

Я жребий свой не прокляну,
Сует меня не влек обман,
И чистым Господу верну
Мой дух, каким он был мне дан.

Завершив еженощные свои молитвы, Антония легла. Вскоре сон овладел всеми ее чувствами, и несколько часов она наслаждалась тем сладостным забытием, которое ведомо только невинности и за которое не один монарх с радостью отдал бы свою корону.

ГЛАВА IV

*..... О как темны
Унылые приделы эти, где
Царят безмолвие и тьма, черна,*

*Как черный Хаос до рожденья Солнца,
Пока светила юного лучи
С ним не вступили в бой! Огарок жалкий,
Чуть озаряя каменные своды
В разводах плесени и мерзкой слизи,
Лишь ужасы вокруг усугубляет,
И ночь твою он делает страшнее!*
БЛЕЙР

Амбросио вернулся в монастырь никем не замеченный. В воображении его теснились приятнейшие образы, и он упрямо закрывал глаза на опасность, которой подвергался, ища общества Антонии. Он помнил только, какое удовольствие оно ему доставляло, и радовался будущим его повторениям. И он не преминул воспользоваться недугом Эльвиры, чтобы ежедневно видеть ее дочь. Вначале он ограничивался стремлением приобрести дружбу Антонии, но едва убедился, что внушил ей это чувство сполна, как его цель стала более решительной, а знаки внимания более пылкими. Невинная простота ее обхождения с ним распаляла его желания. Став привычной, ее непорочность уже не вызвала у него прежнего уважения и благоговения. Он все еще восхищался ее чистотой, но тем сильнее жаждал отнять у нее то, что составляло главное ее очарование. Жар страсти и природная проницательность, которой он, к несчастью для Антонии и для себя, был наделен в большой мере, успешно обучали его искусству соблазнения. Он легко угадывал чувства, способствующие его замыслам, и жадно пользовался каждым случаем, чтобы вдохнуть яд порчи в грудь Антонии. Но это оказалось трудным делом. Чрезвычайное простодушие мешало ей распознать цель, к которой вели вкрадчивые намеки монаха, однако безупречная нравственность, заботливо воспитанная в ней Эльвирой, верно направленный ясный ум и твердые, привитые ей природой понятия о том, что благо, а что нет, вызывали у нее ощущение, что построения его неверны. Нередко она несколькими безыскусными словами опрокидывала всю систему его софизмов, и он видел, насколько они слабы перед ликом Добродетели и Истины. В таких случаях он прибегал к помощи красноречия и ошеломлял ее потоками философских парадоксов, опровергнуть которые она не могла, ибо не понимала их. Вот так, хотя ему и не удавалось убедить ее в верности своих рассуждений, он все-таки мешал ей обнаружить их фальшь. Он замечал, что ее доверие к его мудрости возрастает с каждым днем, и не сомневался, что со временем внушит ей все необходимые понятия.

Притом он отдавал себе отчет в преступности своих намерений и видел всю низость попытки соблазнить невинную девушку. Однако страсть его была слишком неистовой, чтобы он мог отказаться от своего плана, и монах решил довести его до конца, какими бы ни были последствия. Ему необходимо было застать Антонию в минуту слабости. Насколько ему было известно, ни один мужчина в ее обществе допущен не был, ни она, ни Эльвира ни о ком не упоминали, и он воображал, что ее юное сердечко свободно. Пока он выжидал случая удовлетворить свою преступную похоть, его холодность к Матильде увеличивалась день ото дня. Немало тому способствовало сознание его вины перед ней. Но ему не удавалось совладать с собой настолько, чтобы скрыть от нее такую перемену. Тем не менее он боялся, что в припадке ревнивой ярости она выдаст тайну, от которой зависела его добрая слава и даже жизнь. Не заметить его равнодушия Матильда не могла. Он понимал, что она догадывается, и, опасаясь ее упреков, старался не видаться с ней. Однако, когда ему не удавалось избежать встречи, ее кротость, казалось, могла бы убедить его, что ему незачем опасаться ее злобы. Перед ним вновь был кроткий, задумчивый Росарио. Она не упрекала его за неблагодарность, но ее наполненные невольными слезами глаза, тихая меланхоличность ее лица и голоса жаловались куда трогательнее, чем это могли бы выразить слова. Амбросио не оставался бесчувственным к такой печали, но скрывал это, так как удалить ее причину не мог. Поведение же Матильды убеждало его, что ему незачем опасаться ее мщенья, и он продолжал пренебрегать ею, старательно избегая ее общества. Она видела, что ее попытки вернуть его нежность остаются тщетными, но подавляла порывы возмущения и продолжала

обходиться со своим непостоянным любовником с прежним чувством и заботливостью.

Мало-помалу здоровье Эльвиры поправилось. Припадки более не повторялись, и Антония перестала трепетать за жизнь матери. Амбросио же следил за ее выздоровлением с досадой. Он видел, что Эльвиру, хорошо знающую свет, личина святости не обманет и она легко разгадает, какую судьбу он готовит ее дочери. А потому решил подчинить невинную Антонию своему влиянию прежде, чем ее мать покинет одр болезни.

Однажды вечером, убедившись, что Эльвира уже почти совсем здорова, он попрощался с ней раньше обыкновенного и, не найдя Антонии в передней комнате, осмелился войти в ее спальню, которая отделялась от спальни ее матери лишь чуланчиком, где обычно спала Флора, их служанка. Антония сидела на диване спиной к двери, погруженная в чтение. Она не услышала его шагов и заметила его присутствие, только когда он сел рядом с ней. Она вздрогнула, но радостно с ним поздоровалась и встала, намереваясь проводить его в гостиную. Однако Амбросио взял ее за руку и ласково понудил снова опуститься на диван. Она послушалась спокойно, не понимая, почему разговаривать с ним в одной комнате менее прилично, чем в другой. Она полагала себя под надежной защитой и его правил и своих собственных, а потому, сев рядом с ним, начала разговор с обычной своей живостью и непринужденностью.

Амбросио взял посмотреть книгу, которую она читала, а теперь положила на стол. Это была Библия.

«Как! – сказал себе монах. – Антония читает Библию и все еще так не осведомлена?»

Однако, полистав страницы, он увидел, что Эльвира предвосхитила его мысль. Эта благоразумная мать, хотя и восхищалась красотами Святого Писания, была убеждена, что для юной девушки нет более неподходящего чтения. Многие места могли лишь пробудить мысли, не приличествующие порядочной женщине. Ведь там все называется своим именем, прямо и без обиняков, и даже в анналах борделя трудно найти больший выбор непристойных выражений. И вот эту-то книгу рекомендуют читать юным девушкам, ее вкладывают в руки детей, неспособных проникнуть много глубже тех мест, с которыми им лучше оставаться незнакомыми и которые столь часто сеют первые семена порока и первыми будят еще спящие страсти! В этом Эльвира была настолько убеждена, что скорее предпочла бы вложить в руки дочери «Амадиса Галльского», или «Доблестного рыцаря», или «Тиранте Белого» и скорее разрешила бы ей знакомиться с озорными похождениями «Дона Галаора» или похабными шуточками «Девуцы Пласер». Поэтому касательно Библии она приняла два решения. Во-первых, что Антония не будет читать ее, пока не достигнет возраста, когда будет способна понимать ее красоты и извлекать пользу из ее поучений. И во-вторых, что она сама перепишет ее для дочери, либо изменив, либо опустив все непристойные места. Свое решение она выполнила, и вот эту-то Библию и читала Антония. Она получила ее совсем недавно и читала с жадностью, с невыразимым восхищением. Амбросио обнаружил свою ошибку и положил Библию назад на стол.

Антония заговорила о выздоровлении матери со всей пылкой радостью юного сердца.

– Меня восхищает ваша дочерняя привязанность, – сказал аббат. – Она показывает, сколь превосходна и чувствительна ваша натура. Она сулит сокровища тому, кому Небесами назначено стать предметом вашей привязанности. Грудь, способная одаривать подобным чувством родительницу, чем не одарит она возлюбленного! Или, быть может, уже одарила? Ответьте мне, прелестная дочь моя, знаете ли вы, что такое любить? Ответьте мне искренне, забыв о моем одеянии, видя во мне только друга.

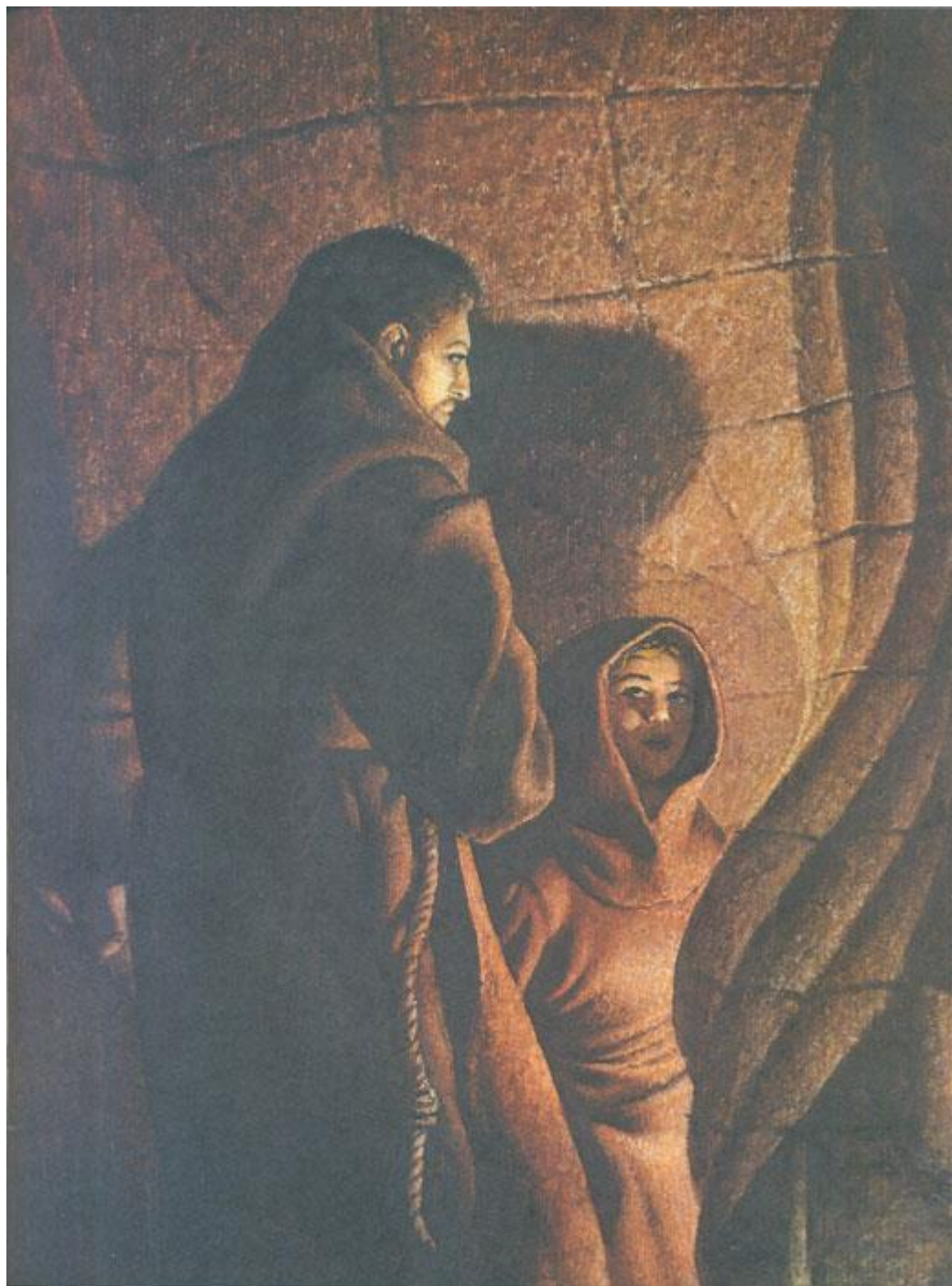
– Что такое любить? – повторила Антония. – О да! Разумеется. Я любила многих, очень многих.

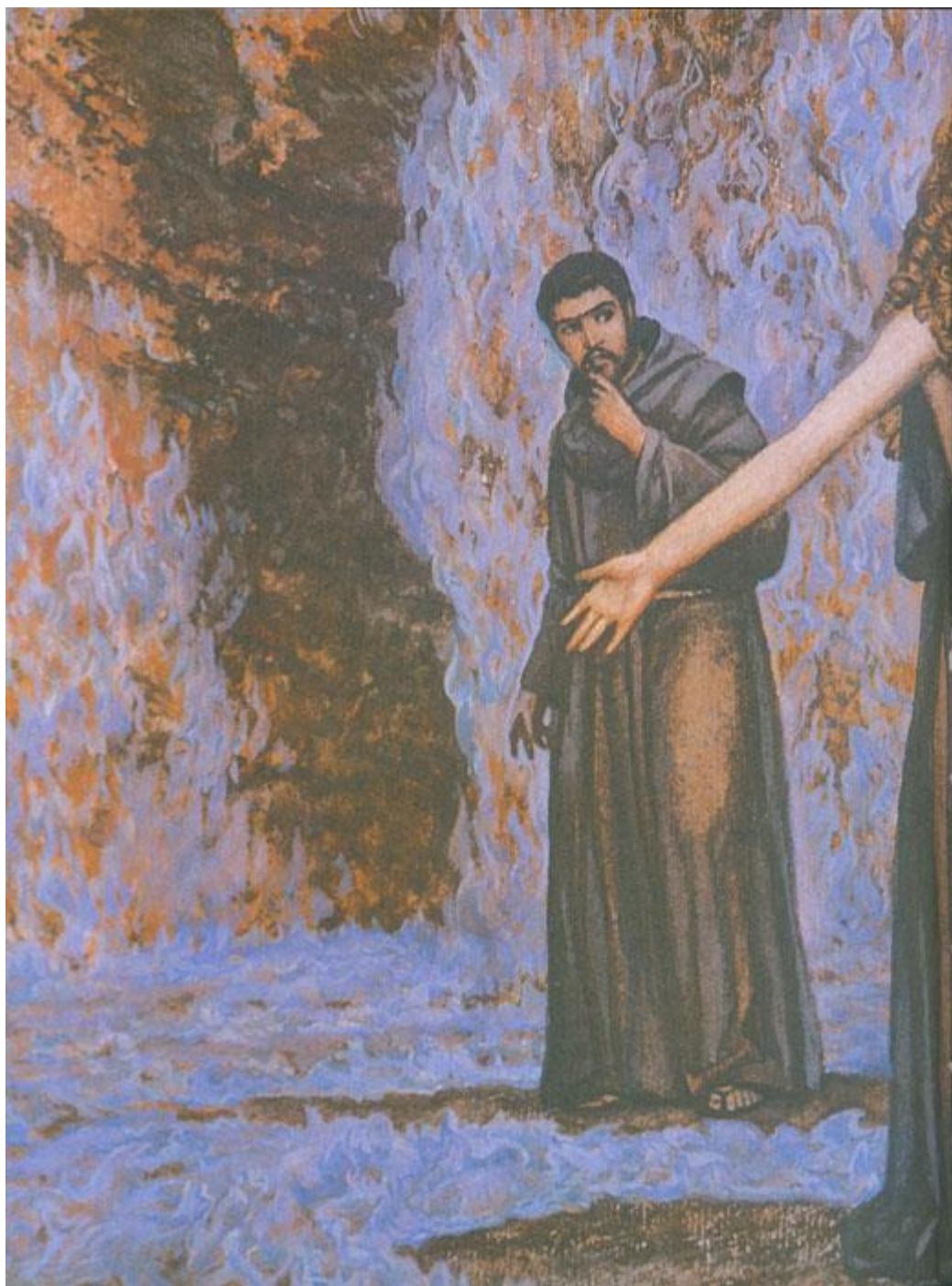
– Я говорил о другом. О любви, которую можно питать лишь к одному. Или вы никогда не встречали мужчины, которого хотели бы назвать своим мужем?

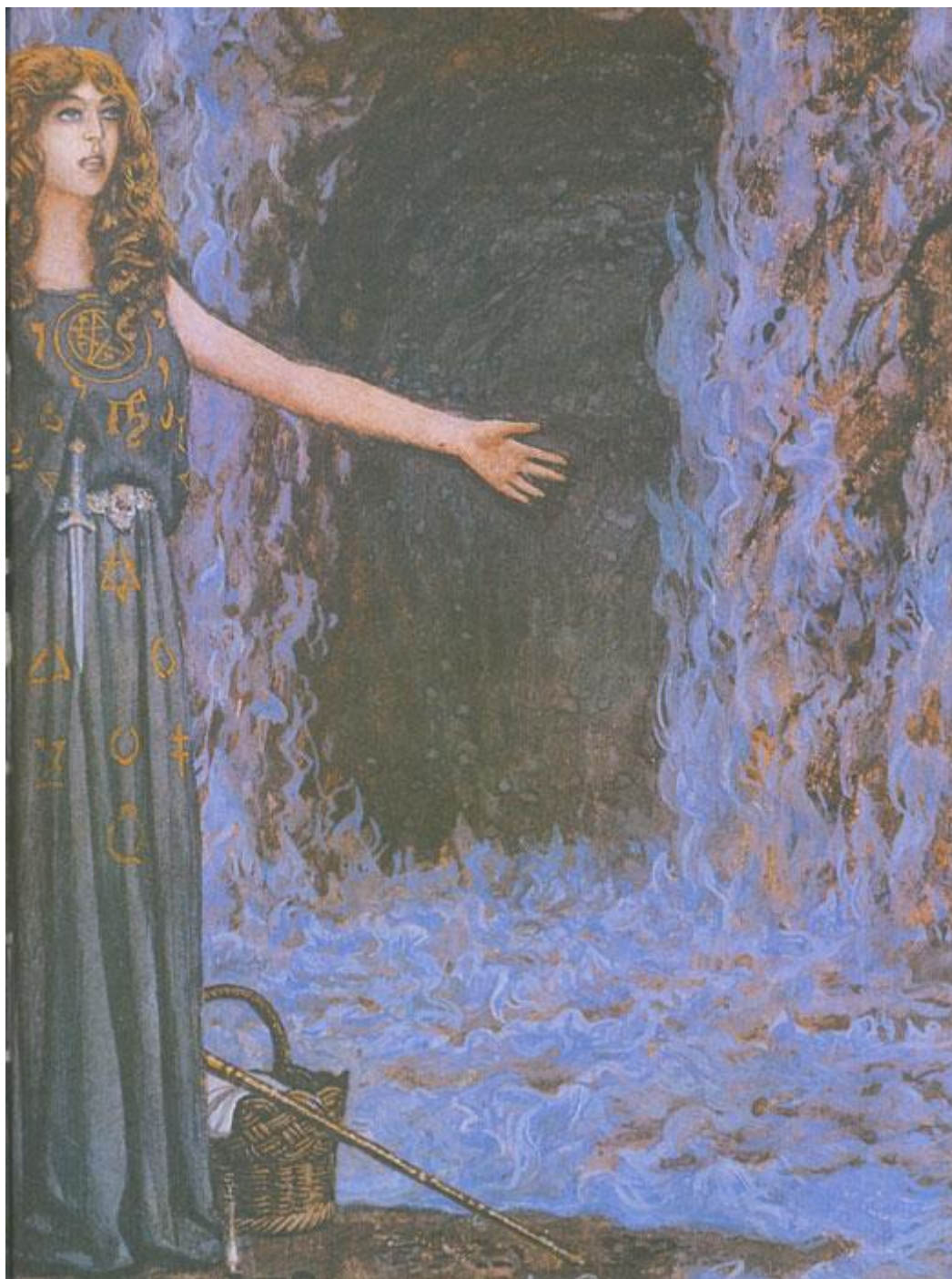
– О! Нет, никогда.

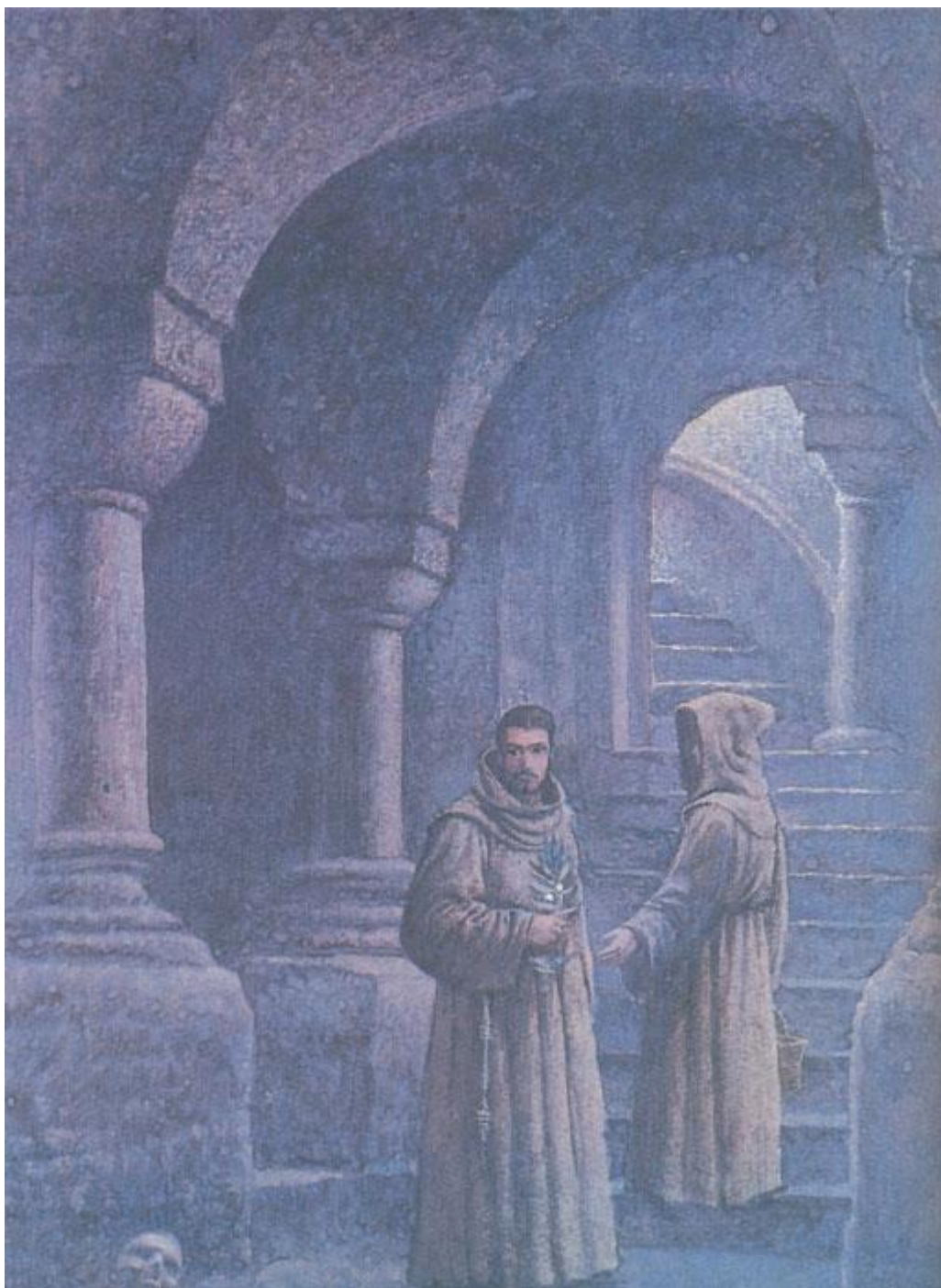
Она сказала неправду, но сознательной ложью это не было: она просто не понимала природы своего чувства к Лоренцо, а так как после его первого визита к Эльвире они не

виделись, с каждым днем его образ слабел в ее памяти. К тому же она думала о муже со всем ужасом юной девственницы и ответила отрицательно на вопрос монаха без малейшего колебания.









– И вы не томитесь желанием увидеть этого мужчину, Антония? Не ощущаете пустоты в сердце, которую ищете заполнить? Не вздыхаете из-за разлуки с кем-то дорогим вам, хотя вы не знаете, кто он? Не замечаете, что прежде приятное вас более не прельщает? Что тысяча новых желаний, новых мыслей, новых чувств переполняет вашу грудь – таких, что их невозможно описать? Или, пока вы воспламеняете все сердца, ваше собственное остается бесчувственным и холодным? Возможно ли это? О нет! Этот томный взгляд, краснеющие ланиты, чарующая томная грусть, порой одевающая ваши черты, – все это опровергает ваши слова. Вы любите, Антония, и от меня вам этого не скрыть!

– Отче, вы меня изумляете! Что такое эта любовь, о которой вы говорите? Мне неведома ее природа, и если бы я ее испытывала, то почему бы мне ее скрывать?

– Разве, Антония, вы никогда не встречали мужчины, который с первого взгляда показался бы вам тем, кого вы давно искали? Чей облик сразу показался бы вам знакомым? Чей голос пленял бы вас, успокаивал, проникал бы в самую вашу душу? Чье присутствие вас

радовало бы, чье отсутствие огорчало? Кому открывалось бы ваше сердце, на чьей груди вы с доверием излили бы все свои заботы? Ужели вы ничего подобного не чувствовали, Антония?

– Конечно, чувствовала. В первый раз, когда я вас увидела, я все это почувствовала.

Амбросио вздрогнул. Он не решался поверить своим ушам.

– Меня, Антония? – вскричал он, его глаза заблестели восторгом и нетерпением, и, схватив ее руку, он страстно прижал ее к губам. – Меня, Антония? Ты испытывала ко мне все эти чувства?

– Даже с еще большей силой, чем вы описали. В тот миг, когда я вас увидела, я почувствовала такую радость, такой интерес! С таким нетерпением ждала услышать ваш голос, а когда услышала, он показался таким чудесным! Он говорил со мной на языке неведомом! Мнилось, он рассказывал мне обо всем том, о чем я хотела услышать. Казалось, я знаю вас долго-долго и у меня есть право на вашу дружбу, ваш совет, вашу защиту! Когда вы ушли, я заплакала и думала только о том, когда увижу вас снова.

– Антония! Моя пленительная Антония! – вскричал монах, прижимая ее к груди. – Могу ли я поверить своим чувствам? Повтори же, милая моя девочка! Скажи еще раз, что любишь меня, любишь искренне и нежно!

– О да! Кроме матушки, в мире нет никого мне дороже!

После столь откровенного признания Амбросио утратил над собой власть. Обезумев от желания, он сжал в объятиях краснеющую, трепещущую девушку и алчно прижал губы к ее губам, всасывая ее душистое дыхание, дерзкой рукой посягая на сокровища ее груди, обвивая вокруг себя ее мягкие, гибкие члены. Застигнутая врасплох, испуганная девушка, не понимая, что происходит, от неожиданности лишилась было сил к сопротивлению. Но затем, опомнившись, начала вырываться из его объятий.

– Отче... Амбросио... – кричала она. – Отпустите меня во имя Бога!

Но сладострастный монах не слушал ее молений и не только не ослабил объятий, но предпринял еще большие вольности. Антония просила, плакала и вырывалась. Вне себя от страха сама не зная перед чем, она напрягла все силы, чтобы оттолкнуть монаха, и готова была уже звать на помощь, как вдруг дверь распахнулась. Амбросио с трудом, но опомнился, отпустил свою жертву и поспешно поднялся с дивана. Антония с радостным криком бросилась к двери и очутилась в объятиях матери.

Эльвиру встревожили некоторые речи аббата, которые Антония в невинном неведении пересказывала ей, и она решила проверить справедливость своих подозрений. Она достаточно хорошо знала людей, чтобы всеми восхваляемая добродетельность монаха ее не ослепила. Ей припомнились некоторые пустячные обстоятельства, которые, вместе взятые, казалось, оправдывали ее страхи. Его частые посещения, которые, насколько она могла судить, ограничивались только ее домом, его видимое волнение, когда она заговаривала об Антонии, его цветущие, полнокровные лета, а главное, его опасная философия, о которой она узнавала от Антонии и которая не согласовывалась с тем, что он говорил в ее присутствии, – все это внушило ей сомнения в чистоте его дружбы. Поэтому она решила в следующий же раз, когда он останется наедине с Антонией, застать его врасплох. План ее удался. Правда, когда она вошла в комнату, он уже оставил свою жертву, но беспорядок в одежде ее дочери, стыд и смятение на лице монаха неопровержимо показывали, что подозрения ее более чем оправдались. Однако она была слишком осторожна, чтобы выдать их. Разоблачить монаха, полагала она, было бы нелегким делом, так как от него все без ума, а у нее нет влиятельных друзей. Нажить такого опасного врага она тоже не хотела и потому, сделав вид, будто не замечает его растерянности, спокойно опустилась на диван, сочинила какую-то правдоподобную причину, почему она покинула свою спальню, и с притворной невозмутимостью заговорила о разных пустяках.

Успокоенный ее поведением, монах несколько оправился и старался отвечать Эльвире как ни в чем не бывало, но искусство притворства было ему еще внове, и он опасался, что выглядит растерянным и неловким. Вскоре он прервал беседу и поднялся, прощаясь. Какова

же была его злость, когда Эльвира самым учтивым образом сказала ему, что совершенно здорова и не чувствует себя вправе долее лишать его общества тех, кому оно может быть нужнее. Она заверила его в вечной своей благодарности за облегчение, которое во время болезни ей приносили его присутствие и наставления, и посетовала, что ее домашние дела, не говоря уж о миллионах обязанностей, которые накладывает на него сан, в будущем лишат ее радости его посещений. Хотя сказано все это было любезнейшим образом, намек был очевиден. Тем не менее он было приготовился возражать, но выразительный взгляд Эльвиры принудил его промолчать. Он не осмелился возразить ей, как собирался, что посещения ее дома ему вовсе не в тягость, – этот взгляд убедил его, что он разоблачен. А потому он принял ее слова молча, торопливо простился и вернулся в монастырь с сердцем, полным ярости и стыда, горечи и разочарования.

Антония, когда он ушел, почувствовала облегчение, хотя это не помешало ей искренне посетовать, что больше она его никогда не увидит. Эльвира тоже втайне опечалилась; мысль, что он им друг, приносила ей столько радости, что она не могла не посожалеть о необходимости изменить мнение о нем. Но она настолько свыклась с зыбкостью дружбы в этом мире, что новое разочарование недолго причиняло ей боль, и она попыталась дать понять своей дочери, какой опасности та подвергалась. Но говорить она могла только обиняками, чтобы, снимая с ее глаз повязку неведения, не сорвать и покрывало невинности. Поэтому она удовлетворилась тем, что напонила Антонии об осмотрительности и строго приказала никогда не принимать аббата наедине, если он все-таки и впредь будет их навещать. Антония обещала помнить о ее наставлениях.

Амбросио поспешил в свою келью. Он затворил за собой дверь и в отчаянии бросился на постель. Жар желания, мучительное разочарование, стыд, что его застигли, страх перед прилюдным разоблачением наполняли его грудь невыносимым смятением. Он не знал, что делать дальше. Лишившись возможности видаться с Антонией, он уже не мог надеяться на удовлетворение страсти, которая теперь стала частью его жизни. Думая о том, что тайной его владеет женщина, он содрогнулся от ужаса, когда созерцал разверзшуюся перед ним пропасть, и от ненависти, когда вспоминал, что уже овладел бы предметом своих желаний, если бы не Эльвира. Осыпая ее ругательствами, он грозил отомстить ей и поклялся, что Антония будет принадлежать ему любой ценой. Вскочив с кровати, он принялся расхаживать по келье на подгибающихся ногах, выл от бессильной злобы, кидался на стены и предавался всем крайностям бешенства и безумия.

Он все еще был во власти этой бури чувств, когда услышал легкий стук в дверь кельи. Понимая, что его голос мог быть слышен в коридоре, он не посмел отослать непрошеного гостя восвояси, но попытался успокоиться и скрыть возбуждение. Когда в какой-то мере это ему удалось, он отодвинул засов. Открылась дверь, и вошла Матильда.

В эту минуту ее присутствие было ему тягостнее любого другого. У него не хватило твердости скрыть свое раздражение. Он отступил на шаг и нахмурился.

– Я занят, – сказал он поспешно и сурово. – Оставь меня!

Но Матильда не послушалась его, а задвинула засов и приблизилась к нему с кротким, умоляющим видом.

– Прости меня, Амбросио, – сказала она, – но ради тебя повиноваться тебе я не могу. Не страшись моих жалоб! Я пришла не упрекать тебя за неблагодарность. Я прощаю тебя от всего сердца и, раз твоя любовь более мне не принадлежит, прошу лишь немногим менее драгоценном даре – твоим доверии и дружбе. Мы не вольны в своих склонностях. Малая красота, которую ты когда-то находил во мне, исчезла вместе с новизной, и если более она не возбуждает желания, вина лежит на мне, а не на тебе. Но зачем столь упорно избегать меня? Почему ты бежишь моего присутствия? Тебя гнетет печаль, и ты не хочешь разделить ее со мной; тебя терзает разочарование, и ты не хочешь принять мои утешения; твои планы не удаются, и ты запрещаешь мне прийти к тебе на помощь! Вот на что я жалуюсь, а не на твоё равнодушие к моим прелестям. Я отказалась от прав любовницы, но ничто не заставит меня отречься от прав дружбы.

Ее кротость оказала немедленное воздействие на чувства Амбросио.

– Великодушная Матильда! – сказал он, беря ее руку. – Как высоко стоишь ты над глупыми слабостями своего пола! Да, я принимаю твое предложение. Мне нужен советчик и наперсник. В тебе я нахожу и того и другого. Но помочь моим планам... Ах, Матильда! Это не в твоей власти!

– Ни в чьей власти, кроме моей! Амбросио, я знаю твою тайну. Каждый твой шаг, каждый твой поступок подмечался моим внимательным взором. Ты любишь!

– Матильда!

– Зачем скрывать это от меня? Не опасайся мелкой ревности, пятнающей большинство женщин. Моя душа презирает столь низкое чувство. Ты любишь, Амбросио, и твое пламя – Антония Дальфа. Я знаю все обстоятельства, сопутствовавшие твоей страсти. Каждый твой разговор мне известен, мне сообщили о твоей попытке насладиться Антонией, твоей неудаче и изгнании из дома Эльвиры. Теперь ты в отчаянии, что уже никогда не овладеешь своей возлюбленной. Но я пришла воскресить твои надежды и указать путь к успеху.

– К успеху? О! Невозможно!

– Для тех, кто дерзает, невозможного нет. Положись на меня, и ты еще можешь быть счастлив. Настало время, Амбросио, когда забота о твоём счастье и спокойствии вынуждает меня открыть тебе то, чего ты еще не знаешь обо мне. Выслушай, не перебивая. Если моя исповедь внушит тебе омерзение, вспомни, что моя единственная цель – удовлетворить твои желания и вернуть твоему сердцу мир, ныне его покинувший. Я уже упоминала, что мой опекун был человеком редких знаний, и он позаботился напитать этими знаниями мой детский ум. Среди различных наук, которые любознательность подвигла его изучить, он не пренебрег и той, которую большинство почитает кощунственной, а многие – химеричной. Я говорю об искусствах, кои связаны с миром духов. Глубоко исследуя причины и следствия, безустанно изучая натурфилософию, познав во всей полноте свойства и качества каждого драгоценного камня в земных недрах, каждой травы, рождаемой землей, он в конце концов обрел могущество, которого столь долго и столь упорно искал. Любознательность его была вознаграждена сполна, честолюбие удовлетворено. Он повелевал стихиями, он мог изменять законы природы, его глаза читали скрижали будущего, и адские духи повиновались его приказам. Почему ты отшатнулся от меня? Я понимаю, о чем вопрошает твой взгляд. Твои подозрения верны, хотя твой ужас напрасен. Мой опекун не скрывал от меня даже самые драгоценные свои знания. Однако если бы я никогда не видела тебя, то никогда бы не прибегла к своей власти. Подобно тебе я содрогалась при мысли о магии; подобно тебе я рисовала жуткие последствия попытки вызвать демона. Но чтобы сохранить жизнь, которую твоя любовь научила меня ценить, я прибегла к средствам, употребить кои страшилась. Ты помнишь ночь, которую я провела в склепах обители святой Клары? Вот тогда-то, окруженная тлеющими костями, я осмелилась совершить таинственные обряды, кои призывали мне на помощь павшего ангела. Суди же, какой была моя радость, когда я убедилась, что страхи мои были воображаемыми. Я увидела, как демон покорствуется моим приказам, я увидела, как он трепещет моих нахмуренных бровей, и убедилась, что не продала душу господину, а купила себе раба.

– Опрометчивая Матильда! Что ты сделала? Ты обрекла себя на вечную гибель! Ты променяла вечное блаженство на мгновенную власть! Если исполнения моих желаний можно достичь с помощью волхвований, я отвергаю твою помощь со всей решимостью. Слишком ужасны последствия. Я обожаю Антонию, но не настолько ослеплен любострастием, чтобы пожертвовать ради обладания ею жизнью на земле и жизнью вечной!

– Глупые суеверия! Красней, Амбросио, красней, что они владеют тобой. Что опасного, если ты примешь мое предложение? Зачем я убеждала бы тебя сделать этот шаг, если бы не думала только о том, как вернуть тебе счастье и душевный мир? Если бы и была опасность, она угрожала бы только мне. Это я призову духов, и, значит, грех будет моим, а вся выгода от него – твоей. Но опасности нет никакой. Враг рода человеческого мой раб, а не мой повелитель. Или нет разницы между изданием законов и подчинением им, между служением

и приказаниями? Очнись от пустых мечтаний, Амбросио! Отбрось ужасы, столь недостойные души, подобной твоей! Оставь их ничтожным людям и дерзай быть счастливым! Пойди со мной в склепы обители святой Клары сегодня же ночью, будь свидетелем моих заклинаний, и Антония – твоя!

– Обрести ее подобными средствами я не могу и не хочу. Перестань убеждать меня, ибо я не смею прибегать к помощи Ада.

– Ты не смеешь! О, как ты меня обманул! Ум, который я почитала великим и дерзновенным, оказывается слабым, детским и трусливым, рабом глупых заблуждений и более робким, чем женский!

– Как? Отдавая себе полный отчет в опасности, должен ли я подставить себя ухищрениям Искушителя? Мне отказаться от права на вечное спасение? Должны ли мои глаза искать зрелища, которое, я знаю, ослепит их? Нет, нет, Матильда, я не вступаю в союз с Врагом Божиим.

– Так, значит, ты сейчас друг Божий? Разве ты не нарушил данные Богу обеты, не отрекся от служения ему и не предался прихотям своих страстей? Разве ты не строишь планы, как восторжествовать над невинностью? Как погубить создание, сотворенное Им по ангельскому подобию? Если не к демонам, так к кому же ты обратишься за помощью в таком похвальном деле? Или серафимы посодействуют ему и приведут Антонию в твои объятия, взяв под свой покров твои грешные страсти? Какая нелепость! Но я не обманута, Амбросио! Не добродетель понуждает тебя отвергнуть мое предложение. Ты хотел бы его принять, но не смеешь. Не страх перед преступлением останавливает тебя, но страх перед наказанием. Не благоговение перед Богом, но ужас перед Его отмщением! Ты рад был бы оскорблять Его тайне, но трепещешь объявить себя Его врагом открыто. Стыд и позор трусливой душе, у которой не хватает отваги быть либо верным другом, либо честным врагом!

– С ужасом взирать на грех, Матильда, уже заслуга. И тут я горжусь, признавая, что я трус. Хотя страсти понудили меня преступить законы добродетели, в сердце своем я храню врожденную любовь к ней. Но не тебе упрекать меня в нарушении обетов – не тебе, кто первая соблазнила меня нарушить клятвы, кто первая разбудила во мне спящие пороки, заставила почувствовать бремя цепей, налагаемых религией, и убеждала, что в грехе есть наслаждения. Но пусть мои нравственные устои уступили силе плотских страстей, во мне еще сохранилось достаточно благочестия, чтобы содрогнуться перед волхвованиями и избежать греха столь чудовищного, столь неискупимого!

– Неискупимого, говоришь ты? А где же твои хвастливые уверения, что милосердие Всемогущего беспредельно? Или Он на днях назначил ему пределы? И более не принимает грешника с радостью? Ты оскорбляешь Его, Амбросио! У тебя всегда будет время покаяться, а доброта Его неизреченна! Так дай же Ему доказать эту доброту. Чем больше твое преступление, тем больше Его милость в прощении. Прочь эти детские угрызения! Дай убедить себя ради твоей же пользы и последуй за мной в склепы!

– О, замолчи, Матильда! Этот насмешливый тон, этот дерзкий, кощунственный смех отвратительны в любых устах и тем более в женских! Оставим разговор, который не вызывает ничего, кроме ужаса и омерзения. Я не последую за тобой в склепы и не приму услуг твоих адских пособников. Антония будет моей, но моей человеческими средствами!

– Тогда твоей она не будет никогда. Мать открыла ей глаза на твои замыслы, и теперь она остережется. Более того: она любит другого. Юноша, достойный и благородный, владеет ее сердцем и, если ты не помешаешь, через несколько дней объявит ее своей невестой. Эти известия принесли мне мои невидимые служители, к которым я обратилась, едва заметив твое равнодушие. Они следили за каждым твоим действием, сообщали мне обо всем, что происходило в доме Эльвиры, и внушили мне мысль помочь тебе в твоих замыслах. Их вести были единственным моим утешением. Хотя ты избегал меня, я знала все, что ты делал. Да, благодаря этому бесценному дару я постоянно была как бы рядом с тобой!

С этими словами она достала со своей груди зеркало из отполированной стали, по краям которого располагались странные и неведомые знаки.

– Среди всех моих печалей, всей моей скорби из-за твоей холодности меня спасали от отчаяния свойства этого талисмана. Стоит произнести некие слова, и в нем появляется тот или та, на ком сосредоточены мысли смотрящего. Вот так, Амбросио, хотя меня ты прогнал с глаз своих, мои взирали на тебя неотрывно.

Любопытство монаха было сильно возбуждено.

– Того, что ты говоришь, невозможно вообразить! Матильда, ты не шутишь над моей доверчивостью?

– Пусть судьей будут твои собственные глаза.

Она вложила зеркало ему в руку. Любопытство понудило его посмотреть в зеркало, а любовь – пожелать, чтобы в нем явилась Антония. Матильда произнесла магические слова. В тот же миг из знаков по краям поднялись клубы дыма и расползлись по поверхности. Затем дым понемногу рассеялся и глазам монаха предстало хаотичное смешение красок и образов, но тотчас они распределились по нужным местам, и он узрел прелестную фигуру Антонии в миниатюре.

В гардеробной, примыкавшей к ее спальне, Антония раздевалась, готовясь принять ванну. Ее длинные волосы были уже уложены, и сластолюбивый монах получил полную возможность рассмотреть пленительные формы и восхитительную симметрию ее фигуры. Она сбросила последний покров, подошла к приготовленной для нее ванне и опустила в нее ножку. Вода показалась ей холодной, и она помедлила. Хотя она не знала, что за ней наблюдают, врожденная стыдливость заставила ее прикрывать свои прелести, и она нерешительно стояла у края ванны в позе Венеры Медицейской. В этот миг к ней подлетела ручная коноплянка, опустилась между ее персями и принялась поклевывать их в амурной игре. Улыбаясь, Антония тщетно пыталась прогнать пичужку, подергивая плечами, и наконец подняла руки, чтобы спугнуть ее с этого восхитительного гнездышка. Амбросио не мог более терпеть. Его желания перешли в бешенство.

– Я уступаю! – вскричал он, бросая зеркало на пол. – Матильда! Я последую за тобой! Делай со мной что хочешь!

Она не стала ждать, чтобы он повторил свое согласие. Уже наступил полуночный час, и она побежала к себе в келью, откуда вскоре вернулась с корзинкой и ключом от кладбищенской калитки, который оставался у нее после первого посещения склепов. Она не дала монаху ни минуты на размышления.

– Идем! – сказала она и взяла его за руку. – Следуй за мной и познай следствия своей решимости!

Сказав это, она торопливо увлекла его за собой. Никем не замеченные, они прошли на кладбище, открыли дверь подземелья и оказались перед лестницей, спускающейся к склепам. До той минуты путь им освещала полная луна, но сюда ее лучи не достигали. Матильда же забыла взять светильник. Не выпуская руки Амбросио, она спускалась по мраморным ступенькам. Но непроницаемый мрак вокруг вынуждал их двигаться медленно и осторожно.

– Ты дрожишь! – сказала Матильда своему спутнику. – Не страшись. Назначенное место близко.

Они сошли с последней ступеньки и направились дальше, касаясь рукой стены. Внезапно за поворотом забрезжило слабое сияние. Туда они и направили свои стопы. Сияние исходило от кладбищенской лампы, неугасимо горевшей перед статуей святой Клары. Она отбрасывала тусклые, унылые лучи на массивные столпы, поддерживающие своды, но огонек ее был слишком слаб, чтобы рассеять густую тьму, в которую были погружены склепы.

Матильда взяла лампаду.

– Подожди меня здесь, – сказала она монаху. – Я вернусь через две-три минуты.

С этими словами она торопливо скрылась в одном из коридоров, которые расходились от этого места в разных направлениях, образуя подобие лабиринта. Амбросио остался один. Его окружал глубокий мрак, способствуя сомнениям, вновь зашевелившимся в его груди. Он был увлечен сюда в миг безумия и в присутствии Матильды подавлял их, стыдясь выдать

свой ужас. Но теперь, когда он пребывал наедине с собой, они обрели прежнюю силу. Он содрогался при мысли о том, чему скоро должен был стать свидетелем. Он не знал, какую власть обманы магии могли обрести над его рассудком, толкнув на деяние, которое сделает разрыв между ним и Небесами непоправимым. Оказавшись перед столь ужасным выбором, он готов был молить Бога о помощи, но понимал, что отрекся от права на Его защиту. С радостью возвратился бы он в монастырь, но они миновали столько склепов и извилистых коридоров, что он не сумел бы найти лестницу. Судьба его была решена. Нигде он не видел возможности спасения. А потому попытался отогнать страхи и призвал на помощь все доводы, которые могли укрепить его мужество перед тем, что предстояло. Он подумал, что наградой за дерзновение будет Антония; он воспламенил свое воображение, перечисляя ее прелести; он убеждал себя, что – как указала Матильда – у него всегда будет время покаяться и что прибегает он к ее помощи, а не к помощи демонов, а потому в грехе волхвования повинен не будет. Он много читал о чародействе и черной магии, а потому знал, что Сатана не будет над ним властен, пока он не подпишет договор, отрекаясь от вечного спасения. Этого же он твердо решил не делать, чем бы ему ни угрожали, какими бы благами ни соблазняли.

Таковыми были его размышления, пока он ожидал Матильду. Но их прервал тихий шепот, раздававшийся словно бы неподалеку. Он вздрогнул и прислушался. Несколько мгновений длилась тишина, затем шепот раздался снова. Казалось, кто-то стонет в тяжких муках. При любых других обстоятельствах звуки эти только пробудили бы в нем любопытство, теперь же им овладел ужас. Мысли его были настолько заняты чародейством и злыми духами, что ему почудилось, будто возле него бродит неприкаянная душа или же что Матильда стала жертвой своего самомнения и погибает, раздираемая жестокими клыками демонов. Звуки эти как будто не приближались, но продолжали раздаваться с перерывами. Иногда они становились более громкими, несомненно оттого, что муки усиливались. Иногда Амбросио казалось, что он различает слова, а один раз, вне всяких сомнений, услышал, как слабеющий голос воскликнул:

– Боже! О Боже! Нет надежды, нет спасения...

За этими словами последовали еще более тяжкие стоны. Они постепенно замерли, и все стихло.

«Что это значит?» – думал в недоумении монах.

И вдруг ему в голову пришла мысль, поразившая его новым ужасом. Он содрогнулся от омерзения к себе.

– Ужели это так? – невольно простонал он. – Ужели это может быть так! О, какое же я чудовище!

Он хотел было разрешить сомнения и исправить свою ошибку, если еще не поздно, но тут же оставил эти благие и сострадательные намерения, так как вернулась Матильда. Он забыл стоны страдания, занятый лишь мыслями о собственном неясном и опасном положении. Свет лампы ложился на стены, и мгновение спустя перед ним предстала Матильда. Она сбросила монашеское одеяние. Теперь ее окутывала длинная черная мантия, расшитая неведомыми золотыми знаками и стянутая поясом из драгоценных камней, к которому был пристегнут кинжал. Шея и руки Матильды были обнажены. Она держала золотой жезл. Распущенные волосы буйной волной ниспадали ей на плечи, глаза горели устрашающим огнем, и все в ней должно было внушать трепет и восхищение.

– Следуй за мной! – произнесла она низким торжественным голосом. – Все готово.

Объятый дрожью, монах повиновался. Она повела его по узким переходам, и лампада освещала по сторонам лишь предметы, внушающие боязливое отвращение, – черепа, скелеты, гробницы и статуи, глаза которых, казалось, взирали на них с удивлением и ужасом. Наконец они вошли в обширную пещеру, столь высокую, что взгляд тщетно искал в вышине ее своды. Все окутывала тьма. Смердные испарения поразили холодом сердце монаха, и он с тоской слушал завывания ветра, вдруг промчавшегося по мрачным склепам. Тут Матильда остановилась и повернулась к Амбросио. Его щеки и губы побелели от страха. Взглядом,

исполненным презрения и гнева, она упрекнула его за робость, но не разомкнула уст. Поставив лампаду на пол возле корзины, она сделала Амбросио знак хранить молчание и начала таинственный обряд. Очертила монаха кругом, второй круг очертила вокруг себя, затем достала из корзины маленький фиал и окропила пол перед собой. Потом нагнулась над этим местом, прошептала какие-то невнятные слова, и тотчас из земли вырвалось бледное сернистое пламя. Оно росло, росло и вскоре разлилось волнами по всей пещере, не касаясь только кругов, в которых стояли монах и Матильда. Затем оно взбежало по огромным столпам из нетесаного камня, заскользило по сводам и преобразило пещеру в гигантский грот из голубоватого колеблющегося огня. Оно не испускало жара, напротив, холод подземелья, казалось, усиливался с каждой минутой. Матильда продолжала произносить заклинания. Порой она вынимала из корзины предметы, названия и назначения которых монаху за немногим исключением известны не были. Узнал он лишь три человеческих пальца и *Agnus Dei*,¹⁷ который она разломала на мелкие куски. Все это она бросила в пламя перед собой, и оно мгновенно их пожрало.

Монах следил за ней с боязливым любопытством. Внезапно она испустила громкий пронзительный крик и словно впала в бешенство безумия: рвала волосы, била себя в грудь, дико взмахивала руками, а затем выхватила кинжал из ножен у пояса и погрузила его в левую руку. Обильно хлынула кровь, но Матильда стояла у самой черты и позаботилась, чтобы она не попадала внутрь круга. Пламя отпрянуло от места, куда лилась кровь. Из окровавленной земли медленно поднялись клубы черного дыма и продолжали подниматься, пока не достигли сводов. Тут же загрохотал гром, эхо зловеще зарокотало в темных переходах, и земля содрогнулась под ногами чародейки.

Вот теперь монах раскаялся в своей опрометчивости. Мрачная необычайность обряда подготовила его к чему-то поразительному и жуткому. Он со страхом ждал появления духа, о приближении которого возвестили гром и землетрясение. В смятении он смотрел по сторонам, ожидая увидеть адское видение и сойти с ума от одного взгляда на него. Холодный озноб сотрясал его тело, и он опустился на колено, не в силах устоять.

– Он грядет! – радостно провозгласила Матильда.

Амбросио окаменел, в агонии ожидая демона. Каково же было его удивление, когда гром перестал грохотать и в воздухе разлилась гармоничная музыка. Тотчас рассеялся дым, и монах узрел фигуру более прекрасную, чем могла измыслить кисть воображения. Это был юноша на вид не достигший еще восемнадцати лет, телосложением и лицом превосходивший самые дивные грезы. Он был нагим, во лбу у него сверкала яркая звезда, за плечами алели два крыла, а шелковые кудри охватывала лента из многоцветных огней, которые играли на его челе, слагались в разнообразные узоры и блеском превосходили любые драгоценные камни. Руки у локтей и ноги у лодыжек были унизаны алмазными обручами, а в правой руке он держал миртовую ветвь, выкованную из серебра. Фигура его, окруженная облаками розового света, ослепительно сияла, и в миг его появления пещеру наполнило тончайшее благоухание. Очарованный видением, столь противным его ожиданиям, Амбросио созерцал духа с изумлением и восторгом. Однако, как ни прекрасен был вид демона, он заметил необузданное буйство в его глазах и печать неизъяснимой меланхолии на его лице, выдававшую в нем падшего ангела и внушавшую зрелищем его тайный ужас.

Музыка смолкла. Матильда заговорила с духом на языке, неведомом монаху. Казалось, она настаивает на чем-то, чего демон не хочет исполнить. Он часто метал в Амбросио гневные взгляды, и всякий раз сердце в груди монаха замирало. Матильда как будто начинала негодовать. Она заговорила громко, повелительным тоном и, судя по жестам, угрожала ему. Угрозы ее возымели желаемое действие: дух опустился на одно колено и

¹⁷ Агнец Божий (*лат.*). Восковой диск с изображением Христа и агнца, благословенный папой. (*Примеч. переводчика.*)

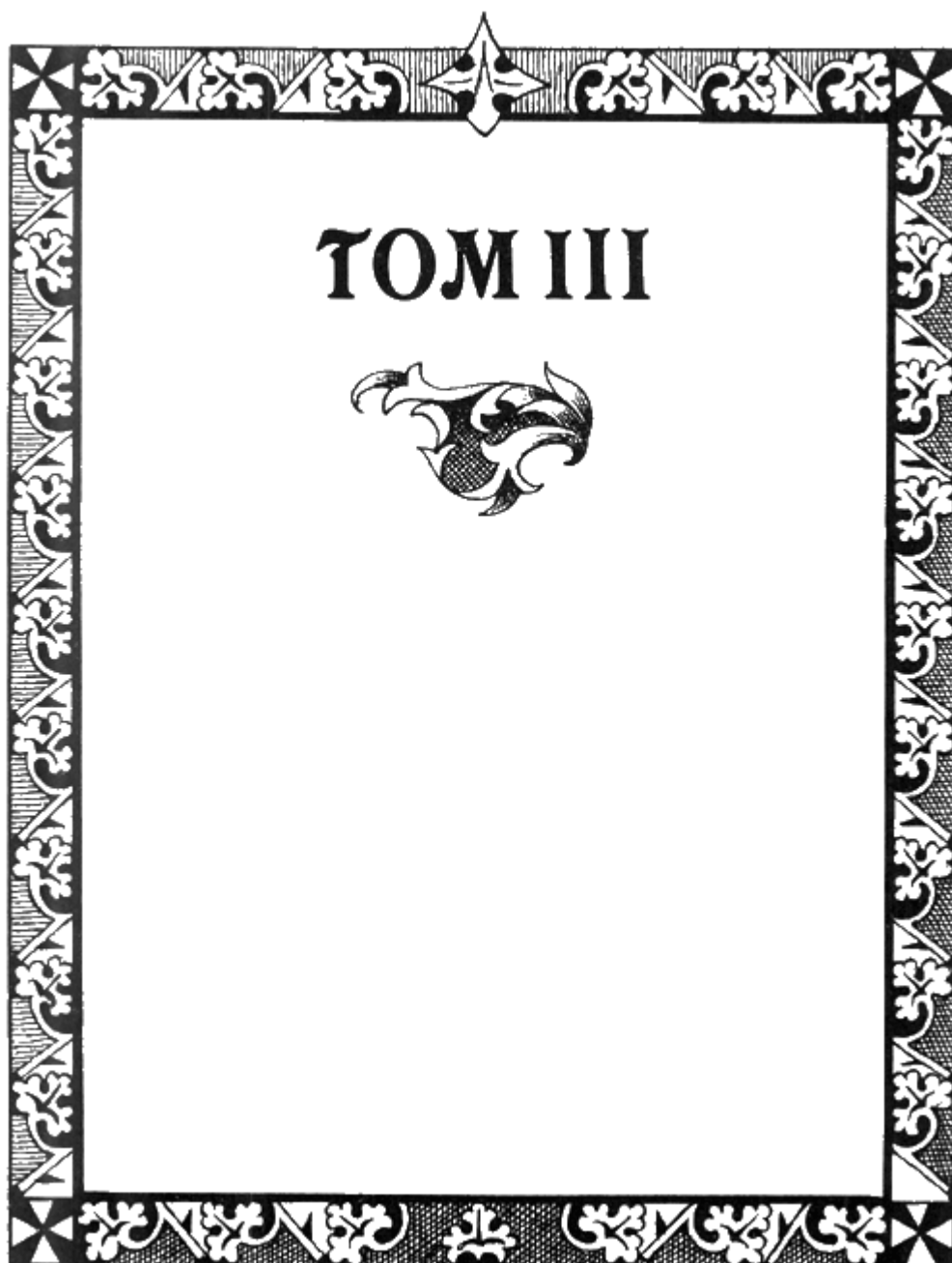
умиротворяющим движением протянул ей миртовую ветвь. Едва Матильда взяла ее, как вновь зазвучала музыка, видение окуталось густым облаком, голубоватое пламя исчезло и в пещере воцарилась полная тьма. Аббат не шелохнулся. Он окаменел от блаженства, тревоги и удивления. Наконец тьма немного рассеялась. Рядом с собой он увидел Матильду в ее монашеском одеянии и с миртовой ветвью в руке. Лишь эта ветвь напоминала о магических обрядах, и подземелье освещалось лишь тусклыми лучами лампы.

– Я преуспела, – сказала Матильда, – хотя далось это мне труднее, чем я предполагала. Вызванный мною на помощь Люцифер вначале не хотел подчиниться моей воле, и, чтобы добиться его согласия, мне пришлось пустить в ход самые могучие мои чары. Они возымели желанное действие, но я обязалась больше никогда не прибегать к его услугам ради тебя. Так осмотрительнее распорядись случаем, который более тебе не представится. Моя осведомленность в магии для тебя отныне бесполезна. В будущем на сверхъестественную помощь ты можешь надеяться, только если сам вызовешь демонов и примешь условия, на каких они обещают служить тебе. Но этого ты никогда не сделаешь. Требуется великая сила воли, чтобы принудить их к повиновению, а если ты не уплатишь назначенную ими цену, служить тебе они не станут. Лишь только эту услугу они согласились оказать тебе. Ты получишь от меня средство насладиться своей возлюбленной и будь разумен, не упусти этого случая. Прими сей звездный мирт. Пока ты будешь держать его в руке, любая дверь распахнется перед тобой. Завтра ночью он откроет тебе доступ в спальню Антонии. Тогда дохни на него, трижды произнеси ее имя и положи его к ней на подушку. Смерти подобный сон немедленно овладеет ею и лишит ее сил противиться твоим посягательствам. Сон будет держать ее в оковах до утра. И ты сможешь удовлетворить свои желания без опасности разоблачения. Ибо, когда дневной свет разрушит чары, Антония узнает про свое бесчестие, но насильник останется ей неведом. Будь же счастлив, мой Амбросио, и пусть эта услуга убедит тебя, что моя дружба бескорыстна и чиста. Однако близок конец ночи, вернемся же в монастырь, прежде чем наше отсутствие будет замечено и вызовет удивление.

Аббат взял талисман с безмолвной признательностью. События ночи ввергли его в такую растерянность, что он не в силах был выразить свою благодарность вслух или даже в полной мере оценить ее дар. Матильда, взяв лампаду и корзину, вывела монаха из таинственной пещеры. Лампаду она поставила перед статуей святой, и путь к лестнице они продолжали в темноте. Первые лучи восходящего солнца, падавшие на ступеньки, помогли им подняться. Матильда и аббат покинули подземелье, заперли за собой дверь и вскоре добрались до западной галереи монастыря. Им никто не встретился, и они без помех вернулись в свои кельи.

Смятение Амбросио мало-помалу улеглось. Он радовался удачному завершению ночного предприятия и, вспомнив свойства мирта, уже видел Антонию в своей власти. Воображение вновь нарисовало ему тайные красоты, которые открыло магическое зеркало, и он, изнывая от нетерпения, торопил полночь.





ТОМ III



ГЛАВА I

*Трещит сверчок, и дух усталый ищет
Во сне отдохновенья. Так Тарквиний,*

*Раздвинув полог тихо, разбудил
Невинность оскорбленьем! Киферея!
Ты украшение ложа своего,
Ты лилий чище и белее простынь.
«ЦИМБЕЛИН»*

Все поиски, предпринятые маркизом де лас Систернасом, оказались тщетными. Агнеса была потеряна навсегда! Отчаяние столь губительно подействовало на него, что он тяжело заболел и не мог навестить Эльвиру, как намеревался, она же, не зная причины, испытывала немалую тревогу. Смерть сестры помешала Лоренцо сообщить дяде свои намерения относительно Антонии, а запрет, наложенный ее матерью, не позволял ему навестить их без согласия герцога, и Эльвира, не получая от него никаких известий, заключила, что либо он нашел себе невесту с более завидным положением, либо ему было приказано выбросить из головы все мысли о ее дочери. С каждым днем судьба Антонии тревожила ее все более. Пока она полагалась на покровительство аббата, ей было легче переносить разочарование, которым обернулись ее надежды на Лоренцо и маркиза. Теперь она лишилась и этой опоры. У нее не было сомнений, что Амбросио замыслил погубить ее дочь. И когда она думала о том, что после ее смерти Антония останется одна без друзей и защитников в таком низком, таком коварном и порочном мире, самые горькие предчувствия переполняли ее сердце. В подобные минуты она долго сидела, глядя на обворожительную девушку, и, казалось, слушала ее безыскусственную болтовню, но на самом деле размышляла о горестях, в которые ее может ввергнуть любой наступающий час. Потом внезапно сжимала дочь в объятиях, опускала голову к ней на грудь и орошала ее слезами.

Тем временем зрело событие, которое, зная она о нем, сразу избавило бы ее ото всех тревог. Лоренцо теперь ждал лишь благоприятного случая, чтобы рассказать герцогу о своем намерении жениться. Однако неожиданное обстоятельство заставило его отложить исполнение своего намерения на несколько дней.

Недуг донна Раймонда как будто усиливался. Лоренцо не отходил от его постели и ухаживал за ним с заботливостью поистине братской. И причина и следствия этой болезни были столь же тяжки брату Агнесы, однако горе Теодора не уступало ему в искренности. Этот честный отрок ни на минуту не покидал своего господина и прибегал ко всем доступным ему средствам, чтобы утишить и облегчить его страдания. Маркиз питал такую верную любовь к своей умершей нареченной, что не мог пережить ее утрату, как видели все, кто его окружал. Полагая, что спасти от угасания его может лишь вера в то, что она жива и нуждается в его помощи, они всячески подкрепляли в нем эту веру, его единственное утешение, хотя сами ее отнюдь не разделяли. Ежедневно ему докладывали, что о судьбе Агнесы ведутся розыски, сочиняли истории о новых попытках проникнуть в обитель и добавляли подробности, которые хотя и не обещали скорого ее воссоединения с ним, однако поддерживали в нем надежду. Когда маркизу говорили, что вот опять ничего не удалось, он впадал почти в безумие и все-таки даже думать не желал, что дальше будет так же, а, наоборот, не сомневался, что следующий раз принесет успех.

Один лишь Теодор с величайшим усердием следовал химерам своего господина. Он все время придумывал планы, как проникнуть в обитель или хотя бы выведать у монахинь какие-нибудь сведения об Агнесе. Только стремление осуществить каждый новый план имело власть отлучить его от одра донна Раймонда. Он превратился в подлинного Протея и каждый день менял свой облик, но от его метаморфоз никакого толка не было, и он возвращался во дворец де лас Систernas, вновь не найдя обоснований для надежд своего господина. Однажды ему взбрело в голову переодеться нищим. Он заклеил пластырем левый глаз, взял с собой гитару и расположился у ворот монастыря святой Клары.

«Если Агнеса и правда заточена там, – размышлял он, – то, услышав мой голос, она его узнает и, быть может, найдет способ оповестить меня о себе». С этой мыслью он вешался в толпу убогих калек, ежедневно собиравшихся у ворот обители в ожидании похлебки,

которую монахини раздавали в полдень. Все приносили миски или кувшины, чтобы было в чем ее унести. Но у Теодора ничего с собой не было, и он попросил разрешения съесть свою порцию похлебки у ворот обители. Получил он его без всяких затруднений. Его мелодичный голос и приятное, несмотря на завязанный глаз, лицо завоевали сердце доброй старой привратницы, которая с помощью белицы оделяла сырых похлебкой. Теодору было велено подождать, пока остальные не разойдутся, а тогда его покормят. Ничего другого он не желал, так как явился туда не ради похлебки. Поблагодарив привратницу за ее сострадательность, он отошел от ворот, сел на большой камень и принялся настраивать гитару.

Едва нищая братия разошлась, как привратница поманила Теодора к воротам и пригласила его войти. Он подчинился с величайшей готовностью, хотя переступил освященный порог с притворным трепетом, всем своим видом выражая боязливое благоговение перед саном своих благодетельниц. Его нарочитая робость польстила монахиням, и они поспешили его ободрить. Привратница увела его в свою келейку, а белица сходила на кухню и вернулась с двойной порцией похлебки, куда более наваристой, чем та, которой угощали нищих. Привратница добавила кое-какие фрукты и печенье из собственных запасов, и обе они принялись радушно потчевать отрока. На их заботы он отвечал тысячью благодарностей и призывал на них благословение Небес за их милосердие. Пока он ел, они восхищались тонкостью его черт, красотой волос, ловкостью и изяществом всех его движений. Шепотом они сетовали, что такой чудесный отрок подвергается всем мирским соблазнам, и соглашались, что он мог бы стать достойным столпом католической церкви. В конце концов они решили, что Небесам будет оказана истинная услуга, если они упроят настоятельницу походатайствовать перед Амбросио, чтобы юного нищего приняли в орден капуцинов.

Привратница, пользовавшаяся в обители немалым влиянием, тотчас поспешила в келью настоятельницы, где такими яркими красками описала достоинства Теодора, что старуха захотела на него посмотреть. Тем временем лженищий обиняками расспрашивал белицу о судьбе Агнесы, но все, что она говорила, только подтверждало слова настоятельницы. Она сказала, что Агнеса сразу после возвращения с исповеди тяжело заболела и больше не вставала с постели и что она присутствовала на похоронах. Причем добавила, что не только своими глазами видела покойницу, но и помогала уложить ее в гроб. Теодор приуныл, однако решил довести дело до конца, раз уж ему открылся доступ в обитель.

Вернулась привратница и приказала ему следовать за ней. Он подчинился, и она привела его в приемную, где у решетки уже стояла настоятельница, окруженная монахинями, которые собрались там в чаянии развлечения. Теодор поклонился им с величайшим почтением, и даже сурово нахмуренное чело настоятельницы разгладилось. Она задала ему несколько вопросов о его родителях, вере и причинах, обрекших его на нищенство. Ответы его не оставляли желать ничего лучшего и были чистейшей ложью. Затем его спросили, что он думает о монашестве. Ответ его дышал благоговейным восторгом. На это настоятельница сообщила ему, что поступление его в монастырь не так уж невозможно и что его нищета перестанет быть препятствием благодаря ее покровительству, если она убедится, что он его достоин. Теодор заверил ее, что заслужить ее милость станет заветнейшей его целью, и настоятельница, приказав ему явиться на следующий день, когда она его еще порасспрашивает, удалилась из приемной.

Монахини, до тех пор из почтения к настоятельнице молчавшие, теперь сгрудились у решетки и засыпали Теодора множеством вопросов. Он уже внимательно рассмотрел их всех, но, увы, Агнесы между ними не увидел. А они так перебивали друг друга, что отвечать им не было никакой возможности. Одна, заметив его иностранный акцент, интересовалась, где он родился, другая желала узнать, почему он носит пластырь на глазу. Сестра Елена осведомилась, нет ли у него родной сестры, сходной с ним, — она была бы ей чудесной подругой, а сестра Рахиль не сомневалась, что сам брат оказался бы еще более чудесным другом. Теодор забавлялся, угощая доверчивых монахинь всеми небылицами, какие могло измыслить его неистощимое воображение. Он, не скупясь, живописал свои приключения и

повергал своих слушательниц в полное изумление, повествуя о великанах, кровожадных дикарях, кораблекрушениях и островах где можно встретить лишь «каннибалов, да еще людей, которых плечи выше головы», и еще о многом не менее замечательном. Он сказал, что родился в Терра Инкогнита, образование получил в готтентотском университете, а последние два года прожил среди американцев в Силезии.

– Потеря же глаза, – сказал он, – была мне справедливой карой за непочтительность к Пресвятой Деве, когда я второй раз совершал паломничество в Лоретто. Я стоял вблизи алтаря чудотворной часовни. Монахи обряжали статую в ее лучший наряд, а паломникам было строго-настрого приказано закрыть глаза, пока будет длиться эта церемония. Но хотя я и верую истово, любопытство возобладало. И вот... Я ввергну вас в ужас, святые сестры, когда назову свое прегрешение! И вот, когда монахи содрали со статуи сорочку, я осмелился приоткрыть левый глаз и взглянул на нее. Больше этот мой глаз уже ничего не видел! Небесный блеск, окружавший Пресвятую Деву, ослепил его. Я тотчас закрыл мой кощунственный глаз и более уже не мог его открыть.

Услышав о таком чуде, монахини осенили себя крестным знамением и обещали молить Пресвятую Деву о возвращении ему зрения. Они не переставали удивляться множеству его путешествий и странным приключениям, выпавшим на его долю в столь нежном возрасте. Тут они обратили внимание на его гитару и пожелали узнать, искусен ли он в музыке. Он скромно ответил, что не ему судить об этом, и попросил дозволения отдаться на их суд.

– Но только, – сказала старая привратница, – не вздумай петь что-либо кощунственное!

– Положитесь на мое благоразумие! – ответил Теодор. – Вы услышите о том, сколь опасно молодым девицам уступать своим страстям, о чем свидетельствует судьба неосторожной девы, вдруг влюбившейся без памяти в неизвестного рыцаря.

– Но это взаправду было? – осведомилась привратница.

– Все до последнего словечка чистая правда, – отвечал Теодор. – Случилось это в Дании, и дева слыла такой красавицей, что все ее называли просто Краса, а не по имени.

– Ты сказал – в Дании? – прошамкала старуха монахиня. – Так ведь в Дании все люди черные, как сажа!

– Нет-нет, преподобная сестра! Они вроде желтовато-зеленые, а волосы и бороды огненно-рыжие.

– Матерь Божья! Желтовато-зеленые! – вскричала сестра Елена. – Ах, этого не может быть!

– Не может быть? – презрительно повторила привратница и бросила на нее взгляд, в котором пренебрежение мешалось с торжеством. – Вовсе нет. Когда я была молода, так своими глазами их видала – двух или трех, уж не упомню.

Теодор тем временем настраивал свой инструмент. Ему как-то довелось прочесть историю одного английского короля, тайно заточенного в темницу, где его разыскал менестрель, спев под стеной любимую песню короля, и он надеялся тем же способом найти Агнесу, если она жива и в монастыре. Он выбрал балладу, которой она его научила в замке Линденберг. Он надеялся, что, услышав его, она сама споет что-нибудь в ответ, как английский король. Гитара была настроена, и он приготовился запеть.

– Но прежде, – сказал он, – я должен объяснить вам, преподобные сестры, что в этой самой Дании кишмя кишат всякие чародеи, ведьмы и злые духи. И все стихии там поделили между собой всякие демоны. Один ведает лесами и зовется Дубовый Царь, или Дубовик. Он наводит порчу на деревья, губит урожаи и командует мелкими бесами и лесовиками. Является он в виде величавого старца с длинной седой бородой и в золотом венце. Любимое его развлечение – подманивать маленьких детей, чуть отвернутся их родители, а потом утаскивать их к себе в пещеру и разрывать на тысячу кусков. Реками управляет другой демон, Водяной Царь, или Водяной. Его обязанности – волновать морскую пучину, топить корабли, а моряков утаскивать на дно. Он носит обличье рыцаря и ловит в свои сети юных девственниц. А как он с ними поступает, когда хватает их в воде, вы, преподобные сестры, уж сами вообразите. Огненный Царь выглядит мужчиной, сотворенным из пламени. Он

командует метеорами и блуждающими огнями, которые увлекают путников в болота и трясины, и он указывает молниям, где можно натворить больше бед. Последний из этих стихийных демонов зовется Облачный Царь. Он выглядит прекрасным юношей, а узнать его можно по двум черным крыльям за спиной. Хотя с виду он пленителен, нрав у него такой же, как у остальных. Занимается Облачный Царь только тем, что поднимает бури, выворачивает с корнем деревья, срывает крыши с замков и монастырей или обрушивает их стены на живущих там. У первого есть дочка – царица эльфов и фей, у второго есть мать, могущественная ведьма, и обе эти дамы ничем не лучше своих родичей. У остальных двух демонов близких как будто нет, ну, да сейчас речь пойдет только о Водяном Царе. Он герой моей баллады. Просто я прежде хотел кое-что рассказать вам о его обычаях...

Теодор сыграл короткое вступление. А затем во всю мочь – чтобы голос его донесся до ушей Агнесы – запел следующие куплеты:

ВОДЯНОЙ ЦАРЬ

Датская баллада

Журчал поток, катя волну,
Цветы смотрели в глубину.
Краса между цветами там
Шла, напевая, в Божий храм.

И отраженную волной
Ее увидел Водяной.
Он к матери своей спешит,
И ведьме так он говорит:

«О мать, прошу тебя, ответь,
Как мне Красою овладеть?
О мать, должна ты научить,
Как эту деву покорить».

И вот он рыцарь на коне,
В драгой серебряной броне.
Плоть скакуна – одна вода,
Песок речной – его узда.

Вмиг к храму рыцарь поскакал,
Коня у двери привязал,
И, помня матери слова,
Двор обошел он раз и два.

По слову матери своей
Коня оставил у дверей,
Двор раз и два он обошел
И в Божий храм тогда вошел.

Молящийся шептался люд:
«Кто этот белый рыцарь тут?»
И молвила Краса без сил:
«Когда б меня он полюбил!»

Чрез две скамьи к ней прыгнул он:
«О дева, я в тебя влюблен!»
Чрез три скамьи он прыгнул к ней:
«Молю, Краса, о, будь моей!»

Она с улыбкою встает
И руку рыцарю дает.
«С тобой на радость и беду
Из дома отчего уйду!»

О, если б кто Красе открыл,
Когда, молясь, соединил
Священник старый руки их,
Что Водяной – ее жених!

О, если б молвил дух благой:
«Твой нареченный – Водяной!»,
В каком бы ужасе была,
Как руку б тотчас отняла!

Но гибель страшная близка –
В его руке ее рука.
С ним об руку, любви полна,
Уж по песку идет она.

«Возлюбленная, на коня
Садись же впереди меня!
Вброд переедем мы поток,
И не страшись, он неглубок!»

Вода струится так светло!
Садится дева с ним в седло.
Скакун вступил в речную гладь,
Вернуться рад в нее опять.

«О милый, стой! Смотри, поток
Моих уже коснулся ног!»
«О милая, доверься мне!
Мы здесь на самой глубине».

«О милый, стой! Грозит беда,
Колени моет мне вода!»
«О милая, доверься мне,
Мы здесь на самой глубине!»

«Стой! Ради Бога, милый, стой!
Уж скрыта грудь моя водой!»
Ей не ответил милый друг,
И он и конь пропали вдруг.

Она зовет, но тщетен крик.
Завыли ветры в тот же миг.
Разбушевавшийся поток
На дно красавицу увлек.

Она три раза позвала,
Но торжествуют духи зла.
Краса пропала, с этих пор
Ее не видел смертный взор.

Красавицам совет я дам:
Коль будет рыцарь клясться вам,
То будьте осторожней с ним
И не пляшите с Водяным!

Теодор умолк. Монахини пришли в восторг от его голоса и мастерской игры на гитаре. Но как ни были приятны похвалы юному музыканту в любое другое время, на этот раз они его не радовали. Хитрость его не удалась. Он умолкал после каждого куплета, но ничей голос не ответил ему, и он оставил надежду повторить подвиг Блонделя.

Удар монастырского колокола напомнил монахиням, что им настало время собраться в трапезной. Прежде чем отойти от решетки, они поблагодарили отрока за удовольствие, которое им доставило его пение и взяли с него слово, что он непременно придет на следующий день. А потом, чтобы укрепить его в этом намерении, посулили, что в их обители его всегда будет ждать обед. Кроме того, каждая сделала ему небольшой подарок: одна дала коробочку со сладостями, вторая – Агнус Деи, другие принесли святые реликвии, восковые изображения разных святых, освященные кресты, а также вышивки, восковые цветы, кружева и другие образчики рукоделий, какими славятся монахини. Они сказали, чтобы он все это продал, а вырученные деньги употребил на одежду. Продать же, заверили они его, будет легко, потому что испанцы очень ценят все, что сделано руками монахинь. Приняв эти подарки с почтительным смирением, Теодор пожаловался, что ему не в чем их унести. Несколько сестер поспешили на поиски корзинки, но их остановила пожилая монахиня, которую Теодор не видел, пока пел. Ее кроткое доброе лицо сразу расположило его к ней.

– А! – сказала привратница. – Вот мать Святая Урсула принесла корзинку!

Монахиня, так названная, подошла к решетке и подала Теодору корзинку. Она была сплетена из ивовых прутьев, обтянута внутри голубым атласом, а по сторонам расписана сценами из жития святой Женевиевы.

– Вот мой подарок, – сказала она, вкладывая корзину ему в руку. – Добрый отрок, не пренебрегай ею. Хотя на вид она ничего не стоит, в ней есть многие неявные достоинства.

Эти слова она сопровождала выразительным взглядом, который Теодор прекрасно понял и, принимая подарок, постарался встать как можно ближе к решетке.

– Агнеса! – шепнула она еле слышным голосом.

Но Теодор расслышал, заключил, что в корзинке спрятана какая-то весть, и его сердце забилося от радости и нетерпения. В эту минуту вернулась настоятельница. Она мрачно хмурилась, и вид у нее был даже более суровый, чем обычно.

– Мать Святая Урсула, мне надобно поговорить с тобой наедине.

Монахиня переменялась в лице и была несомненно испугана.

– Со мной? – переспросила она слабым голосом.

Настоятельница сделала ей знак следовать за собой. Мать Святая Урсула послушалась, а вскоре монастырский колокол ударил во второй раз, монахини направились в трапезную, и Теодор наконец-то мог унести заветную корзинку. В восторге от того, что ему все-таки удалось узнать что-то для маркиза, он бежал всю дорогу до дворца де лас Систернас и через несколько минут уже предстал перед своим господином с корзинкой в руке. В спальне с маркизом был Лоренцо, пытавшийся примирить своего друга с утратой, которая ему самому была невыносимо тяжела. Теодор рассказал о своей проделке и о надежде, которую посулил подарок матери Святой Урсулы. Маркиз приподнялся с подушек. Огонь, угасший со смертью Агнесы, вновь вспыхнул в его груди, и глаза у него заблестели в предвкушении добрых вестей. Чувства, написанные на лице Лоренцо, по силе почти не уступали его чувствам, и он тоже со жгучим нетерпением ждал разгадки этой тайны. Раймонд выхватил корзинку из рук пажа, высыпал ее содержимое на постель и осмотрел каждый предмет с пристальным вниманием. Он надеялся найти на дне письмо, не нашел и возобновил поиски, но без успеха. Наконец он заметил, что край голубой подкладки отпорот, поспешно потянул за него и извлек лоскуток бумаги, несложенный и незапечатанный. Адресован он был маркизу де лас Систернасу, и вот что было на нем написано:

«Узнав вашего пажа, я осмеливаюсь послать вам эти несколько строк. Получите приказ кардинала-герцога на мой арест и арест настоятельницы, но отложите его исполнение до пятницы, до полуночи. Это день святой Клары, когда устраивается процессия монахинь с факелами, и я буду среди них. Сохраните все в тайне. Если хотя бы одно неосторожное слово пробудит подозрения настоятельницы, вы больше ничего обо мне не услышите. Будьте осмотрительны, если дорожите памятью Агнесы и хотите покарать ее убийц. То, что я поведаю, заморозит кровь в ваших жилах. Святая Урсула».

Едва маркиз дочитал эти строки, как упал на подушки без движения. Надежда, которая только и поддерживала в нем жизнь, угасла – письмо неопровержимо доказывало, что Агнесы правда больше нет в живых. Лоренцо это не сразило, так как он с самого начала полагал, что его сестра умерла – и не своей смертью. Когда письмо матери Святой Урсулы подтвердило эти подозрения, оно вызвало в нем только одно желание – покарать убийц так, как они того заслуживают. Привести маркиза в чувство оказалось очень нелегко. Едва он обрел дар речи, как обрушил проклятия на убийц своей возлюбленной и грозил им страшной местью. Он продолжал в исступлении терзаться бессильной яростью, пока, уже ослабленный горем и болезнью, вновь не впал в обморок. Его горестное положение глубоко удручало Лоренцо, который с радостью остался бы рядом со своим другом, но ему предстояли новые заботы – необходимо было раздобыть приказ об аресте настоятельницы монастыря святой Клары. И вот, поручив Раймонда попечениям лучших врачей Мадрида, он покинул дворец де лас Систернас и отправился во дворец кардинала-герцога.

К величайшему своему разочарованию он узнал, что важные государственные дела потребовали присутствия кардинала в отдаленной провинции. До пятницы оставалось всего пять дней. Но если ехать днем и ночью, то успеть назад к этому сроку было еще можно. И

это ему удалось. Он приехал к кардиналу-герцогу, рассказал ему о возможной виновности настоятельницы, а также и о том, в какое состояние все это ввергло дону Раймонда. Более веского довода, чем последний, он не мог бы употребить. Из всех своих племянников кардинал-герцог был искренне привязан только к Раймонду. Зато на него он прямо-таки надышаться не мог, и в его глазах настоятельница не могла бы совершить преступление чернее, чем подвергнуть жизнь дону Раймонда опасности. Поэтому он тотчас написал приказ об аресте, а кроме того, дал Лоренцо письмо к старшему офицеру инквизиции с распоряжением немедленно привести приказ в исполнение. С этими документами Медина поспешил назад в Мадрид, куда и добрался в пятницу за несколько часов до сумерек. Маркиза он нашел в более спокойном состоянии, но таким ослабевшим и измученным, что каждое слово или движение давалось ему с трудом. Проведя час у его постели, Лоренцо отправился сообщить о своих намерениях дяде, а также вручить письмо кардинала дону Рамиресу де Мелло. Первый окаменел от ужаса, узнав о судьбе своей злополучной племянницы, потребовал, чтобы Лоренцо добился кары ее убийцам, и изъявил желание отправиться с ним в монастырь святой Клары. Дон Рамирес обещал сделать все, что от него зависит, и отобрал самых надежных стражников на случай сопротивления черни.

Однако пока Лоренцо собирался сорвать маску лицемерия со служительницы Церкви, он даже не подозревал о горестях, уготованных ему не менее лицемерным ее служителем. Заручившись помощью адских пособников Матильды, Амбросио твердо решил погубить невинную Антонию. Роковая для нее минута приближалась. Она попрощалась на ночь с матерью и, целуя ее, вдруг ощутила непривычную тоску. И, уже выйдя, тотчас вернулась, бросилась в объятия матери и омочила ее щеку слезами. Ей было страшно расстаться с ней, тайное предчувствие говорило, что они больше не увидятся. Эльвира, заметив ее тревогу, попыталась смехом рассеять ее детские страхи. Она попеняла ей за беспричинную грусть и указала на опасность давать волю подобным мыслям.

Но в ответ на все свои наставления она слышала только:

– Матушка! Милая матушка! Боже, пошли, чтобы уже настало утро!

Эльвира, чье беспокойство о судьбе дочери препятствовало ее полному выздоровлению, все еще не до конца оправилась от последствий своего тяжелого недуга. В этот вечер она почувствовала себя дурно и легла раньше обычного часа. Антония печально покинула спальню матери и, пока не затворила за собой дверь, не спускала с нее меланхолического взора. Она направилась в свою спальню. Ее сердце переполняла горечь. Ей казалось, что все ее надежды рушились и жить ей не для чего. Опустившись в кресло, она оперлась на руку щекой и устремила невидящий взор в пол, пока воображение рисовало ей самые мрачные образы. Из этого полубесчувственного состояния ее вывели звуки тихой музыки, раздавшиеся под ее окном. Она встала, подошла к нему и приоткрыла раму, чтобы лучше слышать. А потом, опустив на лицо покрывало, осмелилась выглянуть наружу. В свете луны она увидела внизу нескольких мужчин с гитарами и лютнями в руках, а чуть в стороне стоял кто-то закутанный в плащ, показавшийся ей очень похожим на Лоренцо. Она не ошиблась. Это действительно был Лоренцо, который, связанный словом не являться к Антонии, не заручившись согласием дяди, пытался иногда серенадой убедить свою возлюбленную, что он ей верен. Однако его стратагема не принесла желаемого результата. Антония никогда бы не поверила, что эта ежевечерняя музыка раздается в ее честь. Она была слишком скромна и не считала себя достойной подобного внимания, а придя к заключению, что серенады адресованы какой-то даме по соседству, огорчилась, убедившись, что их устраивает Лоренцо.

Музыка была жалобной и меланхолической. Она гармонировала с настроением Антонии, с удовольствием ей внимавшей. После довольно длинного музыкального вступления зазвучало пение, и Антония различила следующие слова:

СЕРЕНАДА

Хор

О лира, лей негромко звуки.
Красавицей владеет сон.
Но опиши, какие муки
Того терзают, кто влюблен.

Песня

По прихоти душою править,
В полон навеки сердце взять,
Отважных, мудрых, всех заставить
Свои оковы целовать –
Вот власть Любви, и мной она,
Увы, изведена сполна.

Дни проводить, томясь тоскою,
Ночами до зари не спать,
Других презрев, жить ей одною,
Вдали нее рыдать и ждать –
Вот боль Любви, и мной она,
Увы, изведена сполна.

Прочесть ответ в очах невинных,
И губы жаркие прижать
К губам, не ведавшим мужчины,
И целовать, и целовать!
Любви награда вот! Она
Увы, увы, мне не дана!

Хор

Умолкни, лира! Сладкой власти
Снов прерывать я не хочу.
Пусть скажут ей они о страсти,
Хоть ты молчишь и я молчу!

Музыка смолкла. Певцы удалились, и улицу окутала тишина. Антония отошла от окна с сожалением. Как обычно, она поручила себя покровительству святой Росолии, произнесла молитвы и легла. Сон недолго заставил себя ждать, принес ей облегчение от страхов и тревоги.

Было уже почти два часа ночи, когда сладострастный монах решился направить свои стопы к жилищу Антонии. Уже упоминалось, что его монастырь соседствовал с улицей Сан-Яго. Никем не замеченный, он приблизился к дому. Перед дверью он в нерешительности остановился, раздумывая над чудовищностью задуманного преступления, над последствиями разоблачения и над вероятностью того, что Эльвира после уже случившегося заподозрит, что насильник, обесчестивший ее дочь, это он. С другой стороны, казалось ему, ее подозрения так подозрениями и останутся, никаких доказательств его вины не будет, и кто поверит, что Антония была поругана и не знает где, когда и кем? И, наконец, он уповал, что его добрая

слава достаточно укрепилась и никто не станет слушать ничем не подтвержденных обвинений двух никому не известных женщин. Этот последний довод был крайне шатким. Монах не ведал, как капризны хвалы света, как достаточно одного мига, чтобы вчерашний кумир стал предметом всеобщего омерзения. Как бы то ни было, но он пришел к выводу, что начатое надо довершить, и поднялся по ступенькам крыльца. Лишь только он прикоснулся к двери своим серебряным миртом, она распахнулась, и он мог беспрепятственно войти. А едва монах переступил порог, как дверь затворилась за ним сама собой.









Лунные лучи помогли ему подняться по лестнице. Ступал он тихо и осторожно, поминутно оглядываясь с тревогой и страхом. В каждой тени ему чудился соглядатай, в каждом дуновении ночного ветерка ему слышались голоса. Мысль о том, какое гнусное деяние он замыслил, наполняла ужасом его сердце, делала его робким, точно женщина. И все же он шел вперед. Вот он оказался перед дверью Антонии, остановился и прислушался. Внутри царила тишина. Он заключил, что его жертва уже уснула, и осмелился повернуть ручку. Но дверь была заперта на засов и не поддавалась. Однако едва он прикоснулся к ней талисманом, как засов отодвинулся. Насильник переступил порог и очутился в комнате, где крепко спала невинная девушка, не зная, какой опасный гость приближается к ее ложу. Дверь за ним закрылась, и засов сам вошел в скобу.

Амбросио двигался с величайшей осторожностью, следя, чтобы не скрипнула половица, а возле кровати затаил дыхание. Начал он с сотворения магического обряда, как ему велела Матильда. Трижды дохнул на серебряный мирт, произнес над ним имя Антонии и

положил к ней на подушку. Уже проверив действие талисмана, он не сомневался, что сон его возлюбленной станет непробудным. Чуть завершив чародейство, он решил, что она уже в полной его власти, и глаза его запылали похотью и нетерпением. Теперь он осмелился бросить взгляд на спящую красавицу. Лампада, горевшая перед статуей святой Росолии, бросала вокруг тусклые лучи, позволяя ему рассмотреть все прелести пленительной девственницы. Жаркая ночь заставила ее откинуть одеяло, но дерзкая рука Амбросио теперь спешила совсем его сбросить. Антония лежала, прижав щеку к белой руке, другая рука томно покоилась на краю постели. Несколько локонов выбились из-под муслиновой повязки, скрывавшей остальные, и рассыпались по ее ровно вздымающейся груди. От жаркого воздуха ланиты ее порозовели ярче обычного. Незыблемой сладости улыбка играла на ее свежих коралловых губах, из которых порой вырывались вздох или неясное слово. Все в ней было воплощением обворожительной невинности и чистоты, и даже самая нагота ее была непорочной, что только больше распалило сладострастного монаха.

Несколько мгновений он пожирал глазами прелести, которые вот-вот должны были стать добычей его преступных страстей. Ее полуоткрытые уста, казалось, просили поцелуя. Он наклонился над ней, прижал губы к ее губам и с наслаждением упился ее душистым дыханием. Мимолетное блаженство усилило его томление по более жгучим. Его желания достигли того предела бешенства, которое ведомо только диким животным. Он решил ни на миг более не откладывать утоления своей жажды и принялся торопливо срывать с себя одежду, препятствующую удовлетворению его похоти.

– Милостивый Боже! – вскричал позади него чей-то голос. – Я не ошиблась? Глаза меня не обманывают?

Ужас, смятение, горечь разочарования, заключенные в этих словах, поразили слух Амбросио. Он содрогнулся и повернул голову. В двери чулана стояла Эльвира и смотрела на него взглядом, полным изумления и гадливости.

Ей привиделся страшный сон. Антония, трепеща, наклонялась над краем пропасти и, казалось, вот-вот упадет в бездну. Мать словно услышала ее пронзительный крик: «Матушка, спаси меня, спаси! Минута промедления, и будет уже поздно». Эльвира пробудилась в ужасе. Под впечатлением сна она решила встать и удостовериться в том, что ее дочери ничто не угрожает. Поспешно поднявшись, она в ночной рубашке прошла через чулан и оказалась в спальне Антонии как раз вовремя, чтобы вырвать ее из рук насильника.

Его стыд, ее изумление на миг превратили монаха и Эльвиру в мраморные статуи. Они в молчании продолжали смотреть друг на друга. Первой опомнилась она.

– Нет, это не сон! – вскричала Эльвира. – Передо мной наяву Амбросио! Тот, кого Мадрид почитает как святого, застигнут мною в глухой час ночи у постели моей злополучной девочки! Лицемерное чудовище! Я уже подозревала твои замыслы, но промолчала из снисхождения к невольной человеческой слабости. Но теперь молчание было бы преступным. Весь город узнает о твоей развратности. Я сорву с тебя маску, злодей, и сумею доказать Церкви, какую змею она вскормила на своей груди!

Потерпевший неудачу злодей стоял перед ней бледный, в глубоком смятении. Он был бы рад как-то загладить свои посягательства, но не мог найти для них никакого приемлемого объяснения и бормотал бессвязные фразы и оправдания, которые противоречили друг другу. Справедливое негодование Эльвиры было слишком велико, чтобы она могла даровать ему прощение, о котором он умолял. Нет, она разбудит всех соседей, сказала она, и сделает из него пример для устрашения всех будущих лицемеров. Подбежав к постели, она окликнула Антонию, а затем, увидев, что дочь все еще спит, взяла ее за руку и с силой приподняла. Однако талисман был слишком могучим. Антония не очнулась и, едва мать отпустила ее руку, вновь упала на подушку.

– Такой сон не может быть естественным! – вскричала в испуге Эльвира, чье негодование росло с каждым мгновением. – Тут кроется какая-то тайна! Но трепещи, лицемер! Все твои злодейства скоро будут раскрыты! Помогите! Помогите! – закричала она. – Сюда, ко мне! Флора! Флора!

– Выслушайте меня, госпожа! – взмолился монах, которого близость разоблачения привела в себя. – Всем, что свято и беспорочно, клянусь, что честь вашей дочери не была поругана! Простите мне мой грех! Избавьте от позора и дозвоьте тайно скрыться в монастыре. Помилосердствуйте! А я клянусь, что не только впредь Антонии ничего от меня грозить не будет, но что всей своей жизнью я докажу...

Эльвира резко его перебила:

– Антонии ничего не будет грозить? Об этом позабочусь я! А ты более не сможешь злоупотреблять доверчивостью родителей! Твоя порочность откроется всем! Весь Мадрид содрогнется перед твоим коварством, твоим лицемерием, твоей развращенностью! Флора! Флора, где ты?

Слушая ее, монах вдруг вспомнил Агнесу. Вот так же молила она его о милосердии, и так же он отверг ее мольбы. Теперь настала его очередь страдать, и заслуженно, этого оспаривать он не мог. Тем временем Эльвира продолжала звать Флору, но от гнева голос ее не слушался, хриплые крики не могли пробудить служанку, спавшую крепким сном. Подойти к чулану Эльвира не осмеливалась, чтобы не дать монаху возможности спастись. Он же только об этом и думал. Если бы ему удалось скрыться в монастыре никем более не замеченным, то, полагал он, ничем не подтвержденного слова одной Эльвиры окажется мало, чтобы погубить его в глазах Мадрида, преклоняющегося перед ним. С этой мыслью он схватил ту одежду, которую успел сбросить, и кинулся к двери. Эльвира разгадала его план, поспешила за ним и схватила за плечо прежде, чем он успел отодвинуть засов.

– Не пытайся бежать! – сказала она. – Ты не выйдешь из этой комнаты, пока не явятся свидетели твоего преступления!

Тщетно вырывался из ее рук Амбросио. Эльвира только крепче их сжимала, продолжая звать на помощь. Монах был вне себя от страха. Он ждал, что вот-вот на ее голос сбегутся люди. Мысль о разоблачении ввергла его в бешенство, и он принял решение равно отчаянное и варварское. Внезапно извернувшись, он одной рукой схватил Эльвиру за горло, чтобы прервать ее крик, а другой опрокинул на пол и поволок к кровати. Ошеломленная внезапным нападением, она почти не сопротивлялась, когда, выхватив подушку из-под головы ее дочери, он зажал ей этой подушкой рот, а коленом изо всей мочи надавил на грудь, стремясь лишить ее жизни. И это ему удалось. Хотя страдания вернули ей силы и бедняжка долго тщиалась вырваться, все было напрасно. Монах продолжал упираться коленями ей в грудь, безжалостно наблюдал, как судороги пробегают по ее членам, и с бесчеловечным равнодушием созерцал агонию расставания души с телом. Наконец агония кончилась. Эльвира перестала бороться за жизнь. Монах поднял подушку и посмотрел на мать Антонии. Лицо ее жутко почернело, члены более не двигались, кровь застыла в жилах, сердце перестало биться, пальцы окостенели. Амбросио убедился, что благородная, величественная женщина стала теперь холодным, бесчувственным и отвратительным трупом.

Едва монах довершил страшное дело, как он постиг всю чудовищность своего преступления. Ледяной пот заструился по его телу, веки сомкнулись. Он добрал до кресла и рухнул в него, почти столь же мертвый, как распростертая у его ног злополучная Эльвира. Из этого состояния его вывела мысль о том, что надо бежать, пока его не застали в спальне Антонии. У него пропало всякое желание воспользоваться плодами своего преступления. Антония теперь внушала ему омерзение. Горячий жар в его груди сменился смертельным холодом. Он был способен думать лишь о грехах и смерти, о нынешнем своем стыде и будущей каре. Вне себя от раскаяния и страха, он приготовился бежать. Однако, как ни велик был его ужас, он не забыл принять меры предосторожности. Вернул подушку на кровать, собрал свою одежду и направился к двери, только когда взял в руку роковой талисман. Страх вверг его в такое безумие, что ему чудилось, будто путь ему преграждают легионы призраков. Куда бы он ни поворачивался, перед ним словно лежал обезображенный труп, и прошло много времени, прежде чем он добрался до двери. Чародейный мирт не обманул и на этот раз. Дверь открылась, и монах торопливо спустился по лестнице и вышел наружу. В монастырь он проник незаметно и, затворившись у себя в келье, предал душу пыткам

бесплодного раскаяния и ужаса перед неминуемым разоблачением.

ГЛАВА II

*О мертвые, никто из вас ужели
Не сжалится и тайны не откроет?
Когда бы дух любезный проболтался,
Что вы такое и чем стать должны мы!
Умерших души, слышал я, живых
Предупреждают, что близка их смерть.
Благое дело – в двери постучать
И вовремя поднять тревогу.*
БЛЕЙР

Амбросио содрогался при мысли о том, как быстро и далеко ушел он путем греха. Чернейшее преступление, которое он только что совершил, преисполняло его искренним ужасом. Убитая Эльвира, казалось, все время была перед ним, и муки совести уже карали его. Однако время шло, и эти впечатления постепенно слабели. Прошел день, миновал второй, а на него все еще не пало ни малейшего подозрения. Безднаказанность словно облегчила вину. Он начал обретать спокойствие духа, страх перед разоблачением рассеялся. Совесть грызла его меньше и меньше. Матильда делала все, чтобы утишить его тревоги. Услышав о смерти Эльвиры, она как будто была поражена и вместе с монахом сокрушалась о роковом конце его предприятия. Но когда ей стало ясно, что первое его волнение миновало и он уже склонен прислушиваться к ее доводам, она начала отзываться о случившемся много мягче и убедила его, что он вовсе не так виноват, как считает. Ведь он, доказывала Матильда, всего лишь воспользовался правом, которое природа дала каждому человеку, – правом защищаться. Гибель подстерегала либо его, либо Эльвиру, однако ее неумолимость и упрямое желание отомстить ему заслуженно сделали жертвой ее. Затем Матильда напомнила, что он уже раньше внушил Эльвире подозрения, а потому следует радоваться, что смерть замкнула ей уста, иначе даже и без заключительного события она могла бы разгласить эти подозрения в ущерб ему. Таким образом он весьма удачно избавился от врага, знавшего о его слабостях, а потому очень опасного, да к тому же еще и от главной помехи его намерениям в отношении Антонии. А намерения эти, по ее мнению, он не должен был оставлять. Ведь теперь, когда мать уже ревниво ее не оберегает, получить дочь будет легко. Перечисляя и восхваляя прелести Антонии, она попыталась вновь разжечь желания монаха, в чем и преуспела даже слишком.

Казалось, преступления, на которые страсть толкнула его, лишь сильнее распалили эту страсть. И насладиться Антонией он жаждал даже больше прежнего. И надеялся, что удача, которая помогла ему остаться вне подозрений, будет сопутствовать ему и дальше. К ропоту совести он оставался глух и твердо положил любой ценой удовлетворить свои желания. Необходим был только удобный случай, чтобы повторить попытку. Однако повторить ее в точности он не мог, так как в первом приливе отчаяния разбил чародейную миртовую ветвь на тысячу кусков, а Матильда его предупредила, что новую помощь от адских сил он может получить, лишь добровольно подписав договор с ними. Но этого Амбросио твердо решил никогда не делать. Он убедил себя, что, как бы велик ни был его грех, пока он не отречется от надежды на спасение, оно остается для него возможным. Поэтому он решительно отказался прибегать к содействию демонов, и Матильда, убедившись, что он твердо стоит на своем, не настаивала, а принялась изыскивать средства, как отдать Антонию во власть аббата. И средство это не заставило себя ждать.

Пока ей готовилась гибель, злосчастная девушка горько оплакивала потерю матери. Прежде, едва проснувшись поутру, она спешила в спальню Эльвиры. Наутро после роковой попытки Амбросио она пробудилась позднее обычного, о чем ее оповестил бой монастырских курантов. Она вскочила с постели, набросила легкое одеяние и хотела

побежать к матери узнать, как она провела ночь, но вдруг споткнулась и поглядела вниз. Каков же был ее ужас, когда она увидела посинелый труп Эльвиры! С пронзительным криком Антония бросилась на пол, схватила в объятия недвижимое тело, ощутила его смертный холод и с невольным отвращением, над которым была не властна, выпустила труп из рук. Ее крик напугал Флору, и служанка прибежала к ней на помощь. Представшее ей зрелище ввергло ее в ужас, но выразила она его куда громче Антонии. Дом огласился ее сетованиями, а юная ее госпожа, задыхаясь от горя, могла лишь рыдать и стенать. Вопли Флоры вскоре достигли ушей хозяйки дома, которая, узнав, в чем причина, также совершенно расстроилась. Немедленно послали за врачом, но, едва взглянув на труп, он сказал, что никакое искусство Эльвире помочь уже не может, и занялся Антонией, которая как раз нуждалась в его помощи. Ее уложили в постель, а хозяйка взяла на себя устроить похороны Эльвиры. Дама Хасинта была простой, хорошей женщиной, доброй, услужливой и набожной. Но ум ее был не развит, и она оставалась жалкой рабыней суеверий и всяких страхов. Ее приводила в содрогание мысль провести ночь под одной крышей с покойницей. Она не сомневалась, что ей явится призрак Эльвиры, и была уверена, что тотчас умрет от страха. Поэтому она решила переночевать у соседки и настояла, чтобы Эльвиру схоронили завтра же. Так как обитель святой Клары находилась совсем рядом, то тамошнее кладбище и избрали ее последним приютом. Дама Хасинта обещала оплатить все расходы. Она не знала, какими средствами будет теперь располагать Антония, но, памятуя, как скромно жила Эльвира, не сомневалась, что будут они весьма невелики. Иными словами, она не ждала, что вернет свои деньги, однако это не помешало ей приглядеть, чтобы погребение было приличным, и обходиться с бедняжкой Антонией ласково и почтительно.

От горя еще никто не умирал. Примером тому может послужить Антония. Юность и здоровье помогли ей перенести первые приступы горя, но исцелить уныние духа было труднее. Ее глаза постоянно наполнялись слезами, каждый пустяк удручал ее, и в сердце у нее воцарилась неизбывная меланхолия. Одно упоминание об Эльвире, какая-нибудь мелочь, вызывавшая перед ней образ любимой матери, повергали ее в тягостное волнение. Но как увеличилось бы ее горе, узнай она, в каких муках умерла ее мать! Однако этого не подозревал никто. Недавняя болезнь Эльвиры сопровождалась припадками судорог, и все пришли к заключению, что, чувствуя приближение такого припадка, она сумела пройти в спальню дочери, чтобы попросить о помощи, но тут начался припадок, настолько сильный, что, ослабленная болезнью, она скончалась, не успев взять флакон с лекарством, который хранился на полке в спальне Антонии. Те немногие, кого интересовала судьба Эльвиры, иного объяснения не искали. Смерть ее была сочтена естественной и скоро забыта всеми, кроме той, которая имела слишком много причин оплакивать свою потерю.

Положение Антонии было весьма тягостным и неприятным. Она оказалась совсем одна в столице, где нравы были распущенными, а жизнь дорогой. Денег у нее осталось мало, а друзей еще меньше. Ее тетка Леонелла не вернулась из Кордовы, а куда ей написать, она не знала. От маркиза де лас Систернаса она никаких известий не получила, а что до Лоренцо, так она уже давно смирилась с мыслью, что в его сердце для нее места нет. И она не знала, у кого попросить совета. Ей хотелось обратиться к Амбросио, но она помнила наставления матери всячески его избегать, а в последнем их разговоре на эту тему Эльвира объяснила ей его замыслы так, чтобы в будущем она его остерегалась. Но все материнские предостережения не смогли изменить ее доброе мнение о монахе. Она все еще чувствовала, что его дружба и общество были обязательными условиями ее счастья. На его прегрешения она смотрела пристрастным взглядом и не могла поверить, что он и правда замышлял погубить ее. Однако Эльвира прямо приказала ей прервать с ним всякое знакомство, а она слишком почитала покойную мать, чтобы ее послушаться.

Наконец Антония решила обратиться за советом и покровительством к маркизу де лас Систернасу, как наиболее близкому своему родственнику. Она написала ему, кратко сообщив о своем горестном положении, и просила его сжалиться над дочерью брата, выплачивать ей то же содержание, что прежде Эльвире, и разрешить снова поселиться в его

старом мурсийском замке, где она выросла. Она запечатала письмо и отдала его верной Флоре, которая тут же отправилась выполнить это поручение. Но Антония родилась под несчастной звездой. Обратись она к маркизу лишь на один день раньше, то, принятая как его племянница, помещенная у него во дворец как член его семьи, она бы избежала всех бед, которые теперь ей угрожали. Раймонд все время собирался привести свой план в исполнение. Но вначале он решил, что Эльвиру будет лучше пригласить Агнесе, а затем горе из-за утраты нареченной и болезнь, приковавшая его к постели, заставляли его откладывать и откладывать приглашение невестке поселиться под его кровом. К тому же он поручил Лоренцо выдать ей столько денег, сколько будет надо. Эльвира же, не желая быть обязанной этому молодому человеку, заверила его, что пока не нуждается в денежной помощи. Вот почему маркизу и в голову не могло прийти, что пустяковая задержка с его стороны может поставить ее в трудное положение, а его горе и смятение духа вполне извиняли такой недосмотр.

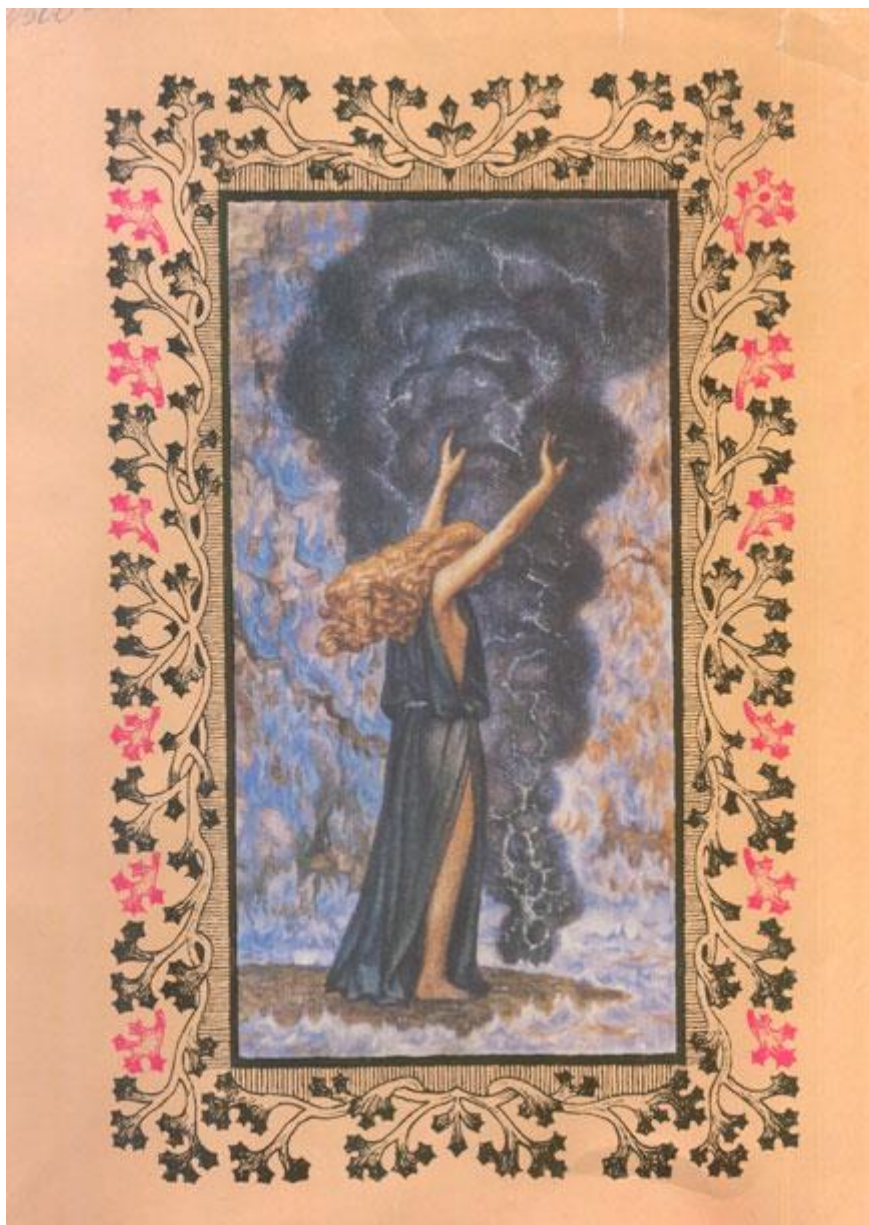
Узнай он, что смерть Эльвиры оставила ее дочь без друзей и защиты, он, разумеется, сразу же позаботился бы о ней и оградил от всех опасностей, но Антонии это было не суждено. Письмо во дворец де лас Систернас она отправила на другой день после того, как Лоренцо уехал из Мадрида. Маркиз находился в первых пароксизмах отчаяния, наконец поверив, что Агнесы более нет. Он был в бреду, за его жизнь опасались и к нему никого не допускали. Флоре было сказано, что писем он читать не может и что ближайшие часы решат его судьбу. С этим печальным ответом она была вынуждена вернуться к своей барышне, которая теперь и вовсе не знала, что же ей делать.

Флора и дама Хасинта всячески старались утешить ее. Вторая умоляла ее успокоиться: пока Антония пожелает оставаться у нее, она будет ей вместо дочери. Антония, убедившись, что добрая женщина успела к ней искренне привязаться, немного утешилась мыслью, что хотя бы один друг в мире у нее есть. Затем принесли письмо, адресованное Эльвире. Антония, узнав руку Леонеллы, вскрыла его с радостью и прочитала подробное описание всего, что произошло с ее тетушкой в Кордове. Леонелла извещала сестру, что наследство она получила, но потеряла сердце, приобретя взамен сердце самого превосходного из аптекарей прошлого, настоящего, а также будущего. Она добавила, что полагает приехать в Мадрид вечером во вторник и будет иметь удовольствие представить ей своего *Caro Sposo*¹⁸

¹⁸ Дорогой супруг (*исп.*).

по всей форме. Хотя брак тетушки не слишком обрадовал Антонию, ее скорое возвращение привело девушку в восторг. Она с легким сердцем подумала, что скоро снова будет под опекой родственницы. Она понимала, как неприлично молоденькой девушке жить одной среди чужих людей, когда некому следить за ее поведением или оберегать от оскорблений, которые беззащитность могла на нее навлечь. И она ждала вечера вторника с большим нетерпением.

Он наступил. Антония тревожно прислушивалась к стуку проезжавших по улице экипажей, но ни один не остановился у их дверей. Приближалась ночь, а Леонеллы все не было. Однако Антония решила не ложиться до приезда тетки, и вопреки всем ее уговорам дама Хасинта и Флора объявили, что тоже не лягут. Часы тянулись медленно и томительно. Отъезд Лоренцо из Мадрида положил конец еженощным серенадам, и тщетно Антония надеялась услышать под своим окном знакомый звон гитар. Она достала собственную гитару и взяла несколько аккордов. Но музыка на этот вечер утратила для нее очарование, и она вскоре убрала инструмент в футляр, а сама села за пяльцы, но и тут дело пошло плохо. Куда-то пропадали мотки нужного цвета, нитки каждую минуту рвались, иголки так ловко выскальзывали из пальцев и падали, словно были живыми. Наконец нагар со свечи упал на любимую гирлянду из фиалок. Это совсем ее расстроило, она положила иголку и оставила



Иллюстрации А. Дудина

пальцы. Как нарочно, в этот вечер ничто ее не развлекало. Ее одолевала тоска, и она все чаще вздыхала, скорей бы приехала тетушка.

Прохаживаясь взад и вперед по комнате, Антония посмотрела на дверь бывшей комнаты ее матери, вспомнила про книги, которые привезла с собой Эльвира, и подумала, что между ними, возможно, найдется такая, какая поможет скоротать время до приезда Леонеллы. Взяв свечу со стола, она прошла через чулан и вступила в комнату за ним. Вид ее вызвал в груди девушки тысячу печальных воспоминаний. Она впервые вошла сюда после смерти матери. Глубокая тишина, кровать, с которой был снят матрас, холодный очаг, над которым стоял погасший светильник, и несколько растений на окнах, уже засыхающих, так как после смерти Эльвиры про них забыли, – все это навеяло на Антонию тягостную меланхолию. Ночная тьма ее еще усилила. Антония поставила свечу на стол и опустилась в глубокое кресло, в котором тысячи раз видела свою мать. И больше уже никогда не увидит! Непрошенные слезы заструились по ее ланитам, и она предалась тоске, которая с каждым мгновением становилась все глубже.

Стыдясь такой слабости, Антония наконец встала и подошла к полкам, чтобы взять то, ради чего посетила эту грустную комнату. Книги были расставлены по полкам в строгом порядке. Антония перелистывала их, но не находила ничего, что показалось бы ей интересным, пока не открыла томик старинных испанских баллад и не прочла несколько строф одной из них. Они возбудили ее любопытство, и она села с книгой в кресло, чтобы удобнее было читать, поправила свечу, от которой остался только огарок, и прочла следующую балладу:

АЛОНСО ОТВАЖНЫЙ И КРАСА ИМОГЕН

Девушка и рыцарь сидели одни.
Был рыцарь навеки влюблен.
С тоской друг на друга смотрели они.
Краса Имоген ее звали и те дни,
Алонсо Отважный был он.

«Я еду сражаться в далекой стране,
Ты горькие слезы прольешь.
Но верной недолго останешься мне.
Приедет богатый к тебе по весне,
И с ним под венец ты пойдешь!»

«Нет, милый, – ему отвечает она, –
Меня укорять ты постой.
Любовью навек я тебе отдана,
Живой ты иль мертвый – тебе я жена,
В том Девой клянусь Пресвятой!

Но если, пока еще луг не отцвел,
Мной будет Алонсо забыт,
Пусть Бог повелит, чтобы дух твой пришел,
Сел рядом со мною за брачный мой стол,
Неверной назвал и с собою увел
Туда, где твой прах был зарыт!»

Давно в Палестине сражается он.
Рыдала она до поры,
Но скоро, ее красотой покорен,
Приехал к ней свататься знатный барон,
Привез дорогие дары.

Сверканием золота ослеплена,
Не льет она более слез.
Все прежние клятвы забыла она,
Барону любовь Имоген отдана,
В свой замок ее он увез.

Сидит за столом с молодою супруг.
Все дружно здоровье их пьют.
И весел и буен пирующих круг.
Вдруг гулкий по зале разносится звук –
Часы полуночные бьют.

Краса Имоген с изумленьем глядит,
Увидела только сейчас,
Что рядом с ней рыцарь безвестный сидит,
Недвижный, безмолвный, ужасный на вид.
Не сводит с лица ее глаз.

Забрало опущено, адски черны
Шелом и тяжелая бронь.
Веселие смолкло, все гости бледны,
И жмутся собаки у дальней стены,
Стал факелов синим огонь.

Барон содрогнулся, от ужаса нем.
Дрожит молодая жена.
Но молвит, свой взор опустив перед тем:
«О рыцарь, прошу, отстегните свой шлем,
Испейте со мною вина!»

Он поднял забрало с лица своего,
Шелом отстегнул он от лат.
Страшнее не видел никто ничего!
Взглянула Краса Имоген на него
И черепа встретила взгляд.

Узрела она: обитатель гробниц,
Змей лоб костяной обвивал,

И черви клубились в провалах глазниц.
От ужаса гости попадали ниц,
А призрак ей глухо сказал:

«Узнай же Алонсо! Наш луг не отцвел,
Как я был тобою забыт!
И Бог повелел, чтобы дух мой пришел,
Сел рядом с тобою за брачный твой стол,
Неверной назвал и с собою увел,
Туда, где мой прах был зарыт!»

В объятьях свою нареченную сжал.
Как жалобен был ее крик!
Разверзся у ног его черный провал.
Дух прыгнул туда и навеки пропал
С Красой Имоген в тот же миг.

Скончался барон. Запустенье и тлен
С тех пор в его замке царят.
Там кару доныне несет Имоген.
Господь не прощает лжеклятв и измен,
Так «Хроники» нам говорят.

В полуночный час там четырежды в год
Протяжный разносится стон.
Невеста в фате нареченного ждет.
Приходит скелет и с ней рядом встает,
И кружится в пляске с ней он.

Из черепа кровь выпивают вдвоем,
И духи толпятся у стен,
Крича: «Новобрачным мы честь воздаем!
За здоровье Алонсо Отважного пьем
С неверной его Имоген!»

Сказание это мало годилось для того, чтобы рассеять меланхолию Антонии. У нее была сильная природная склонность к таинственному и потустороннему. Ее нянька, неколебимо верившая в привидения, в нежном ее детстве нарасказала ей столько ужасов подобного рода, что Эльвире так и не удалось полностью изгладить впечатление, которое эти истории произвели на ум ребенка. Антония оставалась суеверной. Она часто поддавалась ужасу, а потом краснела из-за своей слабости, обнаруживая, что причина была самой обыкновенной и пустяковой. Вот почему баллада эта пробудила в ней страх перед сверхъестественным. Час и место словно оправдывали его. Была глухая ночь, а она сидела одна в комнате покойной матери. За окнами бушевала непогода. Вокруг дома завывал ветер, тряс двери, а в окна стучал дождь. Ни единого другого звука слышно не было. Огарок, уже ушедший в чашечку подсвечника, иногда вдруг вскидывал язычок пламени и освещал комнату, но тут же вновь почти угасал. Сердце Антонии болезненно билось, взор опасно переходил с предмета на

предмет, по которым вдруг пробежали отблески угасающего огонька. Она попыталась встать с кресла, но колени у нее подогнулись, и она не смогла сделать ни шагу. Тогда она позвала Флору, чей чуланчик был рядом, но от волнения у нее перехватывало дыхание, и вместо громкого крика из ее уст вырывался глухой шепот.

Так прошло несколько минут, но затем ужас Антонии несколько улегся, и она собралась с силами, чтобы выйти из комнаты. Вдруг ей почудился легкий вздох совсем рядом, и вновь ее охватила та же слабость. Она уже встала и как раз протянула руку к подсвечнику на столе. Но воображаемый вздох ее остановил. Она отдернула руку и, ухватившись за спинку кресла, с тревогой прислушалась. Все было тихо.

«Милостивый Боже! – сказала она себе. – Что это был за звук? Обманулась ли я или действительно его слышала?»

Ее размышления прервал еле слышный шорох за дверью. Казалось, там кто-то шепчется. Антония снова перепугалась. Но она вспомнила, что засов задвинут, и это ее несколько успокоило. Тут ручка бесшумно повернулась и дверь осторожно подергали. Ужас вдохнул в Антонию силы, которых она было совсем лишилась. Вскочив, она бросилась к двери чулана, чтобы через него добраться до комнаты, где думала найти Флору и даму Хасинту. Но она была только на середине комнаты, как ручка вновь повернулась. Антония невольно посмотрела через плечо. Медленно, постепенно дверь отворилась, и она увидела на пороге высокую худую фигуру, с головы до ног закутанную в саван.

Ноги Антонии словно приросли к полу, и она, окаменев, замерла посреди комнаты. Торжественным размеренным шагом фигура приблизилась к столу. Навстречу ей огарок метнул синеватый тоскливый язычок пламени. Над столом висели небольшие часы. Одна стрелка указывала на цифру три, другая приближалась к двенадцати. Фигура остановилась напротив часов и подняла руку к циферблату, одновременно оборотясь к Антонии, которая молча ждала завершения этой сцены.

Фигура оставалась в этой позе, пока часы не пробили три, а едва их звук замер, сделала несколько шагов к Антонии.

– Еще три дня, – произнес слабый, глухой, замогильный голос, – еще три дня, и мы встретимся опять.

Антония содрогнулась.

– Мы встретимся опять? – с трудом повторила она. – Но где? И кого я встречу?

Одной рукой фигура указала вниз, другой приподняла плат, закрывавший ее лицо.

– Боже Всемогущий! Матушка!

Антония пронзительно вскрикнула и упала замертво.

Даму Хасинту, которая сидела с работой в соседней комнате, этот крик перепугал. Флора как раз спустилась на кухню за маслом для их светильника, а потому Хасинта бросилась на помощь к Антонии в одиночестве, и велико было ее изумление, когда она увидела, что девушка без движения распростерта на полу. Она подхватила ее на руки, отнесла к ней в спальню и все еще без чувств уложила на кровать. Потом принялась смачивать ей виски, греть руки и применять всякие другие способы, чтобы привести несчастную в чувство. Не сразу, но она преуспела. Антония открыла глаза и в смятении посмотрела вокруг.

– Где она? – произнесла девушка дрожащим голосом. – Она удалилась? Я в безопасности? Отвечайте же! Успокойте меня! Ради Бога, ответьте мне!

– В безопасности от кого, деточка? – спросила с удивлением Хасинта. – Что тебя напугало? Кого ты боишься?

– Через три дня? Она сказала, что мы снова встретимся через три дня! Я слышала эти слова! Я видела ее, Хасинта, я видела ее минуту назад! – И Антония бросилась на грудь Хасинты.

– Ты видела ее? Кого же?

– Призрак матушки!

– Иисусе Милосердный! – завопила Хасинта, отшатнулась, опрокинув Антонию на

подушку, и выбежала вон. На лестнице она встретила Флору.

– Иди к своей барышне, Флора! – сказала она. – Подумать только! Бедная я женщина! Мой дом кишит духами, покойниками и только Богу известно, чем еще! А уж кто никакой нечисти не терпит, так это я! Но ты иди, иди к донье Антонии, Флора, и не стой у меня на дороге!

С этими словами она спустилась к входной двери, отперла ее и, даже не накинув покрывала на лицо, побежала в капутинский монастырь.

Тем временем Флора поспешила к своей юной госпоже, удивленная и напуганная страхом Хасинты. Антонию она нашла на кровати и снова без чувств. Она попробовала привести ее в себя теми же средствами, что и Хасинта, но, убедившись, что ее барышня, едва очнувшись, вновь потеряла сознание, тотчас послала за лекарем, а сама раздела Антонию и уложила ее под одеяло.

Не замечая непогоды, от ужаса почти лишившись рассудка, Хасинта бежала опрометью, пока не добралась до ворот монастыря. Она начала изо всех сил дергать веревку колокольчика, а когда к ней вышел привратник, потребовала, чтобы ее незамедлительно допустили к настоятелю. Амбросио в эту минуту совещался с Матильдой, как безопаснее добраться до Антонии. Причина смерти Эльвиры оставалась неоткрытой, и он проникся убеждением, что воздаяние следует за виной вовсе не так быстро, как утверждали монахи, его наставники, и как до этих пор верил он сам. Посему его решимость погубить Антонию укрепилась, а все опасности, которым он подвергался, и все трудности только усилили его страсть. Монах уже однажды попробовал увидаться с ней, но Флора отказала ему так сурово, что он счел дальнейшие попытки бесполезными. Эльвира сообщила о своих подозрениях верной служанке, предупредила ее никогда не оставлять Амбросио наедине с дочерью, а если возможно, то вообще не допускать их встречи. Флора обещала строго выполнить ее приказание и не обманула доверие покойной. Амбросио она отослала восвояси как раз в это утро, хотя Антония так и осталась в неведении. Монах таким образом убедился, что открытого доступа к своей возлюбленной не получит, и теперь старался с помощью Матильды измыслить более успешный план. Вот что они обсуждали, когда в келью настоятеля вошел послушник и доложил, что женщина по имени Хасинта Цунига умоляет принять ее.

Амбросио не имел ни малейшего желания исполнить эту просьбу и приказал послушнику передать посетительнице, чтобы она пришла на другой день. Но Матильда его перебила.

– Поговори с ней, – шепнула она. – На то есть причины.

Аббат кивнул и сказал послушнику, что сейчас же выйдет в приемную. Едва тот удалился, как Амбросио спросил Матильду, для чего ему нужно говорить с Хасинтой.

– Она хозяйка дома, где живет Антония, – ответила Матильда, – и может тебе пригодиться. Но пойдем к ней и узнаем, что привело ее сюда.

Они вместе отправились в приемную, где уже ждала Хасинта. Она питала величайшее почтение и доверие к благочестию и добродетельности настоятеля. Полагая, что у него есть немалая власть над Дьяволом, она не сомневалась, что ему не составит труда отправить дух Эльвиры в Черное море. Вот почему она побежала в монастырь. А теперь, едва монах вошел, упала на колени и начала свою историю так:

– О святой отец! Такой случай! Такая неожиданность! Ума не приложу, что делать, и, если вы мне не поможете, я, наверное, помешаюсь. Так ведь, конечно, мир не видел женщины злополучнее меня! Кажется, уж я все делала, лишь бы нечисть меня в покое оставляла, да видно, мало делала! И молитвы четырежды в день произносила, и все праздники по календарю соблюдала, а для чего? Три раза совершала паломничество к святому Яго Компостельскому, а уж папских прощений всяческих грехов накупила столько, что и Каину хватило бы! И ничего-то мне не удастся! Все идет не так, и только Богу известно, поправятся ли мои дела хоть когда-нибудь! Вот сами посудите, ваша святость. Моя жилища умирает от конвульсий. По доброте душевной я хороню ее на собственные деньги. И

ведь она не родственница мне, и ни пистоя мне ее кончина не принесла. Я же ей не наследница, так что сами видите, преподобный отец, мне все едино, жива она или померла. Ну, да я заговорила! Что бишь я сказать-то хотела? Ну да! Схоронила я ее, значит, честь по чести и в большой вошла расход. Бог свидетель! Так как же, по-вашему, госпожа покойница меня отблагодарила за мою-то доброту? Взяла да отказалась тихо спать в своем удобеньком сосновом гробу, как мирному благопристойному духу положено, а вместо того явилась меня допекать, хоть я-то ее больше видеть никак не желаю. Куда как ей пристало врываться в мой дом за полночь, пролезать сквозь дверную скважину в дочкину комнату и пугать бедную девочку до полусмерти! Хоть она там и призрак, а разве годится забираться в дом той, кто уж как-нибудь без ее общества да обойдется! Ведь что до меня, святой отец, тут дело простое: если она входит в мой дом, значит, я должна из него выйти, потому что таких гостей терпеть у меня никаких сил нету! Так что видите, ваша святость, без вашей помощи я совсем пропала, и ждет меня верное разорение. Придется мне оставить мой дом! И никто его не снимет и не купит, чуть только люди узнают что там она завелась, и что же тогда со мной будет? Разнесчастная я женщина! Что же мне делать? Что со мной будет?

И она горько заплакала, ломая руки и умоляя аббата сказать, что он думает про ее дело.

– Поистине, добрая женщина, – ответил он, – мне трудно будет помочь тебе, пока я не узнаю, что такое с тобой стряслось. Ты ведь забыла объяснить мне, что произошло и чего ты хочешь.

– Провалиться мне! – вскричала Хасинта. – Правда ваша, святой отец! Ну, значит, так. Моя жилица, недавно помершая, и женщина очень хорошая, должна я сказать... то есть насколько я ее знала, только она не очень-то меня до себя допускала. Что греха таить, нос-то она задирала, и, когда я с ней заговаривала, бывало так на меня посмотрит, что мне не по себе становилось, прости Господи! Ну, да хоть она и важничала и вроде как на меня сверху вниз смотрела, а сама-то, коли мне правду говорили, происхождения была, может, похуже моего. Ее отец был сапожником в Кордове, а мой почтенный родитель – шляпочником в Мадриде, позвольте вам доложить! Но при всей своей гордости была она тихой и учливой, и я себе лучше жилицы не пожелала бы. Оттого-то я и не понимаю, чего ей в могиле не спится! Да уж, в этом мире никому верить нельзя! Хотя сама я за ней ничего такого не подмечала. Разве что в последнюю пятницу перед ее смертью увидела я, к вящему своему негодованию, как она ела крылышко цыпленка. «Да как же это, мадонна Флора? – говорю я. (Флора эта, с разрешения вашего преподобия, их служанка.) Как же это, мадонна Флора, – говорю. – Госпожа-то ваша по пятницам скромное кушает? Ну-ну! Увидишь, что из этого выйдет, а потом вспомнишь мои слова!» Так прямо и отрезала. Но, увы, могла бы и помолчать. Никто меня и слушать не стал. А Флора, она на язык дерзкая (ей же хуже, говорю я), отвечает, что, дескать, от цыпленка вреда не больше, чем от яйца, из которого он вылупился. И еще прибавила, что положи ее госпожа сверху ломтик ветчины, то все равно ни на шаг бы к вечной гибели не приблизилась. Господи, спаси нас и помилуй! Бедная грешная невежественная душа! Уж поверьте, ваша святость, я прямо задрожала, как услышала такие ее кощунственные слова, и ждала, что земля вот-вот разверзнется и поглотит ее вместе с цыпленком и всем прочим! Потому как вам следует узнать, ваша святость, что сама Флора держала тарелку с такой же точно жареной птицей. И должна сказать, отлично зажаренной, я ведь сама на кухне присматривала. Галисийская курочка, мной же и выкормленная, с разрешения вашей святости, а мясо белое-пребелое, что твоя яичная скорлупа. И сама донья Эльвира то же сказала: «Дама Хасинта», – сказала она, да так ласково, потому как, правду сказать, она всегда разговаривала со мной очень учтиво...

Тут терпение Амбросио лопнуло. Торопясь узнать, в чем заключалась просьба Хасинты, к которой как будто имела отношение Антония, он с ума сходил, пока болтливая старуха никак не могла перейти к делу. Он опять перебил ее и пригрозил, что уйдет из приемной и предоставит ей самой выбирать из своих трудностей, если она тотчас не изложит все толком. Угроза возымела желаемое действие, и Хасинта изложила свою просьбу настолько кратко, насколько было в ее силах. Тем не менее многословие ее лишь слегка

поубавилось, и Амбросио понадобилось все его терпение, чтобы выдержать до конца.

– И вот, ваше преподобие, – заключила донна Хасинта, описав смерть и погребение Эльвиры со всеми подробностями. – И вот, ваше преподобие, услышав этот визг, я отложила свою работу и побежала в комнату доньи Антонии. Никого там не найдя, я вошла в соседнюю. И признаюсь вам, не без робости, потому что была это та самая комната, где прежде спала донья Эльвира. Но я все-таки вошла, а барышня лежит, вытянувшись, на полу, холодная, что твой камень, и белая, как простыня. Я очень удивилась, ваша святость, но тут меня просто озноб прошиб, потому что сбоку я увидела высоченную фигуру – она головой в потолок упиралась! Лицо-то было лицом доньи Эльвиры, отрицать не стану, но изо рта у нее вырывался огонь, а на руках были тяжелые цепи, и она жалобно ими бряцала, а на голове у нее вместо волос были змеи и каждая в мою руку толщиной! Тут я так перепугалась, что начала читать «Богородице Дево, радуйся!», но призрак меня перебил тремя громкими стонами и проревел жутким голосом: «Ах, это крылышко цыпленка! Моя бедная душа терпит за него кару!» И чуть она это сказала, как земля разверзлась и призрак провалился туда. Тут ударил гром, и в комнате запахло серой. Когда я оправилась от испуга и привела донью Антонию в чувство, она мне сказала, что закричала, когда увидела призрак своей матушки. (Да и как ей было не закричать, бедняжке! Будь я на ее месте, так завопила бы в тысячу раз громче!) И тут я сразу сообразила, что успокоить привидение только ваше преподобие сумеет. А потому поспешила сюда с нижайшей просьбой, чтобы вы окропили мой дом святой водою и отправили духа в Чермное море.

Амбросио недоумевал, потому что не мог поверить этой странной истории.

– А донья Антония тоже видела призрак? – спросил он.

– Как я сейчас вижу ваше преподобие!

Амбросио задумался. Ему представлялся случай получить доступ к Антонии, но он побаивался воспользоваться им. Доброе мнение о нем Мадрида все еще было ему дорого, а с тех пор как он утратил добродетель, сохранение ее видимости обрело для него особую важность. Он полагал, что, открыто отступив от своего правила не выходить за пределы монастыря, он во многом умалит приписываемую ему святость. Посещая Эльвиру, он всегда старательно скрывал лицо от прочих обитателей дома, и кроме самой Эльвиры, ее дочери и верной Флоры, его там знали как отца Иеронима. Он понимал, что согласие исполнить просьбу Хасинты сохранить в тайне не удастся. Однако желание увидеть Антонию взяло верх. К тому же он надеялся, что необычность повода оправдает его в глазах Мадрида. Но каковы бы ни были последствия, он решил извлечь пользу из случая, который ему предоставила судьба. Выразительный взгляд Матильды укрепил его в этом решении.

– Добрая женщина, – сказал он Хасинте, – твой рассказ столь необычаен, что мне трудно ему поверить. Однако я исполню твою просьбу. Завтра после обедни я навещу твой дом и тогда посмотрю, что смогу для тебя сделать и в моей ли власти избавить тебя от этой непрошеной гостьи. А теперь иди к себе, и да будет мир с тобой!

– К себе! – воскликнула Хасинта. – Как это к себе? Нет уж, без вашей защиты я и порога не переступлю. А что, – Господи помилуй! – если призрак меня на лестнице встретит и уволочет с собой к Дьяволу? И почему только я не согласилась отдать руку молодому Мельхиору Баско! Был бы у меня сейчас защитник, а теперь вот я одинокая женщина, и сыплются на меня всякие несчастья и тяжкие кресты! Слава Богу, еще не поздно раскаяться! Симон Гонсалес только и ждет моего согласия, и, коли доживу до рассвета, сразу пойду за него. Раз уж завелся в моем доме этот дух, без мужа мне теперь никак. Я же помру от страха, коли буду одна спать. Но ради Господа Бога, преподобный отец, пойдите со мной сейчас. Я покоя не буду ни минуточки знать, пока дом мой не очистится, да и бедняжка барышня тоже! Такая хорошая девочка! И как же ей дурно было! Я оставила ее в сильнейших конвульсиях! Да уж после такого испуга она не скоро оправится!

Монах вздрогнул и перебил ее:

– В конвульсиях, ты сказала? Антония в конвульсиях? Веди меня, добрая женщина. Я сейчас же пойду с тобой.

Однако Хасинта потребовала, чтобы он прежде вооружился сосудом со святой водой, и он послушался. Полагая, что с ним ей не страшен и легион бесов, старуха осыпала монаха изъявлениями благодарности, и они вместе отправились на улицу Сан-Яго.

На Антонию призрак произвел столь сильное впечатление, что первые часа два лекарь опасался за ее жизнь. Но припадки становились все легче и реже, так что он взял свое заключение назад, добавив, что ей нужен только покой, и приказал приготовить лекарство, которое должно было утишить ее тревогу и помочь уснуть, в чем она очень нуждалась. Появление Амбросио с Хасинтой подействовало на нее благотворно. Эльвира так темно говорила о сущности его посягательств, что девушка, столь невинная, как ее дочь, не могла понять, насколько для нее опасно знакомство с ним. В эту минуту, когда еще не изгладился пережитой ужас и она отгоняла от себя мысль о предсказании призрака, ей необходимы были все утешения дружбы и религии, а потому Антония вдвойне обрадовалась аббату. Она все еще испытывала к нему ту приязнь, какую ощутила, увидев его в первый раз, и воображала, сама не зная отчего, что его присутствие обережет ее от всех опасностей, оскорблений и несчастий. Она горячо поблагодарила его за то, что он ее навестил, и поведала ему о происшествии, столь сильно ее расстроившем.

Аббат всячески старался ее ободрить, убеждая, что привидевшееся ей было лишь плодом расстроенного воображения. Одиночество, в котором она провела вечер, ненастная ночь, книга, которую она читала, и комната, где она сидела, — все, несомненно, подействовало на ее фантазию весьма болезненным образом. Он высмеял даже мысль о привидениях и пустил в ход самые веские аргументы, доказывая ложность подобных представлений. Беседа с ним успокоила и утешила Антонию, но не убедила. Она не могла поверить, что дух был лишь плодом ее воображения. Она слишком хорошо помнила все обстоятельства, чтобы обмануть себя. И продолжала твердить, что в самом деле видела призрак матери, а также слышала, какой ей остался срок, и что живой она с постели не встанет. Амбросио посоветовал ей не предаваться подобным страхам, а затем удалился, обещав посетить ее на следующий день. Антония выразила живейшую радость, но монах без труда заметил, что ее служанка нисколько эту радость не разделяет. Флора всегда скрупулезно исполняла любые распоряжения Эльвиры. И старалась предусмотреть все, что хоть сколько-нибудь могло повредить ее юной госпоже, которую она знала с младенчества. Флора была уроженкой Кубы, уехала с Эльвирой в Испанию и любила Антонию материнской любовью. И пока аббат находился в спальне она ни на минуту не оставляла его наедине с больной, но следила за каждым его словом, каждым его взглядом, каждым его движением. Он заметил, что она не спускает с него подозрительных глаз, и, понимая, что подобный ревнивый надзор может раскрыть его замыслы, терялся и приходил в смятение. Он догадывался, что она сомневается в чистоте его намерений и не оставит его с Антонией вдвоем, присутствие же такого бдительного стража лишало его всяких надежд добиться своего.

Когда он вышел от Антонии, на лестнице его встретила Хасинта и начала умолять, чтобы за упокой души Эльвиры были отслужены мессы — она не сомневалась, что ее покойная жилища мучается в Чистилище. Он обещал не забыть ее просьбу, но окончательно покорила сердце старухи, согласившись провести всю следующую ночь в комнате, где явился призрак. Хасинта не находила слов, чтобы излить свою признательность, и монах удалился, осыпанный ее благословениями.

Когда он вернулся в монастырь, уже давно рассвело. Первой его заботой было рассказать своей наперснице обо всем, что произошло. Страсть его к Антонии была искренней, и предсказание ее близкой смерти не могло его не смутить. Его ужасала мысль, что он потеряет столь дорогое ему существо. Но Матильда его успокоила, повторив доводы, которые использовал он сам. По ее мнению, Антония просто бредила, поддавшись меланхолии, подкрепленной свойственной ей верой в сверхъестественное и в чудеса. Ну, а рассказ Хасинты своей нелепостью сам себя опровергал, и аббат легко согласился, что старуха все сочинила, либо с перепугу, либо для того, чтобы он согласился исполнить ее

просьбу. Убедив аббата во вздорности его опасений, Матильда продолжала так:

– Предсказание и призрак равно обман. Но твое дело, Амбросио, позаботиться, чтобы первое сбылось. До истечения трех дней Антонии необходимо умереть для мира, но так, чтобы она жила для тебя. Ее недомогание и фантазия, в которую она уверовала, помогут плану, который я замыслила давно, хотя и молчала, так как для его исполнения ты должен был получить доступ к Антонии. Она станет твоей не на одну ночь, а навсегда. Никакая бдительность ее дуэньи ей не поможет, и ты будешь без помех наслаждаться всеми прелестями своей возлюбленной. Однако план этот необходимо осуществить сегодня же, потому что тебе нельзя терять времени. Племянник герцога Медина-Цели намерен объявить Антонию своей невестой. Через день-другой она переедет во дворец своего родственника, маркиза де лас Систернаса, и там тебе до нее уже не добраться. Вот что во время твоего отсутствия я узнала от моих соглядатаев, которые все время приносят мне сведения, полезные для тебя. А теперь слушай. Есть некий сок, выжимаемый из некоторых трав, который известен лишь немногим. Тот, кто его выпьет, впадает в сон, во всем подобный смерти. Дай его Антонии. Тебе нетрудно будет подмешать несколько капель к ее лекарству. Тогда у нее начнутся сильные конвульсии и будут длиться час. Затем кровь перестанет струиться у нее в жилах и сердце остановится. Смертная бледность разольется по ее лицу, и все сочтут ее трупом. Рядом с ней нет друзей, и ты можешь взять на себя ее похороны, не вызвав ни в ком подозрения, и устроить так, чтобы ее погребли в склепах обители святой Клары. Уединенность этих подземелий и легкий для тебя доступ туда во всем способствуют твоим замыслам. Нынче вечером дай Антонии сонное питье. Через сорок восемь часов к ней возвратится жизнь. И она окажется в полной твоей власти. Убедившись, что всякое сопротивление бесполезно, она поневоле примет тебя в свои объятия.

– Антония будет в моей власти! – вскричал монах. – Матильда, ты меня восхищаешь! Наконец-то я обрету счастье, и счастье это будет даром Матильды, даром дружбы! Я сожму Антонию в объятиях вдали от подглядывающих глаз, от непрошенных свидетелей! Я вздохами изолью душу на ее груди, научу ее юное сердце азбуке наслаждений, буду без помех упиваться бесконечным разнообразием ее прелестей! О, правда ли, что это блаженство будет моим наяву? И я дам полную волю моим желаниям, найду удовлетворение самым необузданным и бурным моим прихотям? Ах, Матильда, как мне выразить свою благодарность тебе?

– Воспользовавшись моими советами, Амбросио. Я ведь живу, только чтобы служить тебе. Твои желание и счастье – они и мои. И пусть ты телом принадлежишь Антонии, я по-прежнему заявляю права на твою дружбу и сердце. Способствовать твоим удовольствиям – вот мое единственное удовольствие теперь. Если благодаря моим усилиям твои желания будут удовлетворены, я сочту себя сполна вознагражденной. Но не будем терять время. Настой, о котором я говорила, можно найти только в лаборатории обители святой Клары. Поспешь же к настоятельнице и попроси, чтобы тебе показали их лабораторию. Отказа ты не встретишь. В дальнем конце залы есть шкаф, полный сосудов с жидкостями всех цветов и назначений. Нужный тебе фиал стоит один на третьей полке слева. Жидкость в нем зеленоватого оттенка. Отлей ее в маленький флакон, когда на тебя никто не будет смотреть, и Антония – твоя.

Монах без колебаний принял этот гнусный план. Его желания, и без того необоримые, обрели новую силу, едва он снова увидел Антонию. Когда он сидел у ее постели, случай открыл ему некоторые тайные прелести, от него прежде скрытые. Он нашел их даже еще более совершенными, чем рисовало его пылкое воображение. То ее белоснежное плечо выглядывало из-под одеяла, когда она поправляла подушку, то неосторожное движение приоткрывало юную грудь. И где бы ни выглядывала та или иная прелесть, туда устремлялся жадный взгляд монаха. С трудом лишь удавалось ему владеть собой настолько, чтобы скрыть свои желания от Антонии и ее бдительной дуэньи. Воспламененный воспоминанием о всех этих красках, он без колебаний согласился на план Матильды.

Едва кончилась обедня, как он поспешил в монастырь святой Клары. Его появление там

повергло всех монахинь в величайшее изумление. Настоятельница, польщенная честью, которую он сделал ее обители, посетив ее самой первой, всеми способами старалась выразить свою признательность. Сад и все реликвии святых и мучеников ему показали с таким благоговейным почтением, словно он был сам папа. Со своей стороны Амбросио принимал эти знаки внимания весьма милостиво и постарался рассеять недоумение настоятельницы, удивленной тем, что он вдруг нарушил свое затворничество. Он объяснил, что многих его духовных дочерей недуги удерживают дома. А ведь именно им больше всего необходимы его советы и поддержка религии. Его постоянно призывают к одру болезни, и как это ни противно его желаниям, он убедился, что во исполнение долга перед Небесами должен изменить прежнее свое решение и отказаться от столь любезного ему уединения. Настоятельница, восторгаясь его ревностностью и милосердием, объявила, что Мадрид поистине счастлив, раз ему ниспослан столь совершенный и безупречный служитель Церкви. Ведя такие беседы, монах в конце концов оказался в лаборатории. Он нашел и шкаф. Фиал стоял на той полке, какую назвала Матильда, и монах сумел незаметно отлить сонный напиток в принесенный с собою флакон. Затем, отведав угощение, накрытое в трапезной, он покинул обитель, очень довольный своим успехом, а монахини все еще не могли опомниться от оказанной им чести.

Он дождался вечера и только тогда направился к жилищу Антонии. Хасинта поздоровалась с ним вне себя от восторга и принялась умолять, чтобы он не забыл своего обещания и провел ночь в комнате, где явился дух. Обещание это он подтвердил. Антонию он нашел несколько окрепшей, но она все еще мучилась из-за предсказания духа. Флора не отходила от постели своей барышни, и ее поведение даже яснее, чем накануне, свидетельствовало о неприязни к аббату, но он по-прежнему делал вид, будто ничего не замечает. Пока он беседовал с Антонией, пришел лекарь. Уже стемнело, и нужны были свечи, так что Флоре волей-неволей пришлось спуститься за ними. Однако в комнате теперь был третий человек, а отсутствовать ей предстояло всего несколько минут, и она решила, что может без опасений оставить свой пост. Едва она вышла, как Амбросио направился к столику в оконной нише, на котором стояло лекарство Антонии. Лекарь сидел в кресле и расспрашивал свою пациентку, не обращая внимания на монаха. Амбросио не упустил удобного случая. Он вынул роковой флакон и отлил несколько капель в лекарство, а затем поспешно вернулся на стул, с которого только что поднялся. Когда Флора вошла со свечами, в комнате, казалось, ничего не изменилось.

Лекарь объявил, что утром Антония может встать с постели, ничего не опасаясь. Он посоветовал ей непременно и теперь принять лекарство, которое накануне помогло ей уснуть крепким и здоровым сном. Флора ответила, что лекарство уже ждет на столике, и лекарь сказал, что его следует принять сейчас же, после чего он ушел. Флора налила лекарство в чашку и подала его своей барышне. И тут мужество изменило Амбросио. А что, если Матильда его обманула? Что, если она из ревности решила сгубить соперницу и подменила снотворное ядом? Мысль эта показалась ему настолько логичной, что он совсем собрался помешать ей. Но принял это решение слишком поздно – Антония успела выпить чашку до дна и вернула ее Флоре. Теперь ничего изменить было нельзя, и Амбросио оставалось с нетерпением ожидать минуты, которая принесет Антонии жизнь или смерть, а ему счастье или отчаяние.

Страшась, что он вызовет подозрения, если задержится, или же выдаст себя, не сумев скрыть смятение духа, монах попрощался со своей жертвой и вышел из комнаты. Антония рассталась с ним не так сердечно, как накануне. Флора напомнила своей юной госпоже, что принять его – значит послушаться заветов матери. Она объяснила девушке, с какими чувствами монах вошел к ней и каким огнем горели его глаза, когда он смотрел на нее. Антония ничего не заметила, но от наблюдательности Флоры все это не укрылось, и она объяснила своей барышне замыслы монаха и их возможные последствия настолько яснее, чем прежде Эльвира, хотя и не так деликатно, что напугала Антонию и убедила ее держаться с ним более холодно, чем раньше. Мысль о том, что она выполнит волю матери, сразу

укрепила Антонию в этом намерении. Хотя ей было грустно лишиться его общества, она сумела справиться с собой настолько, что ей удалось принять монаха более холодно и сдержанно, чем раньше. С уважением она выразила ему признательность за прежние его посещения, однако не пригласила его повторять их в будущем. Но теперь не в интересах монаха было говорить об этом, и он простился с ней так, словно сам не собирался больше навещать ее. Флора, поверив, что знакомство, которого она столь страшилась, продолжаться не будет, была поражена легкостью, с которой он с этим согласился, и усомнилась в верности своих подозрений. И пока светила ему на лестнице, не забыла поблагодарить его за то, что он старался успокоить суеверный ужас, который внушило Антонии предсказание призрака. Она добавила, что, видя, как близко он принимает к сердцу судьбу доньи Антонии, непременно сообщит ему, если произойдут какие-либо изменения. Монах, отвечая, повысил голос в надежде, что Хасинта его услышит. И не ошибся: когда он со своей проводницей спустился в прихожую, там его уже поджидала хозяйка дома.

– Да как же так, преподобный отец? Неужто вы уходите? – вскричала она. – Разве же вы не обещали мне провести ночь в той комнате? Господи Иисусе! Так мне и оставаться с призраком одной-одинешенькой? Хороша же я буду поутру. Что я только ни делала, что ни говорила, старый упрямый осел Симон Гонсалес не согласился пожениться со мной сегодня. А до утра меня, уж конечно, раздерут на куски духи, бесы, дьяволы и кто там еще! Богом заклинаю, ваша святость, не покидайте меня в горестном моем положении! На коленях прошу и умоляю, сдержите свое обещание, посторожите эту ночь в комнате с привидениями! Отправьте духа в Чермное море, и Хасинта будет до последнего вздоха поминать вас в своих молитвах!

Амбросио и ждал и всей душой желал этой просьбы. Однако он начал притворно отговариваться и, казалось, предпочел бы взять свое обещание назад. Он заверил Хасинту, что призрак существует только в ее воображении и ее требование, чтобы он остался на всю ночь у нее в доме, и смешно и бесполезно. Но Хасинта ничего слушать не хотела. Все его доводы пропадали втуне, и она так упорно умоляла не оставлять ее в жертву Дьяволу, что в конце концов он сдался. Но его долгие отказы не обманули Флору, по натуре подозрительную. Ей показалось, что монах притворяется, скрывая подлинные свои желания, и больше всего хочет остаться в доме на ночь. Она даже решила, что Хасинта ему пособничает, и тут же отвела бедной старухе роль гнусной сводни. Очень довольная тем, что сумела разгадать это покушение на честь своей барышни, она твердо вознамерилась воспрепятствовать ему.

– Так значит, – сказала она аббату, глядя на него с негодованием и насмешкой, – так значит, вы задумали переночевать здесь? Милости просим! Никто вам не помешает. Не смыкайте глаз хоть всю ночь в ожидании духа. Я вот тоже глаз не сомкну, и дай Бог, чтобы мне не довелось увидеть чего-нибудь похуже призрака! Я ни на шаг от постели доньи Антонии не отойду, и пусть кто-нибудь осмелится войти к ней, будь то смертный или бессмертный, будь то призрак, Дьявол или человек, он горько пожалеет, что переступил порог!

Намек был достаточно прозрачен, и Амбросио все прекрасно понял. Однако не стал показывать, что заметил ее подозрения, а, наоборот, мягко одобрил такие меры предосторожности и посоветовал дуэнье непременно сделать именно так. В ответ она заверила его, что он может на нее положиться, после чего Хасинта проводила его в комнату, где появился дух, а Флора вернулась к Антонии.

Хасинта открыла дверь роковой спальни трепещущей рукой и робко туда заглянула. Однако все богатства Индий не соблазнили бы ее переступить порог. Она отдала свечу монаху, пожелала ему всего самого наилучшего и поспешила уйти. Амбросио вошел. Он задвинул засов, поставил свечу на стол и опустился в кресло, в котором накануне ночью сидела Антония. Вопреки заверениям Матильды, что призрак был лишь плодом воображения, он испытывал некий мистический ужас и тщетно пытался избавиться от него. Ночное безмолвие, рассказ о появлении духа, темные дубовые панели на стенах,

пробудившиеся воспоминания об убитой Эльвире и страх, что в лекарство Антонии он подлил яд, – все это будило в нем тягостную тревогу. Но думал он не столько о привидении, сколько о яде. Что, если он погубил то единственное, что делает ему дорогой жизнь? Что, если предсказание призрака свершится? Что, если через три дня Антонии не будет в живых и причиной ее смерти окажется на свое горе он?.. Последнее предположение было слишком ужасным, чтобы над ним раздумывать. Он отгонял от себя эти жуткие образы, а они вновь и вновь теснились перед его умственным взором. Матильда заверила его, что сонный напиток должен подействовать быстро. Он прислушался со страхом, но и с нетерпением, ожидая услышать тревожный шум в соседней комнате. Всюду царила тишина. Он попытался успокоить себя мыслью, что капли еще не подействовали. Велика была ставка, на которую он теперь играл. Достаточно будет лишь мига, чтобы понять, горе ждет его или счастье. Матильда объяснила ему, как убедиться, что жизнь не угасла навсегда, и все его помыслы сосредоточивались на этой приближающейся пробе. С каждым мгновением его нетерпение удваивалось, страхи становились все сильнее, тревога все мучительнее. Изнемогая от неуверенности, он попытался занять мысли чем-либо другим. Как уже упоминалось, возле стола, который стоял почти напротив кровати, помещенной в алькове у двери в чулан, были полки с книгами. Амбросио взял первый попавшийся томик и сел с ним к столу. Но его внимание никак не могло сосредоточиться на открытой странице. В его воображение все время вторгался образ то Антонии, то убитой Эльвиры. Однако он продолжал читать, хотя взгляд его скользил по буквам, не составляя их в слова.

Вот каким было его состояние, когда ему почудились шаги. Он обернулся, но никого не увидел и вновь склонился над книгой. Однако через одну-две минуты тот же звук повторился, а за ним последовал громкий шорох прямо у него за спиной. Он приподнялся и теперь увидел, оглянувшись, что дверь в чулан полуоткрыта. Едва войдя в комнату, он попробовал ее открыть, но обнаружил, что внутренний засов был задвинут...

«Как так? – сказал он себе. – Каким образом эта дверь открылась?»

Он подошел к ней, распахнул и заглянул в чулан. Там никого не было. Пока он стоял в нерешительности, из соседней комнаты донеслись стоны. Он предположил, что стонет Антония, так как снадобье начинает действовать. Но, прислушавшись еще раз, убедился, что это зычно храпит Хасинта, уснувшая у постели больной. Амбросио попятился и вернулся в комнату, ломая голову над тем, как могла открыться эта дверь, и не находил объяснения.

Он молча мерил комнату шагами. Затем остановился, и внимание его сосредоточилось на кровати в алькове, занавески которого были полуотдернуты. Он невольно вздохнул.

– Эта кровать! – произнес он тихо. – На этой кровати спала Эльвира. Тут она провела много спокойных ночей, ибо была добродетельной и безгрешной. Каким крепким должен был быть ее сон! Однако теперь она спит еще крепче! Но спит ли она? Пошли Господь, чтобы было так! А что, если она поднимается из могилы в этот скорбный и безмолвный час? Что, если она вырвется из уз могилы и гневно явится перед моими ослепшими глазами? О, такого зрелища я не перенес бы! Вновь увидеть ее тело, изогнувшееся в смертной судороге, ее набухшие кровью жилы, свинцовое лицо, глаза, остекленевшие от боли! Услышать, как она заговорит о грядущей каре, будет угрожать мне мстостью Небес, обличать меня и в совершенных преступлениях, и в тех, которые я намерен совершить... Боже Великий! Что это?

Его устремленный на кровать взор вдруг заметил, что занавески на ней слегка колышались. Он тотчас вспомнил о призраке, и ему даже почудилось, что он видит лежащую на постели Эльвиру. Но затем он опомнился.

– Это сквозняк, – успокаивая себя, произнес он вслух.

И вновь начал расхаживать по комнате. Но с невольным ужасом и тревогой все время поглядывал на альков. Потом нерешительно постоял возле него, прежде чем подняться по трем ступенькам, которые вели к кровати. Трижды он протягивал руку к занавескам и трижды ее отдергивал.

– Нелепый страх! – вскричал он наконец, устыдившись своей слабости, и быстро

перешагнул ступеньки.

Из алькова метнулась одетая в белое фигура и, проскользнув мимо него, устремилась к двери в чулан. Безумие и отчаяние придали монаху то мужество, которого ему до тех пор не хватало. Он кинулся следом за призраком вниз по ступенькам, протягивая к нему руки.

– Дух или Дьявол, ты не уйдешь от меня, – воскликнул он, вцепляясь призраку в плечо.

– Ай! Господи Иисусе! – взвизгнул тот. – Святой отец, пустите! Я ничего плохого не замышляла!

Такое обращение, а также плечо, которое сжимали его пальцы, убедили монаха, что призрак этот сотворен из плоти и крови. Он подтащил свою добычу к столу, поднял свечу повыше и увидел лицо... мадонны Флоры!

В бешенстве из-за того, что столь ничтожный повод вверг его в такой нелепый ужас, он грозно спросил, что она тут делает. Флора, пристыженная, что ее обнаружили, и напуганная грозным видом Амбросио, упала на колени и поклялась сознаться во всем.

– Право же, преподобный отец, – сказала она, – я никак не думала вас беспокоить. Совсем даже напротив! Я собиралась уйти так же тихо, как пришла, а не узнай вы, что я за вами подглядывала, так какая была бы для вас разница? Конечно, я поступила очень дурно, что следила за вами, тут спора нет. Но, Господи! Как бедной женщине, ваше преподобие, смирить любопытство? А мне просто приспичило узнать, что вы тут делаете, ну, я и не удержалась, решила поглядеть одним глазком, чтобы никто не узнал, оставила даму Хасинту посидеть с моей барышней, а сама забралась в чулан. Боясь помешать вам, я сначала подсматривала в замочную скважину, да только ничего не увидела, а потому отодвинула засов и у вас за спиной тихонечко забралась в альков. И лежала там за занавеской, пока, преподобный отец, вы меня не вспугнули и не схватили, прежде чем я добралась до чулана. Вот и вся правда, ваша святость, уж поверьте мне! И прошу у вас тысячу раз прощения за мою дерзость!

Пока она говорила, аббат успел взять себя в руки и удовлетворился тем, что отчитал кающуюся шпионку, указывая на опасности праздного любопытства и низость того, на чем она была поймана. Флора отвечала, что понимает, как дурно поступила, пообещала никогда впредь ничего подобного себе не позволять и, полная раскаяния, уже виновато повернулась, чтобы возвратиться в спальню Антонии, как вдруг дверь чулана распахнулась и из него выскочила бледная, задыхающаяся Хасинта.

– Ах, отче! Отче! – воскликнула она охрипшим от ужаса голосом. – Что мне делать? Что мне делать? Только подумать! Одни несчастья! Только покойницы да помирающие! Нет, я помешаюсь! Я помешаюсь!

– Говори же, говори! – воскликнули вместе Флора и монах. – В чем дело? Что случилось?

– Быть в моем доме еще одной покойнице! Не иначе какая-то ведьма навела на него порчу! И на меня, и, главное, на все кругом! Бедная донья Антония! Бьется в конвульсиях, какие убили ее матушку! Призрак ей правду сказал! Чистую правду!

Флора побежала, а вернее, полетела в спальню своей барышни. Амбросио последовал за ней с сердцем, полным надежд и дурных предчувствий. Как и сказала Хасинта, Антония билась в судорогах, и они не сумели ей помочь, как ни старались. Монах приказал Хасинте бежать в монастырь и без промедления проводить сюда отца Паблоса.

– Сбежать я за ним сбегаяю, – ответила она, – и скажу, чтобы он не мешкал. А вот провожать сюда его не стану! Дом не иначе как заколдован, и гореть мне в вечном огне, если я переступлю его порог!

Объявив о своем решении, она поспешила в монастырь и передала отцу Паблосу распоряжение настоятеля, а сама отправилась в дом старого Симона Гонсалеса, положив себе не выходить оттуда, пока не сделает старика своим мужем и не приберет к рукам его жилище.

Едва отец Паблос увидел Антонию, как объявил, что недуг ее неизлечим. Конвульсии продолжались час, но муки ее все же были не так сильны, как те, что вызывали в сердце

аббата ее стоны. Каждая ее судорога поражала его грудь, как удар кинжала, и он тысячу раз проклял себя за то, что согласился на столь варварский план. По истечении часа конвульсии утихли, и Антония почти не страдала. Но бедняжка чувствовала, что конец ее близок и ничто уже спасти ее не может.

– Достойный Амбросио! – произнесла она слабым голосом, поднося его руку к губам. – Теперь мне можно сказать, как мое сердце благодарно вам за ваши заботы и доброту. Смерть моя близка. Еще час, и меня не станет. Поэтому я могу признаться, как тяжело мне было отказывать себе в вашем обществе. Но такова была воля матушки, и я не смела ослушаться. Я умираю без горести. Так мало тех, кто будет скорбеть из-за разлуки со мной! И так мало тех, из-за разлуки с кем скорблю я. Но среди этих немногих более всего я скорблю из-за разлуки с вами. Но мы снова встретимся, Амбросио! Мы встретимся на Небесах и там возобновим нашу дружбу, и матушка будет смотреть на нее с одобрением!

Антония смолкла. При упоминании Эльвиры монах содрогнулся, но она приписала это его жалости к ней.

– Вы горюете обо мне, отче, – продолжала она. – Ах, не вздыхайте из-за такой утраты. Никакие грехи не тяготят мою душу, – если я и согрешила, то по неведению, – и потому без страха возвращаю ее Тому, Кем она была мне дана. У меня есть лишь несколько просьб, и уповаю, что они будут исполнены. Пусть за упокой моей души отслужат торжественную мессу и еще одну за упокой моей любимой матушки. Не то, чтобы я думала, будто она не обрела вечного успокоения. Теперь я не сомневаюсь, что мне все лишь почудилось, и лживости предсказания призрака достаточно, чтобы доказать мою ошибку. Но у всех есть свои недостатки. Могли они быть и у матушки, хотя я о них не знаю. Поэтому я хочу, чтобы за ее упокой отслужили мессу, а заплатить за нее можно из тех денег, которые у меня еще остались. Остальные я завещаю моей тетушке Леонелле. Когда я умру, пусть маркиза де лас Систернаса известят, что жена и дочь его покойного брата более докучать ему не будут. Но обида делает меня несправедливой. Мне сказали, что он болен, и, возможно, будь это в его власти, он пожелал бы признать меня. Поэтому, отче, просто известите его, что я умерла и что, если он в чем-то виноват передо мной, я прощаю его от всего сердца. Кроме этих, у меня остается лишь одна просьба: поминайте меня в своих молитвах. Обещайте не забыть моей последней воли, и я расстанусь с жизнью без сожалений.

Амбросио обещал исполнить все ее желания и приступил к обряду отпущения грехов. Каждая минута указывала на приближение конца. Глаза Антонии померкли, сердце билось все слабее и реже, пальцы ее окостенели, охладели, и в два часа ночи она скончалась без единого стоны. Едва ее дыхание остановилось, как отец Паблос удалился, искренне повергнутый в печаль тем, свидетелем чего был. Флора же дала волю самому необузданному горю. Но мысли Амбросио были заняты совсем другим. Он поискал жилку, биение которой, как заверила его Матильда, покажет, что смерть Антонии лишь глубочайшее забытие. Он нашел ее, он нажал ее, она забилась под его пальцами, и сердце его исполнилось экстаза. Однако он позаботился тщательно скрыть радость, что план его удался, и, приняв скорбный вид, обратился к Флоре с увещанием не предаваться бесплодной печали. Но слезы ее были слишком искренними, и она продолжала безутешно рыдать, вопреки его советам. Монах удалился, обещав, что сам распорядится похоронами, которые, добавил он, не следует откладывать ради спокойствия Хасинты. Вне себя от горя, Флора почти его не слушала, и Амбросио всемерно поторопил погребение. Он получил разрешение настоятельницы монастыря святой Клары похоронить скончавшуюся девушку в их склепе, и в пятницу утром после всех надлежащих обрядов тело Антонии было положено в гробницу.

В тот же день в Мадрид приехала Леонелла, предвкушая, как она познакомит Эльвиру со своим молодым супругом. Различные непредвиденные обстоятельства заставили ее перенести отъезд со вторника на пятницу, о чем она не смогла известить сестру. Сердце у нее было действительно привязчивым, а Эльвиру и ее дочь она искренне любила, и потому удивление, с каким она услышала об их внезапном безвременном конце, заметно уступало ее горю и скорби. Амбросио известил ее о последней воле Антонии, а она попросила его после

уплаты мелких долгов Эльвиры оставшуюся сумму переслать ей в Кордову, куда не замедлила вернуться, потому что в Мадриде ей больше нечего было делать.

ГЛАВА III

*Какой предмет для поклоненья я
Обрести в твоих пределах мог, земля?
Алтарь, Священная Свобода, твой!
Он сложен бескорыстной рукой
Из дерна. Травами душистыми одет,
Весь в полевых цветах, каких прекрасней нет.*
КУПЕР

Лоренцо, занятый только тем, чтобы предать в руки правосудия убийц своей сестры, даже вообразить не мог бы, какой новый удар готовится ему с совсем другой стороны. В Мадрид, как уже упоминалось, он вернулся лишь к вечеру того дня, когда погребли Антонию. Оставшихся до полуночи нескольких часов ему еле достало на то, чтобы ознакомить великого инквизитора с распоряжением кардинала-герцога (формальность совершенно необходимая, раз речь шла об аресте члена церковной иерархии), сообщить о своем намерении дяде и дону Рамиресу и собрать достаточный отряд стражников на случай сопротивления. Поэтому он не успел справиться о своей возлюбленной и ничего не знал ни о ее смерти, ни о смерти ее матери.

Маркиз далеко еще не был вне опасности. Приступ мозговой горячки прошел, но так его изнурил, что врачи отказывались ручаться за благополучный исход. Сам же Раймонд желал лишь как можно скорее воссоединиться с Агнесой за могилой. Жизнь стала ему ненавистна, ничто в мире его не манило, и он надеялся лишь услышать, что Агнеса отомщена, и тогда же испустить дух.

Сопровождаемый пылкими молитвами Раймонда за успех его предприятия, Лоренцо явился к воротам обители на час ранее времени, назначенного матерью Святой Урсулой. Его сопровождали дядя, дон Рамирес и надежные стражники. Их многочисленность ни у кого удивления не вызвала, так как перед воротами поглазеть на процессию уже собралось множество зевак. И было естественно предположить, что Лоренцо и остальных привело сюда то же желание. Герцога Медину тотчас узнали, и люди расступились, давая дорогу ему и, как они думали, его свите. Лоренцо встал прямо напротив больших ворот, через которые должна была выйти процессия. Успокоенный уверенностью, что настоятельница не сможет от него ускользнуть, он терпеливо ждал полуночи, когда удар колокола должен был возвестить скорое ее появление.

Монахини занимались совершением религиозных обрядов в честь святой Клары, на которые миряне не допускались никогда. Окна часовни ярко светились. До стоящих снаружи доносились мощные звуки органа, сплетавшиеся в ночной тиши с хором женских голосов. Затем раздался только один мелодичный голос, принадлежавший той, кому предстояло изображать в процессии святую Klarу. Роль покровительницы обители всегда отдавалась самой красивой из мадридских девственниц, и избранница почитала это высочайшей честью. Внимая музыке, которую отдаленность делала только чудесней, слушатели испытывали тихое благоговение. В толпе царил полное молчание, и сердца всех были исполнены религиозного жара. Всех, кроме Лоренцо. Он знал, что среди тех, кто так гармонично возносит хвалу своему Богу, некоторые прячут под покровом благочестия самые гнусные грехи, и песнопения пробуждали в нем ненависть к их лицемерию. Он давно уже осуждал и презирал суеверия, которым покорствовали мадридцы. Здравый смысл помогал ему разгадывать ухищрения монахов, грубую нелепость их чудес, видений и так называемых святых реликвий. Он краснел, что его соотечественники так смехотворно позволяют одурачивать себя, и только ждал случая, чтобы освободить их от монашеских цепей. Теперь

этот случай, столь давно и тщетно желаемый, наконец-то представился. И он решил не упустить его, но в самом беспощадном свете показать народу, какие чудовищные вещи слишком часто творились в монастырях и как мало заслуженным может быть то почтительное уважение, которое принято воздавать без разбора всем, кто носит духовные одеяния. Он жаждал наступления минуты, когда сорвет личину с лицемеров и убедит своих соотечественников, что внешняя святость не всегда сочетается с добродетельным сердцем.

Служба длилась до полуночи, наступление которой возвестил удар монастырского колокола. Едва раздался его гулкий звук, как орган смолк, голоса мелодично замерли, и вскоре огни за окнами часовни угасли. Сердце Лоренцо забилося сильнее при мысли, что наступает миг, когда он приведет свой план в исполнение. Суеверность простонародья предполагала возможность отпора. Но он надеялся, что мать Святая Урсула предложит достаточно оправданий для его действий. Стражники сумеют отразить первый натиск черни и дадут ему возможность изложить свои обвинения. Опасался он лишь одного: вдруг настоятельница, проведая о его намерениях, спрячет монахиню, от чьих показаний зависело все. Без матери Святой Урсулы его обвинения окажутся бездоказательными, всего лишь подозрениями, и в этом случае план его может потерпеть неудачу. Безмятежное спокойствие, которое словно бы царило в обители, несколько рассеяло его опасения. Тем не менее он нетерпеливо ждал минуты, когда его союзница объявит о себе и положит им полный конец.

Капуцинский монастырь отделяли от обители святой Клары только сад и кладбище. Монахи были приглашены принять участие в церемонии. И теперь они появились, шагая попарно с факелами в руках, вознося молитву святой Кларе. Возглавлял шествие отец Паблос, так как аббат, сославшись на нездоровье, остался у себя в келье. Люди расступились перед святыми отцами, и монахи расположились в порядке старшинства по обе стороны ворот. Заняло это лишь минуту-другую, и тотчас ворота распахнулись, и вновь запели женские голоса. Хор первым вышел из ворот, и монахи, вновь попарно, последовали за поющими монахинями медленным размеренным шагом. Затем вышли послушницы. В отличие от принявших обет монахинь они не несли свечей, но шли, потупив глаза и перебирая четки. За ними появилась юная прелестная девушка, изображавшая святую Люсию. Она несла золотой сосуд, внутри которого покоились два глаза, ее же собственные закрывала черная повязка, и монахиня, одетая ангелом, служила ей поводырем. За ними шествовала святая Екатерина с пальмовой ветвью в одной руке и пылающим мечом в другой. Одетая она была во все белое, а чело ее венчала сверкающая диадема. Затем появилась святая Женевиева, окруженная чертенятами, которые принимали нелепые позы, дергали ее за полы одежды и с дурацкими жестами прыгали вокруг, стараясь отвлечь ее внимание от Святого Писания, но она не отводила взгляда, устремленного на его открытые страницы. Веселые бесы очень позабавили зрителей, выражавших свое удовольствие взрывами одобрительного хохота. На роль этой святой настоятельница позаботилась назначить монахиню по натуре очень серьезную, даже мрачную, и она могла быть довольна своим выбором. Самые потешные выходки чертенят пропадали втуне, и на лице святой Женевиевы не дрогнул ни единый мускул.

Перед каждой святой шел свой хор со свечами и распевал хвалебные гимны в ее честь, но не забывая указать, насколько она все же уступает святой Кларе, покровительнице их обители. Вслед за святыми показалась длинная вереница монахинь, которые, как и члены хора, несли зажженные свечи. Затем вынесли реликвии святой Клары, помещенные в сосудах искуснейшей работы, не уступавшей бесценностью металлам и самоцветам, из которых они были сделаны. Но не на них смотрел Лоренцо. Он не отрывал глаз от монахини, которая несла сердце святой. По описанию Теодора он узнал в ней мать Святую Урсулу. Казалось, она с тревогой озирается по сторонам. Лоренцо стоял в первом ряду зрителей, перед которыми двигалось шествие, и их глаза встретились. Краска радости оживила ее дотоле бледные ланиты, и он услышал, как она шепнула шедшей рядом с ней:

– Мы спасены. Это ее брат!

Лоренцо, ничего более не опасаясь, теперь спокойно наблюдал за процессией и лучшим

ее украшением, как раз тогда выехавшим из ворот. Это была ослепительно блестящая золотом и драгоценными камнями колесница в форме престола, которую катили дети, одетые серафимами. Завершался престол облаками из серебра, на которых возлежала невиданная красавица.

Это была девица, изображавшая святую Клару. Одевание ее не имело цены, а алмазный венец на ее голове, хотя и сотворенный человеческими руками, сиял, точно нимб. Но все эти украшения меркли в блеске ее красоты. По толпе пробежал восхищенный ропот. Даже Лоренцо втайне признал, что еще никогда не видел столь безупречной красавицы, и не принадлежи его сердце Антонии, оно было бы тут же сложено к ногам этого пленительного видения. Но теперь он взирал на нее как на прекрасную статую и, отдав ей дань холодного восхищения, тотчас перестал о ней думать.

– Кто она? – осведомился голос у него за спиной.

– Та, восхваления чьей красоты ты, уж конечно, слышал не раз. Виргиния де Вилья-Франка. Она пансионерка в обители святой Клары родственница настоятельницы и совершенно заслуженно была выбрана, чтобы составить лучшее украшение этой процессии.

Престол проехал, а за ним с самым набожным и благочестивым видом появилась настоятельница. Она шествовала впереди заключающих процессию остальных монахинь. Шла она медленно, глаза были возведены к небесам, лицо дышало спокойствием и безмятежностью, словно суэта мирская не имела над ней власти. Она ничем не выдавала тайной гордыни, торжествовавшей в минуту, когда все могли видеть свидетельства пышности и богатства ее обители. Она шла, сопровождаемая молитвами и благословениями толпы. Но тем больше были всеобщее изумление и смятение, когда дон Рамирес вышел вперед и объявил, что арестует ее!

Застигнутая врасплох, настоятельница на миг растерялась и онемела. Но тут же вновь обрела дар речи и, гневно обвинив его в кощунстве и богохульстве, воззвала к народу спасти верную дочь Церкви. Толпа уже была готова броситься к ней на выручку, но дон Рамирес под защитой стражников приказал простолюдинам остановиться и пригрозил им суровейшими карами святой инквизиции. При этом устрашающем слове все руки опустились, все кинжалы вернулись в ножны. И сама настоятельница, побледнев, задрожала. Всеобщее мертвое молчание показало ей, что защитить ее может только невиновность, и запинаящимся голосом она обратилась к дону Рамиресу с вопросом, какое преступление ей приписывают.

– Это вы узнаете в свое время, – отвечал он. – Я же прежде должен взять под стражу мать Святую Урсулу.

– Мать Святую Урсулу? – повторила настоятельница слабым голосом.

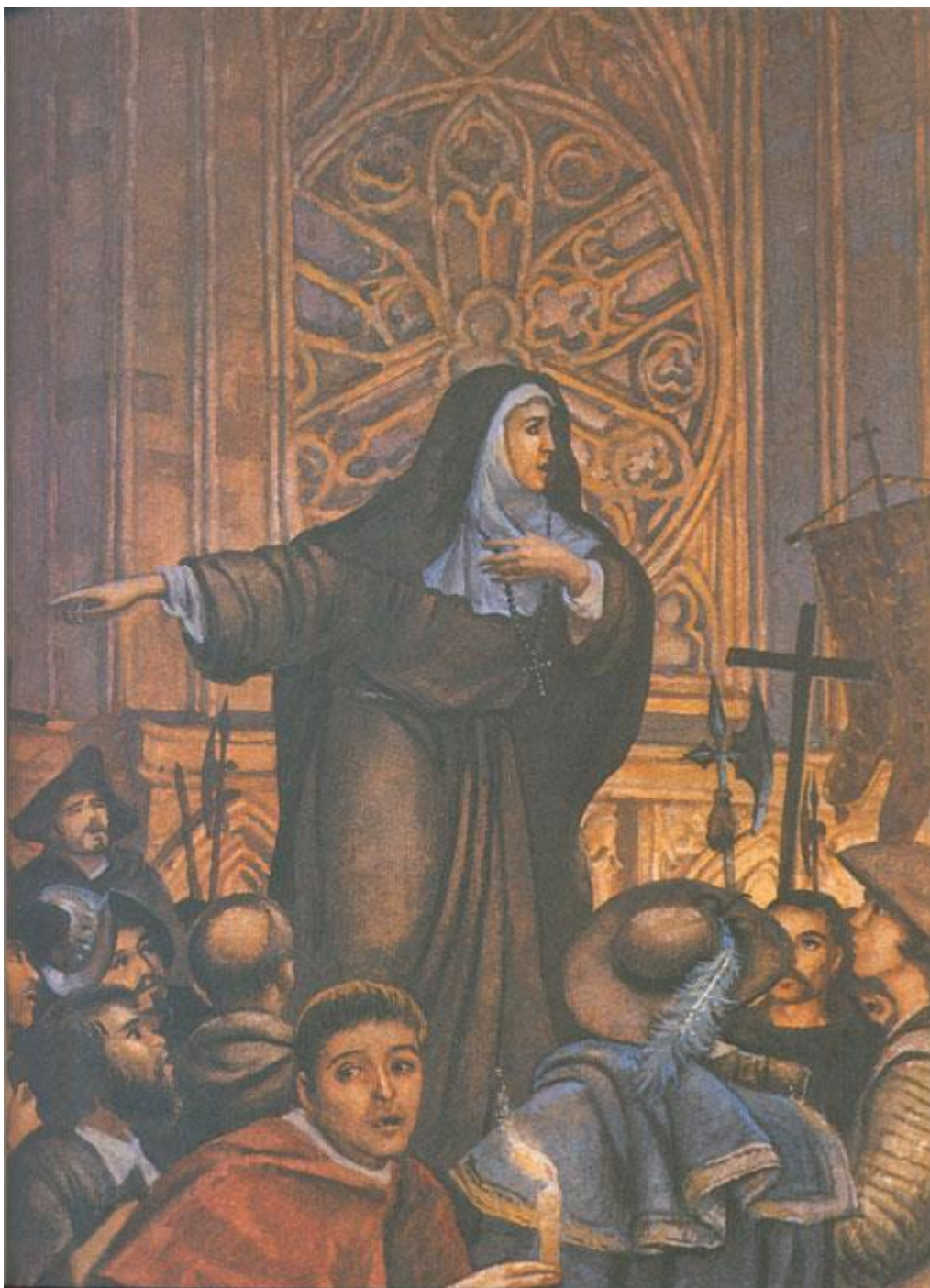
И в тот же миг, посмотрев в растерянности вокруг, увидела перед собой Лоренцо и герцога, которые подошли к дону Рамиресу.

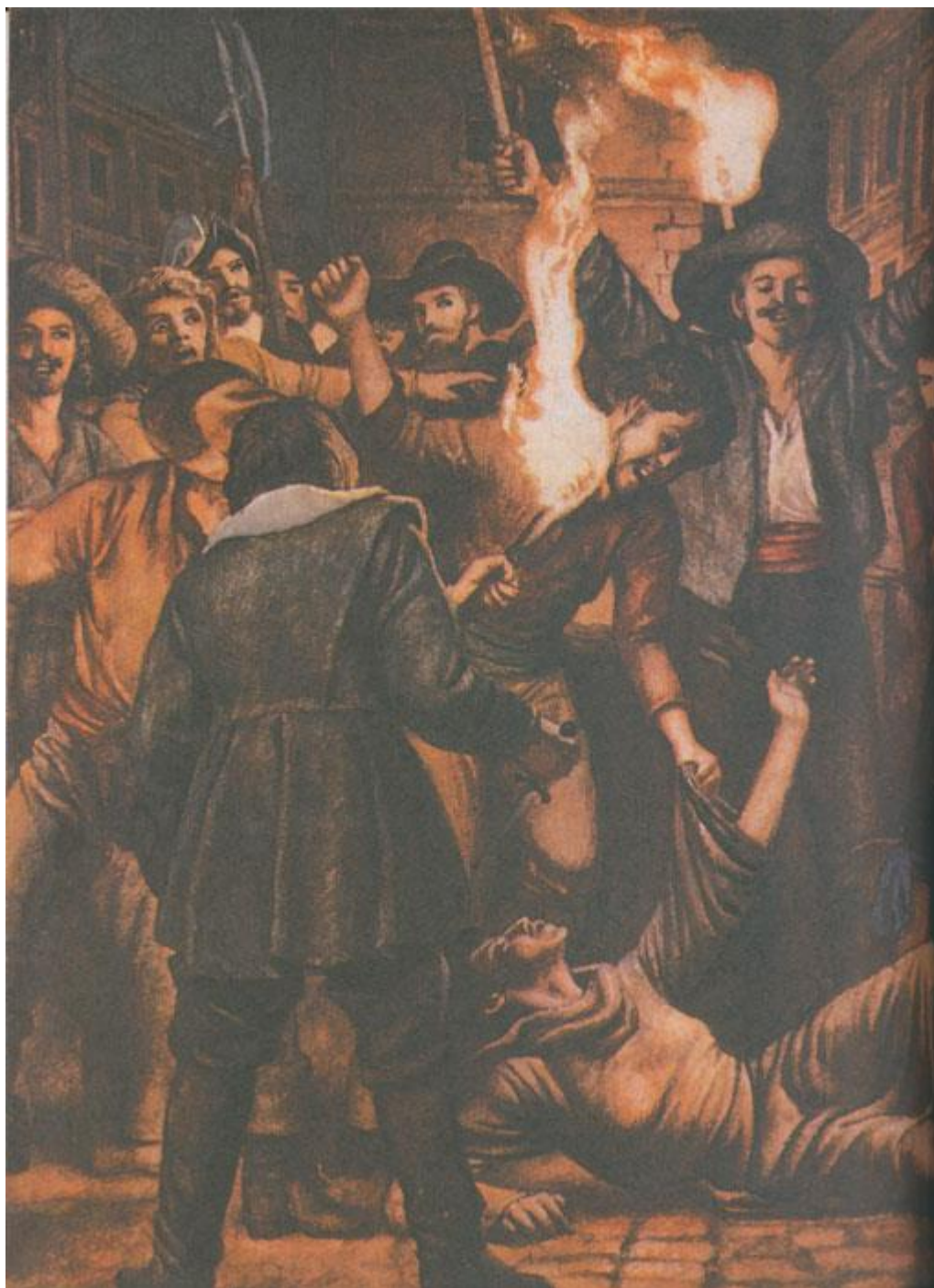
– О Великий Боже! – вскричала она, в отчаянии заламывая руки. – Меня предали!

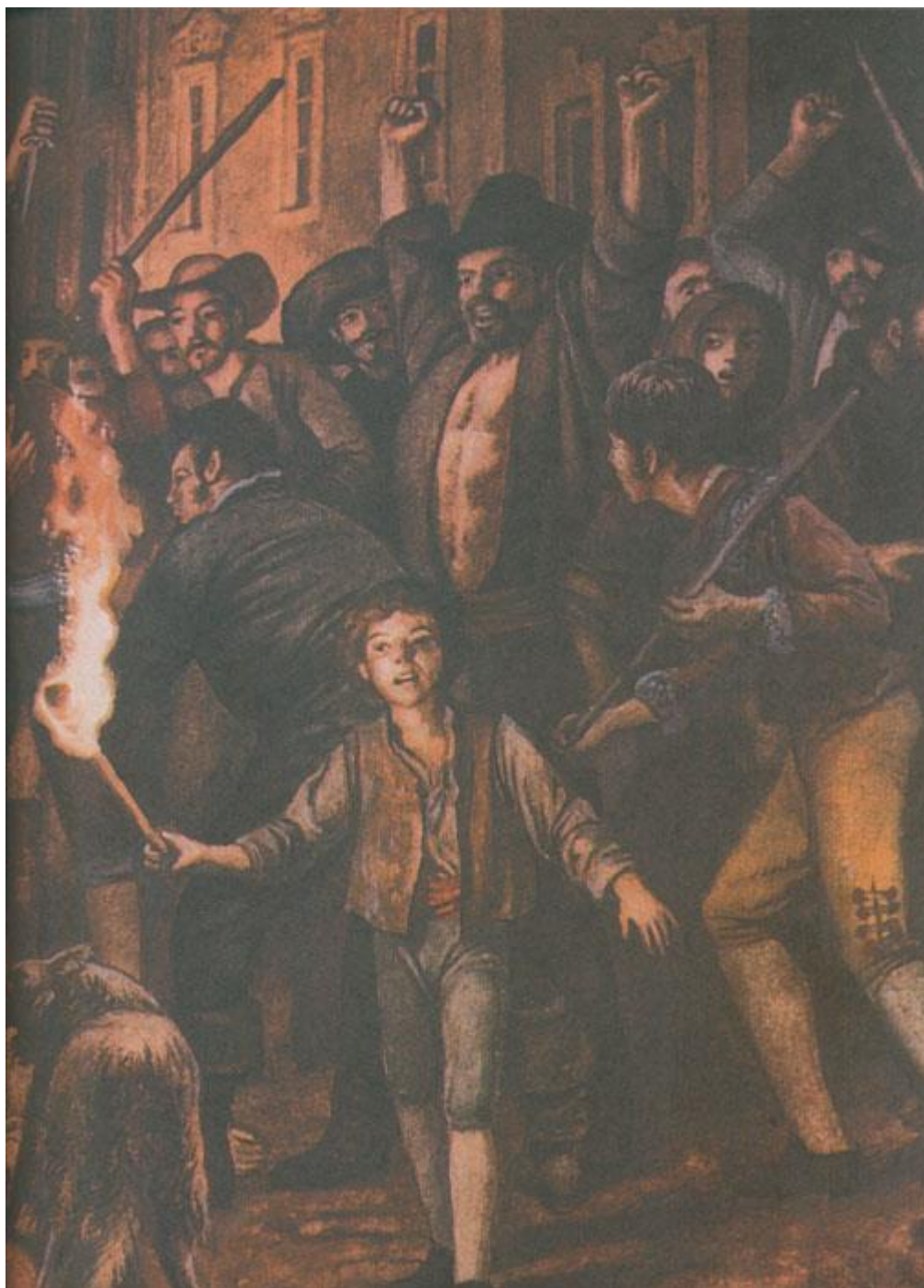
– Предали? – повторила мать Святая Урсула, которую в сопровождении шедшей с ней в паре монахиней как раз привели стражники. – Не предали, а изобличили! Узнай же во мне свою обвинительницу! Ты не ведаешь, сколь хорошо известна мне твоя вина! Сеньор, – продолжала она, обращаясь к дону Рамиресу, – предаю себя в ваши руки. Я обвиняю настоятельницу монастыря святой Клары в убийстве и своей жизнью ручаюсь за истинность моего обвинения.

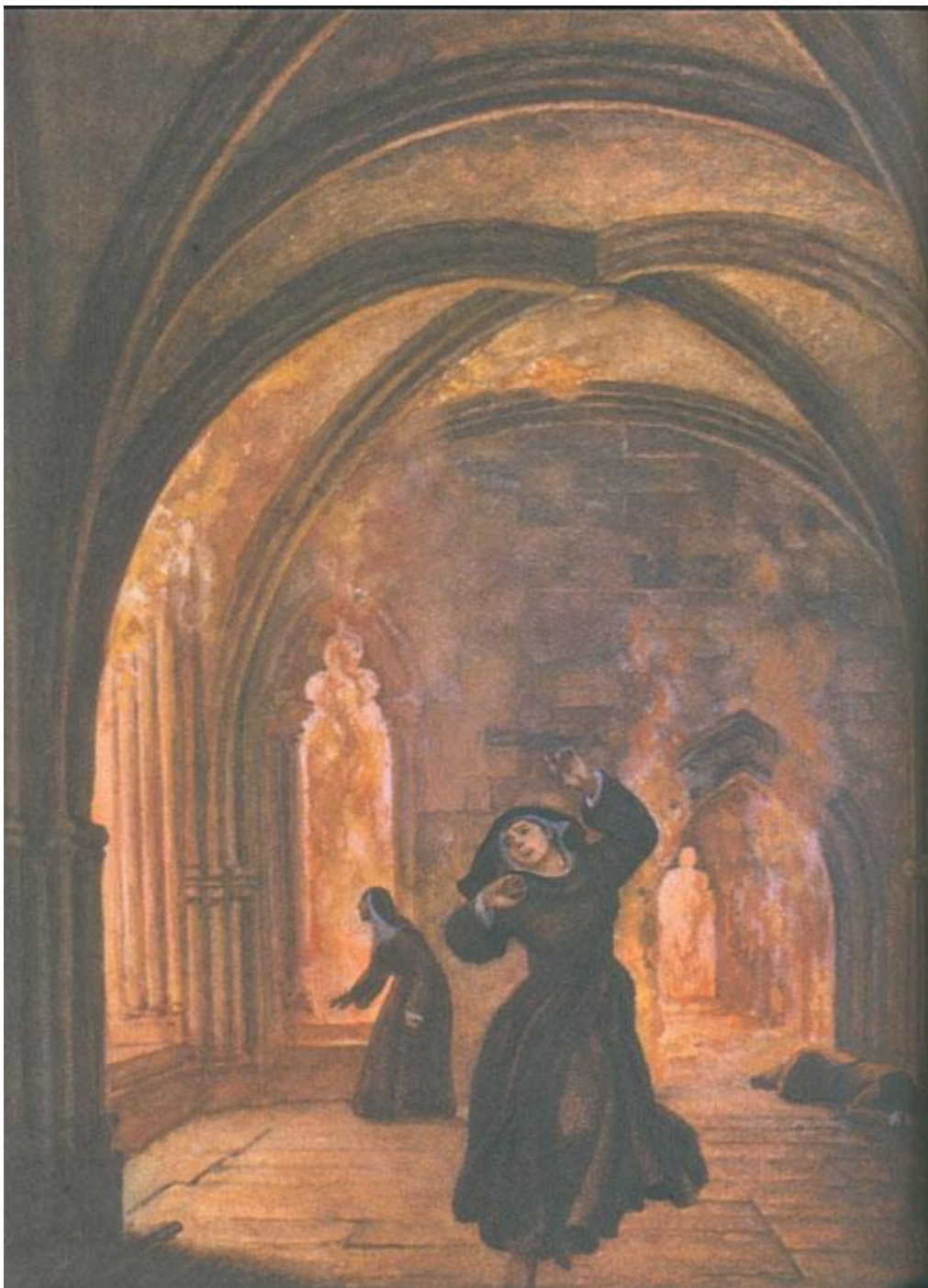
Чернь разразилась удивленными криками, послышались громогласные требования немедленного объяснения. Дрожащие монахини, напуганные криками и общей сумятицей, разбежались кто куда. Некоторые вернулись в обитель, другие поспешили укрыться в домах своих родственников, многие же, ничего в ужасе не понимая и торопясь выбраться из толпы, просто разбрелись по улицам, сами не зная куда. Одной из первых бежала красавица Виргиния, и толпа потребовала, чтобы мать Святая Урсула поднялась на опустевший престол, откуда ее будет лучше видно и слышно. Монахиня повиновалась и, взобравшись на этот сверкающий пьедестал, обратилась к собравшимся со следующей речью:

– Каким бы странным и неподобающим для женщины, а тем более монахини ни казалось мое поведение, необходимость полностью его оправдывает. Тайна, страшная тайна, невыносимо обременяет мою душу. И я не буду знать ни минуты покоя, пока не поведаю ее миру и не призову кару за невинную кровь, которая вопиет из могилы об отмщении. Ради этой возможности облегчить свою совесть я подвергла себя большой опасности. Не удайся моя попытка изобличить преступление, заподозри настоятельница, что тайна эта мне известна, гибель моя была бы предрешена. Ангелы, неусыпно хранящие тех, кто заслуживает их милости, помогли мне избежать такой участи. И теперь я могу поведать историю, которая оледенит ужасом каждую честную душу. Мне назначено сорвать покрывало с лицемерия и показать неразумным родителям, чему могут подвергаться их дочери, оказавшиеся во власти монастырской тиранки. Среди монахинь святой Клары не нашлось бы более милой или более кроткой, чем Агнеса де Медина. Я хорошо ее узнала. Она поверяла мне все тайны своего сердца, я была ее другом и наперсницей, я глубоко ее любила. И в этом не составляла исключения. Ее искренняя набожность, неизменная готовность помочь и ангельский характер сделали ее дорогой всем, кто в обители заслуживал уважения. Сама настоятельница, гордая, придирчивая и надменная, воздавала Агнесе ту дань одобрения, в которой отказывала всем прочим. Но не найти смертных без недостатков, и, увы, у Агнесы была своя слабость. Она нарушила устав нашего ордена и навлекла на себя ненависть мстительной настоятельницы. Устав ордена святой Клары суров. Но со временем многие его требования оказались в небрежении, были забыты или, по общему согласию, кары, ими предусматриваемые, заменялись более мягкими. Наказание за грех Агнесы было самым жестоким, самым бесчеловечным! Правило это давным-давно не соблюдалось, но, увы, его не отменили, и бесчеловечная настоятельница решила извлечь его из забвения. По этому правилу виновную бросали в глухую темницу, нарочно сооруженную для того, чтобы навеки скрыть от мира жертву жестокости и тиранического суеверия. В этом ужасном заточении ей предстояло оставаться в вечном одиночестве, считаясь мертвой для тех, кого привязанность к ней могла толкнуть на попытку освободить ее. Вот так она была обречена остаток своих дней чахнуть, не имея иной пищи, кроме хлеба и воды, иного утешения, кроме воли предаваться слезам!









Негодование, вызванное этим рассказом, было столь велико, что матери Святой Урсуле пришлось умолкнуть. Когда снова воцарилась тишина, она продолжала, и каждое ее слово вызывало все больший ужас на лице настоятельницы.

— Был созван совет из двенадцати старейших монахинь, и я входила в их число. Настоятельница в весьма преувеличенных красках описала проступок Агнесы и объявила о восстановлении почти забытого правила. К стыду нашего пола должна признаться, что либо воля настоятельницы в стенах обители была всеисильной, либо уединение, обманутые надежды и постоянные накладываемые на себя ограничения настолько очерствили их сердца, что варварский этот приговор был утвержден девятью голосами из двенадцати. Мой голос не был среди них. Много раз имела я случай убедиться в добродетелях Агнесы, а потому искренне ее жалела и по-прежнему любила. Ко мне присоединились мать Берта и мать Корнелия. Мы возражали как могли, и настоятельница почувствовала, что ей надобно уступить. Хотя большинство было на ее стороне, она побоялась открыто вести с нами спор.

Она знала, что стоит нам заручиться помощью семейства Медина, и мы окажемся сильнее. К тому же она понимала, что ей не избежать гибели, если Агнеса, ввергнутая в темницу и объявленная умершей, затем будет найдена живой. Поэтому она отказалась от своего намерения, хотя и с величайшей неохотой, и потребовала нескольких дней, чтобы придумать кару, которая будет приемлема для всех, обещав вновь собрать совет, как только примет то или иное решение. Прошло два дня, вечером третьего было объявлено, что на следующий день Агнесу допросят и ее наказание будет смягчено или сделано более строгим в зависимости от того, как она будет себя вести.

Ночью, в час, когда обитель, как я полагала, была уже погружена в сон, я прокралась в келью Агнесы, велела ей ободриться и положиться на поддержку своих друзей, а потом условилась с ней о знаках, какими на допросе буду подсказывать ей, отвечать ли «да» или «нет». Не сомневаясь, что ее врагиня постарается запутать ее, смутить и запугать, я опасалась, как бы у несчастной не вырвали признания, которое поставит ее в опасное положение. Разговаривала я с Агнесой недолго, так как хотела, чтобы мое посещение осталось никому не известным. Я просила ее не падать духом, смешала мои слезы со слезами, которые струились по ее щекам, нежно ее поцеловала и уже собралась уйти, как вдруг услышала за дверью кельи приближающиеся шаги. Я попятилась и торопливо укрылась за широкой занавеской, закрывавшей нишу с большим распятием. Дверь отворилась, и вошла настоятельница в сопровождении четырех монахинь. Они приблизились к лежавшей в постели Агнесе, и настоятельница осыпала ее жесточайшими упреками, объявила, что она опозорила обитель, сказала, что намерена избавить мир и себя от такого чудовища, и потребовала, чтобы она выпила до дна чашу, которую ей протянула одна из монахинь. Зная о роковых свойствах этого напитка, страшась Вечности, на краю которой вдруг оказалась, злополучная девушка самыми трогательными мольбами тщиалась воззвать к жалости настоятельница. Она просила о жизни в словах, которые смягчили бы и сердце Дьявола. Она обещала покорно принять любую кару, стерпеть позор, заключение, пытки, лишь бы ей позволили жить. О! Прожить хотя бы еще месяц! Еще неделю! Еще день! Ее беспощадная врагиня равнодушно выслушала эти мольбы, а потом сказала, что сначала намеревалась сохранить ей жизнь и если изменила свое решение, то пусть она поблагодарит за это своих друзей. А теперь пусть испытает яд, моля о милосердии не ее, но Всевышнего, ибо через час заснет мертвым сном. Убедившись, что эту бесчувственную женщину ничем тронуть невозможно, Агнеса попыталась вскочить с постели и позвать на помощь в надежде если и не избежать уготованной ей участи, то хотя бы заручиться свидетелями произведенного над ней насилия. Настоятельница разгадала ее намерение, схватила за плечи, повалила на подушку и, выхватив кинжал, приставила его к груди несчастной, грозя вонзить его ей в сердце, если она вскрикнет или откажется сию же минуту выпить яд. Уже полумертвая от страха, бедняжка не могла более сопротивляться. Монахиня протянула смертоносную чашу. Настоятельница принудила Агнесу взять ее и выпить до дна. Она подчинилась и ужасное деяние было совершено. Тогда монахини сели вокруг постели. На стоны умирающей они отвечали поношениями. Прерывали насмешками молитву, которой она поручала свою душу Господнему милосердию, грозили ей мстостью Небес и вечной гибелью. Пусть не чаёт прощения, твердили они и утыкали страдальческое ложе смерти самыми острыми шипами. Таковы были муки несчастной, пока судьба не освободила ее от злобы этих мучительниц. Она испустила дух, ужасаясь прошлому, страшась будущего, и ее агония могла с избытком утолить ненависть и мстительность ее врагинь. Едва ее жертва перестала дышать, настоятельница удалилась со всеми своими приспешницами.

Только тогда я вышла из моего тайника. Попытаться помочь моей злополучной юной подруге я не осмеливалась, понимая, что ее не спасу, а только обреку себя такой же расправе. Ужас случившегося вверг меня в столь тягостное смятение, что я лишь с трудом добралась до своей кельи. Но, выходя из кельи Агнесы, я осмелилась взглянуть на бездыханное тело той, что была так хороша, так мила! Я помолилась за ее отлетевшую душу и поклялась отомстить за ее смерть, обличив ее убийц, чтобы их не минули заслуженные позор и кара! С

большим трудом, вопреки многим опасностям, я сдержала свою клятву. На похоронах Агнесы я, забыв от горя об осторожности, неосмотрительно обронила несколько слов, которые показались подозрительными нечистой совести настоятельницы. С той минуты за каждым моим действием наблюдали, за каждым моим шагом следили. Подручные настоятельницы не спускали с меня глаз, и прошло много времени, прежде чем мне удалось дать знать о моей тайне родственникам бедной Агнесы. Им было сообщено, что она скончалась от внезапной болезни. Этому поверили не только они и ее друзья в Мадриде, но и почти все в обители. Яд не оставил никаких следов на ее лице, никто не догадывался об истинной причине ее смерти. О ней знали только ее убийцы и я.

Мне более нечего сказать. А за истинность всего мною сказанного я ручаюсь своей жизнью. И повторяю: настоятельница – убийца. Она лишила жизни, а может быть, и Небес несчастную, чей грех не был смертным. Она злоупотребила данной ей властью и показала себя жестокосердной тиранкой и лицемеркой. Я обвиняю также четырех монахинь, Виоланту, Камиллу, Аликс и Мариану, как ее сообщниц и пособниц, не менее преступных, чем она сама.

На этом мать Святая Урсула закончила свой рассказ. Он на всем своем протяжении вызывал ужас и удивление, но когда она описывала бесчеловечное убийство Агнесы, толпа уже столь громогласно выражала свое негодование, что последние ее слова трудно было разобрать. Шум продолжал нарастать, а затем толпа потребовала, чтобы настоятельницу отдали им на расправу теперь же. Дон Рамирес ответил решительным отказом. Даже Лоренцо обратился к черни со словами, что ее еще не судили и что наказание ее – дело инквизиции. Но уже ничто не могло утишить бурю возмущения. Толпа ярилась все больше. Тщетно пытался Рамирес увести арестованную. Куда бы он ни поворачивался, путь ему преграждали бунтующие и громче прежнего требовали, чтобы ее отдали им. Рамирес приказал стражникам проложить дорогу силой, но их теснили со всех сторон, и они даже не могли извлечь мечи. Он грозил черни мщением инквизиции, но толпа была уже в таком исступлении, что даже эти зловещие слова утратили прежнюю силу. Хотя судьба сестры внушила Лоренцо глубочайшее отвращение к настоятельнице, он не мог не сжалиться над женщиной в столь ужасном положении. Но вопреки всем усилиям и его самого, и герцога, и дона Рамиреса, и стражников толпа продолжала наступать. Самые отчаянные прорвались между стражниками к намеченной жертве, уволокли ее прочь и учинили над ней скорую и жестокую расправу. Обезумев от ужаса, сама не понимая, что говорит, преступная женщина с воплями умоляла пощадить ее хотя бы на минуту. Она твердила, что неповинна в смерти Агнесы и может очиститься от этого обвинения, так что никаким сомнениям места не останется. Взбунтовавшаяся чернь, охваченная варварской жадой мести, ничего не желала слушать. Настоятельницу осыпали площадной бранью, швыряли в нее грязью и мусором, вырывали из рук друг друга, и каждый новый мучитель оказывался свирепее предыдущего. Кроважадным воем и руганью они заглушали ее пронзительные мольбы о пощаде и продолжали волочить ее по улицам, бросать на мостовую, топтать и учинять над ней всяческие жестокости, какие только могли им подсказать ненависть и мстительная ярость. В конце концов острый камень, брошенный меткой рукой, поразил ее прямо в висок, она рухнула на землю, обливаясь кровью, и через минуту-другую простилась со своей жалкой жизнью. Однако, хотя она уже не могла слышать их оскорблений, бунтовщики продолжали вымещать бессильное бешенство на ее труп. Они били его, топтали, подвергали всяческим издевательствам, пока тело не превратилось в кровавое месиво, бесформенное, непристойное и отвратительное.

Не в силах помешать этой гнусной расправе, Лоренцо и его друзья следили за происходящим с глубоким ужасом. Затем из вынужденной бездеятельности их вывело известие, что чернь бросилась громить монастырь святой Клары. Взбунтовавшаяся толпа, уже не различая невинных и виновных, решила разделаться со всеми монахинями этого ордена и не оставить от обители камня на камне. В тревоге Лоренцо и остальные поспешили в монастырь, чтобы оборонять его, а в случае неудачи спасти тех, кто там находился, от

ярости бунтовщиков. Многие монахини так туда и не вернулись, но несколько остались верными своей обители. Их положение стало теперь по-настоящему опасным. Однако они догадались запереть внутренние ворота, и Лоренцо надеялся, что сумеет благодаря этому сдержать толпу, пока не подоспеет дон Рамирес с большим отрядом.

Поскольку толпа увлекла его на расстояние нескольких улиц от монастыря, он добрался туда не сразу и увидел, что ворота окружены плотной толпой, пробраться сквозь которую будет нелегко. А чернь с неугасающей злобой осаждала монастырь. На стены обрушивались удары импровизированных таранов, в окна летели пылающие факелы, со всех сторон доносились клятвы, что к рассвету ни единой монахини ордена святой Клары не останется в живых. Лоренцо только-только протиснулся к воротам, как одна створка была взломана и бунтовщики хлынули внутрь здания, вымещая ярость на всем, что попадалось им под руку. Они ломали мебель, срывали со стен картины, уничтожали реликвии, забыв о почитании святой из-за ненависти к ее служительницам. Одни разыскивали монахинь, другие крушили стены, третьи поджигали сваленные в кучу дорогую мебель и картины. Они-то и произвели наибольшее опустошение – последствия их действий оказались куда более быстрыми, чем они того ожидали или хотели. Пламя, пожрав приготовленное для него топливо, быстро охватило стены, древние и сухие, а затем начало стремительно распространяться по зданию. Огненная стихия разбушевалась не на шутку: обваливались стены, рассыпались колонны, крыши рушились на головы бунтовщиков, погребая под собой многих из них. Отовсюду доносились вопли боли и стоны. Обитель пылала, и все вокруг являло вид гибели и опустошения.

Лоренцо был потрясен тем, что, пусть и не по своей воле, оказался причиной всех этих ужасов, и попытался искупить свою вину, защитив беспомощных монахинь. Он вбежал в монастырь одним из первых и пытался утихомирить ярость черни, но затем быстрое распространение огня заставило его подумать о собственном спасении. Люди теперь торопились убраться вон с тем же рвением, с каким устремлялись внутрь. Но двери были слишком узки, чтобы пропустить всех сразу, и многие погибали, не успев выбраться наружу. Счастливая судьба привела Лоренцо к небольшой двери в дальнем приделе часовни. Засов был уже отодвинут, он отворил дверь и оказался у входа в склеп святой Клары.

Там он остановился, чтобы отдышаться. Герцог и часть стражников последовали за ним. Оказавшись в относительной безопасности, они начали совещаться, что им делать дальше, чтобы спастись, а между массивными стенами монастыря клубился огонь, тяжелые арки с грохотом рушились, отовсюду доносились крики монахинь и бунтовщиков, которые задыхались, гибли в пламени или под обваливающимися стенами.

Лоренцо спросил, куда ведет дверь в наружной стене. В сад капуцинского монастыря, был ответ, и тут же они решили проверить, не путь ли это к спасению. Герцог отодвинул засов и вышел на кладбище, а стражники, толкаясь, поспешили за ним. Лоренцо, оставшись последним, уже собирался последовать их примеру, как вдруг дверь склепа тихо приоткрылась. Кто-то выглянул, но, увидев вооруженных мужчин, с громким криком отпрянул и кинулся вниз по мраморным ступеням.

– Что это значит? – воскликнул Лоренцо. – Тут кроется тайна! За мной!

С этими словами он поспешил за убегающей фигурой. Герцог, не знавший, чем вызвано его восклицание, но полагая, что причина должна быть веской, без колебаний последовал за племянником вниз по лестнице в сопровождении стражников, и вскоре они достигли ее подножья. Сквозь оставшуюся открытой дверь проникали отблески пожара, и Лоренцо видел перед собой бегущего и длинный подземный проход между склепами. Но затем крутой поворот лишил его путеводного света, и в непроглядной тьме только замирающий в отдалении топот подсказывал ему, куда направляется беглец. Преследователи вынуждены были продвигаться вперед осторожно, однако и беглец теперь замедлил шаги – звук их стал не таким частым, как прежде. Однако вскоре преследователи заплутались среди хитросплетений лабиринта и в темноте потеряли друг друга. Охваченный нетерпением разгадать тайну, движимый смутным и непонятным чувством, Лоренцо не сразу заметил, что

остался в полном одиночестве. Звук шагов впереди затих, нигде не было слышно ни звука, он не мог себе представить, где ему искать беглеца, и остановился, раздумывая, как возобновить преследование с большим толком. Он был убежден, что лишь какая-то особенная причина могла привести кого-то в это мрачное место в подобный час. Крик, который он услышал, был, казалось, исполнен леденящего ужаса, и его уверенность в том, что за всем этим кроется что-то таинственное, еще более возросла. Поколебавшись минуту-другую, он пошел дальше, касаясь рукой стены прохода. Продвигался он вперед таким способом очень медленно, но через некоторое время увидел впереди тусклое сияние. Обнажив шпагу, он направился в ту сторону.

Сияние исходило от лампы, горевшей перед статуей святой Клары. У ее подножья виднелись женские фигуры в белых одеяниях, которые развевались под ветром, с воем проносившимся под сводами подземных коридоров. Любопытствуя узнать, что привело их в это жуткое подземелье, Лоренцо направился к ним, стараясь двигаться как можно незаметнее. Они словно что-то горячо обсуждали и не услышали шагов Лоренцо, так что он приблизился к ним настолько, что уже мог различать все слова.

– Говорю же вам, – продолжала та, чей голос он услышал первым. Остальные слушали ее с глубочайшим вниманием. – Говорю же вам, что видела их своими глазами! Я сбежала с лестницы, а они погнались за мной, и я лишь с трудом спаслась от них. И если бы не лампа, мне не удалось бы вас найти.

– Но что их привело туда? – спросил другой дрожащий голос. – Ты думаешь, они ищут нас?

– Дай Бог, чтобы мои страхи оказались напрасными! – ответил первый голос. – Но я все-таки думаю, что они убийцы! И если они нас найдут, мы погибли! Что до меня, то моя судьба предопределена. Моя близость к настоятельнице будет сочтена достаточным преступлением, чтобы меня осудили. И хотя эти склепы пока служили мне убежищем...

Тут ее взгляд упал на Лоренцо, который продолжал бесшумно к ним подкрадываться.

– Убийцы!.. – ахнула она, вскочила с приступки, на которой сидела, и бросилась бежать. Ее собеседницы испустили испуганный крик, а Лоренцо ухватил ее за руку. В страхе и отчаянии она упала на колени.

– Пощадите меня! – восклицала она. – Пощадите! Я невинна! Святая правда, я невинна!

От ужаса ее голос прерывался. Свет лампы упал на ее лицо, и Лоренцо узнал красавицу Виргинию де Вилья-Франка. Он поспешно поднял ее с земли и умолял успокоиться. Он обещал спасти ее от бунтовщиков, заверил, что тайна ее убежища открыта не была и что она может на него положиться – он будет защищать ее до последней капли крови. Монахини тем временем застыли в различных позах: одна упала на колени и воздела руки к Небесам, другая спрятала лицо в коленях соседки. Часть, окаменев от страха, слушали предполагаемого убийцу, прочие же громкими криками зывали к святой Кларе, умоляя ее о защите. Но, убедившись в своей ошибке, они вскоре столпились вокруг Лоренцо и принялись осыпать его благословениями. Он узнал от них, что многие монахини и пансионеры, напуганные угрозами черни и ужасной судьбой настоятельницы, гибель которой они наблюдали с монастырских башен, поспешили укрыться в подземелье. К первым относилась и прелестная Виргиния. Как близкая родственница настоятельницы, она имела особые причины опасаться разъяренных бунтовщиков и теперь жалобно попросила Лоренцо не отдавать ее в жертву их ярости. Остальные (почти все они принадлежали к знатым семьям) присоединились к ее просьбе, которую он сразу обещал исполнить и обязался не покидать их, пока не проводит каждую в дом ее родственников. Однако он посоветовал им не покидать подземелья, пока ярость черни несколько не уляжется и военный отряд не разгонит толпы.

– О Господи! – вскричала Виргиния. – Если бы я уже была в объятиях матушки! Как по-вашему, сеньор, долго ли нам придется пробыть в этом месте? Каждая минута тут для меня пытка!

– Полагаю, что не слишком долго, – отвечал он. – Но до тех пор, пока вы не сможете

выйти из этого подземелья без всяких опасений, оно остается надежнейшим из убежищ. И я советую вам побыть тут еще два-три часа.

– Два-три часа! – вскричала сестра Елена. – Но я умру от страха, еще и часа не пройдет! Ни за какое богатство не соглашусь я вновь претерпеть то, что переносила с той минуты, как спустилась сюда. Пресвятая Дева! Остаться в этом жутком месте в глухую ночь среди тлеющих костей моих скончавшихся сестер во Христе, ожидая каждый миг, что меня вот-вот разорвут на куски их духи, которые бродят вокруг меня, и жалуются, и стонут, и стенают голосами, от которых кровь стынет в жилах... Господи Иисусе! Тут и с ума сойти недолго!

– Прошу простить меня, – сказал Лоренцо, – однако я не могу не удивиться, что вы, когда вам угрожает подлинная опасность, способны трепетать перед воображаемым. Страхи эти детские и безосновательные. Отбросьте их, святая сестра! Я обещал защитить вас от черни, но от приступов суеверия вы должны искать защиты у себя самой. Мысль о духах нелепа и смехотворна. И если вы будете трепетать перед вымышленными ужасами...

– Вымышленными? – воскликнули монахини хором. – Мы все слышали их стоны, сеньор! Все до единой! Они часто повторяются и с каждым разом звучат более тоскливо и отчаянно. И все мы никак обмануться не могли, что бы вы ни говорили! Вот уж нет! Будь эти стоны воображаемыми...

– Чу! – перебила Виргиния голосом, полным ужаса. – Слушайте! Спаси нас Боже! Вот опять...

Молитвенно сложив ладони, монахини упали на колени. Лоренцо растерянно посмотрел по сторонам, готовый поддаться страху, овладевшему монахинями. Воцарилась глубокая тишина. Он вглядывался в сумрак склепов, но ничего не увидел и уже был готов посмеяться вслух над детскими опасениями монахинь, как вдруг его слух был поражен долгим протяжным стоном.

– Что это? – вскричал он, содрогаясь.

– Вы слышали, сеньор? – сказала Елена. – Теперь вы убедились! Вы сами слышали! Так судите же, насколько воображаемы наши страхи! Все время, пока мы были тут, звуки эти повторялись каждые пять минут. Без сомнения, это стенает в муках какая-то бедная душа, тоскуя, чтобы ее отмолили из Чистилища. Но мы не осмеливаемся спросить ее, так ли это. Я уверена, что упаду мертвой от ужаса, если увижу призрак!

Едва она договорила, как раздался еще один стон, более громкий. Монахини, осеняя себя крестным знамением, повторяли молитвы против злых духов, но Лоренцо внимательно слушал. Ему даже почудилось, что он почти различает слова горькой жалобы, однако расстояние превращало их в бессвязный ропот. Звуки эти доносились словно из середины небольшой подземной залы, в которой находились монахини и он и от которой по всем направлениям ответвлялось множество проходов, так что формой она напоминала лучистую звезду. Живое любопытство возбудило в Лоренцо непреодолимое желание проникнуть в тайну. Он попросил монахинь умолкнуть, те послушались, и вновь наступила тишина, а затем ее нарушил стон, повторившийся несколько раз. Лоренцо обнаружил, что стоны звучат громче, когда, стараясь проследить их направление, он приближался к статуе святой Клары.

– Звуки доносятся отсюда, – сказал он. – Чья это статуя?

Елена, к которой он обратился с этим вопросом, помедлила с ответом и вдруг молитвенно сложила руки.

– О! – воскликнула она. – Ну конечно же! Я поняла, что означают эти стоны!

Монахини окружили ее, нетерпеливо прося объяснений. Она торжественно напомнила им, что статуя эта с незапамятных времен прославилась как чудотворная. Из этого она заключила, что статуя удручена пожаром в своем монастыре и выражает свою скорбь вслух. Однако Лоренцо, не разделяя ее веры в чудотворные свойства статуи, не мог согласиться с таким объяснением, хотя монахини тотчас и без колебаний согласились с сестрой Еленой. Впрочем, в одном и он был с ней согласен – стоны, по его мнению, действительно исходили от статуи. И чем дольше он их слушал, тем сильнее убеждался в этом. Он подошел к статуе ближе, намереваясь тщательно ее обследовать, но монахини, угадав его намерение, именем

Божьим заклинали его остановиться – ведь стоит ему прикоснуться к статуе, как он упадет мертвым.

– Но в чем заключается опасность? – осведомился Лоренцо.

– Матерь Божья! Как это в чем? – воскликнула Елена, большая любительница рассказывать истории о чудесах. – Слышали бы вы хоть сотую долю того, что нам поведала настоятельница про чудеса, творимые этой статуей! Она тысячу раз предупреждала нас, что, посмей мы прикоснуться к ней, последствия для нас будут самыми роковыми. Среди прочего она рассказывала про грабителя, который проник в подземелье глухой ночью и увидел вон тот рубин, цены которому нет. Вы его видите, сеньор? Он блистает на среднем пальце руки, которая держит терновый венец. Такая драгоценность, естественно, распалила алчность злодея, и он решил ею завладеть. С этой целью он взобрался на пьедестал, ухватил правое плечо святой и потянулся за кольцом. Каково же было его удивление, когда святая угрожающе воздела руку с кольцом, а ее губы посушили ему вечную погибель! Вне себя от благоговейного ужаса, он отказался от своего намерения и собрался покинуть подземелье. Но и тут потерпел неудачу! Бежать он не мог, ибо его правая ладонь, опиравшаяся на плечо статуи, накрепко к нему приросла! Тщетно пытался он освободить руку! Рука его оставалась прикованной к статуе, а нестерпимая, жгучая боль, разлившаяся по его жилам, исторгала у него такие вопли о помощи, что в подземелье сбежались люди. Злодей сознался в своем кощунственном посягательстве и был освобожден, только когда у него отсекли правую кисть! Она так и осталась навеки прилипшей к плечу статуи. Грабитель стал отшельником и вел с тех пор примерную жизнь. Однако приговор святой исполнился, и легенда гласит, что он бродит по этому подземелью, стонами и сетованиями моля святую Клару о прощении. Вот я и думаю, что те, которые слышали мы, были испускаемы духом этого грешника. Однако наверное утверждать не берусь, скажу только, что с того часа никто не смел прикасаться к статуе. А потому, добрый сеньор, не будьте глупцом! Во имя Неба откажитесь от своего намерения и не обрекайте себя понапрасну верной гибели.

Отнюдь не убежденный, что гибель так уж верна, Лоренцо не отступил. Монахини жалобно умоляли его не упорствовать и даже указали на кисть грабителя, все еще видимую на плече статуи. Они полагали, что уж такое доказательство его непременно убедит. Однако оно возымело обратное действие, и он вверг их в великое смущение, высказав подозрение, что высохшие, сморщенные пальцы были прилеплены там по приказанию настоятельницы. Не слушая их мольбы и предупреждения, он подошел к статуе, перепрыгнул чугунную решетку, опоясывавшую верхний край пьедестала, и подверг ее тщательнейшему осмотру. Выглядела статуя каменной, но тут же выяснилось, что она вырезана всего лишь из дерева и покрашена. Он попробовал покачать ее и сдвинуть, но она составляла как будто единое целое со своим основанием. Лоренцо вновь тщательно ее осмотрел, но так и не нашел разгадки, которой монахини, убедившись, что святая его не покарала, теперь жаждали не меньше его самого. Он замер и прислушался. Стоны продолжали раздаваться через некоторые промежутки, и он был убежден, что здесь находится ближе всего к их источнику. Это подтолкнуло его вновь внимательно осмотреть статую. Внезапно его взгляд задержался на высохшей кисти. Ему пришло в голову, что такой видимый запрет не прикасаться к плечу статуи должен иметь вескую причину. Вновь взобравшись на пьедестал и внимательно осмотрев деревянное плечо, он увидел полуприкрытую тем, что считалось кистью разбойника, небольшую чугунную шишечку. Это открытие привело Лоренцо в восторг. Он прижал палец к шишечке и надавил как мог сильнее. Тотчас внутри статуи послышался скрежет, точно поползла туго натянутая цепь. Робкие монахини испуганно отпрянули, готовые броситься вон из подземной залы при первом признаке опасности. Однако все было тихо, и они вновь собрались вокруг Лоренцо, с тревогой следя за ним.

Когда за этим открытием ничего не последовало, он спустился. В тот миг, когда он снял руку с плеча святой, она задрожала, повергнув зрительниц в новый ужас. Они решили, что статуя и правда одушевлена. У Лоренцо же возникла совсем иная мысль. Он без труда сообразил, что заскрежетала, высвобождаясь, цепь, скреплявшая статую и пьедестал. Он

вновь попробовал повернуть ее и на этот раз добился своего без малейших усилий. Он поднял статую, положил наземь и увидел, что пьедестал внутри полый, а отверстие сверху забрано толстой чугунной решеткой.

У монахинь это вызвало такое любопытство, что они забыли про все опасности, как воображаемые, так и подлинные. Лоренцо теперь взялся за решетку, чтобы ее поднять, и монахиня бросилась ему помогать. Поднять решетку оказалось вовсе не трудно. Их глазам открылся темный провал, дно которого терялось в непроницаемом мраке. Тусклые лучи лампы почти не проникали туда, освещая только несколько грубо вытесанных ступенек, спускавшихся во тьму. Стонов больше слышно не было, но никто уже не сомневался, что доносились они из этой зияющей бездны. Наклонившись пониже, Лоренцо, казалось ему, различил в глубине какое-то слабое мерцание. Напрягая зрение, он вскоре убедился, что видит крохотное пятнышко света, которое то появлялось, то исчезало. Он сообщил про это монахиням, и они тоже сумели разглядеть это пятнышко света. Но едва он объявил о своем намерении спуститься в нижнее подземелье, как они дружно принялись его отговаривать. Но все их доводы оказались тщетными. Ни у одной из них не достало смелости спуститься туда с ним, а он и подумать не мог о том, чтобы лишить их света лампы, и потому приготовился спуститься туда один в полной темноте. Монахини же ограничились обещанием помолиться о его благополучном возвращении.

Ступеньки оказались такими узкими и неровными, что спускаться по ним было словно прогуливаться по самому краю пропасти. Темнота не позволяла различить, куда он ставит ногу, так что ему приходилось соблюдать величайшую осторожность, чтобы не сорваться вниз. Раза два так чуть было и не случилось, однако он благополучно достиг нижней ступеньки, причем спуск оказался много короче, чем он ожидал. Он понял, что густой непроницаемый мрак обманул его зрение и пропасть была всего лишь не очень глубоким колодезем. Благополучно сойдя с последней ступеньки, он оглянулся, но светлого пятнышка нигде не увидел. Вокруг был лишь непроглядный мрак. Он прислушался, не раздадутся ли стоны, но услышал лишь голоса монахинь сверху – они негромко читали молитвы. Он помедлил, решая, в какую сторону направиться. В любом случае он решил продолжать поиски и двинулся вперед, но очень медленно из страха, что удаляется от несчастного создания, их испускавшего, а не приближается к нему. Стоны эти свидетельствовали о муках, если не телесных, то душевных, и он надеялся, что сумеет облегчить их. Внезапно его слух поразило жалобное стенание, раздавшееся где-то неподалеку. Он с облегчением поспешил на этот звук, становившийся с каждым его шагом все более отчетливым. А вскоре увидел смутное сияние, которое до этой минуты от него заслоняла невысокая каменная перегородка. Исходило оно от поставленного на кучу камней небольшого светильника, чьи слабые неверные лучи более усугубляли, нежели смягчали жуткий вид узкой темницы в стене подземелья. По ее сторонам можно было разглядеть другие такие же ниши, но их внутренность скрывала тьма. Свет холодно блестел, отражаясь в каплях сырости, покрывавшей осклизлые камни. Густой смрадный туман скапливался под низким сводом ниши. Лоренцо почувствовал, как влажный холод пронизывает его до костей. Но учатившиеся стоны заставили его ускорить шаг. Он приблизился и увидел в неверном свете, что в углу этого гнусного узилища на соломе лежит существо, столь жалкое, изможденное и бледное, что он с трудом распознал в нем женщину. Она была полуобнажена, спутанные волосы падали ей на лицо, почти полностью скрывая его черты. Одна исхудалая рука бессильно покоилась на рваном тонком одеяле, прикрывавшем ее дрожащее в ознобе тело, другая прижимала к груди маленький сверток. Возле постели лежали большие четки, в углу напротив висело распятие, с которого несчастная не сводила пристального взора. Ближе к изголовью стояли корзинка и глиняный кувшинчик.

Лоренцо остановился. Окаменев от ужаса, он глядел на несчастную с жалостью и отвращением. Потом задрожал, у него мучительно защемило сердце, колени подкосились, и он был вынужден прислониться к каменной перегородке, не в силах сойти с места или заговорить со страдальцей. Она же обратила глаза в сторону лестницы, но не заметила

заслоненного перегородкой Лоренцо.

– Никто нейдет! – проговорили она наконец.

Голос ее был глухим и словно клокотал у нее в горле. Она горько вздохнула.

– Никто нейдет! – повторила она. – Нет! Они забыли про меня! И более не придут!

Помолчав, она продолжала тоскливо:

– Два дня! Два долгих, долгих дня без пищи! И нет надежды, нет утешения! Глупая женщина! Как я могла желать продления столь тягостной жизни! Но такая смерть! О Боже! Погибнуть такую смертью! После нескончаемой пытки! До сих пор я не знала, что такое голод... Чу! Нет. Никто нейдет. Больше они не придут!

Она умолкла, задрожала и натянула одеяло на обнаженные плечи.

– Как холодно! Я все еще не свыклась с сыростью этой темницы! Странно... Но пусть! Вскоре мне станет еще холоднее, но я этого чувствовать не буду. Я буду холодной, такой же холодной, как ты!

Она взглянула на сверток у себя на груди, склонила голову и поцеловала его. Но тотчас отдернула голову и содрогнулась с отвращением.

– Он был таким милым! И мог бы вырасти таким прекрасным, совсем как он. Всего несколько дней, и как они его изменили! Я бы и сама его не узнала. Но все же он дорог мне. Господи, как он мне дорог! Надо забыть, чем он стал. Я буду помнить только, чем он был, и любить его, словно он все такой же милый, такой же прелестный, такой же похожий на него! Я думала, что выплакала все мои слезы, но вот одна еще осталась!

Она утерла глаза прядью волос, протянула руку к кувшину, с трудом подняла его и посмотрела внутрь безнадежным взглядом. Потом вздохнула и поставила его на пол.

– Пуст! Ни капли воды. Ни единой капли, чтобы смочить мой пересохший, пылающий рот! Я бы отдала любые сокровища за глоток чистой воды. И ведь так страдать меня заставляют служительницы Божьи! Воображают себя святыми и мучают меня, словно адские духи! Они жестоки и черствы. И это они требуют от меня покаяния! Это они грозят мне вечной гибелью! Христос Спаситель, ты так не думаешь!

Она вновь посмотрела на распятие, подняла четки и начала их перебирать, а движение ее губ показывало, что она горячо шепчет слова молитвы.

Пока Лоренцо слушал ее стенания, в нем все громче говорила жалость. В первый миг столь страшное зрелище парализовало его чувства, но теперь он направился к узнице. Она услышала его шаги и с радостным восклицанием уронила четки.

– О-о! – вскричала она. – Кто-то идет!

Она попыталась приподняться, у нее не хватило сил, и она вновь опустилась на солому, но Лоренцо успел услышать лязг тяжелых цепей. Он подошел ближе, а узница продолжала говорить:

– Это вы, Камилла? Вы наконец пришли? О, давно пора! Я думала, вы меня забыли и мне суждено погибнуть тут от голода. Дайте мне поскорее напиться, Камилла, ради Христа! Я ослабела после такого долгого поста и не могу даже приподняться. Добрая Камилла, дай мне испить, или я умру у тебя на глазах!

Боясь, что удивление может оказаться роковым для жертвы такой слабости, Лоренцо не знал, как обратиться к ней.

– Это не Камилла, – произнес он наконец медленно, ласковым голосом.

– Но кто же? – спросила страдальца. – Аликс или Виоланта? Мое зрение стало таким слабым, что я не различаю вашего лица. Но кто бы это ни был, если в вашем сердце есть хоть капля сострадания, если вы не более жестоки, чем волки и тигры, сжальтесь над моими мучениями. Вы принесли мне пищу? Или явились только, чтобы возвестить мою смерть и посмотреть, долго ли еще будет длиться моя агония?

– Вы ошибаетесь, – сказал Лоренцо. – Я не посланец жестокой настоятельницы. Я сожалею о ваших муках и намерен положить им конец.

– Положить конец? – повторила узница. – Вы сказали: положить конец?

В то же мгновение она уперлась в пол ладонями, приподнялась и устремилась на

пришельца испытующий взор.

– Великий Боже! Это не обман зрения. Это правда человек! Так говорите же! Кто вы? Что привело вас сюда? Вы пришли спасти меня, вернуть мне свободу, свет солнца и жизнь? Ах, говорите же! Ответьте скорее, пока во мне не пробудилась надежда, которая убьет меня, если окажется тщетной!

– Успокойтесь, – произнес Лоренцо сострадательным, ласковым голосом. – Настоятельница, на чью жестокость вы жалуетесь, уже поплатилась за свои преступления. Вам нечего больше ее опасаться. Через несколько минут вы будете на свободе и в объятиях друзей, с которыми вас разлучили. Вы можете положиться на мою защиту. Дайте мне вашу руку и ничего не бойтесь. Разрешите, я отведу вас туда, где вас окружают теми заботами, которых требует ваше истощенное состояние.

– О да! Да! Да! – ликующе вскричала узница. – Так значит, Бог есть, и справедливый Бог! О радость! Я вновь вдохну свежий воздух и увижу дивный свет солнечных лучей! Я пойду с вами, незнакомец! Я пойду с вами! Да благословит вас Бог за жалость к несчастной! Но я должна взять с собой и его! – добавила она, кивая на сверток, который все так же прижимала к груди. – Я не могу расстаться с ним. Я возьму его с собой. Он убедит свет, какие ужасы творятся в так называемых обителях Божьих. Добрый незнакомец, протяни мне руку, чтобы я могла подняться. Я совсем ослабела от голода и жажды, от горя и болезни. Силы совсем меня покинули! Так помоги же мне!

Когда Лоренцо нагнулся, чтобы поднять ее, луч светильника упал прямо на его лицо.

– Боже Всемогущий! – вскричала узница. – Ужели! Этот взгляд! Эти черты! Ах! Да, это... это...

Она протянула руки, чтобы обнять его, но не вынесла волнения и в обмороке опустилась на солому.

Последнее ее восклицание изумило Лоренцо. Ему почудилось, что он уже слышал ее голос, на миг обретший звонкость, но он не мог вспомнить, где и когда. Однако важнее всего было поскорее увести ее из этой страшной темницы, чтобы как можно скорее оказать ей необходимую помощь. Он уже хотел поднять ее, но тут обнаружил, что ее талию обвивает тяжелая цепь, прикованная одним концом к крюку в стене. Страх за несчастную удвоил его силы, он сумел выдернуть крюк и, взяв ее на руки, направился к подножию лестницы. Падавшие сверху лучи лампы и отзвук женских голосов быстро привели его туда, и через несколько мгновений он поднялся к чугунной решетке.

Монахини, ожидая его, терзались любопытством пополам со страхом, и его внезапное появление из нижнего подземелья равно их удивило и обрадовало. Все сердца тотчас исполнились сострадания к несчастной, которую он нес. Монахини, особенно Виргиния, принялись хлопотать над ней, чтобы привести ее в чувство, а Лоренцо в нескольких словах описал, как он ее нашел. Затем добавил, что с беспорядками уже наверное покончено и он может без опасений проводить их к друзьям. Им всем не терпелось покинуть подземелье, но на всякий случай они попросили Лоренцо сначала выйти наружу одному и проверить, действительно ли всякая опасность миновала. Он согласился, а сестра Елена предложила проводить его к выходу, как вдруг по стенам залы заскользили красноватые отблески, в глубине нескольких проходов замелькали яркие огни. Тут же послышались приближающиеся торопливые шаги многих людей. Монахинь охватил страх. Они не сомневались, что бунтовщики отыскиали их убежище и явились расправиться с ними. Оставив бесчувственную узницу, они столпились возле Лоренцо, напоминая, что он обещал защитить их. Одна Виргиния забыла о грозившей ей опасности, стараясь облегчить чужие страдания. Она положила голову узницы к себе на колени, протирая ей виски розовой водой, старалась согреть ее холодные руки и смачивала ей лицо собственными слезами, исторгнутыми состраданием. Незвестные приближались, и тут Лоренцо смог успокоить монахинь. По проходам, эхом отдаваясь от сводов, разносилось его собственное имя, произносившееся разными голосами, среди которых он узнал голос герцога и убедился, что его разыскивают друзья. Он так и сказал монахиням, чем привел их в восторг, а через минуту окончательно

убедился, что не ошибся в своем заключении. Из проходов вышли герцог и дон Рамирес в сопровождении служителей с горящими факелами. Они отправились на его розыски, чтобы сообщить, что чернь разбежалась и на улицах воцарилось спокойствие. Лоренцо кратко рассказал о своем приключении в нижнем подземелье и объяснил, что неизвестной узнице необходима незамедлительная помощь врача. Он попросил герцога позаботиться о ней, а также о монахинях и пансионерках.

– У меня же, – добавил он, – есть другое неотложное дело. Вы с половиной стражников проводите их всех к родным, а вторую половину оставьте мне. Я хочу подробно обыскать нижнее подземелье и осмотреть все самые тайные закоулки. Мне не будет ни мгновения покоя, пока я не узнаю твердо, что только эту злополучную узницу суеверие заточило среди склепов.

Герцог одобрил его намерение. Дон Рамирес предложил сопутствовать ему, чему Лоренцо весьма обрадовался. Монахини, поблагодарив его, под охраной герцога направились к выходу из подземелья. Виргиния попросила, чтобы неизвестную узницу поручили ее заботам, и обещала сообщить Лоренцо, когда та достаточно оправится, чтобы он мог ее увидеть. Сказать правду, последнее обещание она дала более ради себя самой, чем ради Лоренцо или узницы. Его учтивость, доброта и бесстрашие произвели на нее глубокое впечатление, и она горячо желала продолжить знакомство с ним. Испытывая искреннюю жалость к неизвестной узнице, она одновременно надеялась своими заботами о несчастной внушить Лоренцо уважение к себе. Но об этом она могла бы не тревожиться: мягкосердечие, которое она доказала нежными заботами о страдальце, уже очень высоко подняло ее в его глазах. Пока она хлопотала над несчастной, сострадание украсило ее новой прелестью и сделало ее красоту в тысячу раз обворожительней. Лоренцо смотрел на нее с восхищением и восторгом. Она казалась ему милосердным ангелом, спустившимся с Небес, чтобы спасти невинную жертву, и его сердце не устояло бы перед ее чарами, если бы воспоминание об Антонии не одело его брней.

Герцог проводил монахинь в дома их друзей. Спасенная узница по-прежнему находилась в обмороке, и лишь тихие стоны показывали, что она еще жива. Для нее соорудили подобие носилок. Виргиния шла рядом с ними, терзаясь страхом, что, истощенная долгим голодом, пораженная внезапным переходом от заточения и мрака к свободе и свету, бедняжка так и не сумеет оправиться от потрясения. Лоренцо и дон Рамирес остались в подземелье и обсудили, как лучше вести поиски. Чтобы сберечь время, они решили разделить стражников на два отряда. Один во главе с доном Рамиресом будет осматривать нижнее подземелье, а Лоренцо с остальными отправится исследовать дальние склепы. Дон Рамирес, проверив факелы своих стражников, уже начал спускаться по ступенькам, как вдруг услышал, что по дальнему проходу между склепами кто-то бежит. Это его так удивило, что он поспешил снова подняться в залу.

– Вы слышите шаги? – спросил Лоренцо. – Пойдемте им навстречу. По-моему, они доносятся вон оттуда.

В это мгновение громкий пронзительный крик заставил их поспешить.

– Помогите! Помогите во имя Божье! – звал голос, мелодичность которого поразила ужасом сердце Лоренцо.

Он с быстротой молнии кинулся на зов, и дон Рамирес последовал за ним почти столь же быстро.

ГЛАВА IV

*Сколь Человек, твое творенье, слаб,
О Небо! Сколь он самомнения раб!
В гордыне мы по волнам наслаждений
Свой правим челн, не ведая сомнений.
Плывем, беспечной радости полны,*

*И мним, всегда вернуться мы вольны!
Страстей покуда буря не взревет
И, с сушею смешавши небосвод,
Нас не погонит в Океан безбрежный.
О, как клянем мы челн свой ненадежный
И опрометчивость в тот страшный час,
Когда земля скрывается из глаз.*
ПРАЙОР

Амбросио тем временем ничего не знал об ужасах, творившихся совсем рядом. Все его помыслы были сосредоточены на том, как сделать Антонию своей. Он был доволен уже достигнутым успехом. Антония выпила сонное зелье, была погребена в подземелье обители святой Клары и оказалась в полном его распоряжении. Матильда, прекрасно осведомленная о природе и свойствах этого снотворного, исчислила, что действие его продлится до часа ночи. И наступления этой минуты он ожидал с величайшим нетерпением. Праздник святой Клары предлагал ему удобнейший случай завершить свое преступление. Монахи и монахини будут участвовать в процессии, и он мог не опасаться, что ему помешают. От того, чтобы возглавить шествие монахов, он уклонился. Ему казалось очевидным, что Антония, лишенная надежды на помощь, отрезанная от всего мира, отданная ему в полную власть, подчинится его желаниям. Нежная привязанность, которую она постоянно ему изъясняла, оправдывала такое убеждение. Ну а если она все же вздумает упорствовать, он твердо решил, что никакие соображения не помешают ему насладиться ею. Мысль о насилии, коль скоро никто ничего не узнает, не приводила его в содрогание. А если она и вызывала у него некоторое отвращение к ней, то потому лишь, что он испытывал к Антонии самую искреннюю, пылкую любовь и предпочел бы, чтобы она предалась ему сама.

Монахи вышли из монастыря в полночь. С ними была и Матильда – она вела хор. Амбросио остался совсем один и мог поступать, как ему заблагорассудится. Убежденный, что монастырь опустел и некому подсматривать за ним или чинить помехи его удовольствиям, он поспешил в западный придел. С сильно бьющимся сердцем, в котором смешивались надежды и тревога, он прошел через сад, отпер кладбищенскую калитку и через минуту уже был у входа в подземелье. Тут он остановился и посмотрел вокруг с опаской, памятуя, что его дело не для посторонних глаз. Пока он стоял так, раздался меланхолический крик совы, ветер застучал оконными рамами обители и донес до него слабые отзвуки песнопений. Дверь он открыл с величайшей осторожностью, словно боялся, как бы его не услышали, вошел и затворил ее за собой. Освещая путь фонарем, он шел по длинным коридорам, следуя приметам, о которых ему сообщила Матильда, и так добрался до входа в потаенный склеп, где покоилась его спящая возлюбленная.

Вход этот было не так-то просто обнаружить, но Амбросио это не смутило – он тщательно запомнил расположение двери во время погребения Антонии. Она была не заперта, монах толкнул ее, спустился в склеп и подошел к смиренной гробнице, где лежала Антония. Он запасся ломом и киркой, но они ему не понадобились. Решетка была закрыта на крюк снаружи. Он поднял ее, поставил фонарь на выступ и осторожно наклонился над гробницей. Рядом с тремя полуразложившимися трупами он увидел свою спящую красавицу. Розовая краска, предвестница пробуждения, уже разлилась по ее ланитам, и, завернутая в саван, распростертая на погребальном ложе, она словно улыбалась символам Смерти вокруг. Амбросио, глядя на гниющие кости и отвратительные трупы, которые, быть может, прежде были столь же прелестными и чарующими, невольно вспомнил Эльвиру, которую своими руками вверг в это же состояние. Мелькнувшее воспоминание об этом гнусном злодействе дохнуло на него жутью. Однако оно лишь укрепило его решимость погубить честь Антонии.

– Ради тебя, роковая красота! – пробормотал монах, глядя на облюбованную добычу. – Ради тебя совершил я это убийство и продал себя на вечные муки. Теперь ты принадлежишь мне. Виновница моего греха хотя бы станет моей. Не уповай, что твои мольбы, произнесенные с несравненной мелодичностью, твои ясные глаза, наполненные слезами, и

твои руки, подъятые, словно в раскаянии испрашивая прощения у Пресвятой Девы, не уповай, что твоя трогательная невинность, твоя прелестная скорбь или все твои кроткие улеживания избавят тебя от моих объятий! До рассвета ты должна стать и ты станешь моей!

Он вынул Антонию из гробницы, все еще неподвижную, сел на каменный выступ и, грея ее в объятиях, с нетерпением высматривал признаки возвращающейся жизни. Ему лишь с трудом удавалось держать свою страсть в узде и не поддаться искушению насладиться ею в бесчувственном состоянии. Природное его сластолюбие было распалено помехами, а также долгим воздержанием, ибо Матильда отлучила его от себя навсегда с той минуты, когда отказалась от права на его любовь.

– Я не уличная женщина, Амбросио! – сказала она ему, когда, изнывая от похоти, он потребовал ее милостей с особой настойчивостью. – Теперь я всего лишь твой друг и твоей любовницей не буду. А потому не добивайся от меня удовлетворения своих желаний, не наноси мне этого оскорбления. Пока твое сердце было моим, я гордилась твоими объятиями. Но это счастливое время безвозвратно миновало. Ты стал равнодушен ко мне и ищешь насладиться мной по необходимости, а не из любви. И я не могу уступить столь унижительной для меня просьбе.

Внезапно лишившись плотских радостей, которые привычка уже сделала для него необходимостью, монах сильно страдал из-за вынужденного от них отказа. По природе склонный потакать своей чувственности, он в расцвете мужества с неутолимым жаром в крови стал ее рабом, похоть в нем обрела вид безумия. От его любви к Антонии сохранялись лишь самые грубые частицы. Он жаждал обладать телом Антонии, и даже угрюмый мрак склепа, мертвая тишина кругом и сопротивление, которого он ожидал от нее, – все словно только придавало его бешеным и необузданным желаниям новую остроту.

Постепенно он ощутил, что прижатая к нему грудь исполняется живым теплом. Сердце Антонии снова билось, кровь быстрее заструилась в жилах, губы затрепетали. Наконец она открыла глаза, но действие сильного снотворного еще не совсем прошло, и ее веки вновь смежились. Амбросио не отрывал от нее взгляда, подмечая малейшее изменение. Убедившись, что жизнь полностью к ней вернулась, он в экстазе прижал ее к груди и прильнул губами к ее устам. Этого резкого движения оказалось достаточно, чтобы разогнать опиумный туман, который еще омрачал мысли Антонии. Она приподнялась и в тревоге посмотрела по сторонам. Окружавшие ее зловещие предметы вызвали у нее тягостное замешательство. Она прижала ладонь к голове, словно пытаясь успокоить расстроенное воображение. Затем опустила руку и вторично обвела склеп взглядом. Глаза ее остановились на лице аббата.

– Где я? – спросила она внезапно. – Как я попала сюда? Где матушка? Мне почудилось, что я ее вижу! О, сон, страшный, ужасный сон сказал мне... Но где я? Пустите меня! Я не могу оставаться тут!

Она попыталась встать, но монах удержал ее.

– Успокойся, прелестная Антония! – сказал он. – Тебе не грозит никакая опасность. Доверься мне. Почему ты так на меня смотришь? Или ты не узнаешь меня? Не узнаешь своего друга? Амбросио?

– Амбросио? Мой друг? О да! Да! Я помню... Но почему я тут? Кто принес меня? Почему вы со мной? Ах! Флора велела мне остерегаться... Тут только гробницы, склепы, скелеты... Это место пугает меня! Добрый Амбросио, уведите меня отсюда, все тут напоминает мне мой ужасный сон! Мне чудилось, будто я умерла и меня положили в могилу! Добрый Амбросио, уведите меня отсюда. Вы не хотите? Но почему? Не смотрите на меня так! Ваши огненные глаза меня пугают! Пощадите меня, отче! Богом заклинаю, пощадите!

– Откуда эти страхи, Антония? – ответил аббат, прижимая ее к себе и осыпая ее грудь поцелуями, которых она тщетно пыталась избежать. – Зачем ты боишься меня, того, кто тебя обожает? Не все ли тебе равно, где ты? Мне склеп мнится приютом Любви. Сумрак этот – таинственный ночной покров, который она простерла над нашими восторгами! Так думаю я,

и так должна думать моя Антония. Да, моя милая девочка! Да! По твоим жилам разольется огонь, который пылает в моих, и мое блаженство удвоится, потому что его со мной разделишь ты!

Говоря все это, он не скупился на поцелуи и разрешил себе еще более непристойные вольности. Даже невинное неведение Антонии не нашло оправдания необузданной его распушенности. Понимая, что ей грозит опасность, она вырвалась из его рук и, не имея иной одежды, плотнее закуталась в саван.

– Отриньтесь, отче! – вскричала она с глубоким негодованием, умерявшимся, однако, сознанием беззащитности. – Зачем вы принесли меня в такое место? Вид его леденит меня ужасом! Если в вас есть хоть капля жалости и человечности, уведите меня отсюда! Позвольте мне вернуться в дом, который я покинула сама не зная как! Но я не хочу и не должна оставаться здесь еще хотя бы минуту!

Решительность, с какой были произнесены эти слова, несколько ошеломила монаха, но не вызвала в нем иных чувств, кроме удивления. Он схватил ее за руку, насильно усадил к себе на колени и, не спуская с нее горящих глаз, ответил ей так:

– Успокойся, Антония. Сопротивление бесполезно, и мне незачем долее прятать от тебя мою страсть. Тебя считают умершей, общество людей утеряно для тебя навсегда. Ты всецело в моей власти, а я сгораю от желания, которое должен утолить или умереть. Но я хочу быть обязан моим счастьем тебе. Моя прелестная девочка! Моя обворожительная Антония! Позволь мне стать твоим наставником в радостях, пока тебе неведомых, и научить тебя в моих объятиях тем наслаждениям, которые я не замедлю испытать в твоих. Нет, оставь эти детские попытки вырваться, – добавил он, когда она, чтобы избежать его ласк, рванулась из его рук. – На помощь к тебе здесь никто не придет. Ни Небо, ни земля не спасут тебя от моих объятий. Но для чего отвергать восторги столь сладкие, столь упоительные? Нас никто не видит. Наша любовь останется тайной для всего мира. Любовь и удобный случай приглашают тебя предаться вольно своим страстям. Уступи же им, моя Антония! Уступи им, моя прелестная девочка! Обвей меня нежно руками, вот так! Слей вот так свои уста с моими! Ужели, осыпав тебя всеми дарами, природа отказала тебе в самом драгоценном – в умении чувствовать наслаждение? О нет, не может быть! Каждая черта, каждый взгляд, каждое движение свидетельствуют, что ты создана дарить наслаждение и получать его! Не смотри же на меня такими умоляющими глазами. Справься у своих прелестей. Они скажут тебе, что никакие мольбы меня не тронут. Могу ли я отказаться от этих белоснежных членов, таких нежных, таких изящных! От этих юных персей, округлых, полных и упругих! От этих благоуханных уст, которыми нельзя пресытиться? Могу ли я отказаться от этих сокровищ, чтобы ими насладился другой? О нет, Антония. Никогда! Клянусь вот этим поцелуем! И этим! И этим!

С каждым мгновением страсть монаха становилась все более жгучей, а ужас Антонии все более сильным. Она билась в его объятиях, стараясь высвободиться. Усилия ее оставались тщетными, Амбросио же вел себя все более вольно, и она принялась звать на помощь, как могла громче. Угрюмый склеп, тусклые лучи фонаря, окружающий мрак, соседство гробницы, кости и черепа, которые повсюду встречал ее взгляд, мало подходили для того, чтобы пробудить в ней чувства, владевшие монахом. Даже его ласки пугали ее дикой яростностью и рождали в ней один ужас. И наоборот, ее страх, ее видимое отвращение и упорное сопротивление, казалось, только разжигали желания монаха и прибавляли ему сил для грубых посягательств. Крики Антонии не услышал никто. Однако она продолжала кричать и не оставляла попыток вырваться, пока, измученная, задыхающаяся, не выскользнула из его рук и, упав на колени, не прибегла снова к просьбам и мольбам. Но и это осталось бесполезным. Наоборот, воспользовавшись ее позой, насильник бросился на нее, вновь прижал к груди, почти обеспамятевшую от ужаса, лишившуюся сил сопротивляться и дальше. Он заглушал ее крики поцелуями, обращался с ней как дикий варвар, переходил ко все большим вольностям и в горячке похоти ранил и покрывал синяками ее нежные члены. Пренебрегая ее слезами, стонами и мольбами, он овладел ею и

оторвался от своей жертвы, только когда завершил свое преступление и бесчестие Антонии.

Едва он преуспел, как ужаснулся себе и содрогнулся при мысли о средствах, которыми достиг своего. Самая чрезмерность его недавнего желания овладеть Антонией теперь пробуждала в нем омерзение, втайне указывала ему, каким низким и бесчеловечным было то, что он только что совершил. Он отпрянул от Антонии. Та, что совсем недавно была предметом его преклонения, теперь вызвала в его сердце лишь отвращение и злобу. Он отвернулся от нее. А если его взгляд случайно останавливался на ее распростертой фигуре, то лишь с ненавистью. Несчастная лишилась чувств прежде, чем ее поругание завершилось. А когда очнулась, то, не думая ни о чем, кроме своего позора, продолжала лежать на земле в безмолвном отчаянии. По ее щекам медленно катились слезы, грудь вздымалась от частых рыданий. Предаваясь неизбежной горести, она некоторое время оставалась недвижимой. Потом с трудом поднялась и направилась, пошатываясь, к двери, намереваясь покинуть склеп.

Звук ее шагов вывел монаха из угрюмой апатии. Отшатнувшись от гробницы, к которой он прислонялся, вперяя взор в тлеющие там кости, он поспешил за жертвой своей звериной похоти, нагнал ее и, схватив за локоть, втащил назад в склеп.

– Куда ты? – крикнул он злобно. – Вернись сию же минуту!

Антония задрожала при виде его разъяренного лица.

– Что тебе нужно еще? – робко спросила она. – Разве гибель моя не завершена? Разве я не погибла? Не погибла навеки? Разве твоя жестокость не насытилась? Или мне предстоят еще муки? Дай мне уйти. Дай мне вернуться в мой дом и безудержно оплакивать мой стыд и мое несчастье!

– Дать тебе вернуться? – повторил монах с горькой и язвительной насмешкой, но тут же его глаза вспыхнули яростью. – Как? Чтобы ты могла обличить меня перед светом? Чтобы ты объявила меня насильником, похитителем, чудовищем жестокости, сластолюбия и неблагодарности? Нет и нет! Я хорошо знаю тяжесть моих прегрешений, знаю, что жалобы твои будут более чем справедливыми, а мои преступления будут вопиять об отмщении! Нет, ты не выйдешь отсюда и не откроешь Мадриду, что я злодей и моя совесть обременена грехами, заставляющими меня отчаяться в милости Небес! Несчастная, ты должна остаться здесь со мной! Здесь, среди этих глухих склепов, этих образов Смерти, этих гниющих гнусных трупов! Здесь ты останешься и будешь свидетельницей моих страданий! Ты увидишь, что значит умирать в муках безнадежности, испустить последний вздох, богохульствуя и кощунствуя! А кого я должен благодарить за все это? Что соблазнило меня на преступления, самая мысль о которых заставляет меня содрогаться? Мерзкая чародейка! Что, как не твоя красота? Разве ты не ввергла мою душу в черноту греха? Разве ты не превратила меня в клятвопреступника и лицемера, насильника, убийцу? Разве в эту самую минуту твой ангельский облик не заставляет меня отчаяться в Господнем прощении? О, когда я предстану перед престолом в Судный день, этого взгляда будет достаточно, чтобы я был навеки проклят! Ты скажешь моему Судии, что была счастлива, пока тебя не увидел я; что была невинна, пока тебя не осквернил я! Ты явишься вот с этими полными слез глазами, с этими бледными осунувшимися щеками, подняв в мольбе руки, как в те минуты, когда испрашивала моего милосердия и не получила его! И тогда моя вечная гибель будет предreshена! И тогда явится призрак твоей матери и сбросит меня в обиталище дьяволов, где пламя, и фурии, и вечные муки! И это ты обвинишь меня! Это ты станешь причиной моих вечных страданий! Ты, несчастная! Ты! Ты!

Выкрикивая эти слова, он свирепо схватил Антонию за плечо, в бешеной ярости топая ногами.

Полагая, что он сошел с ума, Антония в ужасе упала на колени, воздела руки и замирающим голосом с трудом произнесла:

– Пощади меня! Пощади!

– Молчи! – загремел монах как безумный и швырнул ее на землю...

Оттолкнув несчастную ногой, он начал расхаживать по склепу, словно буйно

помешанный. Глаза его жутко вращались, и, встречая их взгляд, Антония всякий раз содрогалась. Казалось, он замышляет нечто бесчеловечное, и она оставила всякую надежду покинуть склеп живой. Однако тут она была к нему несправедлива. Душу его снедали ужас и отвращение, но в ней еще оставалось место для жалости к его жертве. Едва буря страсти пронеслась, как он уже был готов отдать миры, принадлежи они ему, лишь бы возвратить ей невинность, которую его необузданная похоть отняла у нее. От желаний, подстегнувших на это преступление, у него в груди не осталось и следа. Все богатства Индий не соблазнили бы его овладеть ею во второй раз. Даже мысль об этом, казалось, возмущала его природу, и он рад был бы изгладить из своей памяти то, что произошло здесь. И по мере того, как угасала его угрюмая ярость, в нем усиливалось сострадание к Антонии. Он остановился и хотел было обратиться к ней со словами утешения, но не сумел их найти и лишь взирал на нее с тоскливой растерянностью. Положение ее представлялось таким безнадежным, таким горестным, что никакому смертному не дано было его облегчить. Что мог он сделать для нее? Душевный мир ее был непоправимо погублен, честь безвозвратно потеряна. Она навсегда была отторгнута от людского общества, и он не осмеливался возвратить его ей. У него не было сомнений, что такое возвращение обличило бы его как преступника и сделало бы кару неизбежной. А обремененному грехами Смерть является вдвойне ужасной. Да и верни он Антонию свету дня, подвергнув себя опасности разоблачения, какое горькое будущее ее ожидало бы! Ни малейшей надежды обрести хотя бы скромное счастье и вечная печать позора, обрекающая на горе и одиночество до конца дней. Но альтернатива? Еще более страшная для Антонии, однако хотя бы обеспечивающая аббату безопасность. Он решил оставить ее мертвой в глазах мира и держать в заточении в этой жуткой темнице. Он будет навещать ее здесь каждую ночь, приносить ей пищу, каяться и мешать свои слезы с ее. Монах понимал, сколь несправедливо и жестоко его намерение, но только так он мог помешать Антонии сделать явными его вину и ее собственный позор. Если бы он дал ей свободу, то не мог бы положиться на ее молчание. Слишком большое зло он ей причинил, чтобы надеяться на ее прощение. К тому же ее возвращение пробудит всеобщее любопытство, а бурность горя помешает ей скрыть причину этого горя. Нет, Антония не должна покидать склеп.

Он приблизился к ней со смущенным видом, поднял с пола и взял было за руку, но рука эта задрожала, и он уронил ее, точно змею. Казалось, сама природа в нем восставала против прикосновения к ней. Он ощущал, что она одновременно и влечет его и отталкивает, но не мог объяснить ни того ни другого. Что-то в ее облике наводило на него ледяной ужас, и, хотя разум его еще не воспринимал этого, совесть уже рисовала ему всю чудовищность его преступления. Торопливо, но со всей ласковостью, какую он сумел придать голосу, звучащему еле слышно, монах, отвращая глаза, попытался утешить Антонию в несчастье, которому уже ничто помочь не могло. Он объявил, что глубоко раскаивается и с радостью заплатил бы каплей крови за каждую слезу, которую его варварство исторгло у нее. Измученная, лишенная надежды Антония слушала его в немой горести. Но когда он приговорил ее к заключению в склепе, к страшной судьбе, которой даже смерть казалась предпочтительней, она тотчас очнулась от своего оцепенения. Влачить жалкое существование в тесной гнусной темнице среди гниющих трупов, ни для кого неведомой, кроме злого насильника? Дышать ядовитым воздухом тления, никогда более не видеть солнечных лучей, не впитывать чистых небесных ветров? Мысль эта была невыносимо ужасной. Она взяла верх даже над омерзением, которое внушал ей монах. Вновь она упала на колени и умоляла о сострадании в словах самых трогательных и убедительных. Она обещала, если он вернет ей свободу, скрыть от света все, что она претерпела, объяснить свое возвращение так, как придумает он, а чтобы на него не пало даже тени подозрения, она поклялась тотчас покинуть Мадрид. Мольбы ее были такими жаркими, что произвели большое впечатление на монаха. Он подумал, что она больше не возбуждает у него никакого желания и, следовательно, держать ее в заточении для своих утех, как он намеревался прежде, смысла не имеет; что он добавляет новую гнусность к тем, которые она уже

вытерпела, и что его жизни и доброй славе, если она сдержит свое обещание, ничто угрожать не будет, останется ли она тут или получит свободу. С другой стороны, его грызло опасение, как бы Антония в горести не нарушила обещания ненамеренно или же, по простоте душевной и неискушенности в искусстве обмана, не позволила бы кому-либо более опытному вывести свой секрет. Но сколь ни обоснованны были такие соображения, жалость и искреннее желание искупить насколько возможно свое деяние побуждали его склониться на ее мольбы. И удерживала его лишь трудность, сопряженная с тем, как объяснить неожиданное возвращение Антонии после ее предполагаемой смерти и публичных похорон. Он размышлял над тем, как преодолеть эту помеху, когда услышал стремительно приближающиеся шаги. Дверь склепа распахнулась, и в нее вбежала Матильда, видимо, охваченная ужасом и смятением.

Антония встретила появление незнакомого послушника радостным восклицанием. Но ее надежды на его помощь тут же угасли. Предполагаемый послушник, не выразив ни малейшего удивления, что застал монаха наедине с женщиной в таком странном месте и в такой поздний час, поспешно обратился к нему со следующими словами:

– Что нам делать, Амбросио? Мы погибли, если взбунтовавшуюся чернь не разгонят без промедления. Амбросио, обитель святой Клары охвачена огнем. Настоятельница пала жертвой ярости простолудинов. Нашему монастырю угрожает та же судьба. Напуганные угрозами черни монахи разыскивают тебя повсюду. Они воображают, что лишь твоя слава может утихомирить бунтовщиков. Никто не знает, что случилось с тобой, твое отсутствие вызывает всеобщее изумление и отчаяние. Я воспользовалась их смятением и прибежала предупредить тебя об опасности.

– Ну, это дело поправимое, – ответил аббат. – Я поспешу в мою келью и придумаю какую-нибудь безобидную причину, почему меня не нашли.

– Невозможно! – возразила Матильда. – В подземелье полно стражников. Лоренцо де Медина и несколько офицеров инквизиции обыскивают склепы и все проходы. Тебя схватят прежде, чем ты из них выберешься. Захотят узнать, что ты делал в подземелье в столь поздний час, найдут Антонию, и гибель твоя будет предрешена!

– Лоренцо де Медина? Офицеры инквизиции? Что привело их сюда? Они меня ищут? Значит, меня подозревают? О, говори же, Матильда! Отвечай, молю тебя!

– Пока они о тебе не помышляют, но, боюсь, так продлится недолго. Твоя единственная надежда на то, что этот склеп обнаружить нелегко. Дверь скрыта очень искусно. Ее могут не заметить, и мы переждем здесь, пока досмотр не кончится.

– Но Антония... Что, если они приблизятся и услышат ее крики?

– Вот так я устраню эту опасность! – вскричала Матильда и, выхватив кинжал, бросилась на свою беспомощную жертву.

– Остановись! – воскликнул Амбросио, хватая ее руку и отнимая уже занесенный кинжал. – Что ты делаешь, жестокая женщина? Несчастная и так уже перенесла достаточно страданий из-за твоих пагубных советов! Дал бы Бог, чтобы я им не следовал! Дал бы Бог, чтобы я никогда не видел твоего лица!

Матильда метнула на него взгляд, полный презрения.

– Глупости! – вскричала она с гневным и величавым видом, внушившим монаху трепет. – Отняв у нее все, что делало жизнь желанной, неужто ты страшишься положить конец ее горестям? Но тем лучше! Пусть живет, чтобы убедить тебя в твоём безумии. Я оставляю тебя твоей злой судьбе. Я отрекаюсь от союза с тобой. Тот, кто дрожит перед столь малым преступлением, не заслуживает моей защиты! Слышишь? Слышишь, Амбросио? Идут стражники, и гибель твоя неизбежна.

В тот же миг аббат услышал голоса в отдалении. Он бросился к двери, от которой зависело его спасение и которую Матильда не затворила. Но прежде он увидел, как Антония проскользнула мимо него, выбежала за дверь и полетела в сторону дальних голосов, точно пущенная из лука стрела. Она внимательно следила за тем, что говорила Матильда, и, услышав имя Лоренцо, решила рискнуть всем, чтобы найти у него защиту. Дверь была

открыта, голоса показывали, что стражники близко, и, собрав оставшиеся силы, она пробежала мимо монаха, прежде чем он разгадал ее намерение, и устремилась навстречу к ним. Аббат, едва оправившись от удивления, бросился в погоню. Тщетно Антония убыстряла шаги и напрягала все нервы до предела. Враг настигал ее с каждым мгновением. Она слышала его топот у себя за спиной, ощущала на шее его разгоряченное дыхание. Он нагнал ее, схватил за развевающиеся волосы и попытался утащить назад в склеп. Антония сопротивлялась как могла. Она обвила руками каменный столп, поддерживавший свод, и громко звала на помощь. Тщетно пытался монах принудить ее к молчанию.

– Помогите! – продолжала она восклицать. – Помогите! Помогите во имя Божье!

Шаги людей, привлеченных ее криками, раздавались все ближе. Аббат каждый миг ждал появления офицеров инквизиции. Антония продолжала сопротивляться, и теперь он заставил ее умолкнуть самым жутким и бесчеловечным способом. Рука его все еще сжимала кинжал Матильды. Не дав себе задуматься, он взмахнул им и дважды погрузил лезвие в грудь Антонии! Она пронзительно застонала и опустилась на землю. Монах хотел унести свою жертву, но ее руки все так же крепко держались за столп. Тут по стенам заскользили отблески приближающихся факелов. Страшась быть застигнутым, Амбросио бросил тщетные попытки и поспешил назад в склеп, где оставил Матильду.

Однако он не ускользнул незамеченным. Дон Рамирес, опередивший остальных, увидел женщину, истекающую кровью на земле, и убегающего мужчину, чье смятение выдавало в нем убийцу. Он тотчас кинулся в погоню за ним с частью стражников, остальные с Лоренцо поспешили к раненой. Они подняли ее на руки. От невыносимой боли бедняжка потеряла сознание, но вскоре подала признаки возвращающейся жизни. Она открыла глаза, приподняла голову, и золотые пряди, закрывавшие лицо, упали с него.

– Боже Всемогущий! Антония!

С этим восклицанием Лоренцо принял ее из рук стражника в свои объятия.

Хотя кинжал направляла нетвердая рука, он верно послужил цели того, кто взмахнул им. Обе раны были смертельны, и Антония это поняла. Однако последние ее минуты в земной юдоли были полны счастья. Тревога на лице Лоренцо, нежность и отчаяние его жалоб, лихорадочные расспросы о ее ранах – все это убедило Антонию, что его сердце принадлежит ей. Она воспротивилась тому, чтобы ее вынесли из подземелья, опасаясь, что малейшее неосторожное движение может приблизить смерть, а она не хотела потерять ни единого мгновения, которые проводила, выслушивая признание Лоренцо в любви и уверяя его в своей собственной. Она сказала ему, что оплакивала бы утрату жизни, если бы умирала непорочной. Но для лишенной чести, заклеянной стыдом смерть была избавлением. Стать его женой она теперь не могла бы и, лишенная этой надежды, сойдет в могилу без вздоха сожаления. Она просила его мужаться, умоляла не предаваться бесплодной печали и сказала, что рассталась бы с этим миром без сожаления, когда бы не он. Каждое нежное ее слово лишь усугубляло горе Лоренцо, а не смягчало его, и так она беседовала с ним до мгновения кончины. Голос ее слабел, становился еле слышным, глаза словно заволокло густым туманом, сердце билось редко и неровно, и каждый миг, казалось, возвещал что смерть близка.

Она лежала, прислонив голову к груди Лоренцо, губы ее продолжали шептать ему слова утешения. Ее прервал донесшийся издали удар монастырского колокола, потом второй, третий... Внезапно глаза ее просияли небесным блеском, тело словно обрело новую силу и одушевление. Она вырвалась из рук возлюбленного.

– Три часа! – вскричала она. – Матушка, я иду!

И, сложив ладони, упала мертвая. Лоренцо в агонии распростерся рядом с ней. Он рвал волосы, бил себя в грудь и не выпускал труп из объятий. Наконец силы оставили его, он покорно вышел из подземелья, и его отвезли во дворец де Медина почти такого же бездыханного, как Антония.

Тем временем Амбросио, хотя за ним гнались по пятам, успел скрытно проскользнуть в потайной склеп, и дверь за ним уже затворилась, когда дон Рамирес свернул в этот проход.

Прошло много времени, прежде чем приют беглеца был обнаружен. Но ничто не может устоять перед настойчивостью. Как ни хитро была замаскирована дверь, стражники ее отыскивали и, взломав, вошли в склеп, к ужасу Амбросио и его сообщницы. Смятение монаха, его попытка спрятаться, бегство и окровавленная одежда изобличили в нем убийцу Антонию. Но когда в нем узнали безупречного Амбросио, «святого», кумира Мадрида, все окаменели от изумления и едва сумели убедить себя, что зрение их не обманывает. Аббат не пытался оправдываться и хранил угрюмое молчание. Его схватили и связали. Так же из предосторожности поступили с Матильдой. Ее капюшон откинули, прекрасные тонкие черты и пышные золотые волосы выдали ее пол, и снова всех сковало удивление. Кинжал нашли в гробнице, куда монах его бросил, склеп тщательно обыскали и обоих арестованных отвезли в тюрьму инквизиции.

Дон Рамирес позаботился, чтобы никто из посторонних не узнал ни о преступлениях, ни о духовном звании его пленников. Боясь новых беспорядков того же рода, что последовали за арестом настоятельницы обители святой Клары, он удовлетворился тем, что сообщил капуцинам о винах их настоятеля. Чтобы избежать позора публичных обличений и опасаясь вспышки народного гнева, от которого они только что с трудом спасли свой монастырь, монахи безропотно позволили инквизиторам произвести тайный обыск. Ничего нового найдено не было. Вещи из келий настоятеля и Матильды были забраны, чтобы послужить уликами, все остальное осталось на своих местах, и в Мадриде вновь воцарились спокойствие и порядок.

Обитель святой Клары была полностью разрушена совместными усилиями черни и огня. Сохранились лишь внешние стены, перед толщиной которых и пламя оказалось бессильным. Монахиням пришлось искать приюта в монастырях других орденов, но против них все были настолько предубеждены, что там не желали принимать их. Однако в большинстве своем они принадлежали к самым знатым, богатым и влиятельным фамилиям, и аббаты нескольких обителей в конце концов взяли их к себе, хотя и весьма неохотно. Предубеждение это было совершенно незаслуженным и несправедливым. Кропотливое следствие установило, что в обители все искренне верили в смерть Агнесы от болезни, кроме четырех монахинь, перечисленных матерью Святой Урсулой. Все четыре пали жертвами разъяренной толпы, как и еще некоторые, ни в чем не повинные и ничего не знавшие о злодеянии. Ослепленная бешенством чернь расправлялась со всеми монахинями, попадавшими ей в руки. Остальные были обязаны своим спасением только предусмотрительности и вмешательству герцога де Медины. Это они понимали и были признательны благородному вельможе до глубины сердца.

Не была последней среди них и Виргиния. Ей равно хотелось и горячо поблагодарить его за внимание, которое он ей оказал, и понравиться дяде Лоренцо. В последнем она преуспела без труда. Герцог с удивленным восхищением любовался ее красотой, но если его зрение пленилось ее прелестным обликом, его сердце она расположила к себе кротостью манер и нежными заботами о страдальце, найденной в подземелье. У Виргинии достало проницательности заметить это, и она удвоила свои заботы о несчастной. Расставаясь с ней у дворца ее родителя, герцог попросил разрешения справляться о ее здоровье. Оно было ему охотно дано, и Виргиния заверила его, что маркиз де Вилья-Франка почтет за честь иметь случай самому поблагодарить его за услугу, оказанную дочери. На этом они расстались – он совершенно очарованный ее красотой и милым характером, а она весьма довольная им, но еще более его племянником.

Войдя в дом, Виргиния немедленно призвала домашнего врача и принялась устраивать поудобнее неизвестную, которую взяла на свое попечение. Ее мать поспешила помочь ей в этом милосердном деле. Встревоженный уличными беспорядками, беспокоясь о дочери, маркиз бросился в обитель святой Клары и все еще разыскивал ее там. Теперь за ним во все стороны отправили слуг с извещением, что она уже благополучно вернулась домой, и с просьбой поскорее поспешить туда же. Его отсутствие позволило Виргинии посвятить больной все свое внимание и хотя приключения этой ночи сильно ее измучили, она

отказывалась отойти от постели страдальцы, которая так ослабела от голода и душевных мук, что ее долго не удавалось привести в чувство. Ей было очень трудно принять необходимые лекарства, но когда она с этим справилась, недуг быстро отступил, так как вызван был только слабостью. Заботливый уход, питательная пища, какой она уже давно не ела, радость, что она возвращена свободе, обществу и, как она смела надеяться, любви, – все содействовали тому, что она скоро заметно оправилась. С первой же минуты ее злосчастное положение, ее почти невыносимые муки пробудили в груди Виргинии теплое к ней участие и живейший интерес. Но каков же был ее восторг, когда у ее гости наконец достало сил поведать свою историю и она узнала в заточенной монахини сестру Лоренцо!

Действительно, этой жертвой монастырской жестокости была злополучная Агнеса. В монастыре Виргиния дружила с ней, но страшная худоба, печать страданий, изменившая ее черты, общее убеждение, что она скончалась, отросшие волосы, спутанными прядями падавшие на ее лицо и грудь, – все это вначале помешало ее узнать. Настоятельница пускала в ход все ухищрения, чтобы Виргиния захотела постричься, ибо наследница Вилья-Франка была бы недурным приобретением для обители. Показная ласковость и неусыпное внимание оказали свое действие, и ее молодая родственница начала серьезно подумывать о постриге. Агнеса, лучше ее знакомая с убожеством и скукой монастырской жизни, проникла в замыслы настоятельницы и, сострадая неопытной девушке, приложила все усилия, чтобы открыть ей глаза на ее ошибку. Она в истинных красках описала многие тяготы, с этой жизнью сопряженные: всяческие стеснения, низкую зависть, мелкие интриги, а также угодничество и грубую лесть, которых требовала настоятельница. Затем она попросила Виргинию подумать об ожидающем ее блестящем будущем: любимица родителей, предмет восхищения всего Мадрида, одаренная природой и воспитанием всеми душевными и телесными совершенствами, она могла предвкушать счастливую и полезную жизнь. Богатство позволит ей дать полную волю щедрости и милосердию, двум добродетелям, столь ей дорогим, а оставаясь в миру, она сможет находить тех, кому особенно необходима ее помощь, чего монастырское уединение не позволяет.

Ее уговоры побудили Виргинию отбросить мысль о постриге, хотя больше всех остальных, взятых вместе, на нее повлиял главный довод, о котором Агнеса и не помышляла. Виргиния видела Лоренцо, когда он навещал сестру у решетки. Он ей необыкновенно понравился, и, беседуя с Агнесой, она обычно завершала разговор расспросами о ее брате. Та, обожая Лоренцо, только радовалась случаю лишний раз расхвалить его. Говорила Агнеса о нем всегда с восхищением, а чтобы убедить свою верную слушательницу, сколь благородны его чувства, утончен ум и изысканны выражения, она иногда давала ей прочесть его письма. Вскоре Агнеса поняла, что сердце ее юной подруги преисполнилось впечатлений, которые она вовсе не собиралась внушать, но была искренне рада обнаружить. Она не могла бы пожелать своему брату невесты лучше: наследница Вилья-Франка, добродетельная, кроткая, красивая, со многими дарованиями, Виргиния словно была создана, чтобы сделать его счастливым. Агнеса порасспрашивала своего брата, не упоминая ни имен, ни обстоятельств, он в своих ответах заверил ее, что его сердце и рука совершенно свободны, и она решила, что в таком случае может действовать без опасений, и приложила все усилия, чтобы укрепить зарождающуюся любовь своей подруги. Лоренцо стал постоянной темой ее разговоров, а увлечение, с каким собеседница слушала, вздохи, вырывавшиеся у нее, и торопливость, с которой она возвращалась к тому же предмету, стоило им отвлечься, окончательно убедили Агнесу, что ухаживания ее брата будут приняты благосклонно. Наконец она решилась упомянуть про свои желания герцогу. А он, хотя сам тогда Виргинию не знал, все же был достаточно о ней осведомлен, чтобы счесть ее достойной руки Лоренцо. Между ним и племянницей было условлено, что она постарается внушить эту мысль Лоренцо, и Агнеса дожидалась только его возвращения в Мадрид, чтобы сосватать его со своей подругой. Роковые события помешали ей привести свой план в исполнение. Виргиния горько оплакивала ее мнимую смерть и как подруги, и как единственной, с кем она могла говорить о Лоренцо. Любовь продолжала тайно томить ее сердце, и она уже почти решилась

признаться матери в своих чувствах, когда случай внезапно свел ее с тем, кому они были отданы. Он оказался рядом с ней, и его учтивость, сострадательность, бесстрашие еще усилили ее любовь. Когда же ей была возвращена ее подруга и наперсница, она увидела в ней Дар Небес. В ней пробудилась надежда соединиться с Лоренцо, и она решила воспользоваться влиянием на него сестры.

Полагая, что Агнеса перед смертью успела поговорить с братом о Виргинии, герцог относил на ее счет все намеки племянника на возможный свой скорый брак. И потому принимал их с видимым одобрением. Когда, вернувшись к себе, он выслушал рассказ о гибели Антонии и о том, как подействовала она на Лоренцо, его ошибка стала ему очевидной. И он весьма огорчился. Однако злополучная девушка уже перестала быть помехой, и он не оставил надежды на исполнение своего желания. Правда, состояние Лоренцо пока не позволяло и думать о нем как о женихе. Крушение надежд в ту минуту, когда он предвкушал их скорое свершение, и страшная внезапная смерть его возлюбленной подействовали на него самым удручающим образом. Герцог нашел племянника на одре болезни. Его служители серьезно опасались за жизнь своего господина. Однако дядя не разделял их страхов, полагая – и не так уж безосновательно, – что «люди умирали и черви поедали их – но не из-за Любви». Поэтому он льстил себя мыслью, что, как бы ни глубока была рана в сердце его племянника, время и Виргиния сумеют ее полностью исцелить. Он не отходил от ложа сокрушенного горем юноши и старался его утешить. Он соболезновал его страданиям, но внушал ему не поддаваться отчаянью. Столь ужасное событие, признавал он, не могло не потрясти его, и не винил больного за излишнюю чувствительность. Однако уговаривал не терзать себя тщетными сожалениями, а стараться перебороть горе и сохранить свою жизнь если не ради себя, то ради тех, кому он дорог. Пытаясь таким образом примирить Лоренцо с потерей Антонии, герцог тем временем усердно обхаживал Виргинию и пользовался каждым случаем, чтобы укрепить позицию его племянника в ее сердце.

Нетрудно догадаться, что Агнеса в первые же минуты осведомилась о доне Раймонде. Она была удручена, узнав, в какое состояние его ввергло горе, но не могла втайне не возликовать при мысли, что болезнь эта – лучшее доказательство его любви. Герцог взял на себя сообщить больному о счастье, которое его ожидает. Он не упустил ни единой предосторожности, чтобы подготовить Раймонда к такому известию, и все же при этом внезапном переходе от отчаяния к радости маркиза охватил восторг столь бурный, что чуть было не убил его. Но когда этот приступ миновал, душевное успокоение, уверенность в скором счастье, а главное, присутствие Агнесы (которая, едва заботы Виргинии и маркизы поставили ее на ноги, поспешила к своему возлюбленному) вскоре помогли ему справиться с последствиями недавнего тяжкого недуга. Безмятежность души благотворно влияла на тело, и он выздоравливал с такой быстротой, что изумлял всех.

Не то было с Лоренцо. Смерть Антонии в столь ужасных обстоятельствах тяжким бременем легла на его душу. От него осталась только тень. Ничто не доставляло ему радости. Его с трудом заставляли проглатывать пищу, необходимую для поддержания жизни, и все опасались чахотки. Единственным его утешением было общество Агнесы. Хотя волей судьбы они прежде редко бывали вместе, он питал к ней искреннейшую привязанность и дружбу. Сестра, заметив, как она ему необходима, почти не покидала его спальни, с неистощимым терпением слушала его сетования, успокаивала его кротким вниманием и сочувствием к его мукам. Она все еще жила во дворце Вилья-Франка, владельца которого обходились с ней как с родной. Герцог сообщил отцу Виргинии о своих желаниях относительно его дочери. Партия была во всех отношениях превосходная: Лоренцо, наследник несметных богатств своего дяди, пользовался в Мадриде всеобщим уважением за приятные манеры, глубокие разносторонние познания и безупречное благородство поведения. Добавьте к этому, что маркиза узнала, какое сильное впечатление произвел он на сердце ее дочери.

Поэтому предложение герцога они приняли без колебаний. Было испробовано все, чтобы Лоренцо воспылал к Виргинии чувствами, коих она более чем заслуживала. Агнеса

часто приезжала к брату в сопровождении маркизы, а как только ему позволили покидать спальню, Виргинии иногда разрешалось под присмотром матери выражать ему пожелание скорейшего выздоровления. Это она делала с такой деликатностью, про Антонию упоминала с такой нежностью и сочувствием, а когда сострадала злосчастной судьбе своей соперницы, ее ясные глаза так дивно сияли сквозь слезы, что Лоренцо и смотрел на нее и слушал ее растроганно. Его родственники, как и сама Виргиния, замечали, что с каждым днем ее общество словно бы становится ему все приятнее и что он говорит о ней со все большим восхищением. Однако эти свои наблюдения они благоразумно держали при себе. Не было обронено ни единого слова, которое могло бы зародить подозрение об истинных их намерениях. Они продолжали ухаживать за ним точно также, как раньше, предоставляя времени преобразить дружбу, которую он уже питал к Виргинии, в более нежное чувство.

Тем временем ее визиты становились все более частыми, и вскоре почти не случалось дня, когда бы она не провела час-другой у дивана Лоренцо. К нему мало-помалу возвращались силы, но выздоровление его шло медленно и неровно. Как-то вечером, когда с ним сидели Агнеса и ее возлюбленный, герцог, Виргиния и ее родители, он чувствовал себя бодрее обычного и впервые попросил сестру рассказать ему, как она спаслась от яда, который выпила на глазах матери Святой Урсулы. Боясь напомнить ему обо всем, что окружало смерть Антонии, Агнеса до тех пор скрывала от него историю своих страданий. Теперь же, когда он сам заговорил на эту тему, и полагая, что, быть может, повесть о ее муках отвлечет его мысли от того, чем они были постоянно заняты, она не замедлила исполнить его просьбу. Остальное общество уже знало эту повесть, но их интерес к ее героине пробудил в них горячее желание выслушать ее еще раз, и они присоединили к просьбе Лоренцо свои. Агнеса подчинилась. Сначала она описала случившееся в часовне капucinского монастыря, злобу настоятельницы и ту полуночную сцену, тайной свидетельницей которой была мать Святая Урсула. Однако, если та ограничилась лишь передачей сути происходившего, Агнеса добавила много подробностей, а затем продолжала следующим образом:

ЗАВЕРШЕНИЕ ИСТОРИИ АГНЕСЫ ДЕ МЕДИНА

Моя предполагаемая смерть сопровождалась величайшими муками. И минуты, которые я считала своими последними на земле, омрачились заверениями настоятельницы, что мне не избежать вечной гибели. Когда мои веки сомкнулись, я услышала, как ее ярость излилась в проклятиях моей греховности. Ужас этого смертного часа, когда всякая надежда была изгнана, этого последнего сна, от которого я должна была пробудиться в пламени среди фурий, превосходит всякие описания. Когда я очнулась, страшные образы Ада все еще были запечатлены в моей душе, и я с трепетом поглядела вокруг, ожидая увидеть исполнителей Божественного отмщения. Целый час мои чувства были столь оглушены, а мысли находились в таком смятении, что я тщетно пыталась разобраться в том, что смутно видела по сторонам. Стоило мне приподняться, как головокружение застилало мой взор. Все вокруг словно качалось, и я вновь опускалась на землю. Ослабевшие, ослепленные глаза не вынесли даже слабого мерцания, которое я увидела над собой, и снова закрылись. Я вынуждена была лежать неподвижно.

Прошел долгий час, прежде чем я настолько пришла в себя, что могла уже рассмотреть то, что меня окружало. А тогда с неизъяснимым ужасом обнаружила, что лежу на чем-то вроде лежа, сплетенного из прутьев ивы. У него было шесть ручек, несомненно послуживших для того, чтобы монахини могли унести меня в мою могилу. Меня укрывала льняная ткань, а сверху были разбросаны несколько увядших цветков. Сбоку лежало небольшое деревянное распятие, а рядом с ним – тяжелые четки. Четыре низкие стены смыкались вокруг меня, а над собой я увидела низкий каменный свод с решетчатой дверцей. Сквозь решетку эту в каменный мешок проникало немного воздуха. Тусклые лучи, падавшие сквозь прутья, позволяли различать мерзость вокруг. Решетка была не заперта, и я подумала,

что сумею выбраться из него. Приподнимаясь, я оперлась на что-то мягкое, схватила и поднесла к свету. Великий Боже! Каковы же были мое омерзение, мой ужас! Я держала разложившуюся, кишашую червями мертвую голову! И узнала истлевшие черты монахини, скончавшейся несколько месяцев назад. Отшвырнув череп, я почти без чувств опустилась на погребальные носилки.

Когда силы возвратились ко мне, это обстоятельство и мысль, что я окружена разлагающимися телами сестер моего ордена, удесятерили мое желание выбраться из гнусной темницы. Я снова потянулась к свету и достала до решетки, которую без труда откинула. Возможно, ее нарочно оставили открытой, чтобы облегчить мне спасение из гробницы. Цепляясь за неровные, выступающие камни, я взобралась вверх по стене и выбралась наружу. Теперь я оказалась в довольно обширном склепе. По его сторонам симметрично располагались глубоко уходящие в пол гробницы, подобные той, которую я только что покинула. Со свода на ржавой цепи свисала погребальная лампада, бросая вокруг смутный свет. Отовсюду на меня смотрели эмблемы Смерти – черепа, берцовые кости, лопатки и другие останки смертных тел валялись на покрытом сыростью полу. Каждая гробница осенялась большим распятием, а в углу стояла деревянная статуя святой Клары. Вначале я не обратила на все это никакого внимания – глаза мои были устремлены на дверь, единственный выход из склепа. Я бросилась к ней, плотнее закутавшись в свой саван, толкнула ее и с невыразимым отчаянием убедилась, что она заперта снаружи.

Я тут же догадалась, что настоятельница ошиблась в свойствах данного мне снадобья, которое оказалось не ядом, но лишь сильным снотворным. Далее я заключила, что меня приняли за мертвую, совершили надо мной похоронные обряды и погребли и что подать о себе знать я не могу, а потому обречена на голодную смерть. Мысль эта оледенила меня, но ужаснулась я более судьбе невинного создания, которое все еще носила под сердцем. Я вновь попыталась открыть дверь, но она сопротивлялась всем моим усилиям. Напрягая голос, я кричала, призывая на помощь, однако услышать меня здесь было некому. В ответ не раздалось ни единого дружеского отклика. Глубокая, удручающая тишина окутывала склеп, и я отчаялась обрести свободу. Уже очень давно я ничего не ела, и вскоре меня начал терзать лютый голод. Муки эти были нестерпимыми, но с каждым часом они все увеличивались. Порой я бросалась на пол и каталась по нему в неизбывном отчаянии, а порой вскакивала, подходила к двери и вновь принималась трясти ее и бесплодно звать на помощь. Не раз я готова была разбить голову об острый выступ гробницы, чтобы разом положить конец моим страданиям, но мысль о моем ребенке удерживала меня от деяния, которое убило бы не только меня, но и мое нерожденное дитя. Тогда я изливала свою агонию в пронзительных воплях и иступленных жалобах, а затем, лишившись последних сил, в безнадежном молчании опускалась на приступку перед статуей святой Клары, складывала руки на груди и предавалась угрюмому отчаянию. Так прошло несколько тягостных часов. Смерть приближалась ко мне быстрыми шагами, и я ждала, что каждая следующая минута станет моей последней. Случайно мой взгляд упал на соседнюю гробницу, и я вдруг увидела на ней корзинку, которой прежде не замечала. Я поднялась и подошла к ней настолько быстро, насколько позволяла моя слабость. О, как торопливо я схватила корзинку, увидев в ней ломоть простого хлеба и бутылку с водой!

О, как жадно я набросилась на эту скудную трапезу! Корзинка, видимо, простояла тут несколько дней. Хлеб зачерствел, а вода оказалась затхлой. И все же я никогда не ела и не пила ничего вкуснее. Несколько утолив голод, я задумалась над тем, что могла означать эта корзинка. Была она предназначена для меня? Надежда ответила на этот вопрос утвердительно. Но кто мог догадаться, что мне понадобится пища? Если же известно, что я жива, почему меня заперли в страшном склепе? Если меня намереваются держать в заточении, чему служил похоронный обряд, который, несомненно, был надо мной совершен? А если я была обречена на голодную смерть, чьей жалости я обязана спасительной корзинкой, оставленной там, где я должна была ее увидеть? Друг не стал бы держать в тайне ужасную кару, которой меня подвергли. Но зачем бы врагу было заботиться о продлении

моей жизни? В конце концов я предположила, что какая-то расположенная ко мне сестра узнала о намерении настоятельницы убить меня и сумела подменить яд снотворным. А также снабдила меня пищей, чтобы мне было чем поддержать силы, пока она займется моим спасением. Конечно, она сумеет передать весть моим родным о грозящей мне опасности и укажет способ, как меня освободить! Но в таком случае почему она оставила мне только немного хлеба и воды? Как могла войти в склеп без ведома настоятельницы? А если вошла, почему столь старательно заперла за собой дверь? Такие противоречия испугали меня, но все-таки мысль эта сулила надежду, и я предпочла последнее объяснение всем остальным.

От размышлений меня отвлек звук шагов в отдалении. Они приближались, но медленно. Затем в щелях двери замелькал свет. Не зная, приближается ли помощь или в подземелье идущих привело что-то другое, я не стала окликать их. Однако шаги звучали громче, свет становился ярче, и, наконец, с неизъяснимой радостью я услышала, как ключ повернулся в замке. Убежденная, что мое спасение близко, я с радостным возгласом кинулась к двери. Она отворилась. И все мои надежды рухнули. За ней стояла настоятельница, а чуть поодаль – четыре монахини, которые были свидетельницами моей лжесмерти. В руках они держали факелы и смотрели на меня в боязливом молчании.

Я в ужасе отпрянула. Настоятельница спустилась в склеп, ее спутницы последовали за ней. Она устремила на меня суровый, злобный взгляд, но ничуть не удивилась, обнаружив, что я жива. Затем села на приступку, с которой я только что поднялась, дверь затворилась, монахини встали позади своей начальницы, и пламя их факелов, потускневшее в испарениях и сырости склепа, бросало тусклые блики на гробницы. Некоторое время длилось мертвое холодное молчание. Я стояла в нескольких шагах от настоятельницы. Наконец она сделала мне знак приблизиться. Беспощадность, написанная на ее лице, ввергла меня в дрожь, и я с трудом нашла силы, чтобы повиноваться. Я подошла, но ноги у меня подкашивались, и я упала на колени. Смиренно сложив ладони, я воздела к ней руки, моля о жалости, но не могла произнести ни слова.

Она ответила мне гневным взглядом.

– Вижу ли я перед собой кающуюся или грешницу? – сказала она наконец. – Руки эти простерты в знак покаяния за свершенное тобой или из страха перед карой за него? Признают ли эти слезы справедливость твоего жребия или лишь просят умерить твои страдания? Боюсь, что последнее!

Она помолчала, не отрывая взгляда от моего лица.

– Ободрись! – продолжала она затем. – Мне нужна не твоя смерть, но твое раскаяние. Я дала тебе выпить не яд, но опий. Обманула я тебя для того, чтобы ты извела муки нечистой совести, когда смерть приходит прежде, чем грешник успевает раскаяться. Ты испытала эти муки, я познакомила тебя с внезапностью смерти, и, уповаю, краткие твои мучения обернутся вечным благом. Я не намерена губить твою бессмертную душу или свести в могилу обремененной неискупленными грехами. Нет, дочь, отнюдь нет! Я очищу тебя спасительной карой и дам тебе полный досуг для раскаяния и сожалений. Выслушай же мой приговор. Неразумное рвение твоих друзей задержало его исполнение, но более не может ему помешать. Весь Мадрид полагает, что тебя более нет. Твои родственники убеждены, что ты умерла, и монахини, твои заступницы, помогали погresti тебя. Никто не заподозрит, что ты жива. Я приняла все меры предосторожности, и никто в эту тайну не проникнет. Так отринь же все мысли о суетном мире, с которым ты разлучена навеки, и употреби остающиеся тебе часы на то, чтобы подготовить себя к переходу в мир иной.

Это вступление заставило меня ожидать самого ужасного. Я задрожала и хотела заговорить, чтобы угасить ее гнев, но она жестом приказала мне молчать и продолжала:

– Хотя в последние годы ими прискорбно пренебрегали, а теперь их применению противятся многие наши заблудшие сестры (да просветит их Небо!), я намерена восстановить все правила нашего ордена во всем их величии. Правило, карающее несоблюдение непорочности, строго, но не более, чем того требует столь чудовищный грех. Покорись ему, дочь, без сопротивления, и обретешь награду за терпение и покорность в

жизни лучшей, чем эта. Так выслушай приговор святой Клары! Под этими склепами находятся темницы, сотворенные для таких грешниц, как ты. Вход в них скрыт весьма искусно, и та, что – входит в такую темницу, должна оставить все надежды на освобождение. Тебя сейчас отведут туда. Ты будешь получать пищу, но не для того, чтобы баловать плоть, а ровно столько, чтобы душа держалась в теле. Причем самую простую и грубую. Плачь, дочь, плачь и смачивай слезами хлеб свой: Богу ведомо, что причин печаловаться у тебя достаточно! Прикованная к стене темницы, навеки отторгнутая от мира и солнечного света, имея утешением лишь веру, а обществом лишь раскаяние, должна ты в стенаниях провести остаток своих дней. Такова воля святой Клары. Подчинись ей безропотно! Следуй за мной!

Этот варварский приговор поразил меня, как удар грома, и я лишилась последних сил. Упав к ее ногам, я омыла их слезами. Настоятельница, не тронутая моим отчаянием, величаво встала и повторила свой приказ властным тоном. Но от слабости я не могла повиноваться. Марианна и Аликс подняли меня с пола и повлекли, поддерживая под локти. Настоятельница пошла следом, опираясь на руку Виоланты, а Камилла шла впереди с факелом. Так двигалась наша скорбная процессия по длинным коридорам в молчании, прерываемом только моими рыданиями и стонами. Мы остановились в подземной часовне святой Клары, перед ее статуей. Статую сняли с пьедестала, не знаю каким образом. Затем монахини подняли решетку, прежде скрытую под статуей, и с громким лязгом откинули ее. Жуткий звук эхом отдался под сводами вверх и в подземелье вниз. Он вывел меня из унылого оцепенения, в которое я погрузилась. Перед моим испуганным взором разверзлась бездна, в нее уходили узкие крутые ступеньки, к которым потащили меня мои проводницы. Я закричала и отпрянула. Я молила о сострадании, оглашала залу стенаниями, призвала на помощь землю и Небо. Все втуне! Меня снесли вниз по ступеням и втокнули в одну из темниц в стенах подземелья.

Когда я обвела взглядом этот страшный приют, кровь застыла в моих жилах. Дрожащие в воздухе холодные испарения, позеленевшие от сырости стены, соломенная подстилка, такая убогая и жалкая, цепь, которая навеки прикует меня, всевозможные ползучие твари, которые, высвеченные факелами, торопливо скрывались в щелях, поразили мое сердце непереносимым ужасом. Обезумев от отчаяния, я вырвалась из державших меня рук, бросилась на колени перед настоятельницей и молила ее о милосердии самыми страстными, самыми иступленными словами.

– Если не надо мной, – говорила я, – то сжальтесь хотя бы над невинным созданием, чья жизнь слита с моей! Велико мое преступление, но не дайте, чтобы за него пострадало мое дитя! Оно не запятнало себя грехом. Ах, пощадите меня ради моего нерожденного ребенка, которого ваша суровость обрекает на гибель прежде, чем он вкусит жизни!

Настоятельница надменно отступила и вырвала полу своего одеяния из моих пальцев, словно мое прикосновение ее оскверняло.

– Как! – воскликнула она с раздраженным видом. – Как! Ты смеешь просить за плод твоего стыда? Дозволить жить твари, зачатой в столь чудовищном грехе? Распутница, ни слова более об этом ублюдке! Пусть лучше погибнет! Зачатый в клятвопреступлении, разврате и скверне, он не может не стать вместилищем всех пороков! Говорю тебе, грешница! Не жди от меня пощады ни себе, ни твоему отродью! Лучше помолись, чтобы смерть пришла к нему прежде, чем ты произведешь его на свет. Или же чтобы его глаза закрылись прежде, чем он сделает первый вдох! В родовых муках не жди помощи. Сама прими его, сама корми, сама нянчи и сама схорони! Пошли Господь, чтобы последнее случилось поскорее и ты не получила бы утешения от плода своей мерзости!

Эта бесчеловечная речь, угрозы, в ней содержавшиеся, жуткие страдания, предсказанные мне настоятельницей и ее молитва о смерти моего ребенка, которого, еще не родившегося, я уже обожала, сразили меня, и без того измученную слабостью. С громким стоном я упала без чувств у ног моей беспощадной врагини. Не знаю, как долго я пролежала так, но думаю, что прошло немало времени, потому что, когда сознание вернулось ко мне, настоятельница и ее сообщницы уже покинули подземелье. Очнулась я совсем одна среди

глубокой тишины и не услышала даже удаляющихся шагов моих гонительниц. Все вокруг было безмолвным и ужасным! Меня бросили на солому, тяжелая цепь, на которую я смотрела с таким страхом, теперь обвивала мое тело и приковывала к стене. Тусклые унылые лучи, отбрасываемые жалким огоньком светильника, все же позволяли разглядеть ужасы моей темницы. От остального подземелья ее отделяла низкая каменная перегородка с проломом, служившим входом, так как двери в ней не было. Перед моим соломенным ложем висело оловянное распятие, сбоку лежало рваное покрывало, а на нем четки. Возле стоял глиняный кувшинчик с водой, а также ивовая корзинка с небольшим хлебом и маслом для светильника в бутылке.

С каким унылым отчаянием озирала я этот приют страданий! При мысли, что меня обрекли провести здесь остаток моих дней, сердце мое исполнилось жгучей муки. Ведь меня учили ждать совсем иной судьбы! Было время, когда мой жребий представлялся таким светлым, таким завидным! Теперь я потеряла все! В единый миг меня лишили друзей, общества, счастья и даже самого необходимого для жизни! Мертвая для мира, для радости, я могла ожидать только горестей. Каким прекрасным мнился мне мир, из которого меня навеки изгнали! Сколько в нем было любимых мной, кого больше я не увижу! С ужасом оглядывая свою тюрьму, дрожа от ледяного сквозняка, свистевшего в моем подземном жилище, я думала, не снится ли мне все это. Такой разительной и внезапной была перемена! Племянница герцога де Медина, нареченная маркиза де лас Систернаса, выросшая в богатстве, состоящая в родстве со знатнейшими домами Испании, имеющая множество любящих друзей, – и она внезапно превратилась в узницу, мертвую для мира, обремененную цепями, вынужденную поддерживать жизнь скудными крохами? Подобная перемена казалась столь немыслимой, что я поверила на минуту, будто стала жертвой какого-то страшного видения. Но оно длилось, длилось, убеждая меня, что такова действительность, – и все же не до конца. Однако каждое утро мои надежды обманывались, и наконец я оставила всякую мысль о возможности спасения, смирилась со своим жребием и поверила, что свободу мне принесет только смерть.

Мои душевные терзания и гнусная сцена, на которой я была единственной актрисой, приблизили роды. В одиночестве и страданиях, покинутая всеми, без помощи, без утешений дружбы, в муках, зрелище которых смягчило бы самое жестокое сердце, я разрешилась от моего злосчастного бремени. Мое дитя явилось на свет живым. Но я не знала, как обращаться с ним, какими средствами не дать ему угаснуть. Я могла лишь омыwać его своими слезами, греть у себя на груди и молиться о его спасении. Но скоро я лишилась и этой печальной радости. Отсутствие надлежащего ухода, мое невежество и неумение, лютый холод темницы и вредный воздух, который он вдыхал, оборвали краткое и тягостное существование моего малыша. Он умер через несколько часов после рождения, и я наблюдала его смерть в агонии, превосходящей всякое описание.

Но горе мое было бесплодным. Моя дитя меня покинуло, и все мои вздохи не могли ни на миг вернуть биение жизни в его нежное тельце. Я оторвала полосу от моего савана и запеленала в нее мое прелестное дитя, прижала его к груди, обвила мягкую ручку вокруг моей шеи, прижалась щекой к его холодной щеке. Так расположив его мертвые члены, я осыпала его поцелуями, разговаривала с ним, плакала и стенала над ним не переставая. Раз в сутки в мою темницу входила Камилла принося мне еду. Такое зрелище не могло не тронуть даже ее кремневое сердце. Она опасалась, что столь чрезмерное горе вызовет у меня помешательство, и правда, порой на меня находило безумие. Памятуя о сострадании, она уговаривала меня отдать трупик для погребения. Но я не соглашалась. Я поклялась, пока жива, не расставаться с ним. Его присутствие было моим единственным утешением, и никакие уговоры не достигали цели. Вскоре он превратился в бесформенную массу разложения, омерзительную и гнусную для всех глаз, кроме материнских. Тщетно человеческие инстинкты требовали, чтобы я с отвращением отринула эту эмблему смертности. Я отвергла и поборола это отвращение. Я все так же прижимала мое дитя к груди, оплакивая его, любя, обожая! Час за часом проводила я на моей убогой подстилке,

созерцая то, что еще недавно было моим ребенком. Я пыталась различить его черты под стершей их маской тления. В моем заключении это печальное занятие было моей единственной радостью, и я ни за какие сокровища не отказалась бы от нее. Даже когда меня освободили из темницы, я покинула ее с моим ребенком на руках. Уговоры двух моих заботливых сиделок (тут она взяла руку маркизы, а затем Виргинии и по очереди прижала к губам) наконец убедили меня предать мое злополучное дитя земле. И все же я рассталась с ним неохотно. Однако рассудок все-таки взял верх, я отдала его, и мое дитя теперь покоится в освященной земле.

Я уже упомянула, как аккуратно раз в сутки Камилла приносила мне еду. Она не искала усугубить мою печаль упреками. Правда, она советовала мне оставить всякую надежду на свободу и земное счастье, но убеждала переносить преходящие горести с терпением и черпать утешение и поддержку в молитвах. Видимо, мое положение трогало ее сильнее, чем она решалась признаться. Но она верила, что даже малое оправдание моего греха уменьшит мое раскаяние в нем. Часто, пока ее уста живописали всю чудовищность моего отступничества, в ее глазах читалась жалость к моим страданиям. Собственно, я убеждена, что моими мучительницами (остальные три монахини иногда тоже заходили в мою темницу) руководила не столько жестокость, сколько идея, что спасти мою душу можно, только подвергая мучениям мое тело. Но даже и такое убеждение не могло бы до конца искоренить в них сострадание, и они сочли бы мою кару слишком суровой, если бы все лучшее в них не было задавлено слепой покорностью воле настоятельницы. Ее же злоба не угасала. План моего бегства открыл аббат капуцинского монастыря, и она полагала, что мой стыд принизил ее в его мнении, а потому ее ненависть не знала утоления. Она объявила монахиням, чьему надзору меня поручила, что мой грех гнуснейший, что любых страданий слишком мало для его искупления и что спасти меня от вечной гибели можно, лишь карая мой проступок со всемерной строгостью. Для слишком многих в обители слово настоятельницы было законом. Монахини верили всему, что она изрекала, и признавали верность ее доводов вопреки рассудку и состраданию. Поэтому они исполняли ее указания с величайшим тщанием в полном убеждении, что смягчить мою участь или выказать хоть малейшую жалость к моим мукам – значит прямо погубить все мои надежды на вечное спасение.

Камилла, главная моя тюремщица, получила от настоятельницы приказ обходиться со мной беспощадно. Выполняя его, она часто пыталась убедить меня, сколь справедлива моя кара и как огромно мое преступление. Она внушала мне, какой счастливицей должна я почитать себя, спасая душу через умерщвление плоти, и даже порой грозила мне вечной гибелью. Однако, как я уже упоминала, она всегда завершала свою речь словами утешения и ободрения, а в остальном я легко узнавала выражения настоятельницы, хотя исходили они из уст Камиллы. Один раз – и только один! – настоятельница навестила меня в темнице. Она обошлась со мной со всей свирепостью, осыпала поношениями, упреками в греховности, а когда я воззвала к ней о милосердии, велела мне просить о нем Небеса, ибо на земле я его не заслуживаю. Она даже на мое мертвое дитя смотрела без всякого чувства, а когда уходила, я слышала, как она приказала Камилле усугубить тяготы моего заключения. Бессердечная женщина! Но я поборю свое негодование. Она искупила свои грехи страшной и неожиданной смертью. Да покоится она с миром, и пусть ее преступления будут прощены на Небесах, как я прощаю ей свои страдания на земле!

Так влачила я свое страшное существование. И не только не свыкалась с темницей, но взирала на нее со все большим ужасом. Холод словно становился более пронизывающим, воздух – более душным и смрадным. Мое ослабевшее тело снедала лихорадка. Я исхудала, и у меня уже более не хватало сил вставать и разминать затекшие члены в тех пределах, которые допускала длина моей цепи. Но как ни была я измучена, утомлена и бессильна, мне было страшно искать утешения в сне. Меня то и дело будили ползавшие по моему телу отвратительные насекомые. Порой я чувствовала, как по моей груди движется раздувшаяся жаба, безобразная и разжиревшая на ядовитых миазмах темницы. Иногда меня пробуждала быстрая холодная ящерица, оставив слизистый след поперек моего лица и запутавшись в

нечесанных прядях моих всклокоченных волос. Часто, проснувшись, я замечала, что вокруг моих пальцев обвилились длинные черви, размножавшиеся в разложившейся плоти моего младенца. Я кричала от ужаса и омерзения и содрогалась от женской слабости, стряхивая с себя этих тварей.

Таково было мое положение, когда Камилла внезапно заболела. Опасная горячка, которую считали заразной, приковала ее к постели. Никто, кроме белицы, назначенной за ней ухаживать, не подходил к ней из страха слечь с той же болезнью. Она была в бреду и, разумеется, не могла навещать меня. Настоятельница и остальные три монахини, посвященные в тайну, последнее время предоставили меня всецело надзору Камиллы и, занятые приготовлениями к празднику, вероятнее всего, просто про меня забыли. О причине, почему Камилла перестала меня навещать, я узнала только после моего освобождения от матери Святой Урсулы. А тогда я ни о чем не подозревала. Напротив, я ожидала появления моей тюремщицы сначала с нетерпением, а потом в отчаянии. Прошел день, миновал второй, наступил третий, а Камиллы все не было! И не было пищи! Время я узнавала по выгоранию масла в моем светильнике – к счастью, Камилла в последний раз оставила запас его на неделю. Я полагала, что монахини либо забыли обо мне, либо настоятельница приказала им оставить меня умирать голодной смертью. Второе казалось мне более вероятным. Однако любовь к жизни настолько присуща человеческой природе, что я боялась поверить такой мысли. Как ни ужасно было мое состояние, жизнь все еще была дорога мне и я страшилась ее потерять. Каждая проходящая минута доказывала мне, что я должна оставить всякую надежду на спасение. Я превратилась в скелет. Мои глаза уже слепли, члены начинали костенеть. Страдания эти и муки голода, грызшего мои внутренности, я могла смягчать лишь частыми стонами, которые тоскливым эхом отдавались от сводов темницы. Я смирилась со своей участью и с минуты на минуту ожидала смерти, когда мой ангел-хранитель, мой любимый брат явился, чтобы спасти меня в самый последний миг. Мои совсем ослепшие глаза вначале его не узнали, когда же я разглядела знакомые черты, прилив восторга был столь велик, что я его не перенесла. Радость, нахлынувшая на меня, когда я вновь увидела дружеское лицо – и лицо столь мне дорогое, – оказалась слишком велика: природа не могла вынести такой бури чувств и обрела убежище в бесчувствии.

Вы уже знаете, скольким я обязана семейству Вилья-Франка. Но вы не можете знать глубину моей признательности, столь же безграничной, как благородство моих благодетелей. Лоренцо! Раймонд! Имена столь мне дорогие! Научите меня со стойкостью перенести этот внезапный переход от горести к блаженству! Совсем недавно – узница, обремененная цепями, погибающая от голода, измученная холодом, скрытая от солнечного света, изгнанная из общества себе подобных, лишенная надежды, заброшенная и, как я опасалась, забытая! А теперь! Возвращенная к жизни и свободе, восстанавливающая силы среди удобств, даруемых богатством, окруженная всеми, кто мною особенно любим, готовясь вскоре стать женой того, кто уже давно обвенчан с моим сердцем, я полна такого чудного, такого совершенного счастья, что мой бедный ум лишь с трудом выдерживает его сладостное бремя. Только одно мое желание остается неисполненным: увидеть, как к моему брату вернулось все его здоровье, а память об Антонии упокоилась в ее могиле. Если это свершится, мне нечего будет больше желать. Уповаю, что мои прошлые страдания искупили перед Небесами мою мгновенную слабость. Что я согрешила, согрешила тяжело и страшно, мне ведомо. И пусть мой супруг, из-за того, что однажды взял верх над моей добродетелью, не усомнится в строгости моей будущей жизни. Я показала себя нестойкой и полной заблуждений, но уступила не жару плоти! Раймонд, предала меня любовь к тебе! И чрезмерная уверенность в своей силе. Но ведь я полагалась на твою честь не меньше, чем на свою. Я дала клятву не видеться с тобой больше. И если бы не последствия этой неосторожной минуты, мое решение осталось бы неизменным. Судьба судила иначе, и я не могу не радоваться ее приговору. Все же мой проступок был непростительным, и, пытаясь найти себе оправдание, я краснею, вспоминая свое легкомыслие. Но позвольте мне оставить эту тягостную тему, однако сперва заверив тебя, Раймонд, что тебе не придется раскаяться в

нашем браке и что, чем более тяжкими были ошибки твоей любовницы, тем более безупречным будет поведение твоей супруги.

Агнеса умолкла, и маркиз ответил на ее последние слова с такой же искренностью и любовью. Лоренцо выразил полное удовольствие, что вскоре станет братом того, к кому всегда питал величайшее уважение. Папская булла полностью освободила Агнесу от монашеского обета, и свадьбу отпраздновали, едва завершились многочисленные приготовления – ибо маркиз пожелал, чтобы венчание происходило со всей пышностью. Затем, приняв поздравления всего Мадрида, новобрачная уехала с доном Раймондом в его андалузский замок. Их сопровождали Лоренцо, а также маркиза де Вилья-Франка со своей прелестной дочерью. Незачем говорить, что с ними ехал и Теодор, чье ликование, когда его господин вступил в брак, просто нельзя описать. До отъезда маркиз, чтобы хоть как-то искупить свое небрежение, навел справки об Эльвире. Узнав, что и ей, и ее дочери немало добрых услуг оказали Леонелла и Хасинта, он ради уважения к памяти невестки сделал им великолепные подарки. Лоренцо последовал его примеру, и Леонелла была весьма польщена вниманием столь знатных вельмож, а Хасинта благословила час, когда ее дом был заколдован.

Агнеса тоже не преминула вознаградить своих монастырских друзей. Достойная мать Святая Урсула, которой она была обязана своим освобождением, была по ее просьбе назначена главой «Сестер милосердия», одной из самых уважаемых и богатых религиозных общин Испании. Берта и Корнелия, не пожелавшие расстаться с ней, получили важные должности в той же общине. Что до монахинь, которые были пособницами настоятельницы, то Камилла, прикованная к одру болезни, погибла в пламени, пожравшем обитель святой Клары. Марианна, Аликс, Виоланта и еще две стали жертвами народного возмущения. Последние три из поддержавших приговор настоятельницы подверглись строгому осуждению и были сосланы в бедные обители в глухой провинции. Там все с отвращением и презрением чурались их, и, мучимые стыдом за свою былую черствость, они не прожили и нескольких лет.

Преданность Флоры не осталась не вознагражденной. У нее спросили, чего бы ей хотелось, и она изъявила горячее желание вернуться на родину. Нашли корабль, идущий на Кубу, оплатили ее проезд, и она благополучно прибыла туда, нагруженная подарками Раймонда и Лоренцо.

Заплатив долги благодарности, Агнеса занялась осуществлением своего заветного плана. Живя под одной кровлей, Лоренцо и Виргиния проводили вместе много времени. И он все больше убеждался в ее совершенствах. Она же так старалась нравиться ему, что не могла не преуспеть. Лоренцо восхищали ее красота, изящные манеры, бесчисленные таланты и кротость. Лыстила ему и ее благосклонность, скрыть которую ей не хватало опытности. Но чувство его не было пылким, как любовь к Антонии. Образ прелестной и злополучной девушки все еще жил в его сердце и не поддавался никаким усилиям Виргинии изгнать его оттуда. Однако, когда герцог заговорил с ним о браке, которого так желал, он не стал возражать. Горячие уговоры друзей и достоинства Виргинии взяли верх над нежеланием связать себя брачными узами. Он просил у маркиза де Вилья-Франка руки его дочери, и предложение его было принято с радостью. Виргиния стала его женой и ни разу не дала ему повода пожалеть об этом. Его уважение к ней возрастало с каждым днем, а ее неустанные старания угождать ему не могли не возыметь желанного действия. Его привязанность перешла в более горячее и сильное чувство. Образ Антонии в его памяти постепенно поблек, и Виргиния стала единственной госпожой сердца, которым заслужила владеть единолично.

Оставшуюся жизнь Раймонд и Агнеса, Лоренцо и Виргиния провели настолько счастливо, насколько это дано смертным, рождаемым в жертву горестям и на потеху разочарованиям. Великие страдания, которые они претерпели, позволяли им легче переносить любое новое горе. Они уже испытали язвущую силу самых острых стрел в колчане несчастий, и оставшиеся казались в сравнении тупыми. Выдержав злейшие ураганы судьбы, они спокойно взирали на ее угрозы, а если их и задевали случайные бури невзгод, им

бури эти мнились зефирами, веющими над летними морями.

ГЛАВА V

*...Был мерзким адским бесом он
И злейшим самым между самых злых.
Гордыней и коварством отличен,
Враг всех людей, хороших и дурных.*
ТОМСОН

На другой день после смерти Антонио весь Мадрид был повергнут в изумление и тревогу. Один из стражников, обыскивавших подземелье, опрометчиво рассказал про убийство, а также назвал убийцу. Известие это повергло усердных богомольцев в беспримерное смятение. Многие отказывались верить и сами отправились в монастырь узнать правду. Монахи, стремясь избежать позора, который навлекало на весь орден злодейство их настоятеля, заверяли пришедших, что Амбросио не может принять их как обычно только по причине болезни. Но уловка эта им не помогла. Каждый день они вынуждены были повторять одно и то же, и постепенно таких, кто сомневался в словах стражника, почти не осталось. Былые сторонники отрекались от Амбросио, вина его выглядела доказанной, и те, кто прежде особенно горячо восхваляли аббата, теперь осуждали его еще более громогласно.

Пока в Мадриде шли жестокие споры, виновен он или нет, Амбросио терзали сознание своей преступности и ужас перед грозившей ему карой. При мысли о высоте, на которой он стоял столь недавно, окруженный всеобщим почтением и преклонением, в мире со всем светом и с самим собой, ему не верилось, что он и правда тот злодей, о чьих деяниях и грядущей судьбе он думал с дрожью. И ведь лишь несколько недель миновало с тех пор, когда он был чист и добродетелен, когда самые мудрые и самые знатные жители Мадрида искали чести побеседовать с ним, а простой народ взирал на него с благоговением, близким к идолопоклонству. Теперь же он запятнан самыми гнусными и чудовищными грехами, предмет всеобщего омерзения, узник святой инквизиции, возможно, обреченный погибнуть под самыми жестокими пытками. Обмануть своих судей он не надеялся, слишком очевидными были доказательства его виновности. То, что он был в подземелье в столь поздний час, его смятение и попытка скрыться, кинжал, который в растерянности первых минут он признал как спрятанный им, и кровь, брызнувшая из ран Антонио на его одежду, – все указывало, что убийца он. В мучительной агонии ждал он дня допроса и ни в чем не обретал утешения. Религия не могла послужить ему опорой. Если он пробовал читать нравоучительные книги, которые ему давали, то находил в них лишь подтверждение чудовищности совершенного им. Если он пытался молиться, то немедля вспоминал, что не заслуживает небесной защиты, что к черноте его грехов не снизойдет даже безграничная доброта Всевышнего. Для любого иного грешника, думал он, есть надежда, но не для него. Содрогаюсь от мыслей о прошлом, не находя ничего кроме мук в настоящем, страшась будущего – так провел он немногие дни, остававшиеся до того, когда ему предстояло явиться перед судом.

И этот день настал. Дверь темницы была отперта, вошел тюремщик и приказал монаху следовать за собой. Он, трепеща, повиновался. Его привели в обширную залу, где стены были завешены черным сукном. За столом сидели трое мужчин, суровых и мрачных, также одетые в черное. Одним был великий инквизитор, ввиду важности дела взявшийся расследовать его сам. Немного поодаль за небольшим столом сидел секретарь, перед которым лежали все необходимые письменные принадлежности. Амбросио сделали знак приблизиться и встать у нижнего конца большого стола. Опустив глаза, он увидел разложенные на полу всевозможные железные инструменты. Вид их был ему незнаком, но страх тотчас распознал в них орудия пытки. Он побледнел и с трудом удержался на ногах.

В зале царила глубокая тишина, и лишь инквизиторы порой обменивались вполголоса двумя-тремя таинственными словами. Так прошел почти час, и с каждой его секундой страх Амбросио возрастал. Наконец громко закрипела небольшая дверь напротив той, через которую вошел он. Офицер ввел в залу прекрасную Матильду. Ее волосы были спутаны, щеки бледны, глаза провалились и потускнели. Она посмотрела на Амбросио с печалью, он ответил ей взглядом, полным отвращения и упрека. Ее поставили напротив него. Трижды ударил колокол. Это был сигнал начала разбирательства, и инквизиторы приступили к допросу.

На подобных процессах не упоминается ни обвинение, ни имя обвинителя. Арестованных спрашивают только, готовы ли они сознаться. Если они отвечают, что не совершили никакого преступления и потому признаваться им не в чем, их без промедления подвергают пыткам. Через какое-то время им снова задают тот же вопрос, и так продолжается, пока либо подозреваемые не признают себя виновными, либо допрашивающие не утомятся. Однако без прямого признания инквизиция никогда не выносит окончательного приговора своим узникам. Обычно до первого допроса дают пройти не одному месяцу, но с судом над Амбросио поторопились, так как вскоре должно было состояться торжественное аутодафе и инквизиторы предназначали в нем видную роль столь редкому преступнику, дабы наглядно доказать свою бдительность.

Аббат обвинялся не просто в насилии и убийстве. Колдовство – вот было страшное преступление, вменявшееся ему, как и Матильде. Арестовали ее за содействие убийству Антонии. Однако при обыске ее кельи были найдены подозрительные книги и предметы, давшие основание для такого обвинения. О соучастии аббата свидетельствовало магическое зеркало, которое Матильда ненароком забыла у него в келье. Выгравированные на нем странные знаки привлекли внимание дон Рамиреса, когда он обыскивал келью монаха, и он унес зеркало с собой и представил его великому инквизитору. Тот некоторое время разглядывал зеркало, а затем отцепил от пояса маленький золотой крест и положил его на сталь. Тут же раздался грохот, напоминавший удар грома, и зеркало раздробилось на тысячу кусков. Это подтвердило подозрение, что аббат занимался чернокнижием. Предположили даже, что недавняя его власть над людскими умами достигалась при помощи колдовства.

Инквизиторы приступили к допросу, полные решимости вырвать у него признание не только в преступлениях, которые он совершил, но и в тех, в которых был неповинен. Как ни страшился аббат пыток, смерти, обрекавшей его на вечные муки, он страшился еще больше, а потому объявил о своей невинности твердым и смелым голосом. Матильда последовала его примеру, но со страхом, вся дрожа. Несколько раз потребовав, чтобы он сознался, инквизиторы приказали подвергнуть монаха допросу с пристрастием. Приказ был выполнен незамедлительно, и Амбросио испытал изощреннейшие муки, какие только изобрела человеческая жестокость. Но смерть, сопровождаемая виной, настолько ужасна, что у Амбросио достало мужества отрицать и дальше. Поэтому его муки были удвоены, и только обморок, вызванный невыносимой болью, на время избавил его от рук палача.

Затем было приказано пытать Матильду. Но при виде страданий монаха мужество ее покинуло, и теперь, упав на колени, она призналась в общении с адскими духами и в том, что видела, как монах убивал Антонию. Однако она утверждала, что в колдовстве повинна она одна, Амбросио же им никогда не занимался. Но в этом ей не поверили. Аббат очнулся как раз вовремя, чтобы услышать признание своей сообщницы. Однако его так ослабили перенесенные пытки, что новых он несомненно не выдержал бы. И его отослали назад в темницу, предупредив, что он будет подвергнут новому допросу, как только немного окрепнет. Инквизиторы выразили надежду, что тогда он уже не будет таким закоснелым и упрямым. Матильде объявили, что она искупит свое преступление на костре приближающегося аутодафе. Ее испуганные вопли и мольбы остались втуне, и тюремщики насильно вытащили ее из залы.

Возвращенный в темницу Амбросио испытывал душевные муки, остротой далеко превосходившие физические. Вывихнутые суставы, пальцы с вырванными ногтями,

раздавленные поворотом винта, болели нестерпимо, и все же душевные страдания и тяжкий ужас терзали его гораздо больше. Он видел, что судьи намерены вынести ему смертный приговор, виновен он или нет. Воспоминания о том, во что ему уже обошлось отрицание своей вины, одевали мысль о том, что он снова подвергнется допросу, зловещим страхом, и он уже почти был готов сознаться во всем, чего от него требовали. Но тут же перед его умственным взором представляли последствия такого признания, и он вновь колебался. Смерть его будет неизбежной, и какая жуткая смерть! Он слышал приговор, вынесенный Матильде, и не сомневался, что его приговор будет таким же. Он содрогался, думая о скором аутодафе, о гибели в огне – для того лишь, чтобы эти невыносимые мучения сменились более утонченными и вечными! С трепетом думал он о загробном мире понимая, с какой неизбежностью настигнет его отмщение Небес. В этом лабиринте ужасов он с радостью укрылся бы в сумраке атеизма, с радостью отрицал бы бессмертие души и убедил бы себя, что, раз сомкнувшись, его глаза уже не откроются и единый миг уничтожит и тело его, и душу. Но даже в этом уповании ему было отказано. Обширность познаний, твердость и оправданность его веры не позволяли ему остаться слепым к ошибочности такого убеждения. Он ощущал бытие Бога. Истины, прежде служившие ему утешением, теперь явились ему в более ясном свете, но лишь для того, чтобы ввергнуть его в отчаяние. Они сметали его робкие надежды избежать кары, и обманчивые туманы философии таяли перед необоримым блеском истины, точно сновидения.

В муках, почти непосильных для смертной плоти, он ждал часа, когда его снова поведут на допрос. Он занимался придумыванием неосуществимых планов, как избежать и этой и грядущей кары. Первое было невозможным, что до второго, отчаяние заставляло его пренебрегать единственным средством. Разум вынуждал его признать бытие Бога, но совесть внушала сомнения в безграничности Его милосердия. Он не верил, что грешник, подобный ему, может обрести прощение. Он впал в грех не по неведению, неразумие не могло послужить ему оправданием. Он видел порок в истинном его свете. До того как совершить свои преступления, он взвесил их до последней скрупулы. И все-таки совершил их.

– Прощение? – восклицал он, впадая в иступление. – Для меня его не может быть!

Убежденный в этом, он, вместо того чтобы смиренно каяться, оплакивать свою вину и посвятить немногие оставшиеся ему часы на смягчение гнева Небес, предавался бессильной ярости, печаловался из-за кары, а не из-за совершения грехов и давал выход своей агонии в бесплодных воздыханиях, в тщетных сетованиях, в богохульстве и отчаянии. Когда слабые лучи дня, проникавшие за решетку тюремного окна, понемногу угасли и сменились тусклым сиянием светильника, ужас его удвоился, мысли стали более мрачными, угрюмыми и унылыми. Он боялся приближения сна. Едва его глаза, истомленные слезами и бдением, смежились, как преследовавшие его до этой минуты жуткие видения словно стали явью. Он оказался в серном смраде геенны огненной, его окружали дьяволы, назначенные его мучителями, и они подвергли его разнообразным пыткам, одна страшнее другой. Там бродили призраки Эльвиры и ее дочери. Они упрекали его в своей смерти, рассказывали демонам о его преступлениях и подстрекали их прибегнуть к еще более изощренным мучительствам. Вот какие образы являлись ему во сне и исчезли только, когда он пробудился от невыносимой боли. Он поднялся с пола, на котором лежал, лоб ему омывал холодный пот, глаза горели безумием. И он всего лишь обменял ужасную уверенность на догадки, столь же ужасные. Он принялся расхаживать по темнице неверными шагами, со страхом вглядываясь в окружающую тьму и восклицая:

– О! Страшная ночь для виновных!

День второго допроса был близок. Его принуждали пить целебные настойки, которые должны были вернуть ему телесную крепость, чтобы он не потерял сознания под пытками слишком рано. Ночью в канун рокового дня страх перед предстоящим не позволил ему уснуть. Ужас его был столь силен, что чуть было не лишил его рассудка. Он сидел в оцепенении у стола, на котором тускло горел светильник. Отчаяние ввергло его в подобие идиотизма, и он сидел так час за часом, не в силах ни говорить, ни двигаться, ни даже

думать.

– Подними глаза, Амбросио! – раздался хорошо знакомый ему голос.

Монах вздрогнул и поднял смутный взор. Перед ним стояла Матильда. Она сбросила одежду послушника и облеклась в женское платье, одновременно элегантное и пышное. Оно блистало множеством брильянтов, на ее волосах покоился венок из роз. В правой руке она держала небольшую книгу. Лицо ее выражало живую радость, и все же на нем лежала печать такого дикого надменного величия, что монах почувствовал благоговейный ужас, несколько охладивший восторг, который он испытал при виде ее.

– Ты здесь, Матильда! – наконец воскликнул он. – Как ты вошла сюда? Где твои цепи? Что означают это великолепие и радость, сверкающая в твоих глазах? Твои судьи смягчились? Есть ли возможность избавления и для меня? Ответ сострадания ради! Скажи, на что могу я надеяться, чего должен страшиться?

– Амбросио! – ответила она с видом властного достоинства. – Свирепость инквизиции мне боле не страшна. Я свободна. Несколько мгновений, и царства пролягут между мной и этими темницами. Но свою свободу я купила дорогой, страшной ценой! Посмеешь, Амбросио, сделать то же? Посмеешь без боязни преодолеть пределы, отделяющие смертных от ангелов? Ты молчишь. Ты смотришь на меня с подозрением и тревогой. Я читаю твои мысли и признаю их справедливость. Да, Амбросио, я принесла в жертву все ради жизни и свободы. Более у меня нет пути на Небеса! Я отреклась от служения Богу и поступила под знамена Его врагов. И возврата нет. Но будь в моей власти все-таки вернуться, я бы этого не сделала! Ах, друг мой! Скончаться в таких мучениях! Умереть среди поношений и проклятий! Терпеть оскорбления распаленной черни! Испытать всю полноту позора и унижений! Кто мог бы без ужаса подумать о такой судьбе? Так дай же мне ликовать! Я продала отдаленное и предположительное счастье за верное и в настоящем, я сохранила жизнь, которой иначе лишилась бы в муках, и я обрела власть испытать все наслаждения, какие только могут превратить жизнь в блаженство! Адские духи служат мне как своей повелительнице. С их помощью каждый мой день будет проходить среди все новых даров роскоши и сладострастья. Я без удержу предамся удовлетворению всех моих желаний. Дам волю каждой страсти до пресыщения. А тогда прикажу моим служителям придумать новые восторги, чтобы вновь пробудить задремавшие желания! Мне не терпится испытать мою новую власть. Я жажду очутиться на свободе. Я ни мгновения лишнего не задержалась бы в этом ненавистном месте, если бы не надежда убедить тебя решиться на то же. Амбросио, я все еще люблю тебя. Наша обоюдная вина и опасность сделали тебя еще дороже мне, и я больше всего хочу спасти тебя от скорой казни. Так призови же на помощь всю свою решимость и отрекись ради верных незамедлительных благ от надежд на будущее спасение, которое обрести трудно, если вообще это не обман. Стряхни предрассудки жалких невежд, оставь Бога, который оставил тебя, и сравняйся с высшими существами!

Она умолкла, ожидая ответа монаха.

– Матильда! – после долгого молчания, весь дрожа, произнес он тихим прерывающимся голосом. – Чем ты заплатила за свободу?

Она ответила гордо и бесстрашно:

– Моей душой, Амбросио!

– Злополучная женщина, что ты наделала? Пройдут недолгие года, и какими жуткими будут твои мучения!

– Слабый человек! Пройдет лишь эта ночь, и какими будут твои собственные? Ты помнишь, что уже претерпел? А завтра тебе предстоят пытки вдвое изощреннее. Помнишь ужасы огненной кары? Через два дня тебя возведут на костер! И что тогда будет с тобой? Смеешь ли ты надеяться на прощение? Ты по-прежнему тешишь себя мечтой о спасении? Подумай о своих грехах! Подумай о своем блуде, своем клятвопреступлении, бесчеловечности и лицемерии! Подумай о невинной крови, которая вопиет к Престолу Божьему об отмщении, а потом лелей надежду на милосердие! Мечтай о Небесах, вздыхай о сферах света и царствах мира и радости! Вздор! Открой глаза, Амбросио, и будь

благоразумен. Твой удел – Ад. Ты обречен на вечную погибель. И за могилой тебя ждет лишь печь огненная. И ты сам поспешишь в этот Ад? Ринешься навстречу гибели, пока еще можно подождать? Погрузишься в это пламя, пока у тебя еще есть средство избежать его? Поступок безумца! Нет, нет, Амбросио, избежим на время Божественного отмщения. Послушай моего совета: купи за краткий миг мужества долгие годы блаженства. Наслаждайся настоящим и забудь, что за ним тянется будущее.

– Матильда, твои советы опасны. Я не смею, я не буду им следовать. Я не должен лишать себя возможности спасения. Преступления мои чудовищны, но Господь милосерд, и я не отчаиваюсь получить прощение.

– Таково твое решение? Мне больше нечего сказать. Я уношусь к радости и свободе, а тебя оставляю смерти и вечным мучениям.

– погоди еще минуту, Матильда! Ты повелеваешь адскими демонами. Ты можешь отомкнуть дверь этой темницы. Ты можешь освободить меня от этих тяжких цепей. Заклинаю, освободи меня, унеси из этого жуткого места.

– Ты просишь единственного, что я не властна даровать. Мне запрещено помогать священнику и поклоннику Бога. Откажись от права называться так и распоряжайся мной.

– Я не продам душу на вечную погибель.

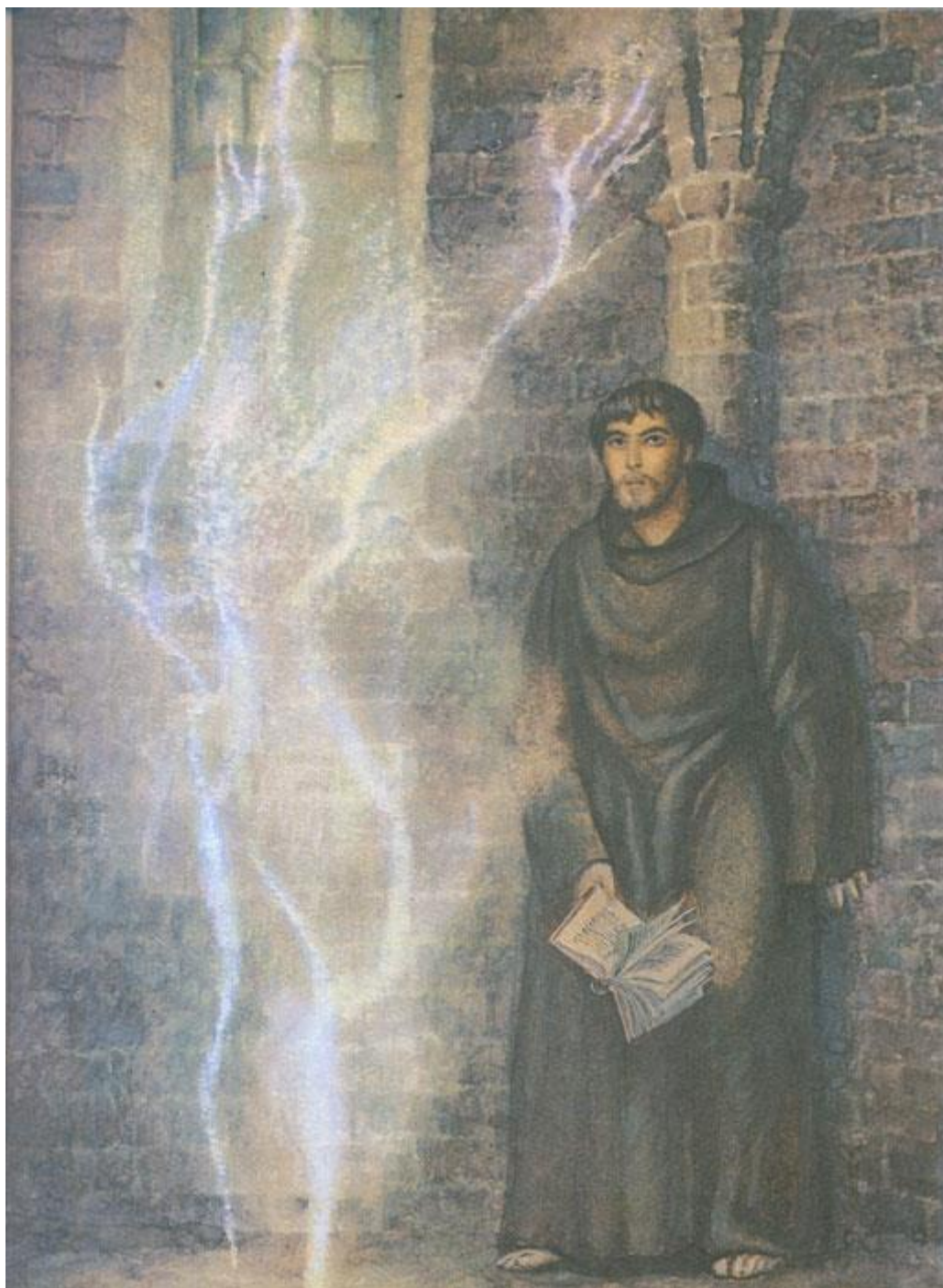
– Упрямься и дальше, пока не окажешься на костре. Тогда ты пожалеешь о своей ошибке и захочешь бежать, но будет уже поздно. Я покидаю тебя, но на случай, если до смертного часа ты образумишься, оставляю тебе эту книгу. Прочти первые четыре строки на седьмой странице справа налево, и перед тобой тотчас явится дух, которого ты однажды видел. Если будешь мудр, мы еще свидимся, если же нет – прощай навеки!

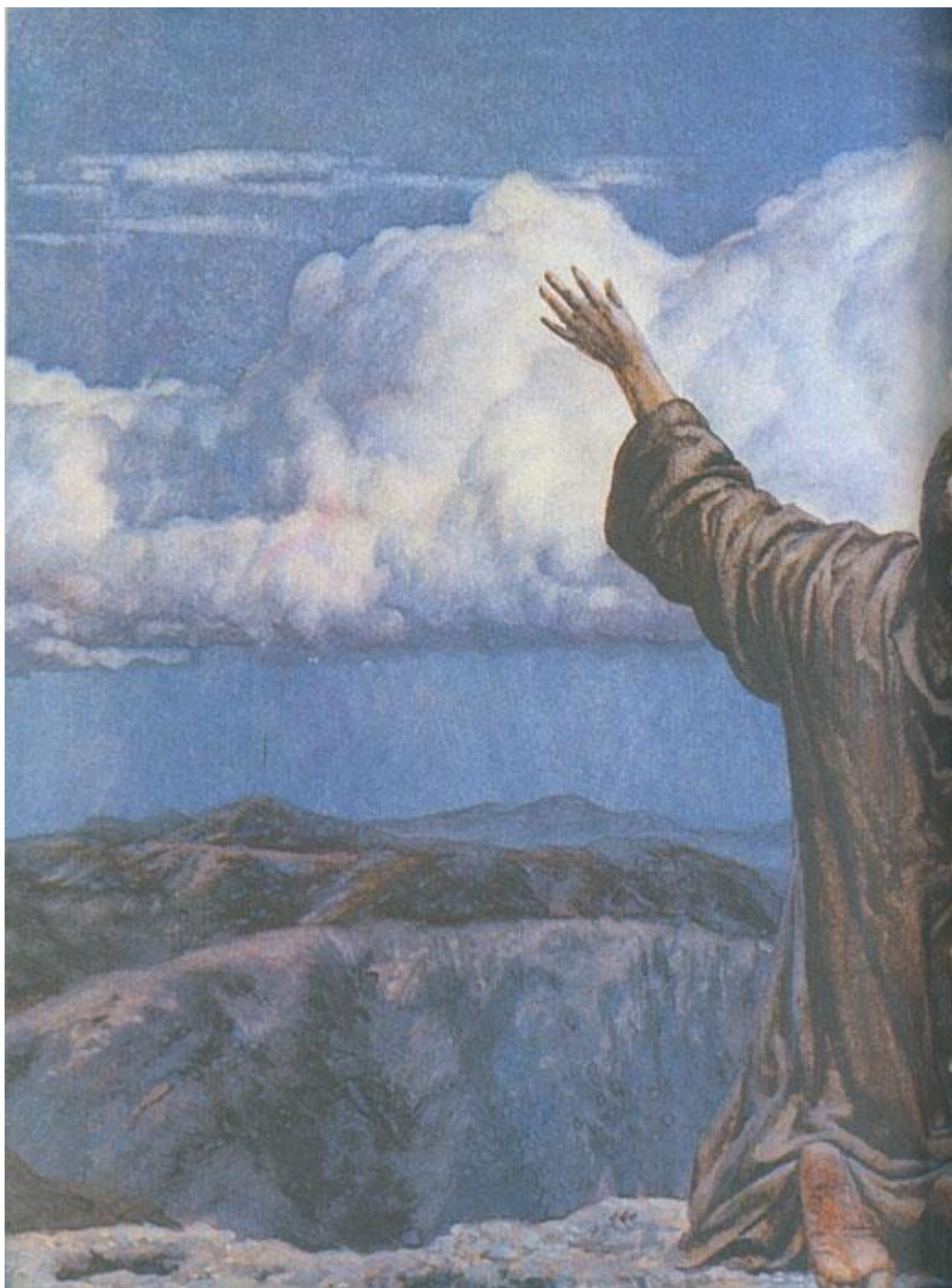
Она уронила книгу на пол. Облако синеватого пламени окутало ее и, помахав Амбросио, она исчезла. После краткой вспышки, озарившей темницу, обычный ее сумрак словно стал гуще. В тусклом сиянии светильника монах лишь с трудом нашел стул. Он опустился на сиденье, сложил руки и, склонив голову на стол, предавался размышлениям, тягостным и бессвязным.

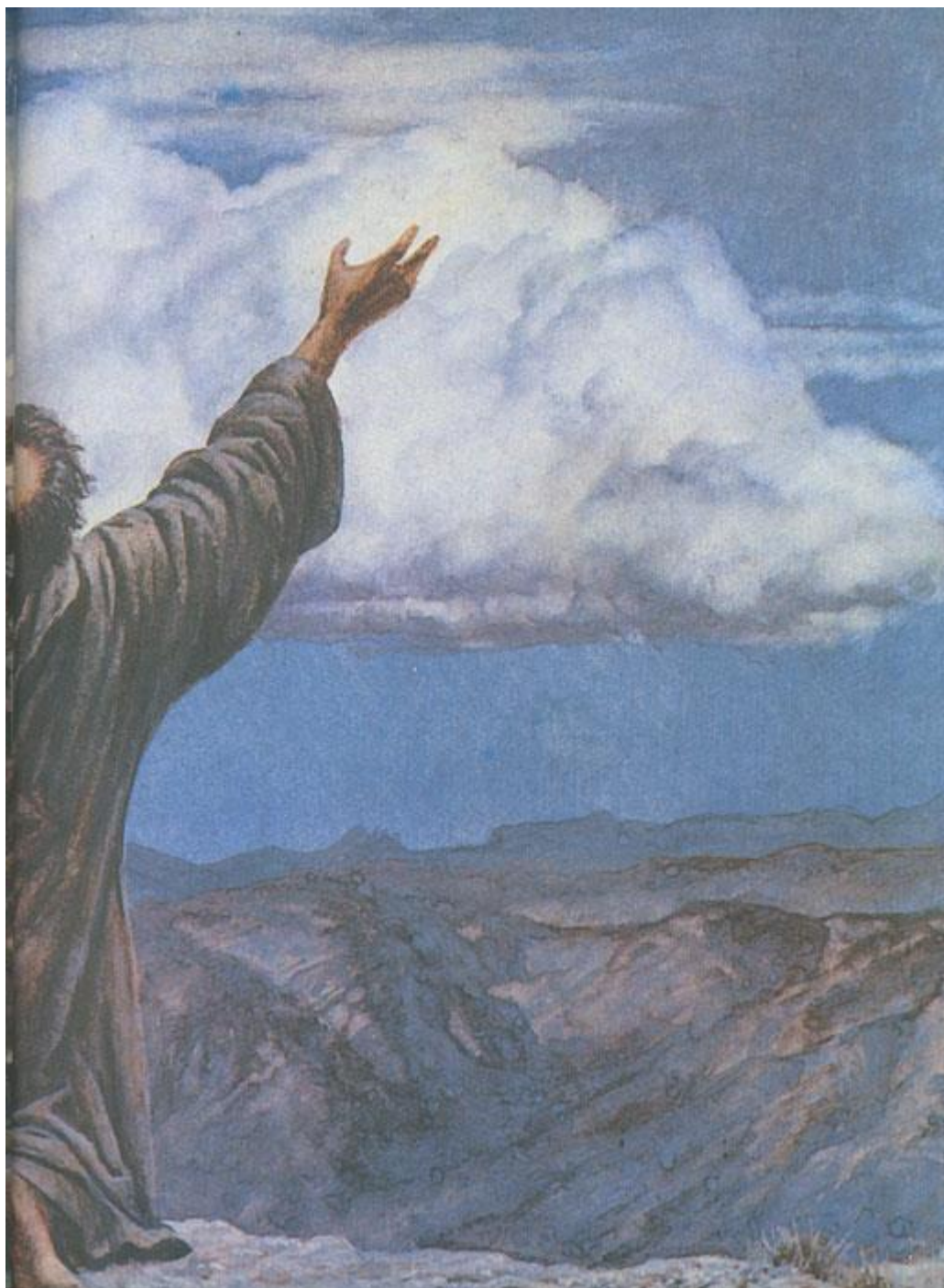
Он сидел так, пока дверь темницы не открылась и это не вывело его из оцепенения. Ему было приказано явиться перед великим инквизитором. Он поднялся и неверным шагом последовал за тюремщиком. Его отвели в ту же залу, поставили перед теми же судьями и вновь спросили, не готов ли он признаться. Он вновь ответил, что, не зная за собой преступлений, ни в чем признаться не может. Но когда палачи приготовились начать пытки, когда он увидел страшные их орудия и вспомнил, какую боль уже испытал, то решимость его оставила. Забыв о последствиях, думая только о том, как избежать ужасов этой минуты, он полностью во всем признался. Он открыл все обстоятельства своих преступлений, и не только тех, в которых его обвиняли, но и тех, в которых его даже не подозревали. Когда его спросили о бегстве Матильды, вызвавшем большое смятение, он признался, что она продалась Сатане и бежала с помощью колдовства. Но он по-прежнему заверял судей, что сам ни в какие сношения с адскими духами не входил. Ему пригрозили пытками, и тогда он объявил себя чернокнижником, еретиком и подтвердил все, что инквизиторы сочли нужным ему вменить. После такого признания ему немедленно вынесли приговор и приказали приготовиться к аутодафе, назначенному на двенадцать часов этой ночи. Такое время избрали для того, чтобы полуночный мрак усугублял бы ужас, вызываемый пламенем, и зрелище произвело бы большее впечатление на умы зрителей.

Амбросио остался один в своей темнице ни жив ни мертв. Миг объявления приговора едва не стал мигом его смерти. Он с ужасом думал о том, что его ожидает, и отчаяние его росло по мере приближения полуночи. То он погружался в угрюмое безмолвие, то кричал в бешенстве, ломал руки и проклинал час, когда появился на свет. В такую-то минуту его взгляд упал на таинственный прощальный дар Матильды. Исступленная ярость вдруг улеглась, и он устался на книгу. Потом поднял ее, но тут же с ужасом отшвырнул и принялся быстрым шагом мерить темницу. Затем остановился и снова устремил взор на место, куда упала книга. Он подумал, что перед ним средство избежать страшнейшего

судьбы. Он нагнулся и во второй раз взял книгу в руки. Несколько минут он простоял в нерешительности. Ему хотелось испробовать заклинание, но он боялся того, что должно было произойти. Наконец мысль о предстоящей казни придала ему смелости. Он открыл книгу, однако смятение его было столь велико, что ему никак не удавалось найти страницу, названную Матильдой. Устыдившись, он призвал на помощь всю свою твердость, открыл седьмую страницу и начал читать вслух. Но его глаза то и дело отрывались от строк, и он тревожно посматривал, не явился ли уже дух, увидеть которого он и хотел и страшился. Тем не менее своего намерения он не оставил и трепетным голосом, часто запинаясь, прочел все четыре строки.









Написаны они были на языке ему неведомом, но, едва прозвучало последнее слово, заклинание подействовало. Раздался оглушительный удар грома, тюрьма содрогнулась до самого основания, в темнице блеснула молния, и в следующий миг, несомый серным вихрем, перед монахом второй раз предстал Люцифер. Но явился он не таким, как на зов Матильды, когда принял облик серафима, чтобы обмануть Амбросию. Теперь он явился во всем безобразии, заклеившем его после падения с Небес. Обожженные дочерна члены все еще несли следы громов Всемогущего, и с головы до ног его гигантская фигура была чернее сажи. Пальцы на руках и ногах завершались длинными когтями. Глаза его горели свирепостью, которая сокрушила бы страхом и самое доблестное сердце. За плечами у него колыхались два черных крыла, а вместо волос на голове извивались живые змеи и отвратительно шипели. В одной руке он держал пергаментный свиток, в другой – железное перо. Вокруг него все еще блистали молнии, а непрерывные удары грома словно возвещали гибель Природы.

Окаменев от ужаса, ибо он ожидал увидеть совсем иной облик, Амбросио молча смотрел на беса. Гром смолк, в темнице воцарилась вселенская тишина.

– Для чего призван я сюда? – спросил демон голосом, который «стал хриплым среди туманов серных».

При этом звуке Природа словно содрогнулась. Пол темницы закачался под новый раскат грома, более громкий и жуткий, чем первый.

Амбросио долго не мог ответить на вопрос демона.

– Я приговорен к смерти, – произнес он наконец слабым голосом. От вида его грозного собеседника кровь стыла у него в жилах. – Спаси меня. Унеси отсюда!

– Будет ли мне уплачено за мою услугу? Посмеешь ли ты перейти на мою сторону? Стать моим телом и душой? Готов ли ты отречься от своего Создателя и от того, кто умер за тебя? Ответь лишь «да» – и Люцифер твой раб.

– Но нет ли цены поменьше? И ничто не удовлетворит тебя, кроме моей вечной гибели? Дух, ты просишь слишком многого. Но унеси меня из этого узилища, будь единый час моим слугой, и я буду твоим тысячу лет. Неужели этого мало?

– Да! Я должен получить твою душу. И получить ее навеки.

– Ненасытный демон, я не обреку себя на нескончаемые мучения. Я не оставлю надежды когда-нибудь заслужить прощение.

– Не оставишь? Какой химерой ты оправдываешь такую надежду? Близорукий смертный! Жалкая тварь! Или ты не виновен? Или ты не отвратителен в глазах людей и ангелов? Могут ли такие черные грехи быть прощены? Ты надеешься избежать моей власти? Твоя судьба предрешена. Предвечный отринул тебя. Моим помечен ты в Книге Судеб, моим ты должен быть и будешь!

– Бес, это ложь! Милосердие Всемогущего безгранично, и кающийся обретет прощение. Грехи мои чудовищны, но я не отчаюсь удостоиться Его милости. Ведь, претерпев назначенную кару...

– Назначенную кару? Или ты думаешь, что Чистилище предназначено для грехов, подобных твоим? И ты уповаешь, что их искупят молитвы впавших в слабоумие ханжей и песнопения тупых монахов? Образуясь, Амбросио! Моим ты должен стать. Ты обречен огню, но на какой-то срок можешь его избежать. Подпиши этот пергамент, и я унесу тебя отсюда, чтобы ты провел оставшиеся тебе годы на свободе и в роскоши. Насладись жизнью. Предавайся всем излишествах желаний. Но помни: едва покинув тело, твоя душа должна будет стать моей, и я не допущу, чтобы меня лишили того, что мое по праву.

Монах молчал, но его лицо показывало, что слова Искушителя не пропали втуне. Он думал о предложенных условиях с ужасом, однако верил, что обречен на вечную погибель и, отказавшись от помощи демона, лишь приблизит неизбежные муки. Бес увидел, что он колеблется, и возобновил настояния, чтобы положить конец нерешительности аббата. Он в самых жутких красках описал смертную агонию и так искусно сыграл на отчаянии Амбросио, что уговорил взять пергамент. Затем он вонзил железное перо, которое держал, в жилу на левой руке монаха. Оно глубоко вошло в руку и сразу наполнилось кровью, однако Амбросио не ощутил ни малейшей боли. Перо было вложено в его трепещущие пальцы. Несчастный положил пергамент на стол перед собой и приготовился подписать его. Но вдруг рука его замерла, он отпрянул и бросил перо на стол.

– Что я делаю? – вскричал он и с отчаянным видом обернулся к бесу. – Покинь меня! Отыди! Я не подпишу!

– Глупец! – воскликнул обманувшийся демон, бросая на монаха такие свирепые взгляды, что они исполнили его душу жутью. – Иль ты вздумал шутить со мною? Так иди же! Вопи в агонии, погибни в муках и узнай тогда пределы милосердия Предвечного! Но поберегись снова шутить со мной! И не зови меня, пока не решишь подписать. Осмелся вызвать меня напрасно второй раз, и эти когти разорвут тебя на тысячу кусков! Отвечай: ты подпишешь пергамент?

– Нет! Отыди! Оставь меня!

Тотчас последовал устрашающий раскат грома, вновь земля сотряслась, темницу огласили пронзительные вопли, и демон исчез с кощунственными проклятиями.

Первые минуты монах ликовал, что сумел противостоять хитростям Искусителя и восторжествовал над врагом рода человеческого. Однако с приближением часа казни прежние страхи завладели его сердцем. Казалось, недолгое их исчезновение придало им новую силу. Чем ближе становилось роковое мгновение, тем больше боялся он предстать перед Престолом Божиим. Он содрогался при мысли о том, как скоро будет низринут в вечность, как скоро встретит взор Творца, перед которым столь жестоко провинился. Удар колокола возвестил полночь. По этому сигналу его должны были отвести на костер. Аббат слушал, как замирают отголоски первого удара, и кровь перестала струиться в его жилах. Каждый последующий удар возвещал ему смерть и муки. Он уже видел, как в темницу к нему входят стражники, и при последнем ударе в отчаянии схватил магическую книгу. Он открыл ее, спешно перелистал до седьмой страницы и, словно опасаясь оставить себе миг на размышления, торопливо прочел роковые строки. Вновь среди молний грома и серных паров перед ним предстал Люцифер.

– Ты призвал меня снова, – сказал бес. – Такты образумился? Ты согласен принять мои условия? Они тебе известны. Отрекись от своего права на вечное спасение, отдай мне свою душу, и я тотчас унесу тебя из этой темницы. Пока еще есть время. Решайся, или будет поздно. Ты подпишешь?

– Я должен... Судьба вынуждает меня! Я принимаю твои условия!

– Так подпиши! – ответил демон торжествующим тоном.

Договор и окровавленное перо лежали на столе. Амбросио приблизился к столу, приготовился начертать свое имя, но заколебался.

– Чу! – воскликнул Искуситель. – Они идут. Торопись! Подпиши, и я унесу тебя отсюда во мгновение ока.

Действительно приближались шаги стражников, назначенных отвести Амбросио на костер. Звук этот укрепил монаха в его намерении.

– Что означает этот договор? – спросил он.

– Отдает твою душу мне навеки и безусловно.

– Что я получу взамен?

– Мое покровительство и освобождение из этой темницы. Подпиши, и я тотчас унесу тебя.

Амбросио взял перо. Он поднес его к пергаменту. И вновь мужество изменило ему. Сердце его пронзил ужас, и он опять бросил перо на стол.

– Детские страхи и слабость! – злобно вскричал бес. – Довольно глупостей! Подпиши сей же миг, или станешь жертвой моего гнева!

В эту секунду послышался скрип отодвигаемого засова внешней двери. Узник услышал лязг упавшей цепи. Загремел большой засов. Вот-вот должны были войти стражники. Доведенный до иступления неотвратимой опасностью, трепеща от близости смерти, не видя иного спасения, злополучный монах подчинился. Он поставил свою подпись на роковом договоре и поспешно отдал его злему духу, чьи глаза, когда он получил эту купчую, загорелись злорадным торжеством.

– Возьми! – сказал богоотступник. – И спаси меня. Унеси отсюда.

– погоди! Ты по доброй воле и навсегда отрекаешься от своего Создателя и Его Сына?

– Да! Да!

– Ты отдаешь мне свою душу навсегда?

– Навсегда!

– Без задних мыслей и уловок? Без будущих призывов к Божественному милосердию?

Последняя цепь упала с дверей темницы. В замке заскрипел ключ. Уже заскрежетали ржавые дверные петли.

– Я твой навсегда и непреложно! – возопил монах, обезумев от страха. – Я отказываюсь от всех надежд на вечное спасение! Я признаю только твою власть! О! Они уже здесь! Не

медли! Унеси меня.

Пока он говорил, дверь начала отворяться. Во мгновение ока демон схватил Амбросио за плечо, развернул огромные крылья и вместе с ним взмыл в воздух. Свод разошелся и снова сомкнулся, едва они вылетели из темницы.

Исчезновение узника ввергло тюремщика в полную растерянность. Хотя ни он, ни стражники не видели, как монах покинул узилище, запах серы, разлившийся вокруг, объяснил им, кем он был освобожден. Они поспешили доложить об этом великому инквизитору. История о том, как дьявол унес чернокнижника, вскоре стала известна всему Мадриду, и несколько дней вся столица только об этом и говорила. Но постепенно о ней забыли: другие важные или странные события привлекли всеобщее внимание своей новизной, и Амбросио вскоре был забыт так, словно он никогда не существовал. Монах же, поддерживаемый своим адским вожатым, пронесся по воздуху с быстротой стрелы и через несколько секунд был опущен на край обрыва, самого крутого в Сьерра-Морене.

Хотя от инквизиции он спасся, Амбросио пока еще не ощутил никакой радости из-за своего освобождения. Мысли его занимал роковой контракт, а сцены, главным актером в которых он был, оставили после себя такие воспоминания, что в сердце у него царили анархия и смятение. Никак не мог вернуть ему столь необходимого спокойствия и пейзаж, который позволяла рассмотреть плывшая среди туч полная луна. Хаос в его сердце еще усилился из-за дикости этого пейзажа. Он видел только мрачные пещеры и отвесные скалы, которые громоздились друг над другом, разрывая пролетающие тучи, да редкие купы деревьев, среди искривленных сучьев которых хрипло вздыхал и стонал ночной ветер; он слышал только пронзительные крики горных орлов, гнездящихся на этих пустынных высотах, да оглушительный рев потоков, низвергающихся с утесов, вздувшись после недавних дождей, и тихий плеск темного ленивого ручья, что, поблескивая в лунных лучах, омывал подножие обрыва. Аббат бросал вокруг себя взоры, полные ужаса. Его адский вожатый стоял рядом с ним и глядел на него со злорадством и презрением.

– Куда ты принес меня? – наконец спросил монах глухим, дрожащим голосом. – Почему я стою в этом жутком месте? Унеси меня отсюда немедленно! Отнеси к Матильде!

Бес не ответил, но продолжал молча смотреть на него. Амбросио не выдержал взгляда демона и отвел глаза, и тогда тот заговорил:

– Он в моей власти! Образец благочестия! Безупречнейший человек! Смертный, жалкими своими добродетелями мнивший сравниться с ангелами. Он мой! Необратимо, вечно мой! Товарищи моих мук! Обитатели Ада! Как приятен будет вам мой подарок!

Он помолчал, а затем снова обратился к монаху.

– Отнести тебя к Матильде? – повторил он слова Амбросио. – Жалкая тварь! Скоро ты будешь с ней! Ты заслужил место рядом с ней, ибо Ад не может похвастать более страшным грешником, чем ты. Слушай, Амбросио, вот перечень твоих преступлений, о которых ты не ведаешь! Ты пролил кровь двух невинных созданий. Антония и Эльвира погибли от твоей руки. Эта Антония, поруганная тобой, была твоя сестра! Эта Эльвира, убитая тобой, дала тебе жизнь! Трепещи, отъявленный лицемер! Бесчеловечный матереубийца! Кровосмесительный насильник! Трепещи перед непомерностью твоих грехов! И это ты мнил, что недоступен соблазнам, лишен человеческих слабостей и свободен от ошибок и пороков! Или гордыня – это добродетель? Или бесчеловечность не порок? Узнай же, тщеславный человек, что я давно выбрал тебя добычей! Я следил за движениями твоего сердца, я увидел, что добродетелен ты из тщеславия, а не по велению души, и я выбрал удобное время для соблазна. Я наблюдал, как ты поклоняешься изображению Мадонны точно идолу, и приказал мелкому, но ловкому бесу принять точно такой же облик, и ты охотно поддавался улещиваниям Матильды. Твоя гордость упивалась ее лестью, твоей похоти нужен был только удобный случай, чтобы вырваться наружу. Ты слепо угодил в ловушку и не постыдился совершить тот же грех, за который с бесчувственной суровостью осудил молодую монахиню. Это я подставил тебе Матильду; это я открыл тебе доступ в спальню Антонии; это я устроил так, что тебе в руку был вложен кинжал, пронзивший грудь твоей

сестры; и это я предупредил Эльвиру во сне о твоих замыслах против ее дочери и таким образом, помешав тебе воспользоваться ее сном, принудил тебя кроме кровосмешения добавить к списку твоих преступлений и грубое насилие. Слушай, Амбросио! Если бы ты сопротивлялся еще хоть минуту, ты спас бы и свое тело и свою душу. Стражники, которых ты слышал за дверью твоей темницы, принесли тебе помилование. Но я уже восторжествовал! Козни мои уже увенчал успех! Едва я успевал намекнуть на преступление, как ты его уже совершал. Ты мой, и сами Небеса не могут исторгнуть тебя из моей власти. Не надейся, что твое раскаяние разорвет наш договор. Вот твое обязательство, подписанное твоей кровью. Ты отказался от милосердия, и ничто не вернет тебе прав, которые ты по глупости отверг. Ты думаешь, твои тайные мысли остались скрыты от меня? Нет, нет, я читал их все! Ты мнил, что у тебя еще будет время для раскаяния. Я увидел твое двуличие, знал бессилие твоей уловки и торжествовал, обманув обманщика! Ты мой навсегда и безраздельно! Я сгораю от нетерпения осуществить мое право, и живым ты эти горы не покинешь.

Слушая речь демона, Амбросио окаменел от ужаса и удивления, но последние слова заставили его очнуться.

– Не покину эти горы живым? – вскричал он. – О чем ты, коварный предатель? Или ты забыл наш договор?

– Наш договор? Но разве я не исполнил того, что обязался сделать? Я ведь обещал спасти тебя из темницы и только. Но разве я не сделал этого? Разве ты здесь не в безопасности от инквизиции? От всех, кроме меня? Глупец же ты был, что доверился Дьяволу! Почему ты не потребовал жизни, власти, наслаждений? Ты все это получил бы. Ты поздно спохватился. Готовься к смерти, преступная тварь! Жить тебе осталось немного.

Ужасны были чувства обреченного грешника, когда он услышал этот приговор. Он упал на колени и воздел руки к Небу. Бес разгадал его намерение и воспрепятствовал ему.

– Как! – вскричал он, устремляя на него свирепый взгляд. – Ты смеешь все-таки молить Предвечного о милосердии? Притворишься кающимся и снова будешь лицемерить? Злодей, оставь надежды на прощение! Вот так я оставлю за собой мою добычу!

С этими словами он вонзил когти в тонзuru монаха и спрыгнул с обрыва. Горные пещеры и вершины отвечали эхом на вопли Амбросио. Демон взмывал все выше, а достигнув неизмеримой высоты, выпустил страдальца. Монах камнем упал сквозь воздушную пустоту. Острый выступ встретил его, и он покатился с обрыва на обрыв, пока, весь разбитый и изувеченный, не замер на речном берегу. Жизнь еще теплилась в его искаленном теле. Но тщетно пытался он привстать. Сломанные и вывихнутые члены отказывались служить ему, и он не сумел покинуть место, где прервалось его падение. Над горизонтом поднялось солнце, его жгучие лучи палили обнаженную голову умирающего грешника. Тепло пробудило мириады насекомых, и они сосали кровь, сочившуюся из ран Амбросио. У него не было сил отгонять их, и они ползали по его язвам, вонзали жала в его плоть, облепляли его всего и ввергали в самые невыносимые мучения. Орлы слетали с вершин, рвали его тело, кривыми клювами извлекли глазные яблоки из глазниц. Его томила невыносимая жажда. Совсем рядом он слышал журчание речки, но тщетно пытался поползти на звук. Слепой, изуродованный, отчаявшийся, изливая свое бешенство в богохульстве и проклятиях, кляня свое существование, но страшась смерти, которая должна была ввергнуть его в пущие мучения, шесть нескончаемых дней умирал злодей. На седьмой разыгралась сильнейшая буря. Ветры в ярости хлестали скалы и леса. Небо затянули черные тучи, пронизываемые молниями. Дождь лил потоками. Речка вздулась, вышла из берегов, воды ее достигли места, где лежал Амбросио, а когда вернулись в русло, то унесли с собой труп отчаявшегося монаха.

Конец

